Иностранная литература

10
1965

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ВОЛЬФГАНГ КЕППЕН — Смерть в Риме 6
ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — Оле Бинкоп (Окончание) 112

СТИХИ

КАБА ЛУНСАИНИ — Песня-спутница 3
ЭЛЬВИО РОМЕРО — Побеги расплаты 194

КРИТИКА

РАССКАЗ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. Форум новеллистов стран Азии и Африки 200

АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ Поэзия борьбы и открытий (О романе Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкоп») 214

10

ОКТЯБРЬ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

АНДРЕ МОРУА — Новая книга Арагона 221

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ПИСЬМА НА ВОЛЮ (Фаиз Ахмад Фаиз — жене) 225

ОЧЕРКИ

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ — В поисках Биско (Главы из книги) 240

НАШИ ГОСТИ

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ. ИМРЕ ДОБОЗИ. ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ 250

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Л. Фейгина — В пути. ◇ В. Макаренко — Шум волн гнева народного 256

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Евг Долматовский—Песнь о независимости. ◇ Р. Фиш — Поэтические выставки Нэфзата Устюна. ◇ Н Соколовская — В муках рожденная. ◇ Лев Василевский — Рыцарь испанской революции 259

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ИЗ РАБОТ ЮГОСЛАВСКИХ МАСТЕРОВ 266

Сопроводительная статья Натальи Соколовой

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 273

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 274

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 288

НА ОБЛОЖКЕ: Гравюры греческого художника А. Тассоса.

КАБА ЛУНСАЙНИ

Песня — спутница

■

Перевод с французского
ЯКОВА СЕРПИНА

Африка

Пророчу тебе этим гимном, Африка,
Клянусь тебе, Африка, каждой строкой,
От тяжкого сна пробужденная Африка,
Я завтра увижу тебя такой:
Устало расправив спину сутулую,
Из редеющей темноты,
Широкоплечая,
Широкоскулая,
В полный рост поднимешься ты.
Сольются в стремительном русле дороги,
Тропинки узкие, как ручейки,
И реки твои —
Это только притоки
Одной грядущей реки.
Я слышу, как бьют тамтамы Свободы,
Вижу, как в жарком дыханье зарниц
Окрепшее в битве
Единство Народа
Стирает с карты пунктиры границ.
Африка, я утверждаю это:
На знойной заре отгремят бои,
В зеленый сад превратится планета —
В нем будут саженцы и твои!
Срывающей с неба властной рукою
Последние тучи,
Последнюю тьму —
Я завтра увижу тебя такою.
Верь пророчеству моему!

Воспоминания

О, призраки,—
Как смутный сон ночной,
Как очертанья темных скал в тумане,—

Из облачной страны
Воспоминаний
Возникшие опять передо мной!
Куда мне деться от извечной боли,
От гулких стонов
И глухих обид?
Единственная музыка неволи —
Плетеный бич
В моих ушах свистит.
Опять сквозь ночь,
Не говоря ни слова,
Идет ко мне, кривя в усмешке рот,
Зловещее видение былого —
Как идол каменный,
Ко мне идет...
Глаза открою,
Улыбнусь
И встану:
День начался,
Шаги его легки.
Рабочий молот бьет по истукану,
Бьет наискось —
И камень на куски!

Ночью

Стены казы * моей облиты
Густым, маслянистым светом луны;
Кувшин с водою, в песок зарытый...
Циновка смятая у стены...
Легким ветром лампада задута;
Ногами босыми касаясь скамьи,
Спят, улыбаясь во сне чему-то,
Братья маленькие мои.
Не знать этим детям недетской заботы,
Им плеть не грозит,
Их не мучает страх,
И только жемчужные капельки пота
Блестят на черных щеках.
И я поднимаюсь, улыбки не пряча,
И дверь открываю,
И радостно мне:
Парю над землею, как души ребячьи
На крыльях бесшумных парят во сне.
Огромна луна,
И светла деревня;
Что снилось ей прежде — сбылось наяву.
И я под манговые деревья
Взволнованной песней
Друзей зову.

---

* Хижина.

Песня

Пусть песня старая живет,
И пусть звучит она сильней!
Ее сложил седой гриот *,
Его душа — навеки в ней.
Ее нельзя у нас отнять,
Убить нельзя,
Забыть нельзя.
Пусть песня старая опять
Звучит, как некогда, друзья!
Ей внемлет даль и внемлет высь,
И струны кор ** ее хранят;
В ней слезы женские слились
С безмолвным мужеством солдат.
Встречая на поле рассвет,
Гнул вместе с нею спину дед;
Она на подвиг шла с отцом,
В бою пробитая свинцом.
И тот, кто, выронив ружье,
Упал на землю в дымной мгле,
Под звуки скорбные ее
Был предан матери-земле.
Нет, мы не вправе забывать
Крутых путей,
Суровых дней.
Пусть песня старая опять
Звучит сильней,
Звучит сильней!

---

* Певец-сказитель.
** Кора — музыкальный инструмент.

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН

Смерть в Риме

РОМАН

Перевод с немецкого
В. ДЕВЕКИНА и В. СТАНЕВИЧ

Il mal seme d'Adamo.*

Dante. Inferno

В тот же день мир получил весть о его смерти и был почтительно потрясен.

Томас Манн. «Смерть в Венеции»

I

Было время, когда в этом городе обитали боги. Теперь Рафаэль, еще полубог, любимец Аполлона, покоится в Пантеоне; но как ничтожны те, чьи останки погребены позднее рядом с ним: кардинал, заслуги которого забыты, несколько королей и их пораженных слепотой генералов, преуспевшие чинуши, ученые, добившиеся упоминания в энциклопедиях, художники, удостоенные звания академиков. А кому дело до них? Дивясь, стоят туристы под древними сводами и смущенно смотрят вверх на единственное окно, на круглое отверстие в когда-то выложенном бронзовыми плитками куполе, откуда свет льется, словно дождь. Не золотой ли это дождь? Даная разрешает агентству «Куку» и итальянскому туристскому бюро распоряжаться ею, но радости это ей не дает. Поэтому она и не поднимает платья, чтобы принять бога. Персей не рождается. Медуза устраивается по-мещански, голова у нее цела. А Юпитер? Прозябает ли он на маленькую пенсию среди нас, смертных, или, быть может, это вон тот старичок из компании «Американ экспресс», управляющий немецким отделением бюро путешествий? Или он сидит за толстыми стенами сумасшедшего дома на городской окраине, и любопытствующие психиатры робко обследуют его? Или заточен в государственную тюрьму? На Капитолийском холме посадили за решетку волчицу, она больна, она в унынии, тут уж не до кормления Ромула и Рема. В свете, льющемся сверху, лица туристов похожи на тесто. Какой пекарь будет месить его, какая печь — подрумянивать?

Музыка звучала фальшиво, она больше не волновала Зигфрида, она была ему почти неприятна, как неприятен собственный голос, когда

* «Дурное семя Адамово» *(итал.)*. Строка из «Ада» Данте.

он записан на пленку и ты впервые слышишь его в громкоговорителе и думаешь: значит, вот я каков? Самоуверенный хлыщ, лгун, ханжа, тщеславный фат? Прежде всего, скрипки звучали чуждо, слишком красиво — не таким бывает тревожный шум ветра в деревьях, и разговор детей вечером с демоном, и страх перед земным бытием, он не такой умеренный, он не так хорошо дозирован, он терзает глубже, этот древний страх, когда в тебе вызывают дрожь шорохи леса, небесные просторы, облака-странники; это и хотел воспеть Зигфрид, а оно ему совсем не удалось, и потому, что не хватило сил, он чувствовал себя теперь слабым и малодушным, он чуть не плакал; но Кюренберг был в хорошем настроении и хвалил симфонию. Зигфрид восхищался Кюренбергом, тем, что тот подчиняется нотам и вместе с тем управляет ими своей дирижерской палочкой, но бывали мгновения, когда Зигфриду казалось, будто Кюренберг совершает над ним насилие. И тогда Зигфрид сердился, оттого что не защищается. Но он не мог — Кюренберг умел и знал столь многое, а Зигфрид учился так мало и в теории сильно отстал. Кюренберг разглаживал, расчленял, акцентировал партитуру Зигфрида: то, что было для Зигфрида смутным чувством, поисками какого-то звучания, памятью о каком-то саде еще до всякого рождения, близостью к правде вещей, которая могла быть только нечеловеческой,— все это под дирижирующей рукой Кюренберга становилось человечным и прозрачным, музыкой для высокообразованных слушателей, однако Зигфриду она казалась чуждой, он был разочарован, ведь укрощенные дирижером чувства стремились к гармонии, а его именно это и беспокоило; но в конце концов артист в нем победил, и его стало радовать точное и чистое звучание инструментов и та тщательность, с какой сто мастеров знаменитого оркестра исполняют его сочинение.

В зале росли лавры в зеленых кадках, а может быть, это были олеандры — в крематории стоят такие же растения,— и при взгляде на них даже в летнюю жару вспоминались невольно холодные зимние дни. «Вариации на тему смерти и цвета олеандров» назвал Зигфрид свое первое крупное произведение — септет, который так и не был исполнен. Сочиняя септет в первой редакции, он вспоминал смерть своей бабушки, единственного человека в семье, которого любил,— быть может, оттого, что она прошла такой чуждой и тихой через шумный дом его родителей, где постоянно толпились люди и громыхали походные сапоги. А какой торжественной и скорбной сделали ее кремацию! Бабушка была вдовой скромного пастора, и, если бы она могла видеть, ей вовсе не понравились бы та высокая техника и комфорт, та напыщенная и бесчувственная проповедь, с какими ее гигиенично и удобно выпроводили на тот свет; и венок и крикливый бант со свастикой, присланный Союзом германских женщин, были бы ей безусловно неприятны, хотя при жизни она никогда не высказывалась против.

Однако во втором варианте септета Зигфрид уже старался выразить что-то более общее, сумеречное, тайный бунт, мерцающие, глухие и смутные романтические ощущения, и из музыкальных фраз, насыщенных мятежным упорством, словно возникал обвитый розами мраморный торс юного воина или гермафродита среди развалин горящего оружейного склада, этот образ выражал мятеж Зигфрида против окружавшей его действительности: лагерей для военнопленных, оград из колючей проволоки, против пресловутых соплеменников с их нудными речами, мятеж против войны, виновниками которой он считал таких людей, как его родители, против всего своего отечества — оно было одержимо чертом, и черт его уже побрал. Всех их Зигфрид хотел разозлить и попросил Кюренберга, дирижера, известного раньше в Германии, а теперь — об этом Зигфрид прочитал в английской газете — жившего в Эдинбурге, прислать ему образцы двенадцатитонной музыки; эта манера компози-

ции считалась нежелательной на родине Зигфрида в дни его ранней юности, но она привлекала его уже по одному тому, что ее предали анафеме ненавистные властители, военные муштровщики и его грозный, могущественный дядя Юдеян, чье мрачное изображение некогда висело над презренным письменным столом отца; и Кюренберг прислал Зигфриду в лагерь произведения Шёнберга и Веберна, приложив ласковое письмо. Так дошли до Зигфрида ранние нотные тетради «Универсаль эдисьон», они появились в Вене, когда Зигфрид еще не мог с ними ознакомиться, а после присоединения Австрии к Германии они были уже запрещены. Музыка эта открыла Зигфриду новый мир, врата, через которые он мог вырваться из клетки, не только из обнесенного колючей проволокой загона для военнопленных, но и из этих давящих тисков; и он не заполз обратно под ярмо, как он это называл, война ведь была проиграна, его освободили, и он мог уже не склонять головы перед воззрениями своей семейки, ибо всегда считал свое рожденье в этой семье величайшим несчастьем.

Растения в зале казались пыльными, вероятно, это все же были лавры, ибо зелень их напоминала высохшие листья, которые, намокнув в супе, так и плавают в нем, неразваренные и колючие. Эти веники угнетали Зигфрида, а в Риме он не хотел грустить. Но их зелень слишком живо напоминала о невкусном супе, об обедах из одного блюда в нацистской школе, куда отец отдал его по настоянию Юдеяна, о скудном армейском рационе и вермахте, куда Зигфрид удрал из школы; однако и в нацистском военном училище зеленели лавры, а в казарме всегда имелись про запас дубовые листья и плющ для орденов и для могил. И повсюду портрет молодчика с чаплиновскими усиками — теперь этот субъект смылся и вышел из игры, тогда же портрет фюрера благожелательно взирал на стада жертвенных баранов, на только что созревших для убоя мальчиков, которых втиснули в военный мундир. Здесь, среди лавров и олеандров концертного зала, от которых веяло искусственным холодом, висел старинный портрет композитора Палестрины, он не благожелательно, а, скорее, строго и укоризненно внимал оркестру. Тридентский собор одобрил музыку Палестрины. На музыкальном конкурсе в Риме, вероятно, отклонят симфонию Зигфрида, и это тревожило и удручало его уже на репетициях, он еще по пути в Рим предчувствовал, что ее отклонят, хотя теперь и уверял себя, будто ему все равно.

Вокруг Пантеона тянется ров, некогда здесь была улица, она вела от церкви всех святых к термам Агриппы, но римская мировая империя рухнула, обломки засыпали ров, потом археологи раскопали его, и теперь оттуда торчат остовы стен, обветшалых, поросших мхом, и на развалинах восседают кошки. Кошек вы видите в Риме на каждом шагу, они — древнейший род этого города и высокомерны не меньше, чем Орсини и Колонна, они воистину последние настоящие римляне, хотя уже римляне времен упадка. У них имена, достойные цезарей,— Отелло, Калигула, Нерон, Тиберий... Вокруг кошек собираются дети, подзывают их и дразнят, тараторят и захлебываются, как стремительно бьющий ключ, и голоса их кажутся иностранцам прелестными.

Дети лежат вниз животом на каменной ограде рва. У них сопливые мордочки, но школьные банты придают им сходство с детьми на картинах Ренуара. Школьные фартуки задрались, короткие трусы открывают ноги, от солнца и пыли они кажутся отлитыми из бронзы ногами статуй. Вот она, итальянская красота! Вдруг поднимается хохот. Они высмеивают старуху. Сострадание всегда предстает в образе беспомощности. Старуха бредет с трудом, опираясь на палку, она принесла кошкам поесть. Жратва завернута в противный мокрый обрывок газеты.

Это рыбьи головы. На измазанном рыбьей кровью фото американский государственный секретарь и русский министр иностранных дел пожимают друг другу руки. У обоих, видимо, слабое зрение. Стекла очков поблескивают. Поджатые губы симулируют улыбку. Кошки ворчат и фыркают друг на друга. Старуха бросает бумагу наземь. Головы обитателей моря, отрезанные от трупов, продавленные глаза, побелевшие жабры, опаловая чешуя — все это сыплется на бьющих хвостами, мяукающих кошек. Резко воняет падалью, испражнениями, приторной старческой гнилью, гноем, и все эти запахи, поднимаясь в воздух, смешиваются с уличными испарениями бензина и приятным ароматом свежего кофе, который доносится из бара «Эспрессо» на углу площади Ротонды. Кошки дерутся из-за отбросов. Ведь это борьба за жизнь. Злосчастные твари, зачем они так расплодились? Кошек здесь сотни, и все они голодают, они кровожадны, похотливы, они котятся, они больны, они гибнут и пали так низко, как только можно пасть, будучи кошкой. Крупный кот с мощным затылком и короткой шерстью желтосерого цвета злобно властвует над более слабыми. Он бьет лапами. Распоряжается. Грабит. На морде у него шрамы, оставленные борьбою за власть. Ухо прокушено. Эту битву он проиграл. Шерсть изъедена паршой. Дети нежно называют кота Бенито.

Я сидел за алюминиевым столом на хрупком алюминиевом стуле и чувствовал себя таким легким, точно вот сейчас меня ветер унесет; и я был счастлив — по крайней мере убеждал себя, что это так, ведь я в Риме, в Риме, я сижу перед баром «Эспрессо», на углу площади Ротонды, и передо мной стаканчик водки. Водка тоже какая-то летучая, легкая, с металлическим привкусом, словно ее варили из алюминия,— это граппа. Я пью ее, так как прочел у Хемингуэя, что в Италии пьют граппу. Мне хочется быть веселым, но я не весел. Мне тяжело. Может быть, из-за убогих кошек? Мы не любим видеть бедность, а тут ведь пфеннигами не откупишься. В этих случаях я обычно не знаю, как быть. Я отвожу глаза. Так делают многие, но меня это мучит. Хемингуэй, видно, ничего не понимает в водках! У граппы какой-то синтетический тухлый вкус. Как у водки с немецкого черного рынка во времена инфляции. Однажды я выменял за десять бутылок такой водки картину Ленбаха *. Это был этюд к портрету Бисмарка, его приобрел поддельный американец — кубинец в американском мундире. Водку перегнали из технического спирта для ракет V-2, которые должны были разрушить Лондон; когда вы ее пили, то взвивались кверху, но какое это имеет значение, ведь и Ленбах оказался поддельным. Теперь у нас в Германии есть «экономическое чудо» и хорошая водка. Итальянцы тоже пьют хорошую водку, правда, экономического чуда у них как будто нет.

Я рассматривал лежавшую передо мной площадь. Здесь явно совершался обман государства. Молодая женщина торговала американскими сигаретами, держа их в подоле грязного фартука. И мне опять вспомнились кошки. Женщина была человеческой сестрой этих несчастных тварей, растерзанная, растрепанная, в язвах. И она была несчастной, опустившейся, и род ее тоже слишком размножился, а похоть и голод привели к упадку. И вот она надеялась разбогатеть, идя окольными путями. Она была готова молиться золотому тельцу, но едва ли бы он услышал ее. Мне вдруг пришло в голову, что эту женщину могут убить. Я представлял ее себе задушенной, а она уже видела себя предпринимательницей, хитрой и проницательной, настоящей синьорой, восседающей в респектабельном киоске. На площади Ротонды золотой телец снизошел до того, что слегка лизнул эту женщину. Тут ее, видимо, хорошо знают.

* Франц Ленбах (1836—1904) — немецкий художник.

Точно буек, стоит она в густом потоке уличного движения, и маленькие юркие «фиаты» устремляются ловко и отважно прямо на нее. Как верещат здесь клаксоны! У красавцев водителей волосы завиты, уложены волнами, напомажены, гладкие рожи смазаны кремом, надушены, ногти наманикюрены, они протягивают ей деньги в окно машины, принимают пачки сигарет — и вот маленький «фиат» уже несется дальше, по другим делам, чтобы другим веселым способом выхватить у государства принадлежащее государству. Вон идет девица из коммунистической федерации молодежи. Я узнаю ее по ярко-красному галстуку и синей спортивной куртке. Какое гордое лицо! Почему ты так высокомерна? — думаю я. Ты отрицаешь все, ты отрицаешь старуху, приносящую кошкам поесть, ты вообще отрицаешь сострадание. В подворотне притаился парень, засаленный с головы до ног. Он — дружок папиросницы, ее подопечный или опекун, а может быть, ее шеф, серьезный делец, озабоченный сбытом своего товара, во всяком случае, он тот черт, с которым судьба связала эту женщину веревочкой. Время от времени они как бы случайно встречались на площади. Она отдавала ему захватанные лиры, он совал ей новые, опрятно завернутые в целлофан пачечки сигарет. Неподалеку в нарядном мундире, прямо как памятник самому себе, стоял карабинер, он с презрением и скукой поглядывал на Пантеон. А я думал: ты и та девушка из федерации — вот выйдет из вас чудесная пара, тогда все кошки будут именоваться государственной собственностью, сердобольная старуха умрет в государственной богадельне, рыбьи головы станут всеобщим достоянием, и все будет ужасно упорядочено. Но пока еще существуют и беспорядок, и сенсации.

Газетчики выкрикивают охрипшими жадными голосами названия вечерних газет. Я всегда восхищаюсь ими: ведь они — истинные рапсоды и панегиристы преступлений, несчастных случаев, скандалов и национальных волнений. Белая крепость в индокитайских джунглях готова была пасть. В те дни решался вопрос войны или мира, но мы этого не знали. Мы узнали об угрожавшей нам гибели лишь гораздо позднее, из газет, которые тогда еще не были сданы в набор. Кто мог, ел хорошо. Мы пили кофе, пили водку, мы работали, чтобы заработать деньги, а когда удавалось — спали вместе. Рим — удивительный город, он для мужчин. Я интересовался музыкой, и у меня создалось такое впечатление, что в Риме есть еще люди, которые интересуются новой музыкой. Из многих стран съехались они на конкурс в древнюю столицу. Азия? Но Азия далеко. Целых десять летных часов до Азии, она жуткая, огромная, как «Волна» Хокусаи*. И эта волна приближалась. Она омыла берега Остии, где был найден труп молодой девушки. Бедная покойница прошла через Рим, как призрак, и министры пугались ее бледного лика, но им удалось еще раз все уладить к лучшему для себя. Волна приблизилась к скале мыса Антиб. «Bon soir, monsieur Aga Khan!» ** Осмелюсь ли я сказать, что это меня не касается? У меня нет ни счета в банке, ни драгоценных камней, ничем нельзя меня встревожить, я свободен, и мне не приходится волноваться ни из-за скаковых лошадей, ни из-за кинозвезд. Меня зовут Зигфрид Пфафрат. Я знаю, это смешная фамилия. Но опять-таки не смешнее многих других. Почему же я так презираю ее? Я ее не выбирал. Я охотно и без зазрения совести вмешиваюсь в чужие разговоры, но мне стыдно, я притворяюсь непочтительным, а как бы мне хотелось что-нибудь уважать! Я композитор. Однако, если не пишешь для самой широкой публики, эта профессия так же нелепа, как и моя фамилия. И вот имя Зигфрида Пфафрата появляется в концертных программах. Почему я не возьму себе псевдоним? Право,

* Картина известного японского художника Хокусаи (1760—1849).

** Добрый вечер, господин Ага-Хан! *(франц.)* Ага-Хан — глава влиятельной мусульманской секты исмаилитов в Индии.

не знаю. Неужели я привязан к этой ненавистной фамилии, продолжаю быть к ней привязан? Или это власть семейного клана? Тем не менее, мне кажется, что все происходящее на свете, все, о чем люди думают, грезят и что нас губит, все это в целом, даже незримое и неуловимое, касается меня, обращено и ко мне!

Большой черный автомобиль с зеркальными непрозрачными стеклами, похожий на темный сверкающий гроб, поблескивая лаковым мраком, бесшумно подъехал к Пантеону. Машина напоминала посольскую, и, может быть, в ней на пухлых подушках сидел посол Плутона, министр Преисподней или Марса, а Зигфрид, который попивал себе граппу на площади Ротонды, бросив взгляд на ту сторону площади и заметив это событие, впрочем не стоившее внимания, признал буквы на щитке, где обычно стоит номер машины, за арабские. Что это? Не принц ли из «Тысячи и одной ночи» прибыл сюда или это какой-нибудь король-изгнанник? Выскочил темнолицый шофер в почти военной ливрее, рванул дверцу машины и с усердием адъютанта, готовый к услугам, встал вплотную к вылезавшему господину, облаченному в просторный костюм. Костюм был из английской фланели и, видимо, сшит у хорошего портного, но на располневшем теле господина — мощный затылок, широченные плечи, грудь колесом, круглый, эластичный, тугой, словно мяч для бокса, живот, толстые ляжки — костюм этот почему-то напоминал грубошерстную одежду крестьян-горцев. У господина были торчавшие щетиной, коротко подстриженные седые волосы, глаза прятались за синими стеклами больших очков, придававших ему отнюдь не крестьянский вид. Напротив, в нем было что-то загадочное и коварное, чужестранное и изысканное, чем-то напоминал он прибывшего из далеких земель члена дипломатического корпуса или спасающегося от преследования отчаянного беглеца.

Не Одиссей ли это, пожелавший навестить богов? Нет, не Одиссей, не заблудившийся царь Итаки, этот человек — палач. Он явился из царства мертвых, от него веяло трупным запахом, и сам он был смертью, грубой, пошлой, неповоротливой, бездарной смертью. Тринадцать лет не встречал Зигфрид своего дядю Юдеяна, которого так боялся в детстве. Сколько раз его наказывали за то, что он прятался от Юдеяна, и в конце концов мальчуган стал видеть в образе дяди воплощение всего, чего он страшился и что ненавидел, символ всего насильственного — мобилизации, армии, войны; ему и сейчас иногда казалось, что он слышит рычащий, всегда разъяренный голос этого человека с бычьей шеей. Но Зигфрид лишь смутно помнил теперь лицо могущественного трибуна, перед которым трепетала некогда вся страна и чьи бесчисленные портреты мозолили глаза повсюду: в газетах, на столбах с афишами, на стенах школьных залов, на экранах кино, где Юдеян появлялся, подобно грозной тени, причем всегда со злобно опущенной, мощной головой, в неизменной, навязчиво скромной партийной форме и тупоносых походных сапогах. Поэтому Зигфрид, который успел тем временем вырваться на свободу и сидел теперь перед баром, попивая граппу по Хемингуэю, и размышлял о лежавшей перед ним римской площади и о своей музыке — самом сокровенном в его внутренней жизни,— поэтому Зигфрид и не узнал Готлиба Юдеяна, ибо даже не подозревал о том, что чудовище появилось в Риме и намерено восстать из мертвых. Лишь мимоходом и с невольным содроганием Зигфрид заметил дородного, видимо богатого и влиятельного, но несимпатичного иностранца, который поманил к себе кота Бенито, потом вдруг схватил животное за шиворот и под ребячий визг отнес в свой аристократический лимузин. Шофер на миг застыл в солдатской оловянности, затем почтительно прикрыл дверцу за Юдеяном и котом. Большой черный автомобиль бесшумно

скользнул прочь, перед Зигфридом бегло блеснули в лучах предвечернего солнца арабские буквы, а затем — солнце скрылось за облаком, и машина, словно растворившись в клубах вонючего дыма, исчезла.

Ильза была приглашена своим мужем Кюренбергом на репетицию, но Зигфрид не заметил ее, так как свет зажгли только над оркестром, а она села в последнем ряду возле зеленого деревца в кадке и слушала симфонию оттуда. Симфония ей не понравилась. Она слышала сплошные диссонансы, враждебные друг другу столкновения звуков, бесцельные поиски: это был какой-то неуверенный эксперимент, автор шел то одним путем, то другим и тут же сворачивал в сторону, ни одна мысль не была договорена, все с самого начала казалось хрупким, полным сомнений, проникнутым отчаянием. Ильзе казалось, будто эти ноты написаны человеком, который сам не знает, чего хочет. И потому ли он в отчаянии, что не знает пути, или для него нет пути, потому что он каждую тропу затопляет мраком своего отчаяния и делает ее непроходимой? Кюренберг много ей рассказывал о Зигфриде, но Ильза не была с ним знакома и до сих пор оставалась к нему равнодушной. Сейчас музыка Зигфрида растревожила ее, а она не желала тревожиться. В этой музыке звучало что-то, будившее печаль. Однако образ жизни научил ее избегать страданий и печали. Она не хочет страдать. Хватит. Настрадалась. Она подавала нищим несуразно большие суммы, но не спрашивала, почему они просят милостыню. Кюренберг, как дирижер, мог бы повсюду зарабатывать больше, чем здесь,— и в Нью-Йорке, и в Сиднее. Когда он решил подготовить симфонию Зигфрида для конкурса в Риме, Ильза не отговаривала его, но теперь жалела, что он взялся за нее, ведь он трудится над чем-то несвязным, безнадежным, над бесстыдным в своей наготе выражением откровенного, позорного отчаяния.

После репетиции Кюренберги пошли поесть. Они любили поесть, ели часто, обильно и вкусно. К счастью, это по ним не было заметно. Они хорошо переносили обильную, вкусную еду: оба были пропорционально сложены, как говорится, в соку, но не жирные, упитанные, но не толстые, хорошая пара, точно выхоленные животные. Так как Ильза молчала, Кюренберг понял, что симфония ей не понравилась. Когда человек молчит, с ним трудно спорить, и Кюренберг в конце концов начал хвалить Зигфрида, утверждая, что из новых он самый талантливый. Дирижер пригласил Зигфрида зайти вечером, но теперь не знал, приятно ли это будет Ильзе. Как бы мимоходом он сознался в этом, а Ильза спросила:

— В гостиницу?

— Да,— ответил Кюренберг. И Ильза поняла, что Кюренберг, который даже во время поездок — а переезжали они с места на место беспрерывно — оставался страстным кулинаром, хочет готовить сам. Это доказывало, что он действительно ценит Зигфрида и ухаживает за ним, и она снова промолчала. А почему бы ей и не принять Зигфрида? Она не любила отказывать. Да и с Кюренбергом ей не хотелось спорить. Это был брак без ссор, они ухитрились, не ссорясь, пройти через нужду и опасности, изъездить весь белый свет. Ладно, пусть Зигфрид явится к ним в гостиницу, пусть ее муж для него приготовит ужин, она не возражает. Может быть, Кюренберг прав и Зигфрид — приятный человек, но его музыка от этого лучше не станет. Ильза считала, что она и не может стать другой, ибо, хотя эти звуки отталкивали ее, в них чувствовалось все же что-то подлинное, и при всей их несвязанности они воссоздавали картину определенной человеческой судьбы, а поэтому и не могли стать иными, и каким бы милым Зигфрид ни оказался, всегда его музыка будет ей антипатична. Ильза внимательно посмотрела на Кюрен-

берга: вот он идет рядом с ней в костюме из грубошерстного твида, в скрипучих башмаках на толстой подошве, волосы его уже поседели, и он успел облысеть, но глаза на добром, решительном лице ясны, фигура несколько раздалась, но шагает он твердо, искусно лавируя среди беспокойной толпы, затопляющей римские улицы.

Кюренберг производил впечатление человека замкнутого, вернее, спокойно опирающегося на самого себя и живущего богатой духовной жизнью; он никогда не позволял себе ни раздражения, ни сентиментальности, и все же Ильзе чудилось, что покровительство, которое он оказывал Зигфриду, окрашено теплым чувством: его тронуло то, что в сорок четвертом году неведомый немецкий военнопленный, находившийся в английском лагере, обратился именно к нему, добровольному эмигранту и бывшему недобровольному добровольцу, штурмовавшему в первую мировую войну Лангемарк, и попросил у него образцы новой музыки. Для Кюренберга письмо военнопленного Зигфрида было знаком, сигналом из одичавшей варварской Европы, голубем, принесшим весть о том, что воды потопа отступают.

Они уселись на солнце и наслаждались солнцем, сидели на террасе чудовищно дорогого ресторана на площади Навоны и наслаждались тем, что сидят там, смотрели на успокаивающий гармонический овал древней арены и наслаждались счастливым сознанием того, что бои кончились, затем принялись есть. Ели мелких, хрустящих тушеных в масле раков, нежно поджаренную птицу, смоченные лимонным соком и окропленные оливковым маслом листья салата, сладострастно-пунцовую гигантскую клубнику и запивали все это горьким возбуждающим фраскати. Они наслаждались вином. Они наслаждались пищей. Они пили благоговейно. Они ели благоговейно. Они вкушали пищу спокойно и серьезно. Они лишь изредка обменивались словом и все-таки очень любили друг друга.

После обеда они поехали автобусом в район вокзала, где жили. Автобус был, как всегда, переполнен. Они стояли, прижатые друг к другу, прижатые к чужим. Стояли молча, спокойные, довольные. Доехав до вокзала, решили ненадолго зайти в Национальный музей, помещавшийся в развалинах терм Диоклетиана. Они любили древних. Они любили крепкий юмор, благородные статуи, созданные человеком по образу своему и подобию, прохладные саркофаги, многообещающую округлость винных чаш. Они посетили эротов, фавнов, богов и героев. Погрузились в созерцание легендарных чудовищ, прочувствовали прекрасное тело Венеры и голову спящей Эвмениды. Потом вошли в глубокое сумрачное ущелье улочки, зажатой между высокими домами; прохладная и полная тени, она тянулась позади гостиницы, этого скучного пристанища решительно всех на свете, где Кюренбергам, однако, жилось приятно, заглянули в мясную, увидели висящие на свирепых крючках взрезанные туши, обескровленные, свежие, прохладные, и головы принесенных в жертву баранов и телят, немые и кроткие, купили лежавшие на мраморной наклонной доске нежные бифштексы, выдержанность которых Кюренберг проверял, ощупывая и разминая их пальцами, выбрали на открытых лотках фрукты и овощи, приобрели в старинных подвалах вино и масло, а после довольно долгих поисков Кюренберг наконец нашел и подходящий рис, он попробовал его на зуб, рис обещал при варке остаться крупитчатым. Муж и жена — оба несли свертки — поднялись на лифте в свой большой светлый номер, самый роскошный в этой гостинице. Они устали и наслаждались своей усталостью. Они взглянули на широкую кровать и насладились предчувствием ее прохлады и чистоты. Было еще совсем светло. Они не задернули занавесок. Они разделись при дневном свете, легли на простыню и накрылись одеялом. Они вспомнили о прекрасной Венере и играющих фавнах. Они наслаждались своими мыслями и наслаждались воспоминаниями, затем

насладились друг другом, и ими овладел глубокий сон, то состояние, предваряющее смерть, коему отдана треть нашей жизни; но Ильзе снилось, что она Эвменида, спящая Эвменида, которую, чтобы ее смягчить, называли Благожелательной; а Эвменида — богиня мести.

Уже пора, надо идти туда. Юдеян известил, что придет, настал условленный час, они ждут его, и вот он колеблется, ему уже расхотелось, ему страшно. Ему, Юдеяну, страшно, а каков был всю жизнь его девиз? «Я не ведаю страха!» Эта фраза многих поглотила, одни кусали землю, другие — конечно, не он, он отдавал приказы,— другие гибли в бесполезных атаках во имя потерявшего смысл понятия чести, удерживали заранее обреченные позиции, стояли до последнего, как потом Юдеян, выпятив грудь, докладывал своему фюреру, а те, кто имел смелость бояться, висели, болтались на деревьях и фонарях, раскачивались на холодном ветру смерти с позорной табличкой на сдавленной шее: «Я был слишком труслив, чтобы защищать свое отечество». Чье же отечество надо было защищать? Юдеяна? Принудительный рейх и наступательную «ось»? Их можно было лишь послать к дьяволу; людей не только вешали, им отрубали головы, их пытали, расстреливали, правда, они умирали и за брустверами, в окопах, там в них целился враг, и конечно враг стрелял, но здесь пулю посылал свой же камрад — «лучшего ты не найдешь» *, здесь бесновался соплеменник, прославленный, воспетый, а тот, кто был обречен, увы, слишком поздно начинал понимать, где враг и где друг. Юдеян говорил по-отечески «мои мальчуганы», и Юдеян говорил на языке общественных уборных: «пришить эту свинью», он всегда был «народен» и всегда держался славным малым, этот весельчак из Ландсберга и бывший палач Фемы **, этот кровавый парашник из лагерей Черного рейхсвера в Мекленбургских поместьях, страшный, как череп в эсэсовской каске; даже старые кумиры изменяли: Эрхардт, капитан, пировал с литераторами и дерьмовыми интеллигентами, а Россбах странствовал с молокососами по стране и ставил мистерии на радость попам и школьным учителям, но он, Юдеян, шел правильным путем, упрямо, неуклонно шел он дорогой вожака нацистской империи, дорогой чести.

Он шагал по комнате, по широкому ковру, стены были обиты материей, свет висячих ламп смягчали шелковые абажуры, на камчатном покрывале постели лежал Бенито, паршивый кот, он взглянул на Юдеяна, иронически сощурясь, словно хотел сказать: «Ты еще жив?» — а затем с отвращением покосился на серебряную тарелку с жареной печенкой, стоявшую в ногах кровати. Для чего приволок он сюда эту тварь? Что это, магия какая-то? — спросил себя Юдеян. Просто сентименты одолели, не мог видеть, как дразнят кота, обозлился, ведь кот Бенито — государственная собственность. Чертовы сопляки! Юдеян остановился на виа Венето в отеле, где жили послы и министры, генералы НАТО, президенты стальных концернов США, члены наблюдательного совета «Фарбениндустри», здесь же была выставка премированных бюстов кинозвезд, и в своих клетках поджидали клиентов шантажисты и кокотки — какие только птицы не залетают в Рим! Модные бороды всех фасонов, и фигуры столь тонкие, что их стан можно охватить ладонью, сказочно дорогие туалеты, девичьи талии, которые, кажется, вот-вот сломаешь, хотя их отнюдь не возбраняется сжимать как можно крепче, тугие груди и тугие зады, соблазнительный и волнующий трепет плоти под пленкой нейлона, который спускается прямыми линиями на живот и бедра к вуалевой паутине чулок; кардиналы не жили в этой гостинице.

* Строчка из солдатской песни, популярной у нацистов.
** Тайное фашистское судилище.

Синие очки он снял, глаза голубовато-белесые, водянистые, словно расплывшиеся. Может быть, он поступил легкомысленно, поселившись здесь? Юдеян невольно рассмеялся. Во-первых, это его право, теперь, как и всегда, а во-вторых, надо знать, откуда дует ветер! Чем же сейчас повеяло? Прощением и забвением. Это была одна из шуток Юдеяна; а Юдеян любил пошутить; потому-то он и остановился именно в этом отеле, хотя фамилия в его паспорте — не его фамилия и место рождения — не его место рождения, но в остальном документ самый подлинный, на нем стоит дипломатическая виза. Юдеян — важная особа. Всегда был и теперь стал опять. Он мог позволить себе остановиться здесь и наслаждаться воспоминаниями о днях былого величия: под этой же крышей находилась некогда его резиденция, отсюда отправлял он распоряжения в палаццо Венеция, из холла этого отеля отдал он приказ расстрелять заложников.

Что же ему надеть? Он здоров, в хорошей форме, у него есть костюмы, сшитые из английских тканей искусными арабскими портными, он стал светским человеком, даже душится, когда идет в бордель, этому он научился у шейхов; но в любой оболочке оставался он тем же Юдеяном, инфантильным типом, мрачным героем мальчишек, который не мог забыть, как часто отец, школьный учитель, порол его за то, что он ничему не желал учиться. Может быть, надеть темный костюм? Этой встрече надо придать торжественность. Но, вероятно, не принято в таких случаях душиться. Там, куда он идет, не следует благоухать мускусом. Там козла надо прятать. Немецкие бюргеры снова нашли самих себя. Они стали опять светскими людьми. Отразилась ли на нем жизнь в тех краях, откуда он прибыл? Сначала все эти кровавые дороги, а потом последнее — зной, сушь, песок?

Он прибыл из страны шакалов. Ночью они выли. Чужие звезды сияли на небе. Но какое ему дело до них? Звезды — только ориентиры над картой местности. Другими он и не видел их. И шакалов не слышал. Он спал. Спал спокойно, мирно, без сновидений. Он каждый вечер падал в сон, словно камень в колодец. Его не тревожили ни кошмары, ни угрызения совести, ему не являлись призраки. Только побудка поднимала его. Это была знакомая приятная музыка. Из пустыни веяло бурей. Звук горна рвался и гас. Горнист был просто ленивый пес, таких надо на передовую. Песок хлестал в стены барака. Вот Юдеян поднялся с узкой походной койки. Он любил спать на жестком ложе. Ему нравилась эта выбеленная комнатенка с жестяным шкафом, откидным столом, дешевым умывальником, нравилось звяканье заржавленного кувшина и таза. А он мог бы жить в королевской резиденции, в роскошной вилле, как шеф-инструктор, организатор армии, неоценимый, высокооплачиваемый специалист, каким он и был на самом деле. Но он любил казарму. Она рождала уверенность в себе, она одна давала ощущение безопасности. Казарма — это было отечество, товарищи, опора и порядок. Но все это — пустые фразы, красивые фразы школьника, которыми он утешал себя. Кому мог Юдеян быть товарищем? Он любил смотреть на пустыню. Не ее беспредельность звала его, а ее нагота. Пустыня была для Юдеяна огромным учебным плацем, это был фронт, манящий и щекочущий постоянным возбуждением, которое поддерживает в человеке способность быть мужчиной. В королевской резиденции вокруг него порхали бы легконогие слуги, он спал бы с теплобрюхими женщинами, забывался бы на их чреслах, он, как паша, мог бы купаться в приправленных ароматами водах. Но он мылся в лагере, натирал тело докрасна щеткой, брился старинной германской бритвой, которую вез в кармане от Вейдендаммербрюкке до пустыни, и чувствовал себя отлично. Он думал: щетина, как у кабана. У него был тонкий слух. Он слышал шорох мужских тел, плеск воды, звяканье ковшей, свистки, непристойности,

ругань, команду, шарканье сапог, хлопанье двери. Он вдыхал казарменный дух, в котором был запах плена и рабства, смазанных ремней, ружейного масла, едкого мыла, приторной помады, кислого пота, кофе, перегретой алюминиевой посуды, мочи. Это был запах страха, но Юдеян не знал, что это запах страха. Ведь он не ведал страха. Он хвастался перед своим отражением в зеркале — голый, толстопузый, стоял перед загаженным мухами зеркалом. Потом затянулся ремнем. В этом он был последователем старой школы. Кроме того, пояс поджимал живот, и при этом зад выступал — фокус всех старых генералов. Одевшись, Юдеян вышел в коридор. Люди вытягивались вдоль стен, распластывались на них, покорные тени. Он их не видел. Он стремился на воздух. Солнце было кроваво-красное, оно парило, точно его несла пылевая буря. Юдеян шел мимо выстроившихся солдат. Буря трепала его мундир цвета хаки. Песок резал тело, будто стеклянными осколками, и бил по танкам, точно град. Юдеяна веселило это зрелище. Парад сыновей пустыни! Он посмотрел на них. Увидел миндалевидные глаза, темные, блестящие, обманчивые, увидел коричневую кожу, опаленные солнцем мавританские лица, семитские носы. Это его солдаты! Его солдаты мертвы. Они лежат в траве и в снегу, среди песка и камней, они заснули вечным сном за полярным кругом, во Франции, в Италии, на Крите, на Кавказе, а некоторых просто зарыли под тюремным двором. Его солдаты! Теперь его солдаты — вот эти. Юдеян не чувствовал иронии судьбы. Он шел твердым шагом принимающего парад, строго и прямо смотрел в миндалевидные глаза, блестящие, обманчивые, мечтательные. Юдеян не видел упрека в этих глазах. Он не читал в них обвинений. Юдеян отнял у этих людей их кротость, кротость первозданности. Он отнял у них гордость, врожденное чувство собственного достоинства, жившее в этих сынах гаремов. Он сломил их, научил одному: повиноваться. Он хорошо их вымуштровал, тоже по старинке. И вот они стояли прямо и ровно, словно оловянные солдатики, и душа их была мертва. Они стали солдатами. Они стали человеческим материалом. Это было готовое пополнение, пушечное мясо. Юдеян не бездельничал. Он не обманул своих хозяев. Где бы он ни командовал — возрождалась былая прусская слава, и куда бы ни приезжал он — всюду была для него великая Германия. Песок пустыни казался ему все еще песком германских земель. Пусть Юдеян изгнан, но его корни целы: свою Германию, которая когда-нибудь еще оздоровит мир, он носит в сердце. Флагшток вздымался среди бури, он одиноко вздымался к солнцу, затуманенному песком, вздымался одиноко и высоко в безбожное Ничто. Раздалась команда. Слова подстегнули солдат, как электрический ток. Они вытянулись еще напряженнее, и флаг взвился! Какой великолепный символ бессмыслицы! На зеленом поле алела утренняя звезда. Здесь можно было еще сбывать залежавшиеся товары: призрак националистического государства, верность ему и идею вражды к иноплеменным,— сбывать этим братьям, из которых всегда можно извлечь пользу, им Юдеян обязан тем, что у него сегодня опять есть деньги, почет, положение.

Напрасно он надел темный костюм. Юдеян выглядел в нем как разжиревший конфирмант, и его бесила мысль о том, что папаша, школьный учитель, некогда заставил его идти к алтарю господню именно в таком мещанском одеянии. Это произошло в тысяча девятьсот пятнадцатом году, он стремился на фронт, прочь от школы, но ему, маленькому Готлибу, отказали, и вот он отомстил, так и не кончил школы: в тысяча девятьсот семнадцатом ему швырнули вслед его notabitur *, и он попал на офицерские курсы, а не на фронт, потом стал лейтенантом, тоже не на фронте, однако пули все же свистели вокруг Юдеяна — это были вре-

* Аттестат *(лат.)*.

мена добровольческих корпусов, сражений при Аннаберге, боев со спартаковцами, времена Капповского путча, боев в Руре и, наконец, тайных патрулей; они действовали в лесах, исполняли приговоры Фемы и стреляли людям в затылок. Таким был «богемный» период его жизни, его молодость, а как поется в песне, молодость прекрасна и она не возвратится. На службе у Гитлера Юдеян обуржуазился, преуспел, нагулял жиру, получил высокие звания, сочетался браком и тем самым породнился с «мартовской фиалкой» * — с соратником по Капповскому путчу, с корыстолюбцем, карьеристом и подхалимом, с обер-президентом и обер-бургомистром, с распорядителем финансов фюрера и участником нацистской говорильни; а теперь свояк его опять на коне, отец города, снова избран народом, само собой разумеется, согласно строго демократическим принципам; он породнился с Фридрихом-Вильгельмом Пфафратом, хотя считал его последним дерьмом; именно ему Юдеян в минуту слабости сообщил в письменной форме, что пусть, дескать, не льют о нем слезы, он снова в седле, а затем дал согласие на это идиотское свидание в Риме.

Свояк ответил, что все уладит. Но что именно? Возврат на родину? Искупление? Помилование? И в результате какое-нибудь местечко? Этот Пфафрат ужасно задается! Да и хочет ли Юдеян возвращаться? Нужна ли ему эта видимость искупления, эта свобода, которую даст помилование? Он и сейчас свободен. Вот список его дел. Нужно закупить танки, пушки, самолеты, остатки вооружения — все эти машины, уже устаревшие для грядущей великой бойни, но еще вполне пригодные для малой войны в пустыне, для путчей и мятежей. У Юдеяна были кредиты в банках, он был наделен полномочиями. Ему предстояло иметь дело с торгующими оружием спекулянтами обоих полушарий. Предстояло вербовать старых соратников. Словом, он был в самой гуще игры. И это занимало его. А тут к нему лезут с семьей! Дерьмо этакое! Надо быть жестким! Все же Ева осталась верна ему, истинно германская женщина, образец жены, ради которой они якобы жили и умирали; впрочем, они иногда даже верили в это. И он боялся. Он боялся Евы, ненакрашенной, с простым узлом волос, боялся этой истинной немки, верующей в конечную победу; разумеется, у нее все в порядке, но его ничто не влекло к ней. Кроме того, она, наверно, совсем измотана. Ну а сын? Чудак и путаник. Что крылось за его непостижимым маскарадом? В письмах попадались намеки на какие-то перемены, но уловить, о чем идет речь, ему не удалось. Он разложил перед собой карту Рима, словно это была карта генштаба. Ему надо пройти всю виа Людовизи, потом спуститься на площадь Испании по лестнице, с вершины которой он мог бы, имея одно орудие, господствовать над всем городом, да, а потом свернуть на виа Кондотти, где находится эта мещанская гостиница, куда они все запрятались и где поджидают его.

Разумеется, им кажется, что и ему следовало бы там жить, в этом отеле, облюбованном немцами, как выражались гиды, в отечественной тесноте и семейном чаду; и Фридрих-Вильгельм Пфафрат, вечно благоразумный сторонник благоразумных и осуществимых национальных притязаний, Пфафрат, который опять превозмог все трудности и, вероятно, воображал себя умнейшим, ибо снова заполучил тепленькое местечко и был готов к новому подъему Германии, Пфафрат, обербургомистр и уважаемый бюргер Федеративной Республики, хотел принять под свой кров и защиту Юдеяна, его, гонимого, как, должно быть, воображал Пфафрат, его, бездомного, и прижать к своей груди, решительно простив содеянное, анкетный страх и грязное белье нацистской говорильни. Но не дождаться ему этого, для такой идиллии Юдеян

* Намек на Капповский путч, организованный в марте 1920 г.

слишком далеко зашел. Юдеян был мертв или считался мертвым, одним из обломков старого Берлина; пропавший без вести, при великой чистке он был осужден в Нюрнберге in contumaciam *, разумеется, не без колебаний, ибо высокий суд, взявший на себя право решать людские судьбы и отношения, а также управлять не зависящим от человека слепым движением истории, сам блуждал, спотыкаясь, в лабиринте истории и был не богиней правосудия с завязанными глазами, а безумицей, игравшей в жмурки, потому что, осуществляя право, хоть и не получив на это права, она сама пошла на поводу, попалась и потонула в трясине аморальных деяний; высокий суд не нашел ни одного свидетеля смерти Юдеяна и ни одного свидетеля его продолжающегося земного существования, поэтому высокий судья сломал меч над головой Юдеяна, объявленного перед всем светом чудовищем, и заботливо вытянул жребий смерти на случай, если злодей где-нибудь еще дышит в потайности, причем, как уже было сказано, вынес свой приговор заочно; это было умно и удачно, ибо отверженный умно и удачно избежал петли, с которой в те дни обращались слишком вольно и поспешно; и оказалось, что, не повесив Юдеяна, суд в конце концов умно и удачно избежал ошибки: Юдеян, в качестве устрашающего пугала, был признан годным к дальнейшему употреблению, ведь война — свирепое ремесло. Вероятно, обер-бургомистр прибыл в Рим в собственной машине, у него хватило денег на «мерседес», а может быть, и город предоставил ему автомобиль, чтобы прокатиться в Италию, землю обетованную, куда так стремились немцы; так или иначе, Пфафрат, немец, держал в книжном шкафу переплетенного в кожу Гёте и «Разъяснения к налоговому положению», стоявшие рядом с веймарцем, сомнительным малым — разве из Веймара может выйти что-либо путное? — и читал их весьма внимательно, а Юдеяна сердило, что свояк опять благополучно здравствует: он же изменил, подло изменил, негодяю следовало бы подохнуть. И Юдеян тоже мог щегольнуть машиной, нет, ему незачем было ходить пешком, он ходил только по своей доброй воле — просто захотелось отправиться туда, в буржуазную жизнь, пешком, как паломнику. В данном случае это казалось ему уместным, в соответствии с ситуацией и с этим городом, ему хотелось выиграть время, а ведь всюду говорилось о том, что Рим, где обосновались попы — улицы так и кишели сутанами,— что Рим — прекрасный город, так мог же и Юдеян позволить себе разок посмотреть на него, до сих пор это ему не удавалось, он здесь только представительствовал, он здесь только приказывал, только свирепствовал, а теперь он может проследовать через Рим пешком, может вкусить дары этого города: климат, исторические памятники, изысканных проституток, роскошный стол. Зачем ему отказывать себе в этом? Он долго находился в пустыне, а Рим еще цел, он не лежит в развалинах. Рим называют вечным. Положим, все это бредни попов да ученых — тут Юдеян показал свое лицо убийцы: он-то знает лучше. Сколько городов у него на глазах исчезло с лица земли!

Она ждала. Она ждала в одиночестве. Никто не помогал ей ждать, не сокращал беседой время ожидания, да она и не хотела, чтобы ей сократили ожидание, не хотела, чтобы о ней заботились, ибо только она одна скорбела душой и носила траур; даже Анна, ее сестра, не понимала, что Ева Юдеян оплакивает не утраченное состояние, положение и почет, и во всяком случае не скорбь о Юдеяне, которого она уже видела в Валгалле среди героев, павших в бою, покрывала смертельной бледностью ее щеки — она скорбела о великой Германии, она

* Заочно *(лат.)*.

оплакивала фюрера, оплакивала германскую идею осчастливленного человечества и сокрушенную изменой, вероломством и противоестественным союзом тысячелетнюю Третью империю.

В коридорах и на лестницах слышался смех из ресторанного зала, а со двора в окно ее комнаты вместе с кухонным чадом врывался мотив американского фокстрота, который напевал поваренок итальянец; но до нее не доходили ни смех, ни задорная негритянская мелодия, как бы озаренная итальянским бельканто; в траурном одеянии стояла она посреди комнаты-клетки, посреди этой тюрьмы из камня, безумия, отчужденности и безвозвратно уходящего времени, стояла, охваченная звериной злобой, вынашивая мщение; ее рассудок был помрачен мифом, мифом лживым и вымудренным, возникшим из древнего страха перед бытием, подлинным мифом про оборону и оборотня; тронутые сединой поблекшие волосы соломенного цвета выглядели как сноп пшеницы, забытый в поле испуганными батраками, разбежавшимися при первых ударах грома, волосы эти, строго собранные в узел, обрамляли вытянутое бледное лицо, лицо-треугольник, лицо-скорбь, лицо-ужас, лицо-череп, высохшее и выжженное лицо мертвеца, подобное той эмблеме, которую Юдеян носил на форменной фуражке; Ева казалась призраком, нет, не греческой Эвменидой, а нордическим призраком, сотканным из тумана,— призраком, который какой-то сумасшедший привез в Рим и запер в номере гостиницы.

Комната, где она остановилась, была маленькая, самая дешевая в отеле—Ева так сама пожелала; а ее зять Фридрих-Вильгельм, не хотевший признать, что именно ей предназначено смыть позор с Германии,— он ради нее предпринял поездку в Италию, так уверяла и сестра Анна,— этот Фридрих-Вильгельм Пфафрат дружелюбно похлопал ее по спине и сказал: «Не горюй, Ева, разумеется, мы выручим нашего Готлиба»,— и она отпрянула и закусила губу до крови; он сказал «Готлиб», раньше он никогда бы этого не посмел: разве не подлая измена называть Готлибом, называть «угодным богу» штандартенфюрера, эсэсовского генерала и одного из чинов безбожной нацистской партии? Юдеян ненавидел свое имя, эту поповскую слизь, навязанную ему отцом, школьным учителем, он не хотел быть Готлибом, не хотел быть угодным богу, и он приказал родным и друзьям называть его Гёцем, а деловые и официальные бумаги подписывал Г. Юдеян; Гёц — было имя производное, вольно образованное из Готлиба и напоминавшее о буйных днях, о диком разгуле добровольческого корпуса, но Фридрих-Вильгельм — человек корректный, хранивший в своем шкафу собрание сочинений Гёте в кожаном переплете, считал имя Гёц неподходящим, правда, подлинно немецким и ядреным, но все же напоминающим слишком известную, слишком вольную цитату; кроме того, это было присвоенное, оккупированное имя, а нужно, чтобы каждого звали так, как окрестили, поэтому теперь, когда он считал себя более сильным и мог себе это позволить, он снова называл Юдеяна Готлибом, хотя и сам находил такое имя смешным и нелепым для настоящего мужчины.

Она была вся в черном, в черном платье ходила она от окна к зеркалу, висевшему над умывальником, ходила взад и вперед, как по тюремной камере,— так мечется пойманный, но не укрощенный зверь; все эти годы она носила траур, только в лагере предварительного заключения она была не в трауре — ее задержали в дорожном костюме, но когда выпустили, она согласилась взять у сестры черное платье, так как вся ее одежда пропала, шкафы были разграблены, а дома, принадлежавшие Юдеяну, у нее отобрали. И даже когда пришла весточка от того, кого она считала погибшим, Ева, к удивлению всего семейства Пфафратов, не сняла траура — ведь не супруга оплакивала она, не павшего героя, то, что он жив, только углубило ее скорбь, он спросит ее о сыне,

а она не уберегла его, но, может быть, и сам Юдеян уже вымолил прощение и вновь преуспевает? Она не обижалась на него за то, что он спал с другими женщинами, этим он всегда грешил и всегда ей все рассказывал — уж такова жизнь солдата, и если от него рождались дети, это были дети воина, представители высшей расы, подрастающая смена для штурмовых отрядов и верноподданные фюрера; но Еву тревожило то, что Юдеян скрывается где-то на Ближнем Востоке, ей чудилось, будто он стал на путь предательства и изменяет чистоте расы, чистоте крови в этом мягком коварном климате, в благоухающей розами темноте гаремов, в пропахших чесноком конурах, с негритянками и еврейками, которые только и ждут этого часа, чтобы отомстить, и алчно жаждут германского семени. Ева готова была снарядить целое войско, чтобы доставить в Германию всех внебрачных детей Юдеяна, и тут можно было бы установить чистоту их крови: немцы пусть живут, метисы должны умереть.

Внизу во дворе поваренок пронзительно насвистывал какую-то негритянскую песенку, звучавшую дерзко и насмешливо, а жирный добродушный смех из ресторанного зала разносился по лестницам и коридорам, порой переходя в кудахтанье и гоготанье. Обер-бургомистр Фридрих-Вильгельм Пфафрат сидел с Анной, своей супругой, и младшим сыном Дитрихом в салоне отеля, облюбованного немецкими туристами, семейство установило уже контакт с другими приезжими, это были их земляки, люди тех же общественных кругов и тех же взглядов, они тоже тряслись когда-то от страха, но теперь уже обо всем позабыли, как и Пфафраты,— теперь у них опять были автомобили, обычные и даже роскошные, они возродились к жизни благодаря немецкой деловитости и были всюду желанными гостями, так как расплачивались валютой; вся эта компания уютно беседовала, потягивая сладкий вермут, а на столах лежали путеводители и дорожные карты Италии — обсуждались экскурсионные маршруты: хорошо бы поехать в Тиволи и Фраскати, взглянуть на восстановленный монастырь Кассино, ведь уже разрешено осматривать места кровавых сражений, а этим людям поле боя теперь не внушало ужаса, кто-нибудь из них непременно поискал бы знакомые места, а найдя, воскликнул бы: «Вот тут стояла наша батарея, мы здорово поливали их сверху, а здесь мы окопались и удержали позиции»,— и тогда всем стало бы ясно, какой он молодец; он же с почтением — ибо сам восторгался бы собой, честным воином и, так сказать, спортсменом-убийцей,— принялся бы рассказывать об английских и американских солдатах и, возможно, даже о польских легионерах армии Андерса, впрочем, последнее вряд ли: поляк это в конце концов только поляк; а на братском кладбище можно было бы полностью отдаться чувству благоговейного восхищения собою и мертвецами. Ведь мертвецы не станут смеяться, они мертвы, а может быть, у них нет времени, и им безразлично, кто из живых приходит на их могилы; они находятся в стадии превращения, они поднимаются над жизнью, замаранные, отягощенные виной, иногда даже и не своей, они восходят к круговороту новых рождений, для нового искупления, для новой вины, для нового бесцельного существования.

Фридрих-Вильгельм Пфафрат считал неприличным, что Юдеян заставляет себя ждать. Но, может быть, он еще не приехал в Рим, может быть, у него были затруднения в пути, какие-нибудь неприятности с паспортом, все же его положение довольно щекотливое и необходима осторожность. Не следовало действовать слишком поспешно, но теперь, когда Юдеян столь неожиданно оказался в живых, Пфафрат решил, что настало время потихоньку замять его дело, разумеется, без всякого шума и скандала — еще скомпрометируешь себя: какой-нибудь тип

без роду, без племени может поднять шум. Правда, время виселиц раз и навсегда миновало, по крайней мере у них, в Западной Германии, американцы образумились, трезво оценивают обстановку и возможность использовать немцев, а все эти мстительные чувства и свирепые приговоры давно вышли из моды, признаны неразумными и бестактными. Рузвельт умер, к тому же есть подозрение, что он сотрудничал с коммунистами. А что такое Моргентау? Презренный еврей! Тот, кто выжил, хочет жить. Для Юдеяна, вероятно, найдется местечко в сельскохозяйственном союзе, а там видно будет. И Ева бросила бы наконец свои фантазии; он, Фридрих-Вильгельм Пфафрат,— убежденный националист, но нельзя же отрицать, что немцы немного просчитались, это надо признать и все начинать сызнова. Пруссия буквально изголодалась по величию. Да, пожалуй, и вся остальная страна. И разве они уже не преуспели? Разумеется, о голоде нет и речи, это только образное выражение, поучительная легенда о минувшем времени, полном гордо преодоленных лишений, ведь сам по себе голод — только урчание пустых желудков после войн, проигранных вследствие измены, и об этом лучше не вспоминать, но благополучие, которое уже дается в руки и вовсе не является легендой,— вот о чем следует помнить, вот что следует ценить; в конце концов упрочившееся состояние убедит, может быть, и сыновей, этих бедных заблудших овечек, бежавших от беспорядка, который был, к счастью, преодолен, убедит настолько, что они вернутся и снова заживут обычаями своих отцов.

Германская федерация, бесспорно, пострадала от демократических послаблений, и первое время, видимо, вряд ли что-нибудь удастся изменить, но в общем в оккупированной стране царит порядок, и все уже подготовлено, чтобы крепче натянуть поводья; скоро откроются дальнейшие перспективы, недурные перспективы, в хорошем свете предстанет и прошлое Пфафрата, оно рекомендует его с лучшей стороны, а что касается сыновей, то их безрассудства, склонности к чрезмерному преувеличению и так называемым «угрызениям совести» — это явления временные, болезнь эпохи, которая пройдет, как проходит затянувшийся период полового созревания. Фридрих-Вильгельм Пфафрат думал при этом не столько о своем племяннике Адольфе Юдеяне, сколько о Зигфриде, старшем сыне, покинувшем его; что касается Дитриха — его младшего отпрыска,— то он им доволен: мальчик воспитан в старогерманском духе, вступил в студенческую корпорацию, в которой когда-то состоял отец, усвоил студенческие обычаи, приобрел полезные связи, готовится к экзамену на юридическое звание и радуется предстоящему посещению поля битвы под Кассино, как и полагается молодому человеку его возраста, Зигфрид же выбился из общей колеи. Черт с ним, пусть будет капельмейстером, ведь и в музыкальном мире есть должности с высоким окладом. Фридрих-Вильгельм Пфафрат был человеком хорошо осведомленным, он знал, что Зигфрид находится сейчас в Риме. Он увидел в этом благоприятное предзнаменование, возможность добиться откровенного разговора и примирения. Конечно, это будет нелегко: Зигфрид как будто еще не выбрался из болота своих нелепых взглядов, разумеется, говоря образно, а программа музыкального конкурса возвещает сюрреализм, культур-большевизм и какофонию на негритянский манер. Неужели мальчик так слеп? Может быть, теперь делают карьеру именно таким способом? Ведь евреи снова засели повсюду и распределяют славу и премии. Пфафрат узнал из афиш, что дирижировать будет Кюренберг, и вспомнил его.

— Ты помнишь Кюренберга? — спросил он жену.— В тридцать четвертом он был у нас главным дирижером, его еще потом пригласили в Берлин?

— Он ведь женился на еврейке, дочке Ауфхойзера,— сказала Анна.

— Ну да, поэтому его и взяли в Берлин, да и мы не могли больше держать его.— И почему-то Пфафрату представилось, что он, как обер-президент провинции — тогда еще гаулейтеры не захватили в руки всю власть — поддерживал Кюренберга, и это его сейчас порадовало, ибо естественно было предположить, что Кюренберг с благодарностью вспомнит об отце, исполняя произведения сына. Но...

А Ева там, наверху, в своей комнате-клетке прислушивалась, не идет ли мститель.

Дверь завертелась, это рука портье, рука в белой перчатке, рука лакея, рука палача, рука смерти привела в движение карусель, регулирующую вход и выход, рука весьма почтительного, весьма преданного слуги, готовая в любой момент схватить чаевые, рука толкнула дверь, Юдеян почувствовал, что его вышвырнули из отеля, лишили безопасности, которую давали деньги и положение, вытолкнули из-под укрытия власти, правда, на сей раз это была власть, взятая напрокат у чужой страны и даже у чужой расы, у загадочной восточной страны, но все же страны с государственной властью, с государственным суверенитетом и флагом,— и вот его вытолкнули, и он сразу стал беспомощным. Впервые за много лет Юдеян очутился в роли простого смертного среди смертных: в гражданской одежде, без охраны, без защиты, без оружия — просто плечистый пожилой господин в темном костюме. Он терялся оттого, что никто не обращает на него внимания. Прохожие касались его, задевали, толкали, бегло бросая равнодушное «пардон». Это Юдеяну-то пардон? Он сделал несколько шагов наугад. Никто не соблюдал почтительной дистанции. Юдеян мог бы вернуться в отель, он мог бы позвонить в дипломатическую миссию своего нового шефа, и ему тотчас прислали бы автомобиль с арабскими буквами. Достаточно было кивнуть портье, этому белоперчаточнику, и тот, всегда готовый к услугам, вызвал бы ему такси, пронзительно свистнув в маленький свисток. А прежде все они стояли шпалерами! Две шеренги людей в черных мундирах. Двадцать автоматов, машина с охраной впереди него, машина с охраной позади. Но сейчас ему хотелось пройтись пешком. Наверно, он уже лет тридцать не ходил пешком по городу. Когда Берлин был огненным адом и весь мир гнался за Юдеяном, ему пришлось бежать бегом, ползти среди пыли, перелезать через трупы, на четвереньках пробираться между развалинами, и лишь после этого он спасся. Каким образом? Благодаря случаю или, как сказал бы фюрер, благодаря воле провидения — поверженный, облитый бензином, испепеленный и все же не поверженный окончательно, ибо уже намечалось воскрешение нацистского духа; значит, все-таки провидение спасло Юдеяна и привело его в эту хваленую страну, но не к евреям, а к другим смуглым собратьям. Юдеян и там не ходил пешком, разве что иногда, тяжело топая, прохаживался по учебному плацу в пустыне.

Он оступился, старый храбрец, и чуть не упал, но рядом была решетка, за которую можно было ухватиться. Прутья из кованого железа торчали, точно длинные копья,— символ власти, богатства и холодной отчужденности. Просторный лимузин, чуть шурша по гравию, остановился у подъезда, и Юдеян вспомнил: ведь он когда-то тоже подъезжал к этому зданию, только с бóльшей лихостью и шумом, но именно сюда, к нему. Табличка у входа разъясняла, что здесь посольство США. Разумеется, Юдеян не наносил визита американцам, они его не приглашали, да их и след простыл, когда он попал в этот дом, наверняка в этот: здесь готовились широкие фашистские операции, очень широкие операции, но и они все-таки не были достаточно радикальными. Что представлял собой знаменитый дуче? Плод сентиментальной снисходи-

тельности фюрера. Южане вообще вызывали у Юдеяна отвращение. Они вызывали у него особое отвращение. Он вышел на виа Венето. Вот и их маленькие кафе, все они сидят тут, нет, не только презренные южане, но и жители других стран сидят здесь, рядышком, как некогда на Курфюрстендамме, они играют в Мир на земле и несут всяческий вздор; вот они — эти люди без роду, без племени, лишившиеся корней, утерявшие связь с нацией, эти искатели золотых россыпей, они проживают здесь, в Риме, беспокойно снуют взад и вперед в поисках добычи, вот они, эти хищники, ускользнувшие в свое время от германской дисциплины и порядка. Слышалась главным образом английская речь: здесь преобладали американцы, наследники этой войны; однако говорили также на итальянском, французском и на других языках, иногда даже по-немецки, правда, очень редко: немцы старались втереться в доверие в других местах. И всюду, думал Юдеян, грязный сброд, торгаши и их прихвостни. Брань, отвратительная, как позеленевшая желчь, застревала у него в зубах. Ни на ком нет мундиров, никто не носит знаков отличия на лацканах пиджаков — жалкий мир без рангов, без почестей; и только кое-где мелькнет ярким пятном обшитая галунами шутовская куртка посыльного из гастрономического магазина. Но что это за люди в пурпурных одеяниях? Что за отряд продвигается по улице, где живут тунеядцы всего мира, словно желая взять штурмом эту твердыню бездельников и дармоедов? Может быть, ярко-алое войско — символ могущества, символ власти, или эта красно-золотая орда — юная гвардия, орущая Джовинеца *, пришедшая, чтобы смести все вокруг? Нет, это лишь обман и насмешка над Юдеяном — ярко-красные мантии болтались на тощих фигурах молодых священников. И войско в ярко-алых мантиях вовсе не наступало, оно в беспорядке спешило своей дорогой,— Юдеяну казалось теперь, что эти юнцы не идут, а по-бабьи жалко семенят, ибо он не знал, как стойко и мужественно умирали священники во времена фашистской диктатуры, когда он был у власти; к своему счастью, он не знал также, что эти ярко-алые были немецкими семинаристами, иначе эта встреча расстроила бы его еще сильнее.

На виа Венето правили деньги. Но разве не было у Юдеяна денег, разве не мог и он козырнуть, купить то, что покупают другие? Перед каким-то баром стояли желтые, на вид весьма непрочные стулья, они выглядели нелепо, точно сделанные совсем не для сидения, и напоминали стайку взволнованных канареек — кажется, так и слышишь их щебетанье. Юдеян почувствовал, что бар манит его, в эти часы он почему-то пустовал. Но Юдеян пренебрег шаткими стульями, не расположился на открытом воздухе, а вошел в распахнутые на улицу двери зала, направился к стойке, оперся на нее и заказал пива; почему-то он чувствовал себя утомленным, наверно, дело в здешнем климате, от него такая вялость.

Красавец в лиловом фраке объяснил ему знаками, что если он хочет пить пиво стоя, то нужно выбить в кассе чек. За кассой сидела Лаура и улыбалась. На всю улицу славилась она своей прелестной улыбкой, владелец заведения держал ее именно ради этой улыбки, которая озаряла его заведение, придавая ему какую-то особую приветливость, и делала кассу источником благоденствия, хотя сама Лаура была глупа и считать не умела. Но что за беда? Никто Лауру не обманывал, ибо даже гомосексуалистам, посещавшим этот бар в ночные часы или под вечер в воскресенье, казалось, что тихая улыбка Лауры дарит им какую-то радость. Произвела эта улыбка впечатление и на Юдеяна. Но бесчеловечность делала его слепым. И он не понял, что перед

* Гимн фашистской молодежи во времена диктатуры Муссолини.

ним дитя, расточавшее все лучшее, что у него есть, не требуя вознаграждения. Он же подумал про себя: красивая шлюха. Он увидел черные, словно лакированные, волосы, кукольное лицо, оживлявшееся только улыбкой, увидел пунцовый рот, пунцовые ногти, ему захотелось купить ее, а ведь на этой улице богатства и роскоши и вести себя надо как покупатель, если не хочешь, чтобы тебя приняли за раба. Но через миг он опять почувствовал какую-то беспомощность и неловкость, он не знал, как держать себя с ней, как объяснить свое намерение, ведь он не в мундире, девушка не боится его, и простого кивка тут мало. Он готов хорошо заплатить, а в лирах любая сумма кажется огромной. Обратиться к ней по-немецки? Она его не поймет. По-итальянски Юдеян не говорил. Английскому он немного научился. И он всего-навсего потребовал по-английски вместо пива виски, большой бокал. Лаура, бездумно улыбаясь, протянула ему чек и столь же бездумно указала на Юдеяна красавцу в лиловом фраке.

— Дайте большую порцию виски, Джордж.

— Со льдом?

— Нет.

— С содой?

— Нет.

Беседа была немногословной. Юдеян проглотил виски. Он злился. Он умел только приказывать. Даже для шлюхи не мог он найти нескольких приветливых слов. А вдруг она еврейка? В этой чужой стране их не сразу распознаешь. Он опять почувствовал себя маленьким Готлибом, сыном школьного учителя,— ему снова предстоит учиться, и, как в гимназии, он опять в числе неуспевающих. И вот он стоит здесь, как стоял некогда в перешитом и перелицованном костюме отца среди более богатых мальчиков, носивших матросские костюмы. Не выпить ли еще виски? Мужчины обычно пьют виски. Знатные и богатые лорды безмолвно пили виски, они были пьяницами и проиграли войну. Юдеян отказался от второй порции, хотя ему очень хотелось выпить,— вдруг красавец за стойкой и красавица за кассой станут смеяться над немым гостем? А у скольких людей навсегда пропадала охота смеяться при виде этого немого гостя? Вот о чем позвольте вас спросить! Юдеян взял на заметку этот бар. «Я еще заполучу тебя»,— решил он.

Лаура продолжала расточать свою прелестную улыбку его широкой спине. Ничто не подсказывало ей, что это убийца. Она думала — если вообще умела думать, скорее всего это было ей недоступно, вместо мышления она предавалась вегетативным грезам,— что он, должно быть, отец семейства, здесь по делам, не важничает, случайный клиент, попал к ним мимоходом, импонирует своими темными очками, считает, что у нас в эти часы скучновато, больше не придет. А если бы он опять пришел, и она заметила бы, что он пришел ради нее, она нашла бы его довольно симпатичным, несмотря на темные очки,— гомосексуалисты, торчавшие здесь по вечерам, ужасно надоели Лауре, и она готова была отнестись с доверием к каждому мужчине, от которого пахло настоящим мужчиной, хотя ничего не имела и против гомосексуалистов, ибо этой клиентурой и кормилась. Юдеян, наконец, все же отправился к родичам, они ждали его с нетерпением, так как очень хотели снова заполучить своего героя, восставшего из мертвых. Он бросил взгляд на план города, который всегда носил при себе, и быстро сориентировался, это он умел — в лесах, болотах и пустынях Юдеян не мог заблудиться. Не растеряется он и в городских джунглях. И вот он зашагал по виа ди Порта Пинчана, вдоль высокой старой ограды, за которой, видимо, тянулся большой, красивый и тенистый сад, наверно, принадлежавший какому-нибудь аристократу из королевской клики, предавшей дуче. Воздух был теплый, и пахло дождем. Порыв ветра закрутил пыль и

подстегнул Юдеяна, словно электрический душ. Садовая ограда вся облеплена плакатами. Объявлен очередной призыв в армию. Всяким малодушным хлюпикам это только полезно. Об оружии для них позаботится дядя Сэм. Но немецкие инструкторы им необходимы. Без немецких инструкторов каждый истраченный доллар выброшен псу под хвост. Или дядя Сэм разучился считать? Красный плакат коммунистической партии пылал как факел. Юдеян вспомнил ночь, когда пламя охватило рейхстаг. Какой тогда царил подъем! Наконец-то! Началась новая эпоха! Эпоха без Гёте! Чего же хочет русско-римская коммуна? Юдеян не мог прочесть текст плаката. Да и зачем ему читать? Он — за расстрелы. Вот к этой стенке их и надо ставить. В Лихтерфельде их расстреливали. Не только ротфронтовцев, там у стенки стояли и другие. Юдеян для забавы тоже стрелял в них. Кто сказал, что люди — братья? Хлюпики, которые просто хотят что-нибудь получить! А что, если бы дело дошло до более широкого пакта, если б мы тогда заключили более тесный союз с Москвой? В Москве-то сидят не хлюпики! Что, если бы более сильные столковались между собой? От этих мыслей у Юдеяна просто голова пошла кругом. Какие возможности упущены! Впрочем, так ли уж окончательно они упущены? Может быть, в одно прекрасное утро мы снова энергично провозгласим: «Весь мир будет нашим»? На воскресенье опять назначены какие-то гонки Рим — Неаполь, Неаполь — Рим. Бои гладиаторов для слабонервных. Германцы умели драться в цирке против диких зверей. Но германцы были слишком добродушны, и их перехитрили. На белом листе с черным крестом был написан церковный указ. Церковь всегда побеждала. Священники всегда предусмотрительно оставались в тени. Пусть другие таскают каштаны из огня. А после войн они создавали свои партии. Грабители! Иезуиты, изучившие джиу-джитсу! Зеленые акции. «Олио Сассо». Все дело, видимо, в нефти. Война? Мобилизация? Пока нет. И не так скоро. Никто не решается. Только маленькие эксперименты на опытных полях, в пустыне, в джунглях, в отдаленных районах земного шара. То же происходило в Испании. На первом этаже шикарного доходного дома расположился койот и манил к себе. Койот — это волк прерий; Юдеян вспомнил приключенческие романы Карла Мая. В Риме койотом был «Американ бар». Его двери блистали начищенной медью, он казался дорогим и аристократическим. У Юдеяна много денег, но он не решился войти в бар. Юдеяну хотелось пить, но он не доверял койоту.

Ему мешал маленький Готлиб, и только мундир мог одолеть в нем маленького Готлиба. Юдеян проследовал дальше. Он увидел фиа четтерио*. Там грудами лежали обернутые соломой винные бутылки, пол был мокрый от вина. Здесь пил народ. Народа бояться нечего. Народ можно направлять. С народом не нужно говорить. Народ приносят в жертву. Фюрер стоял выше народа. Юдеян спросил себе кьянти. Он залпом выпил стакан. Вино подкрепило его. Он спросил второй. Вкус вина ему не нравился, но оно бодрило. Твердым шагом дошел он до знаменитой площади перед церковью Тринита дель Монти. У этой церкви были две островерхие башни. На церковных ступенях стояли монахини из монастыря Святого сердца. У Юдеяна вызывали отвращение их длинные одежды, их накидки, их чепцы. Ведьмы!

У его ног начиналась лестница на площади Испании, внизу лежал Рим, а на заднем плане вздымался мощный купол св. Петра — исконный враг. Он не был разбит. Никто не был разбит. Партия нацистов — в результате предательства — обремизилась. У фюрера были на руках все козыри, но злые гномы выхватили их, приказы не исполнялись — только Юдеян выполнял любой приказ. Он всегда все доводил до конца. Всюду

* Винный погребок *(итал.)*.

ли он доводил все до конца? Увы, нет. Видимо, почти нигде. У гидры оказалось не семь голов. У нее миллионы голов. И готовности одного Юдеяна не могло хватить. Поэтому он вернулся с войны не победителем, а нищим, безымянным. Он невольно уцепился за перила. Пальцы впились в искрошенный камень. От боли все внутри переворачивалось. Рим поплыл у него перед глазами, точно это было море, точно камни растворились, купол св. Петра закачался, как рыбий пузырь на этих бурных волнах. Грудь Юдеяна сотрясалась от рыданий. Старая дама аристократического вида, с голубым отливом в седых волосах, помахивала зонтиком над вечным городом, над развертывающейся его панорамой. Старая дама воскликнула: «Isn't it wonderful?» *

С левой башни Тринита дель Монти донесся благовест. Юдеян стал спускаться. Он стал спускаться по лестнице на площади Испании, прошел через живописную Италию, мимо праздного народа, который тут же, на ступеньках, сидел, лежал, храпел, играл, читал, учился, веселился, ссорился, обнимался. Мальчик предложил Юдеяну маис, поджаренные желтые зерна. Он протянул этому иностранцу, этому варвару с севера остроконечный фунтик, сказал вкрадчивым голосом «cento lire» **, но Юдеян оттолкнул фунтик, зерна маиса покатились по ступеням, и Юдеян растоптал их. Это вышло нечаянно. Из-за его неуклюжести. Ему хотелось высечь мальчишку.

Он перешел через площадь и, задыхаясь, добрался до виа Кондотти. Тротуар был очень узок. Люди теснились на этой оживленной торговой улице, толкались у витрин, толкали друг друга. Юдеян тоже толкался, и его толкали. Он был поражен. Он дивился, что никто не уступает ему дороги, никто не хочет пропустить его вперед. Он был поражен тем, что его толкают.

Юдеян искал нужный ему переулок, искал по плану, но действительно ли он искал его? Годы, прожитые на краю пустыни, теперь казались ему проведенными под наркозом, он тогда не испытывал никакой боли, а теперь ему тошно, он чувствовал боль и жар, ощущал шрамы от ударов, превративших его жизнь просто в обрубок, шрамы от ударов, которые отсекли от этого обрубка всю огромную полноту его былой власти. Кто он теперь? Только клоун, только пародия на того, кем был когда-то. Воскреснет ли он из мертвых или так и останется зловещим видением пустыни, призраком, мелькающим в отечественных иллюстрированных газетах? Юдеян не боялся противопоставить себя всему миру. Чего мир хочет от него? Пусть только подойдет, пусть подойдет со всей своей продажностью, со всеми своими грязными, звериными и хищными наслаждениями, скрытыми под маской честности. Мир должен радоваться тому, что существуют такие, как Юдеян. Страшило не то, что его могут повесить,—он боялся жить. Он боялся того отсутствия приказов, той пустоты, в которой вынужден был существовать теперь; он многое брал на свою ответственность и, чем выше поднимался, тем больше брал на себя, и эта ответственность никогда не угнетала его, однако его обычные слова «на мою ответственность» или «за это я отвечаю» были только фразой, пышной фразой, которой он опьянял себя, ибо на самом деле всегда только подчинялся. Юдеян обладал огромной властью. И он насладился ею, но радоваться власти он мог, только ощущая, что его могущество все же ограничено, нужен был фюрер как воплощение абсолютного могущества, божество власти, видимое издалека, тот, кто отдает приказы, на кого Юдеян мог бы сослаться перед богом, дьяволом и людьми: я-де всегда только подчинялся, всегда только выполнял приказы. Значит, у него была совесть? Нет, лишь страх. Вдруг да раз-

---

* Не правда ли, чудесно? *(Англ.)*

** Сто лир *(итал.)*.

ведают, что он и есть маленький Готлиб, возомнивший себя великим? Юдеян слышал втайне чей-то голос. Нет, не голос бога, и он воспринимал его не как призыв совести, это был жидкий голос голодного и верящего в прогресс отца, школьного учителя, и голос этот шептал: ты глуп, ты не выучил уроков, ты плохой ученик, ноль, который раздули. Поэтому он правильно делал, что всегда держался в тени сильнейшего, оставался телохранителем, блистательным телохранителем могущественного созвездия, и до сих пор еще не понимал, что то солнце, у которого он заимствовал свет и право убивать, тоже было всего лишь лжецом, всего лишь плохим учеником и маленьким Готлибом, но оно было орудием, избранным дьяволом,— магический ноль, химера нации, мыльный пузырь, и вот этот пузырь в конце концов лопнул.

Юдеян почувствовал жадную потребность набить желудок. Еще в добровольческом корпусе на него временами нападала прожорливость. И тогда, словно нанося удар за ударом, он, ложка за ложкой, свирепо уничтожал гуляш с бобами. Свернув в переулок, который искал, он еще на углу уловил запах пищи. Хозяин закусочной выставил на витрине всякие кушанья. Юдеян вошел и потребовал печенку, возле которой лежала карточка с надписью «fritto scelto»; Юдеян потребовал печенку именно с этим названием, хотя оно означало просто «по выбору», и ему подали, не поняв и не дослушав, запеченных в тесте и зажаренных в масле мелких морских моллюсков. Он тут же проглотил их, по вкусу они напоминали печеных дождевых червей, и его прямо мороз подрал по коже. Юдеян вдруг ощутил, как его грузное тело кишит червями и разлагается, он пережил при жизни гниение собственного тела и, силясь приостановить распад, невзирая на весь свой ужас, продолжал поглощать все, что лежало на тарелке. Затем выпил кварту вина и почувствовал, что теперь может идти дальше.

Всего несколько шагов, и вот гостиница, облюбованная его соотечественниками и его семейством. Немецкие машины с буквой «Д» стояли, выстроившись перед нею. Юдеян принимал блеф об «экономическом чуде» за символ нового подъема Германии. Это импонировало ему. Это притягивало его. Может быть, явиться туда, сдвинуть каблуки, прокартавить: «Явился в ваше распоряжение»? Да они примут его с распростертыми объятиями! А будут ли распростерты их объятия? Прижмут ли они его к груди? Ведь есть и что-то отталкивающее в этих лакированных немецких машинах. Новый подъем, продолжение жизни, сытое и успешное продолжение жизни после тотальной войны, после тотальной битвы и тотального поражения было и остается изменой фюреру, изменой его целям, предвидению и завещанию, было и остается постыдным сотрудничеством с исконными западными врагами, которые использовали немецкого солдата, немецкую кровь против врага на Востоке в их достигнутой хитростью победе. Как же ему сейчас держаться? В гостинице уже загорались огни. Окна вспыхивали одно за другим, и у какого-то из этих окон ждала Ева. После писем, полных загадочных намеков на ожидавшие его разочарования, на упадок и позор, смел ли он надеяться, что встретит здесь и Адольфа, сына? Стоило ли возвращаться в Германию? Пустыня ему еще открыта. Сеть германского гражданства на старого борца еще не наброшена. Смущенно, нерешительно переступил он мысленно порог и вошел в помещение — перед ним был накрытый стол, он увидел настоящих немцев, среди них был и Фридрих-Вильгельм Пфафрат; настоящие немцы стояли один против другого, как того требуют немецкие нравы и обычаи, они держали в руках, правда, не братины с соком германских садов, а стаканы с чужим пойлом, но ведь и он, Юдеян, пьет такое же пойло и еще всякую дрянь — в чужой стране нельзя быть слишком разборчивым. Перед ним были немцы, чистокровные, исконные. Они пели «Господь — наша крепость», и

вдруг он почувствовал, что за ним наблюдают, но не те, кто пел: стоящий у двери наблюдал за ним, устремив на него пристальный взгляд, и в глубине этого взгляда таились суровость, вопрос, мольба, отчаяние.

Увидев широкую неприбранную постель, Зигфрид не ужаснулся, но все же растерялся, она влекла к себе его взгляд, хотя он тщетно старался на нее не смотреть,— супружеское ложе великодержавно высилось в этой просторной комнате, деловитое и бесстыдное, совсем не чувственное, но бесстыдное, оно было открыто, и холодное чистое полотно вещало холодно и открыто о своем назначении, которого никто не желал скрывать, об объятиях, которых никто не стыдился, и о глубоком здоровом сне.

И вдруг я понял, что Кюренберги намного опередили меня: они такие, каким мне хотелось бы стать, они безгрешны, в них живет и старый человек и новый, античность и авангард, начало дохристианское и послехристианское, они греко-римские граждане и путешественники, перелетающие через океан на самолете, они заключены в тела, но в чистые, хорошо изученные и мудро содержащиеся тела; они — экскурсанты, которые в этом не слишком домовитом и уютном мире устроились вполне домовито и радуются жизни.

Кюренберг привык жить, словно кочевник, и сейчас, в рубашке, в белых полотняных брюках, поверх которых был надет резиновый фартук, хозяйничал за двумя столами, которые администрация гостиницы внесла к нему в номер; и я спрашивал себя, как он вообще на этот счет договорился с дирекцией, ведь она должна была установить особые предохранители, так как он то и дело совал в штепсели вилки-двойники и тройники, и провода бежали, точно сплетенные змеи, к начищенным до блеска электроприборам. Все эти рашперы, паровые кастрюли, колпаки для печенья, печь с инфракрасными лучами, сотейники для тушения и кипятильники — словом, вся эта утварь в совершенстве оборудованной передвижной кухни, видимо, доставляла ему истинное удовольствие, он всюду возил ее с собой и в ней готовил сегодня трапезу, отведать которую пригласил меня. Он перемешивал, пробовал, сбивал, приправлял, и было у него при этом решительное мужское лицо, а его спокойная собранность благотворно подействовала на меня; тут фрау Кюренберг протянула мне руку и сказала несколько приветливых слов:

— Нравится вам Рим? Вы здесь в первый раз?

Словно щебетанье ласточки над землей послышалось в этом коротком обращении, и она принялась накрывать на стол, бегала туда и сюда, зашла в ванную, оставив дверь открытой, ополоснула стаканы, поставила в вазу цветы, пустила струю воды на бутылки с вином.

Мне не хотелось стоять без дела. Я спросил Кюренберга, чем могу помочь, он сунул мне в руки миску, терку и кусок пармезана и предложил натереть. Сначала сыр крошился у меня и падал жесткими, словно камень, кусками в миску. Тогда он показал мне, как это делается, и спросил, не помогал ли я матери на кухне. Я сказал «нет». И вспомнил нашу большую холодную кухню, кафельные плитки пола были там всегда мокрые от постоянного подтирания, а сапоги курьеров в форме и дружков наших горничных неизменно оставляли узоры грязи на сырых поблескивающих плитах к великой досаде наших всегда грубых, нестерпимо небрежных слуг.

— Вы откуда? — спросил меня Кюренберг.

Я назвал место и хотел еще добавить, что ничто меня с этим местом не связывает, ничто, кроме случайности рождения, но тут же заметил, с каким изумлением Кюренберг на меня смотрит; вдруг он воскликнул:

— Да ведь и Ильза из того же города!

И она, протирая стакан, тоже устремила свой взгляд на меня; но она смотрела сквозь меня, и мне казалось, что она видит аллею, прежнюю аллею с несколькими кафе и старыми деревьями,— они сгорели, но кафе, вероятно, снова отстроили, и люди сидят перед ними на солнце, может быть, под зонтами, так как деревья сгорели, или, может быть, теперь уже посадили новые деревья, быстро растущие тополя; она видит, наверно, все это так же отчетливо, как и я, она деловита, но слегка взволнована; знает ли она, что деревья сгорели? Я хотел спросить, но она как раз снова вышла из комнаты в ванную, а Кюренберг начал сбивать какой-то соус; однако я заметил, что он рассеян и чем-то озабочен, затем он сказал, заглянув сначала в ванную, словно желая убедиться, что жены нет поблизости:

— Я служил в вашем театре. Там был хороший оркестр, хорошие голоса, и здание красивое.

— Театр разрушен,— сказал я.— Играют в клубе.

Он кивнул. Соус был готов. Он сказал:

— Там был обер-президент провинции по фамилии Пфафрат, как и вы, он вам не родственник?

— Это мой отец,— сказал я,— но теперь он там бургомистром.

Кюренберг склонился над кипящим сотейником, затем крикнул:

— Ильза, скорее большое решето! — И она принесла из ванной комнаты решето крепкого, тугого плетения, как и она сама, и он вывалил рис в решето, метнулся с решетом, полным риса, от которого шел пар, в ванную, пустил на него струю холодной воды, стал трясти, чтобы сцедить воду, поставил на кипящую кастрюлю, чтобы зерна разбухли и опять согрелись, и пояснил, обращаясь ко мне:— Это рецепт из Батавии, рис хорошо разваривается и остается зернистым.

Кюренберги разъезжали по всему свету, он всюду дирижировал, они свыклись с бродячей жизнью, у них не было дома, не было постоянного жилья, были только чемоданы, большие удобные чемоданы, и номер в гостинице, всегда похожий на тот, в котором я находился сейчас.

И тут я понял, что знаю Кюренберга давно, я даже не предполагал, что так давно, а теперь вспомнил: конечно, я тогда не осознал этого, ибо я был ребенком и не умел проникать в суть событий, но теперь я видел, словно это происходило сегодня, я видел, как отец провожает Кюренберга к выходу, я играл на полу, и, когда отец запер дверь за Кюренбергом, я догадался, глядя на его побагровевшее лицо, что он рассержен; он стал бранить меня, зачем я тут играю, и вошел к матери, а я за ним, из любопытства, хотя знал, что он в дурном настроении, как бывал обычно, когда его просили о помощи; люди в нашем городе, видно, плохо знали его, ибо тогда часто просили о помощи, но он отнюдь не намерен был подвергать себя риску ради тех, кто был обречен,— не потому, что ненавидел их, нет, он же не был сумасшедшим, но и не сочувствовал им, уж такой был человек, а когда их объявили прокаженными, стал их бояться так, будто они и в самом деле прокаженные; однако больше всего на свете боялся он уже тогда дяди Юдеяна, и я помню, как он сказал моей матери:

— Наш главный дирижер,— он всегда выражался напыщенно, титулы импонировали ему,— был у меня, он хочет, чтобы я помог ему добиться освобождения тестя, старика Ауфхойзера. А я посоветовал ему подумать о своей карьере и развестись с женой...

Тут отец меня заметил и в бешенстве выгнал из комнаты, а теперь я знаю, что старик Ауфхойзер был впервые арестован, когда евреям был объявлен первый бойкот. Но только в день второго, всеобщего, бойкота фашисты подожгли торговый дом Ауфхойзера. У меня в воен-

ном училище были каникулы, я видел, как дом горел, до тех пор я еще не видел, как пылают дома, Ауфхойзер опять сидел в тюрьме, а мой отец был дома, разливал суп за обедом — он иногда прикидывался сторонником патриархальных нравов. Из репродуктора источали ядовитую слюну Геринг и Геббельс, и моя мать сказала:

— Конечно, жалко, что столько прекрасных вещей сгорело.

Потом старик Ауфхойзер опять сидел в тюрьме, а через некоторое время я занялся разбором его библиотеки: книги были свалены в кучу на чердаке в общежитии гитлеровской молодежи — видимо, кто-то перетащил их туда, и о них забыли; Ауфхойзер был библиофилом, и я нашел среди его книг первые издания классиков и романтиков, редкие экземпляры немецких изданий древних авторов, первые издания энциклопедистов и братьев Манн, произведения Гофмансталя, Рильке, Георге, журналы вроде «Блеттер фюр ди кунст» и «Нейе рундшау» в виде переплетенных комплектов, литературу первой мировой войны, экспрессионистов, Кафку. И я кое-что выкрал и унес к себе, а позднее все, что осталось, сгорело, оно было вместе с общежитием растерзано бомбами, а заключенного Ауфхойзера прикончили. Значит, Ильза его дочь. Как же мне теперь смотреть ей в глаза? Куда заводят меня мои мысли? А мысли не хотели делать этих выводов, они упирались: Ильза хорошо сохранилась, ей сейчас, вероятно, за сорок, и ни одной морщинки. Мысли продолжали упираться: Ауфхойзеры были богаты, интересно, возместили им убытки? И дальше: он ведь женился не на ее богатстве, это произошло гораздо позднее, он восстал против зла. И дальше: они любят друг друга, они всегда вместе, они все еще любят друг друга. И мы пошли ужинать, сели за стол, и Кюренберг накладывал кушанья, она наливала вино, и, конечно, ужин был восхитителен, следовало похвалить повара, но я был не в силах, все казалось мне безвкусным, нет, я ощущал на языке вкус пепла, горького пепла, который вот-вот развеется по ветру, и я подумал: она не видела, как горел дом ее отца. Она не видела, как горел и наш дом. И я подумал: это было, было, было, этого нельзя изменить, будь все проклято, проклято, проклято. Мы ели шпинат, тушенный целыми листьями в тончайшем масле, посыпая его сыром, который я натер, и бифштексы в два пальца толщиной, нож входил в них, как в масло, а из середки текла алая кровь, и пили вино холодное и терпкое, как вода из свежего родника, это я все-таки ощутил, несмотря на сухой, шершавый пепел на моем языке; во время еды не разговаривали, супруги Кюренберги склонялись над тарелками, они вкушали пищу серьезно; я пробормотал один раз «восхитительно», но, может быть, слишком робко, так как никто не ответил; в заключение был подан пылающий воздушный пирог с малиной, нечто почти тропическое и все же полное аромата немецкого леса, и Кюренберг сказал:

— Кофе принесет официант: никакое приготовление не может сравниться с концентратом, который дают машины «Эспрессо».

Ильза Кюренберг заказала кофе по внутреннему телефону; на столе появился коньяк, и тогда мы заговорили о Риме.

Кюренберги любят старый, античный, римский Рим, они любят форумы с их рухнувшим величием, они любят смотреть по вечерам на древний холм, на кипарисы, на одинокие пинии, они любят бесполезные колонны, которые уже ничего не поддерживают, и мрачные ступени, которые уже никуда не ведут, потрескавшиеся арки над засыпанными пропастями, где напластовались победы, они любят дом Августа и вспоминают Горация и Вергилия. Они восхищаются Ротондой весталок и молятся в храме счастья. Я слушаю, а они подробно рассказывают о новых находках, говорят, как знатоки, о раскопках и музейных сокровищах; я тоже люблю эти находки, люблю старых богов,

люблю красоту, которая, долго пролежав в земле, снова увидела свет, люблю пропорции и люблю прохладную каменную кожу древних статуй, но еще больше я люблю Рим живой. Рим, каким он сейчас открывается мне, люблю его небо, это непостижимое море Юпитера, и мне кажется, что мы опустились на дно и что мы — в Винета *, а наверху, над стихией, объявшей нас, плывут по ослепительным волнам неведомые корабли, и смерть закидывает свою незримую сеть на город; я люблю улицы, закоулки, лестницы, тихие дворики с урнами, плющом и ларами **, люблю шумные площади с крикунами разносчиками, я люблю, когда народ сидит вечером возле дверей, люблю его шутки, выразительные жесты, его склонность к юмору, его говор, которого я не понимаю; люблю журчащие фонтаны с морскими божествами, нимфами, тритонами, люблю детей вокруг мраморных фонтанов, этих увенчанных лаврами маленьких фигляров и жестоких Неронов, люблю толчею и давку, прикосновения, взгляды, крики, хохот на Корсо и непристойности, которые мимоходом шепчут на ухо дамам, люблю равнодушную, пустую маску дамского лица, в которой немало порочного, люблю их ответы, их стыдливость, их жажду похотливых комплиментов — она затаена в их истинном лице, скрытом под светской личиной, и они уносят ее домой, в свои женские сновидения; я люблю сверкающие выставки богатства, витрины ювелиров и птичьи шляпки модисток, я люблю маленькую гордую девушку с красным галстуком на площади Ротонды, люблю длинную белую стойку в баре «Эспрессо» с шипящей, брызжущей паром машиной, изготовляющей кофе, и мужчин, которые пьют его из маленьких чашек, горячий, крепкий, горько-сладкий; я люблю музыку Верди, когда она в пассаже на площади Колонны звучит из репродукторов телевизионной студии, отражаясь от оштукатуренных фасадов начала века, люблю виа Венето, все эти кафе на ярмарке тщеславия, их веселые стулья, их пестрые маркизы; я люблю длинноногих, узкобедрых манекенщиц и их волосы, выкрашенные в огненный цвет, их бледные лица, их большие, всегда удивленные глаза — это пламя, которое я не могу схватить; я люблю счастливых, глупых и атлетически сложенных жиголо ***, которые высматривают состоятельных дам с округлыми формами, я люблю важных американских сенаторов — их принимает святой отец, и они все могут купить, я люблю убеленных сединами кротких автомобильных королей — этих меценатов, берущих на содержание науки, искусства и поэзию, я люблю поэтов-гомосексуалистов в брюках дудкой, в остроносых башмаках на тонкой подошве, они живут на пожертвования и кокетливо вытряхивают из слишком длинных манжет позвякивающие серебряные браслеты; я люблю старую гнилую баржу — купальню, бросившую якорь в мутном Тибре перед крепостью Ангела, и ее красные незатененные лампочки в ночи, я люблю маленькие церкви, потаенные, полные благоухания ладана, словно выстеганные изнутри предметами искусства и украшениями, хотя Кюренберг и утверждает, что Рим эпохи барокко вовсе не так хорош; я люблю священников в их черных, алых, лиловых и белых одеждах, торжественную латынь католической службы, воспитанников семинарий и страх на их лицах, старых каноников в покрытых пятнами сутанах, в засаленных парадных шляпах с веселым красным шнурком, и страх на их лицах, люблю старух, стоящих на коленях в исповедальнях, и страх на их лицах, люблю бедные морщинистые руки нищих перед резными коваными порталами часовен и их страх там, где на шее бьется сонная артерия; люб-

---

* Город, по преданию в результате землетрясения опустившийся на дно Балтийского моря.

** Боги, охранявшие дом и семью.

*** По-французски — сутенер.

лю мелкого торговца съестным в рабочем квартале, отрезающего огромные ломти колбасы, похожие на листья дерева, люблю маленькие рынки, фруктовые палатки, красно-зелено-оранжевые чаны рыбных торговцев с непонятными морскими тварями и всех кошек Рима, которые крадутся вдоль стен.

И вот Кюренберги, две твердо очерченные тени, подошли к окну, к окну высокому, точно в башне, и принялись смотреть вниз, на полное огней ущелье улицы и на другие дома в этом привокзальном районе, на пристанища людей в многоэтажных каменных ящиках, подобных их дому и тоже набитых странниками. Вспыхивали световые вывески и манили, Рим был, как всегда, готов к тому, чтобы быть завоеванным, и Кюренберг стал думать о музыке Зигфрида, которую он для этого города будет завтра снова усмирять и остуживать, сдерживая поток ее чувств, а Ильза стояла рядом с ним, смотрела на автомобили, ползущие по дну улицы, словно отряды огромных клопов, смотрела некоторое время на приручeнную молнию, трепетавшую с мнимой безобидностью на контактах проводов; она прозревала насквозь эту условность, эту всеобщую договоренность — не видеть смерти, отрицать страх, ведь право на владение этими домами было внесено в ипотечную книгу, и даже римляне, у которых под боком так много засыпанных и разрушенных зданий, некогда полных великолепия, даже римляне поверили в вечную нерушимость столь пригодившихся сейчас каменных кладов; Ильза видела мистерии торговли, тоже основанные на бредовой иллюзии вечности, наследования и безопасности, она созерцала расцветавшие и гаснущие феерии рекламы, пестрые отблески, вспыхивающие еще во времена ее детства,— ртутные огни и бесовские свечи,— и какими странными представлялись ей теперь прихоти отца, воздвигшего между ее девичьей жизнью и своим торговым домом стену из книг, музыки и живописи, бастион, оказавшийся ложью, кроткий свет лампы, навсегда погасший. Ее зазнобило, ей стало ужасно холодно. Она думала про себя: уже поздно. И она сказала про себя: «Этот молодой человек из моего города пишет симфонии, его дедушка, быть может, сиживал за спинетом или играл на флейте, но его отец убил моего отца, моего отца, который был собирателем книг и любил слушать Бранденбургский концерт». Она взяла руку Кюренберга своей рукой, холодной и на мгновение будто мертвой, сунула пальцы в кулак дирижера, теплый, сухой, упругий и надежный; а он все еще смотрел вниз на улицу, полную людей, и думал: их будущее предсказать нетрудно. Со многими встречался он, среди них были аналитики, социологи, экономисты, атомщики, радетели о праве народов, политиканы и чиновники «по связи с общественностью». И все они — отродье дьявола. И это отродье было его публикой, оно посещало его концерты! Кюренберг закрыл окно и спросил Зигфрида:

— Вы знаете слова блаженного Августина о музыке? «Окончив дневные труды, великие люди предаются ей для восстановления своей души».

Нет, Зигфрид не знал этих слов. Он не знал Августина. Какой он невежда! Сколь многого не хватает ему! Он покраснел.

«А те, кого я знаю, разве они великие люди? — спрашивал себя Кюренберг.— Если нет, то где же они, эти великие люди? И есть ли у них душа, которую можно вечером восстанавливать музыкой? И знавал ли Августин великих людей? А те, кого, быть может, он считал великими, разве они считали его самого великим? Сколько вопросов!» Кюренберг высоко ценил дарование Зигфрида. Он ждал от него чего-то необычного, ждал, что тот заговорит на языке, никому не ведомом. Быть может, этот его язык для обычного слуха, отставшего от быстрого бега времени, и прозвучит ужасно, но это будет новое слово. Новая весть для горсточки людей, способных услышать эту весть. Они ли — те великие люди, о ко-

торых говорил Августин? Мы рвемся к знанию, даже если оно делает нас несчастными! И он строго сказал:

— Я не знаю, для кого вы пишете вашу музыку. Но мне кажется, что ваша музыка все же имеет какое-то назначение в мире. Может быть, непонимающие освищут вас. Но никогда не давайте сбить себя с пути, не подделывайтесь под чужие вкусы. Пусть публика разочаруется. Но вы должны разочаровывать ее из смирения, не из гордости! Я вовсе не советую вам удаляться в пресловутую башню из слоновой кости. Ради бога, не жертвуйте жизнью во имя искусства, идите на улицу. Слушайте голос дня! Но оставайтесь одиноким! К счастью, вы одиноки. Оставайтесь одиноким и на улице, как будто вы находитесь в уединенной лаборатории. Экспериментируйте со всем, что вам встречается, со всем великолепием и всей грязью нашей жизни, с ее унижением и ее величием — и тогда, быть может, вы откроете новое звучание.

И Зигфрид представил себе разные голоса, голоса улицы, он представил себе голоса грубости, страха, муки, жадности, любви, добра, молитвы, представил себе звук зла, шепот распутства и вопль преступления. И сказал себе: «А завтра Кюренберг заставит меня подчиняться ему и будет строго поучать относительно законов гармонии; этот прославленный дирижер, столь точно читающий ноты,— быть может, он садовник, который все подстригает, а я — дичок или сорная трава». И Кюренберг сказал, словно угадав мысли Зигфрида:

— Я верю в нашу работу. Во мне есть противоречия, есть противоречия и в вас, одно другому не противоречит.

Противоречива была жизнь, в которую они были вовлечены, и они сами были в противоречии с человеческим родом...

Юдеян почувствовал, что за ним наблюдают, и отступил. Он отступил, втянув квадратную голову в плечи,— бегство или тактический прием? — так отступает патруль на ничейной земле между двумя фронтами, когда ему кажется, что его обнаружили. Бегство или тактический прием? Ни один выстрел не грянул, ни одна ракета не озарила ночь, еще притаилась где-то судьба, но уже ползешь, ползешь назад, ползешь через проволоку и кустарник, обратно в свои окопы, и на мгновение кажется, что укрепления противника неприступны. Так отступает и убийца, затравленный преступник — в тень, в джунгли, в гущу домов,— когда чует приближение ищеек, когда ощущает на себе зоркий взгляд полицейского. А грешник бежит от лица господня. Но тот, кто не верит в бога и кому не дарована милость чувствовать себя грешным, куда бежать ему, минуя господа? В какую пустыню? Юдеян не знал, кто за ним следит. Он не видел наблюдателя. В вестибюле был только какой-то священник. Рим и так кишел этими типами; священник стоял, словно окаменев, и так же, как Юдеян, смотрел, не отрываясь, сквозь прозрачное стекло двустворчатой двери и созерцал стол и сидевшую вокруг него оживленную компанию, которая пила и веселилась. То был стол для завсегдатаев-немцев, накрытый по всем немецким правилам и закрепленный за немцами именно на этом градусе южной широты, закрепленный случайно и временно; строго говоря, кроме дерева и стекла, ничто не отделяло Юдеяна от его свояка Фридриха-Вильгельма Пфафрата, но тот сидел себе спокойно на месте — независимо от того, занимался ли он болтовней здесь, или в отеле, или дома, в кабинете бургомистра, он всегда сидел спокойно на месте, а Юдеян всегда храбро шел вперед, смело и слепо шел вперед с девизом: «Бог мертв!» Юдеян достиг большего, больше преуспел, чем бюргеры там, в зале, но это они позволили ему достичь успеха. Они чужими смертями поддерживали его возвышение. Они развязали кровавую бойню, они призвали его, они его разожгли; весь мир принадлежит

мечу; они ораторствовали: «Нет смерти прекраснее, чем смерть на поле брани»,— они надели на него впервые военную форму и подобострастно сгибались перед той новой формой, которую он сам себе добыл, превозносили все его деяния, ставили его в пример своим детям, они кричали «Хайль!» и мирились с убийством, смертью и трупным запахом, стоявшим над Германией, но сами продолжали сидеть за столом завсегдатаев в старогерманской пивнушке; пышные фразы о Германии не сходили у них с языка — фразы, выхваченные из Ницше, даже слова фюрера и розенберговский миф были для них всего лишь фразой, которой они упивались, а для Юдеяна это был призыв к действию, и он устремился вперед: маленький Готлиб хотел изменить мир, глядите-ка, он вдруг оказался революционером, хотя сам ненавидел революционеров, приказывал истязать их и вешать; дурья голова, глуп он был, этот маленький Готлиб, обожавший розгу, маленький Готлиб, который так боялся порки и так жаждал пороть других; бессильный маленький Готлиб, словно паломник к святыне, шел к могуществу и власти, а когда достиг их и смог заглянуть им в лица, увидел смерть. Власть была смертью. Только смерть была всемогущей. Юдеян не испугался, он с этим примирился, ибо маленький Готлиб всегда предчувствовал, что в этом мире неограниченную власть имеет только смерть, и для подлинного ощущения власти нужно лишь одно — убивать, только это вносит ясность. Никакого воскресения не существует. Так Юдеян стал служить смерти. Он рьяно служил ей. Это отдаляло его от бюргеров, от восторженных поклонников красот Италии, от туристов, осматривающих поля былых сражений; ничего у них нет, у них есть только Ничто, и ничего, кроме этого Ничто, они жиреют в этом Ничто, преуспевают в этом Ничто и наконец уходят в Ничто, становятся частью его, чем, собственно, и были всегда. Но он — нет, у Юдеяна своя смерть, и никому ее не отнять. Разве что священник попытается украсть ее. Но Юдеян не даст себя обокрасть. И священников можно убивать. Кто он, этот чернохвостый? Прыщавый юнец, с бледным от бессонницы лицом, комок преющей похоти в бабьем балахоне. Священник тоже смотрел на сидящих за столом и, казалось, тоже с ужасом. Но он для Юдеяна не союзник. И бюргеры, и священники были Юдеяну одинаково противны. Он понял, что позиция бюргеров сейчас неуязвима. Но время работает на него, поэтому лучше вернуться в пустыню, чтобы снова муштровать там новобранцев и готовить их для смерти, и только тогда, когда надо будет не осматривать поля сражений, а распахивать их снарядами, Юдеян снова двинется в наступление. Он бежал из отеля. Юдеян бежал от бюргеров, от священника, от глаз незримого наблюдателя. Это не было позором, не было трусостью, это был лишь тактический отход.

Если бы Юдеян вошел в ресторан и дал им понять, кто он, бюргеры повскакивали бы с мест, восторженно его приветствуя, но почитание героя продолжалось бы всего один вечер, а затем они опутали бы его тенетами своего мещанства. За одним из этих освещенных окон, наверно, ждет Ева, героическая женщина, лучше бы умереть ей тогда, в мае, в дни позора. Но она жива, и Юдеян представил себе, как он сидит с ней в уютной немецкой квартирке, вот он идет на службу, которую ему раздобыл Пфафрат, вот он вернулся домой со службы, которую ему раздобыл Пфафрат, они могут поесть жареного гуся и выпить рейнского пива, пожалуй, на это хватит доходов от службы, которую ему раздобыл свояк, Пфафрат, а в день рождения фюрера Ева приколет к платью брошь, если ее еще не украли, ведь оккупанты всегда охотятся за драгоценностями и сувенирами, Юдеяну это хорошо известно, ту самую брошь с золотой свастикой, подарок фюрера, и, выпучив глаза, Ева уставится на него, когда по радио начнут передавать последние известия или примется разглагольствовать Хейс и ораторствовать Аденауэр, а из сосед-

ней квартиры донесется американский джаз; она пристально будет смотреть на него и думать: и ты еще жив, жив, жив. А он жил бы и мечтал о пустыне, о той пустыне, откуда можно завоевать Германию. Юдеян вошел в тратторию, попавшуюся ему на пути, теперь уже лишенном цели, окунулся в запах жира, теста и моря и стал у стойки, он готов был проглотить все, что там нашлось бы, такой сумасшедший голод терзал его. Он увидел крупную белую фасоль, немецкое блюдо, школьное блюдо его детских лет, он ткнул в него пальцем, но фасоль здесь ели холодной, как закуску. Разве это немецкое блюдо? Она была скользкой от жира, плавала в уксусе и отдавала рыбой, ибо то, что он принял за куски мяса, оказалось вонючей рыбой, но он проглотил все до крошки, затем съел какую-то тестообразную массу, а в заключение еще макароны по-итальянски, жирный томатный соус прилипал к губам, словно заморский поцелуй, макароны свисали у него изо рта, ему не дали ножа, чтобы их разрезать, он со свистом втягивал их в себя, точно корова длинные стебли травы, и только очередные пол-литра кьянти омыли, наконец, Юдеяна, и он вновь стал человеком. Так, во всяком случае, казалось ему.

И вот, став человеком, он вышел через лабиринт переулков на площадь Сан Сильвестро. Он заметил световую рекламу телефона-автомата. Это ему как раз и нужно. Он вошел и увидел множество кабинок с телефонными аппаратами, но не знал, как позвонить; он написал название отеля, где остановился Пфафрат, и сунул бумажку в окошечко, дежурная отыскала нужный номер, получила с него деньги, и вот он уже в кабинке, набрал цифры и слышит громкое «Pronto»*, но он ответил по-немецки, потребовал к телефону Пфафрата, в трубке — треск, свист, чьи-то шаги, вот и Пфафрат; с официальной корректностью, с сознанием собственного достоинства он произносит:

— Обер-бургомистр Пфафрат у телефона, кто спрашивает?

А Юдеяну захотелось крикнуть в ответ: «Ах ты дерьмо!» — или отбарабанить все свои титулы, военные и партийные, особенно тот цветистый восточный титул, который он сейчас носит, а может быть, представиться в качестве обер-евнуха, или самца в гареме, или грозы пустыни, а может быть, тонко пропищать: «Говорит Готлиб»,— и он вдруг стал таким маленьким, этот маленький Готлиб, что ему уже не достать до телефонной трубки. Поэтому он сказал только:

— Юдеян,— но произнес эту скромную фамилию так, что могущество, власть и смерть пронеслись по проводам. Пфафрат закашлялся; от обер-бургомистра он докашлялся до того, что стал просто свояком, преодолевая некоторый испуг и жуть, вызванные голосом драгоценного и опасного покойника, их семейной гордости и семейного жупела, смотря по обстоятельствам. Пфафрату понадобилось некоторое время, чтобы обрести то мужество, с каким он хотел теперь держаться в отношении Юдеяна, и он, наконец, взволнованно ответил:

— Где же ты, мы ждем тебя.

А Юдеян величественно заявил, что у него много дел и мало времени, и пригласил их всех на следующий день к себе в отель, в великолепный дворец на виа Венето, пусть видят Юдеяна во всем его блеске, и назвал ему свое вымышленное имя и фамилию, свой псевдоним, проставленный в его теперешнем паспорте, и строго приказал, стоя в тесной кабинке, на стенах которой были, как обычно, написаны всевозможные гадости (Юдеян даже спросил себя, пишут ли уже там, дома, на стенах уборных знаменитое «Проснись!..»**),— приказал свояку повторить имя и фамилию, и обер-бургомистр Фридрих-Вильгельм Пфафрат с полной готов-

* Вас слушают *(итал.)*.

** Имеется в виду нацистский лозунг «Проснись, Германия».

ностью повторил ложь документа, вымышленное имя; нет, он не предстанет теперь перед Юдеяном этаким покровителем, он будет стоять перед ним навытяжку, а то, что Юдеян незаметно ускользнул из отеля, который облюбовали немцы, было не бегством, а образцом искусной тактики.

Юдеян, став человеком, почувствовал себя снова на коне, он снова стал господином своей судьбы. Он отошел от телефона-автомата, как победитель. Он решил пересечь площадь Сан Сильвестро, он решил завоевать Рим, как вдруг раздался треск и грохот, он услышал грозный шум, что-то гремело и рушилось, точно на войне во время боя, раздались крики ужаса и предсмертные вопли — обвалилась какая-то новостройка, фундамент был неправильно рассчитан; из облаков пыли торчали погнутые балки, люди сломя голову мчались сюда со всех сторон, а Юдеян уже командовал:

— Оцепить! Не подходить! Оцепить!

Он хотел в самую смерть внести дисциплину, но никто не обращал внимания на его немецкие возгласы, никто его не понимал, а потом завыли сирены, затрещали звонки, прикатили полицейские, санитарные и пожарные машины, а из церкви, стоявшей на площади, пришел священник — они суют свой нос всюду; и Юдеян понял, что он здесь для всех чужой, что он для всех — помеха, и на него в лучшем случае не обращают внимания; тогда он отошел в сторону, выбрался из толпы и вдруг вспомнил, как в школе, в ненавистной гимназии ему рассказывали, что римляне верят в предзнаменования, а этот обвал — безусловно плохая примета. Громко заплакала какая-то женщина. Может быть, под развалинами погибли ее близкие? Жертвы, которых Юдеян обрекал на смерть, не плакали никогда. Это было удивительно, но он никогда не слышал, чтобы они плакали.

Он двигался по течению, и течение отнесло его на Корсо — в длинную кишку, набитую прохожими и автомобилями. Казалось, что вокруг кишат микробы и черви, что в этой вытянутой городской кишке бурно совершается обмен веществ и сложный процесс пищеварения. Уличный поток относил Юдеяна вправо, в сторону площади Пополо, но чувствуя, что ему нужно совсем не туда, он сопротивлялся течению, его теснили, толкали, однако ему все же удалось повернуться, и когда он взглянул назад, то увидел нечто беломраморное и золотое, озаренное светом прожекторов. Теперь он понял: вот где он некогда проезжал — машина с охраной впереди, вооруженные мотоциклисты по обе стороны, а позади многочисленные автомобили с немцами и итальянцами, с начальниками управлений, с военными и нацистскими сановниками. Его несло то вперед, то назад, он потерял ориентацию и перестал ощущать время, настоящее стало прошлым, он не спускал глаз со своей цели: вон они, эти мраморные ступени, этот величавый каменный колосс, этот белый памятник на площади Венеции, национальный памятник Виктору-Эммануилу Второму, который Юдеян по какому-то недоразумению или вследствие чьих-то неправильных объяснений принимал за Капитолий и в то же время за монумент, воздвигнутый по приказу Муссолини в честь древней истории, он знаменовал собой былую славу, и блистающий мрамор и бронза памятника возвещали возрождение империи. Вот куда Юдеян ехал в тот день. Он спешил именно сюда. Здесь, справа, стоял дворец дуче. Неужели нет охраны? Охраны нет. На грязно-желтую ограду падала ночная тень. Никто не стоял у ворот. Ни в одном окне не горел свет. Теперь он опять здесь. Старый знакомый вернулся. Стучись не стучись — хозяин умер. А наследники тебя не знают, они — среди снующей толпы на Корсо. Да, вместе с дуче шагал он по этой площади. Юдеян шел с ним рядом к памятнику неизвестному солдату, чтобы возложить венок от имени фюрера. Здесь все еще стояла стража, стояла навытяжку, неподвижно,

крепко упершись в землю. И выправка охранников была безупречной. Однако Юдеян не испытывал сейчас ни сожаления о былых почестях, ни гордости, ни скорби, ни волнения. Так чувствовал бы себя верующий, который, войдя в церковь, не ощутил никакого душевного трепета. Ему хочется молиться, но бог здесь не присутствует. Ему хочется стать на колени, но он думает: пол холодный и грязный. Он видит статую мадонны и думает: ведь это всего лишь дерево и немного краски, а внутри уже сидит жук-древоточец. Сейчас народ не выражал никаких восторгов. Не было ни песен, ни приветственных кликов. Мотоциклы проносились мимо. Не появился ни один фотограф, чтобы запечатлеть Юдеяна при вспышке магния, и только несколько стоявших на площади лошадей, запряженных в дрожки, вяло покосились на него. Разве он стал призраком? Торопливо поднялся он по мраморным ступеням. Стройная колоннада пышного храма, возведение которого он ошибочно приписывал Муссолини, теперь осталась позади; белое великолепие мучительно напомнило ему что-то, оно напомнило ему торт на витрине кондитера Зюфке — до чего же восхищался этим тортом маленький Готлиб! Но он так и не попробовал его. Сейчас перед Юдеяном высился темный зад королевского коня, и Юдеян не знал, кто этот сидящий на коне, закованный в железо король, да и не все ли равно — он терпеть не мог итальянских королей; сбитый с толку юмористическими журналами времен первой мировой войны, он с детских лет представлял себе, что королевская рука всегда сжимает ручку зонтика вместо рукоятки сабли, но сегодня, когда здесь стоял не то Юдеян, не то маленький Готлиб, он ощущал, что́ такое величие, и думал о дуче, который все это построил и над которым так надругались, и он ощущал величие истории — ей воздвигались памятники, и ее последним посвящением всегда была смерть. Вокруг Юдеяна разливалось море света. Рим сверкал огнями. Но город казался ему мертвым, уже готовым к погребению: дуче обесчещен, история ушла из Рима, а вместе с ней и возможность славной смерти. Теперь здесь жили люди, они осмеливались жить просто так, ради своих дел и ради собственного удовольствия, а могло ли быть что-нибудь отвратительнее? Юдеян глядел на город. Он казался ему мертвее мертвого.

Поздним вечером виа дель Лаваторе мертва. Рыночные торговцы уже убрали свои столы, а спущенные желтые шторы на витринах гастрономических лавчонок, выцветшие и позеленевшие от старости, придают фасадам домов вид слепых — так серое или зеленоватое бельмо закрывает усталый глаз старика. В переулочках, в темных тупиках светятся убогие закусочные для простого народа, проживающего в тесных каморках многоэтажных зданий. Посетители сидят здесь на скамейках и табуретках за столами без скатертей, покрытыми пятнами от пролитого вина и остатков пищи; они заказывают пол-литра красного или пол-литра белого, dolce или secco, а кто хочет есть, приносит с собой закуску прямо в миске или бумаге и, нисколько не стесняясь, раскладывает ее на столе.

Приезжие редко попадают в эти закоулки. Однако Зигфрид сидит за столиком у входа в такую закусочную, белая шарообразная лампа льет на все свой бледный свет — она заменяет здесь луну. За этим же столиком сидит еще один посетитель. Он приготовляет салат из лука. Зигфрид не любит ни лука, ни чеснока, но его сосед чистит и режет луковицу так аппетитно, он так старательно заправляет салат уксусом, маслом, перцем и солью, с таким благоговением разламывает хлеб на кусочки, что Зигфрид не может не пожелать ему «buon appetito»*. Соседа радует приветливость Зигфрида, и он просит его испробовать вино. Зигфрида

* Приятного аппетита *(итал.)*.

мутит при виде этого стакана, ибо пропахший луком рот соседа уже оставил на краях стакана маслянистые влажные следы, но он преодолевает отвращение и пробует вино. Теперь уже Зигфрид предлагает соседу свое вино. Они пьют и беседуют. Вернее, говорит сосед. Он произносит длинные, прекрасно построенные и мелодично согласованные фразы, смысл которых остается неясным для Зигфрида, знающего лишь несколько избитых выражений, заимствованных из словаря. Но именно потому, что Зигфрид не понимает соседа, он охотно с ним болтает. Чувство радости охватывает Зигфрида, и они сидят вместе, как два старых друга, из которых одному хочется рассказать многое, а другому приятно послушать, а может быть, он его и не слушает, а дружелюбно и благодарно прислушивается к какому-то внутреннему голосу. И этих речей он тоже не понимает, хотя иногда ему кажется, что он постигает их смысл. Но вот сосед покончил с салатом, он вытирает миску кусочком хлеба. Пропитанный маслом хлеб он отдает кошке, которая уже давно смотрит на него молящим взглядом. Кошка благодарит и уносит хлеб в подворотню, там ее ждут котята. Зигфрид встает и говорит: «Felice notte»,— он желает спокойной ночи соседу, закусочной, кошке и ее котятам. Может быть, он и себе желает спокойной ночи. В этот вечерний час он доволен собой. Он зашел в закусочную, чтобы купить бутылочку винца. Вдруг он не сможет заснуть? Когда не спится, хорошо иметь под рукой немного вина. Зигфриду хочется купить еще одну бутылку вина. Он с радостью поднес бы ее своему собеседнику. Ему кажется, что тот — бедняк, и, может быть, бутылка вина доставила бы ему удовольствие. Но именно потому, что он бедняк, он может обидеться. И Зигфрид не покупает второй бутылки. Выходя, он еще раз отвешивает поклон соседу по столу. Еще раз говорит «felice notte». Правильно ли он поступил? Почему он постыдился своего дружелюбного намерения? Этого он не знает. И вот им уже снова овладело сомнение. Как трудно поступить правильно! Чувство радости уже покинуло его. И он уже недоволен собою.

Шаги Зигфрида гулко отдаются в ночной тишине виа дель Лаваторе. Его тень то бежит впереди, то как будто уползает в него, то его преследует. И вот уже на Зигфрида обрушивается шум толпы и плеск водяных струй фонтана ди Треви. Туристы стоят группами вокруг диковинного фонтана и болтают, как некогда в Вавилоне, на многих языках. Приезжие очень прилежны и даже ночью проходят ускоренный курс истории страны и ее культуры. Фотографы делают съемки при вспышках магния — приятно сказать: «И я был в Риме». Итальянские подростки, бледные от бессонницы, перевесились через край бассейна, с помощью длинных палок выуживают они из воды монеты, которые туристы бросают туда по легкомыслию, суеверию или просто шутки ради. В путеводителе сказано: «Если бросишь деньги в бассейн, то еще раз побываешь в Риме». Желает ли чужеземец приехать еще раз, желает ли он возвратиться, может быть, он боится умереть в безрадостном отечестве и желает, чтобы его похоронили в Риме? Зигфриду очень хотелось бы приехать сюда еще раз, ему хотелось бы остаться здесь, но он не останется, и он не бросает монеток в фонтан. Ему не хочется умирать. Ему не хочется умереть дома. Хочется ли ему, чтобы его похоронили здесь? Неподалеку от фонтана стоит его отель. Старинный фасад отражается в воде и кажется узким и покосившимся. Зигфрид входит в отель. Он проходит через тамбур. Одиноко мерзнет старик, сидящий на сквозном ветру лестничной клетки, у конторки перед доской с ключами. На нем фетровые ботинки, ибо каменный пол холоден, пальто накинуто на одно плечо, как у бойца, измотанного в сражениях, лысина, как у старого профессора, прикрыта черной шапочкой, у него вид эмигранта, вид бывшего либерала какой-то либеральной эпохи, но он всего лишь управляющий этой маленькой гостиницей; родился он австрийцем, а умереть ему суждено итальянцем —

скоро, через несколько лет, и ему будет все равно, умрет ли он в Италии или в Австрии. Иногда мы с ним беседуем, и сейчас, когда я вернулся, он сказал мне, полный усердия:

— Вас ждет священник.

— Священник? — удивился я.

— Да, он ждет в вашей комнате.

А я подумал: должно быть, недоразумение, да и странно — в такой час. Я поднялся по лестнице, по лестнице этого старого дома, на ее истоптанных каменных ступенях образовались ямки, стена осела, пол на моем этаже покосился — я словно поднимался в гору; наконец я добрался до своей двери с испорченным замком. Сквозь широкие щели рассохшихся досок не пробивался свет, и я снова подумал: наверно, ошибка. Я открыл дверь и увидел у окна высокую черную тень, действительно, это был священник, на него падал свет прожекторов, все еще освещавших фонтан на площади и мифологические пышные фигуры, украшавшие его,— тучный Олимп в стиле барокко, вокруг которого вечно струилась вода, она шумела и убаюкивала, как морской прибой. Священник был высок и тощ. Его лицо казалось бледным, может быть, от известково-белого луча прожектора. Я включил свет, вспыхнула лампочка без абажура, висевшая над letto grande — неизбежной принадлежностью всех гостиничных номеров, над letto matrimoniale, то есть широкой двуспальной кроватью, она была сдана мне, мне одному, и на ней мне предоставлялось лежать раздетым, обнаженным и блюсти целомудрие или не блюсти его, лежать совсем-совсем в одиночестве, лишь с обнаженной лампочкой надо мной, одинокой или окруженной жужжащими мухами, под шум и журчанье воды, под болтовню на двунадесяти языках из всех стран божьих; и вот он, священник, внезапно повернулся ко мне, однако свой приветственный жест так и не завершил, а лишь поднял и простер руки; оттого что на нем была сутана, он вдруг стал похож на проповедника, но он сразу опустил руки, словно отчаявшись или устыдившись, и руки его, точно пугливые красные зверьки, исчезли в складках черного облачения. Он воскликнул:

— Зигфрид! — И затем заговорил поспешно, торопливо:— Я узнал твой адрес, извини меня. Не хочу тебе мешать. Ведь, наверно, я тебе мешаю, так лучше я сейчас же уйду, если я тебе мешаю.

Это был Адольф — высокий, тощий, смущенный, стоял он передо мной в одежде священнослужителя. Адольф Юдеян, сын моего когда-то столь могущественного и страшного дяди, и я вспомнил Адольфа таким, каким видел его в последний раз в Орденсбурге, в нацистской школе: он казался тогда маленьким — Адольф был моложе меня,— маленький, жалкий солдатик в форме военного курсанта, в длинных черных военных брюках с красным кантом, маленький, в коричневом партийном френче, маленький, с черной пилоткой, сидевшей набекрень на его коротко, согласно уставу, остриженных волосах; мне тоже приходилось ходить в таком виде, но мне была ненавистна необходимость одеваться, как солдат или как партийный бонза, может быть, и Адольф ненавидел ту одежду, но я этого не знал, я не спросил его, ненавидит ли он нацистскую школу, солдат, бонз, весь этот внутренний распорядок, я помнил о дяде Юдеяне и не доверял Адольфу, я избегал его и даже считал, что он, так же как мой брат Дитрих, охотно носит военный мундир, надеясь извлечь из этого кое-какую выгоду и пробиться к тепленькому местечку; меня смешила его сутана, и я подумал: к каким только переодеваниям не приходится прибегать нам, печальным клоунам, выступающим в весьма посредственной комедии ошибок. Я видел, что он продолжает стоять, и я сказал:

— Садись же.

И пододвинул ему облезлый и шаткий гостиничный стул, освободив место на комоде, заваленном книгами, газетами и нотами, достал из ящика штопор, откупорил бутылку вина, которую принес с собой, и, подойдя к умывальнику, вымыл стаканчик для полоскания рта. Я думал: дядя Юдеян пропал без вести, с Юдеяном покончено, Юдеян мертв. И я подумал: жаль, что дядя Юдеян не может видеть своего сына, жаль, что он не может увидеть его в моей комнате на этом облезлом стуле, очень жаль, ибо, увидев все это, он, наверно, лопнул бы, а мне и сегодня приятно было бы видеть, как он лопнет. Не преувеличивал ли я? Не придавал ли я ему слишком большое значение? Я налил вина и сказал:

— Пей первый. Нам придется пить из одного стакана. У меня только один стакан.

Он ответил:

— Я не пью.

Я сказал:

— Тебе как священнику ведь можно выпить стакан вина. Греха в этом нет.

А он:

— Греха в этом нет. Благодарю, но мне не хочется.— И немного погодя добавил: — Я не священник. Я еще только диакон.

Выпив вино, я снова налил стакан до краев и взял его с собой в постель. Я лег на широкую постель, и это выглядело так, словно я давал понять, что веду нецеломудренный образ жизни, хотя в этой комнате я еще не грешил и даже не знаю, что это такое — нецеломудренный образ жизни, вернее, знаю, но не хочу знать; я откинулся назад, облокотился на подушку и спросил:

— В чем разница?

Он ответил:

— Я не имею права крестить.— И потом, словно вспомнив, добавил: — Мне еще не разрешено служить мессу. Я не имею власти отпускать грехи. Когда епископ посвятит меня в священники, я получу право отпускать грехи.

Я сказал:

— Ну, тогда у тебя будет много дела.— И тут же рассердился на себя за то, что сказал так. Это было неостроумно, глупо и вульгарно, и, собственно говоря, мне нравятся священники, когда я вижу их, но не знаю. Мне нравятся священники издалека, они мне нравятся на безопасном расстоянии. Мне нравятся священники, когда они говорят по-латыни, ибо тогда я их не понимаю. Я не понимаю их, но латинская речь мне нравится, и я их охотно слушаю. Если бы я мог понять, что они говорят, я, наверно, слушал бы их с меньшим удовольствием. Может быть, я понимаю их, но только чуть-чуть. А может быть, я только воображаю, что чуть-чуть понимаю их, но мне нравится так думать, ибо, откровенно говоря, я все-таки их не понимаю. Может быть, я понимаю их неверно, но мне нравится понимать их неверно, и все-таки я понимаю их правильно, даже тогда, когда понимаю неверно, ибо, если они правы и бог существует, то бог возвестит мне их устами то, что верно, даже если уста его слуг глаголют не так, как я их понимаю. Если бы я мог понимать слова священников в том смысле, какой они в них вкладывают, священники перестали бы мне нравиться. Ведь и священники глупы, неуступчивы и своенравны. Они ссылаются на бога, чтобы властвовать. Когда-то Юдеян, чтобы властвовать, ссылался на Гитлера и на провидение. А как же диакон Адольф? На кого он может ссылаться? Я поглядел на него. Он поглядел на меня. Мы молчали. Туристы, отнюдь не паломники, разговаривали на двунадесяти языках. Вода журчала о бренности всего земного. Но это было снаружи. А здесь жужжали мухи. Мухи жужжали здесь. Грязные мухи.

Этот погребок — прямо крысиная нора, но Юдеяна неудержимо тянуло туда, лишь бы скорее уйти с широкой, скучной виа Национале, спуститься в этот подвальчик по сырым и грязным каменным ступеням; его подгоняло желание пожрать и выпить, его манила вывеска «Немецкая кухня», манила вывеска «Пильзенское пиво», настоящий немец должен любить немецкую кухню; Пильзен был немецким городом, но его не сумели отстоять, Пльзень стал чешским городом, немцы потеряли его вследствие черной измены, заводы Шкода имели военное значение, пиво тоже имело военное значение, и виселицы имели военное значение, а кругом — заговоры, низшая раса, крысы, иностранные рабочие, но тайная полиция вовремя обнаружила и устранила опасность, его соратник Гейдрих решительно расправился со всеми, но соратник Гейдрих — его двойник, плоть от его плоти, кровь от его крови — уже мертв, а Юдеян жив. Всегда тот же упрек. Это, наверно, голос Евы звучал в нем, повторяя упрек. И он подумал: а почему она осталась жива, почему живет до сих пор? Думать он не привык. Размышления — это зыбучие пески, опасная запретная зона. Думают литераторы. Думают культуртрегеры. Думают евреи. Острее всех мыслит пистолет. У Юдеяна не было с собой оружия. Он чувствовал себя беззащитным. Что это с ним? Почему он, в хорошем костюме, с хорошим паспортом, с хорошими деньгами, не идет в хороший ресторан, не набивает там брюхо до отказа, как эти люди без роду, без племени? Почему бы ему не нажраться гусиной печенки, не попробовать различных соусов, не отведать откормленного каплуна, а затем не отправиться в дансинг, напиться там и подцепить девчонку на ночь? Хорошо одетый, с хорошими деньгами, он мог бы составить им конкуренцию, он имеет право претендовать на многое — почему же он этого не делает? Пьянство, жратва и девки — вот она жизнь ландскнехта, во всяком случае так поется в песне, которую они распевали в добровольческом корпусе, они пели ее у костра в Росбахе и в лагерях Черного рейхсвера, орали ее в лесу, где вершился суд Фемы; Юдеян был ландскнехтом, последним из уцелевших ландскнехтов, и ту песню он насвистывал в пустыне, а сейчас ему хотелось напиться, пожрать, поблудить, ему очень хотелось этого; он почувствовал зов плоти, почему же он не берет того, что ему хочется, к чему эти вечные траттории и закусочные, к чему этот погребок? Однако его потянуло вниз. Этот день таил в себе что-то роковое. В одряхлевшем воздухе этого города чувствовалось оцепенение, роковое оцепенение. Ему казалось, будто в этом городе живут одни импотенты. Ему казалось, что священники оскопили весь город. Он спустился вниз, к пильзенскому пиву, он спустился на дно, к чешским крысам, к чешским бочкам, он увидел просторный каменный погреб со сводами, несколько столов и стульев, а за ними стойку, пивные краны уже покрылись ржавчиной, пивная пена напоминала блевотину. За одним из столов сидели двое мужчин. Они играли в карты. Они внимательно оглядели Юдеяна и ухмыльнулись. Это была недобрая ухмылка. Они приветствовали его:

— Вы тоже нездешний!

Они говорили по-немецки. Он подсел к ним.

— Здорово,— промычал один из них.

Подошел кельнер. Юдеян сказал:

— Пильзенского.

Мужчины за столом ухмыльнулись. Юдеян добавил:

— На всех.— Те снова ухмыльнулись. С кельнером они говорили по-итальянски. Это были прожженные субъекты. Кельнер ухмыльнулся. Соседи по столу называли Юдеяна «земляк», друг о друге они говорили «мой корешок». Юдеяна тянуло к ним. Он знал людей такого сорта: отчаянные головорезы, штрафники. Их лица походили на лица покойников, умерших от дурной болезни. Подали пиво. Оно щипало язык, имело вкус

шипучего лимонада, в который подмешан яд, зато было холодное. Кружки запотели. Оба соседа подняли запотевшие от холода кружки с ядовитым на вкус пивом, приветствуя Юдеяна. Они знали обычаи. Они расправили плечи, щелкнули под столом каблуками. Юдеян тоже. Он всегда соблюдал обычаи. Кельнер подал горячее. Его, очевидно, заказали соседи по столу. Ломтики жареного лука шипели на больших рубленых бифштексах. Они принялись за еду. Набивали себе утробу. Жареный лук понравился его собутыльникам, жареный лук понравился Юдеяну. Подружились.

— Вкусно, как дома,— сказал один.

— Чепуха! — ответил другой.— Вкусно, как в армии. Вкусно меня кормили только в армии.

— Где служил? — спросил Юдеян.

Оба ухмыльнулись.

— Сними-ка очки,— сказали они.— Ты, видать, тоже не новичок.— Юдеян снял темные очки. Он внимательно посмотрел на обоих. Вот его истинные сыновья. Он охотно вымуштровал бы их. Тогда они годились бы в дело. Он подумал: прожженные ребята.

— Я, кажется, тебя знаю,— сказал один.— Определенно я тебя где-то видел. Впрочем, это не имеет значения.— Да и что могло иметь значение? Они назвали номер своей части. Юдеян знал их часть хорошо, отряд отъявленных головорезов, изрядно скомпрометированных, отряд отчаянных, их бросали туда, где регулярные части не годились. Они перебили немало народу. Их часть подчинялась Юдеяну. Фюрер использовал ее для расправы с гражданским населением. Они истребляли народы. Юдеян осведомился об их командире, ловкий был парень, весьма полезная бестия. Один начертил в воздухе петлю и затянул ее.

— В Варшаве,— добавил другой.

— Разве Варшава не была нашей, разве Париж не был нашим, разве Рим не был взят нами? Чем же вы занимаетесь? — спросил Юдеян.

— Да так, разъезжаем по белу свету,— ответили они.

— И давно уже?

— Давно.

— Сами-то вы откуда?

— Из Вены.— Они не были немцами, восточная помесь, австрийские эсэсовцы, эти всегда выходили сухими из воды. Юдеян смотрел на них, как кобра смотрит на жабу, а они принимали его за гигантскую лягушку. Но он смотрел на них также с благосклонностью, с расчетливостью человека, который разводит змей и поставляет пресмыкающихся в лаборатории для вивисекции и получения ядов. Ведь Юдеян посылал немало юнцов и мужей в зловонную кровавую лабораторию мировой истории, он посылал их на испытательную станцию смерти. Может быть, открыться им? Может быть, завербовать их туда, в пустыню? Он не побоялся бы назвать свое имя, но после того как он запросто ел и пил с ними, высокое звание не позволяет ему открыть свое инкогнито. Командующему убийцами не полагается сидеть за одним столом со своими подручными, это противоречит офицерскому этикету.

Они сказали:

— У нас есть легковая машина.— Они называли это «организовать». Они научились «организовывать». Они все еще занимались этим. Юдеян заплатил по своему счету. Они, видимо, надеялись, что он заплатит и за них, это забавляло его, но Юдеян никогда не платил по чужому счету. В его бумажнике имелись деньги разных стран, он не мог толком разобраться в этих больших измятых бумажках, в астрономических цифрах расшатанного войной курса. Война — это сам Юдеян, и ему чудилось, будто он помогал обесценивать деньги и непомерно раздувать курс ва-

люты; это вызывало в нем и удовольствие, и отвращение. Собутыльники помогли Юдеяну разобраться в курсе валюты: они «организовывали» биржевые операции, умели ловко вытянуть любые суммы, раздобыть доллары за бесценок. Юдеян презирал деньги, а нужно ему было много. И он тщательно следил, чтобы его не обокрали. Маленький Готлиб всегда восхищался богачами и всегда их ненавидел. Юдеян охотно жил, как живут богачи, но их жизни не уважал. Он даже пытался превзойти их. Богачи были глупцами. Они считали Юдеяна лакеем, который должен устраивать их дела. Однако лакей стал тюремщиком и держал их под стражей. Но в конце концов и эти пленники улизнули от Юдеяна. Богачи опять разбогатели. Они опять были на свободе. Они опять поумнели. И маленький Готлиб снова стоял в уголке, восхищаясь и ненавидя. Иной раз кусок пирога перепадал и ему. Положение звезд не было неблагоприятным для Юдеяна. Валленштейн верил в астрологию. Марс, Меркурий и Клио теперь ютились в жалких мышиных норах. Усталые, унылые, сварливые, завистливые, корыстолюбивые, алчные и всегда ненасытные, они продолжают прелюбодействовать друг с другом. Об их преждевременных родах, о выкидышах возвещает пресса. Юдеян вышел вместе с австрийцами, вместе с трупнолицыми, ухмыляющимися парнями, вместе с весьма полезными «организаторами», братьями по духу и соратниками по борьбе,— вышел из погребка. Соратники. Крысы. По каменным ступенькам взбирались крысы.

Адольф обессилел, и я снова предложил ему выпить вина, но он снова отказался; а я подумал, что он, наверно, так же изнуряет себя, когда исповедуется своему начальству. Я не его исповедник, и мне нечего ему прощать. Я не видел грехов. Я видел только жизнь, а жизнь никому нельзя простить. И советовать я ему ничего не мог. Кто имеет право давать советы? Он не сказал ничего и вместе с тем сказал так много, воскликнув:

— Она же моя мать, он же мой отец!

Так я узнал, что они в Риме, мои родители, мой брат Дитрих, тетя и дядя Юдеян; оказывается, он жив, и это Адольф сидит в моей комнате, хотя и не совсем такой, каким казался мне раньше, ведь одежда священника отделила его от нас, он освободился, но я не хотел знать, какой ценой, я сам освободился от них и тоже не хотел знать — какой ценой. Куда же теперь бежать, раз они здесь и преследуют меня? Адольф уже встретил их, вернее, свою мать, которая, по его словам, произвела на него ужасное впечатление. И когда он сказал мне: «Это мой отец, это моя мать»,— я не хотел об этом слышать. Больше не хотел. Я освободился от них. Я чувствовал себя свободным. Я верил, что освободился, и желал остаться свободным, и я не был христианином. Но я не был таким, как дядя Юдеян, который тоже не был христианином, я не был врагом христиан, я только не ходил в церковь, вернее, я ходил по церквам, и немало, но не ради церковной службы, а если и шел к церковной службе, то не к *их* службе, не к той, которую они признавали. Но раз Адольф был христианином и священником, то он знал слово божье, знал, что надо оставить отца своего и матерь свою,— разве он их не оставил?

Адольф закрыл лицо руками. Он рассказывал мне о последних днях военного училища, о последних днях этой цитадели национал-социалистского воспитания, где из нас готовили пушечное мясо и откуда фюрер рассчитывал получить пополнение. Нас и раньше обучали бросать ручные гранаты, учебные гранаты, взрывавшиеся на школьном лугу с оглушительным треском и вспышками пламени, а им стали потом давать настоящие боевые гранаты, ребята вешали их на поясной ремень, но для всех гранат не хватало, и в ход пустили старые, уже ненадежные тро-

фейные гранаты греческого производства; одного парня граната разорвала на куски; спусковой шнур зацепился за плечевой ремень портупеи, и, когда он двинулся с места, граната взорвалась, так, во всяком случае, объяснили им наставники; потом они роздали ребятам винтовки, трофейные винтовки, захваченные в дни былых побед, винтовки с уже заржавевшими стволами, и ребята должны были вместе со стариками из фольксштурма защищать орлиное гнездо, убежище разбитых, но все еще кровожадных богов; однако, на их счастье, боги стали пожирать друг друга и обезумели еще до своей смерти, а старички из фольксштурма улизнули в соседние леса и горы или попрятались в погребах и на сеновалах, молодцеватые наставники же шныряли туда и сюда, как мыши, ибо настал час расплаты за сало, которое они съели,— теперь они попали в мышеловку, сидели в прочной клетке, которую сами усердно помогали сооружать; вдруг стало известно, что пойдет еще один поезд, и воспитатели послали ребят домой, без винтовок и ручных гранат, но в коричневой форме, а домой уже нельзя было попасть, дом остался только в воспоминаниях. Их поезд недалеко ушел. Его обстреляла штурмовая авиация. Как разъяренные шершни, жалили пули сквозь стекла, сквозь жесть и деревянные стены вагонов. Адольфа не задело, но поезд так и остался на месте, словно неподвижный, пригвожденный к земле червяк. Юнцы двинулись дальше пешком по железнодорожной насыпи, галька сыпалась из-под ног, они спотыкались о шпалы, потом они увидели другой поезд, также застрявший в пути, в нем были заключенные из концлагеря. Скелеты глядели на ребят. Мертвецы глядели на них. Мальчикам, одетым в коричневую нацистскую форму, стало страшно. Однако они и сами не знали, чего они боятся. Они же маленькие германцы. И даже избранные, отмеченные свыше! Но они боязливо шептали:

— Это из концлагеря! Это евреи! — И потом, озираясь, шептали: — А где же наши, где охрана?

Но никакой охраны уже не было, поезд прочно застрял между лесом и лугом; стоял весенний день, цвели первые цветы, порхали первые бабочки, дети в коричневых куртках стояли одни перед заключенными в синей с белым полосатой арестантской одежде, скелеты и мертвецы глубокими глазными впадинами глядели как бы сквозь нацистских юнцов, и мальчикам вдруг почудилось, что они сами стали бесплотными, что у них даже скелетов нет, как будто каждый всего-навсего — это коричневая куртка, которая с помощью какого-то злого колдовства повисла в весеннем воздухе. Мальчики бросились бежать с насыпи в лес. Они не остались вместе. Они рассеялись. Безмолвно разошлись они. Ни одна рука не поднялась, никто не крикнул: «Хайль Гитлер!»

Адольф опустился возле какого-то куста на траву, он не знал, куда ему идти. Между тем в кустарнике пряталось привидение, и оно наблюдало за Адольфом. Привидение было сверстником Адольфа, но оно весило вдвое меньше. Адольф плакал. Ему всегда запрещали плакать. «Германский мальчик не плачет»,— уверяли родители и воспитатели. Сейчас Адольф плакал. Но он сам не знал, почему плачет. Может быть, потому, что впервые остался один и не было никого, кто мог бы сказать: «Германский мальчик не плачет». Когда привидение заметило, что Адольф плачет, оно схватило дубинку, лежавшую рядом, и выскочило из-за куста — это было трясущееся, изможденное создание, с иссеченной розгами кожей, наголо остриженной головой младенца и лицом мертвеца; привидение в полосатой арестантской куртке подняло дубинку, большой костлявый нос торчал на лице умирающего голодной смертью; Адольф Юдеян взглянул на нападающего и впервые увидел живого еврея — хотя и этот еврей был едва жив, привидение подняло дрожащей рукой дубинку и потребовало хлеба. Адольф развязал рюкзак, там были хлеб, колбаса, маргарин — их походный паек — и, как ни странно, даже пол-

кило миндаля, просто потому, что на складе случайно оказался миндаль. Адольф протянул все это привидению, оно рвануло к себе рюкзак, уселось неподалеку и стало запихивать в рот большие куски хлеба и колбасы. Адольф смотрел на привидение. Он ни о чем не думал. Совсем не думал. В его голове была абсолютная пустота, казалось, будто все, что он до сих пор учил, все, о чем он думал раньше, выброшено, может быть, чтобы освободить место для новых мыслей и нового учения, но было еще неясно, так ли это. А пока его голова была пуста, пуста, как воздушный шар, вяло повисший над луговиной. Привидение, заметив, что Адольф смотрит на него, бросило ему хлеба и колбасы и крикнуло:

— Ешь тоже! Хватит обоим.

И Адольф стал есть, не чувствуя ни голода, ни вкуса пищи, но и не испытывая отвращения. Когда тот, другой, увидел, что Адольф ест, он подошел ближе. Он подсел к Адольфу. Миндаль они ели вместе. Фунтик с миндалем лежал между ними, и оба с рассеянным видом запускали в него руку.

— Теперь придут американцы,— сказал еврейский подросток.— Куда ты направляешься? — спросил он.

— Сам не знаю,— ответил Адольф.

— Ты нацист?

— Мой отец — да.

— А мои родные умерли,— сказал еврейский мальчик.

Тогда и Адольф решил, что его отец тоже умер, должен был умереть, но его не трогало, что отец умер. Когда он плакал, то оплакивал самого себя и даже не только себя, он не знал, почему плачет, может быть, он оплакивал весь мир, но не отца. Разве он не любил его? Этого Адольф не знал. Разве он его ненавидел? Едва ли. Он всегда смотрел на него, как на икону, как на нацистскую партийную икону, но она его не трогала. Еврейского мальчика стошнило. Вылетели обратно хлеб, колбаса, маргарин, вылетел миндаль. Зубы его стучали, и казалось, это стучат кости, выпирающие из-под бледной кожи. Адольф снял свою коричневую куртку и накинул на плечи подростку. Он не знал, почему он это сделал. Он сделал это не из сострадания. Не из любви. И даже не от стыда отдал он куртку. Просто ему показалось, что того знобит. Потом они поменялись куртками. И Адольф надел полосатую арестантскую куртку с желтой звездой. Это взволновало его. Сердце так заколотилось, что он чувствовал, как пульсирует кровь в артериях. Куртка жгла его. Он чувствовал, как она жжет. Вскоре со стороны шоссе донесся грохот.

— Танки,— сказал Адольф.

— Американцы,— прошептал другой. Жизнь его была теперь спасена, но он был слишком слаб, чтоб доползти до танков. А как же Адольф? Кончалась ли на этом его жизнь, разбивал ли ее этот поток, эта армия, которая с грохотом и скрежетом двигалась по немецкой земле? Мальчики легли на траву и укрылись ветками. Этой ночью они лежали вместе, согревая друг друга. Утром они пошли в деревню. Еврейский подросток решил разыскать американцев. Он сказал:

— Пошли вместе!

Но Адольф не пошел с ним, ему незачем было отыскивать американцев. Он брел по деревне. На него пялили глаза: юноша в черных военных брюках с красным кантом, со стриженной по-солдатски головой и в арестантской куртке. Он вошел и сел на скамью в деревенской церкви, оттого, что ее двери были открыты, оттого, что больше нигде не было открытых дверей, оттого, что он падал от усталости и не знал, куда ему податься. Здесь его нашел священник. Он нашел его спящим. Может быть, так было суждено? Может быть, это перст божий? В воскресенье священник в своей проповеди сказал:

— Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, но пришел от смерти к жизни. Истинно, истинно говорю вам: наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас сына божьего и, услышав, придут.

Хотелось ли Адольфу жить? Хотелось ли ему предстать перед судом? В церкви были женщины и беженцы, были и мужчины, мгновенно юркнувшие в гражданское платье, чтобы избежать плена. В церкви оказались и американские солдаты, они прислонили свои карабины к церковным скамьям и держали молитвенно сложенные руки на стальных шлемах. Они сберегли свою жизнь. Они называли себя освободителями. Они явились из-за океана. Это были крестоносцы. В нацистских школах Адольфу Юдеяну приходилось слышать о крестовых походах, но его наставники неодобрительно отзывались о них. Наставники проповедовали завоевание земли, а не далеких небес. Они считали, что не стоит отвоевывать гроб господень, однако гробы их не пугали. Адольф больше не верил своим воспитателям. Он больше не верил людям. Он решил служить всевышнему. Богу отцу, и сыну, и святому духу.

Ему не хотелось умирать. Но он чувствовал близость смерти. И ему было страшно. Юдеян сел в автомобиль, поданный его верноподданными, вольноотпущенниками, но не отпущенными на волю слугами, это была изрядно потрепанная машина, почти фронтовая. Они ехали в боевой обстановке, они были разведдозором и наступали. В каком же направлении они наступали? Направление было безразлично. Важно было наступать. Юдеян приказал:

— На вокзал.

Он не знал, что ему делать на вокзале. Но вокзал был определенной целью. Он был объектом. Там можно было спрятаться. Там можно найти укрытие. Можно бесследно исчезнуть, уехать, снова пропасть без вести, снова умереть, не умирая. Юдеян мог стать легендой, как «Летучий голландец», и Ева гордилась бы им. Вокзал находился поблизости. Юдеян сидел рядом с шофером, другой парень устроился на заднем сиденье, за его спиной. Однако Юдеян заметил, что машина идет не к вокзалу, они петляли, мчались вперед, сворачивали, кружили, словно что-то отыскивая,— вероятно, они высматривали подходящий закоулок или тупик, глухие места, удобные для убийства, а может быть, они искали шумные улицы, где грохотал уличный транспорт и где одинокий выстрел не привлек бы внимания; они действительно вообразили, что Юдеян уплатит по чужому счету, болваны, они полагали, что они поймали его в свои сети; но Юдеян прекрасно разбирался в ситуации, вот так же ездили и они в лес, выполняя приговор Фемы; ударить сзади или выстрелить в спину, потом забрать у покойника бумажник, распахнуть дверцу машины и выбросить труп к чертям собачьим; он в этом прекрасно разбирался, и таков был, в конце концов, приказ фюрера — уложить на месте начальника, который изменил, который капитулировал; это был приказ для каждого, особенно для австрийских эсэсовцев, единокровной гвардии фюрера; но Юдеян не изменил, не капитулировал и страх чувствовал только в Риме, этом проклятом поповском логове, он чувствовал страх, но не был трусом, и с ним этот номер не пройдет; они мечтали на его деньги пойти в бордель, но Юдеян не даст им расстрелять себя при попытке к бегству, он сам изобрел этот прием, и его не заставят бежать. Он применял тактические обходы, шел окольными дорогами, путь вел через пустыню, вехами ему служил помет шакалов, но его целью оставалась Германия, его фата-морганой по-прежнему была Великая Германия, и ничто не могло сбить его с пути — он зарычал на них. Машина вдруг остановилась. Ветхая жесть еще дрожала.

Юдеян с удовольствием выругал их. Они же его солдаты, его цепные псы, его молодчики. Он основательно вправил им мозги. Они узнали голос своего господина. Они не возражали. Они не отпирались. Они готовы были лизать ему сапоги. Он вышел из машины и приказал: «Кругом марш!» Они развернули машину и дали полный газ. Их путь вел в Валгаллу. Юдеян охотно приказал бы им явиться в его распоряжение. Но куда бы он приказал им явиться? Прямо в ад? Юдеян не верил в ад. Он уже взрослый. Его уже просветили. Никакого ада нет. Им только пугают детей. Черт был просто черным подручным у попов. Им оставалось только явиться в распоряжение смерти — надежного друга, верного сподвижника, смерти, которой так боялся маленький Готлиб, а Юдеян, храня верность школьной песне об Андреасе Гофере, которую разучил маленький Готлиб, не раз посылал смерть в долину, и не только в долину.

Впереди оказался туннель. Он манил Юдеяна. Юдеян вбежал туда, его точно втянуло. Он снова вошел в ворота подземного мира. Это был вход в царство мертвых. Туннель, прямой и прохладный, был как бы канализационной трубой городского транспорта, здесь громыхали автобусы, а неоновые лампы изливали в эту преисподнюю мертвенный свет. Вот где они хотели застрелить его. Инстинкт не обманул Юдеяна, он выскочил из машины в последнюю минуту. Он стремительно зашагал по узкому тротуарчику, тянувшемуся вдоль стены туннеля. Ему чудилось, что он вошел в свою могилу. Это была длинная, выложенная кафелем, гигиеническая могила, чем-то напоминавшая кухню, холодильник и писсуар. В морге не набивают рот землей. Землей набили рот жертве Фемы. Жертвой был тогда молодой человек. И Юдеян был еще молодым. Жертвой оказался его товарищ. Полевые лопаты быстро закопали жертву. Да и другие наглотались земли. В Польше, в России, на Украине многим заткнули рот землей. Сначала их заставляли рыть себе могилу. Потом раздеться. Голыми стояли они у своей могилы. Фотоснимки отсылались в самые высокие инстанции, их передавали друг другу, их рассматривали за завтраком и непристойно острили. Зачатие и смерть, обручение со смертью — это же древний, очень древний миф. На место казни отправляли профессора — специалиста по расовой теории, доцента, знатока истории нравов, чтобы изучить половые реакции в минуту смерти. Фотоснимки публиковались в «Штюрмере». Газету вывешивали на школьном заборе. Восьмилетние читали. Восемнадцатилетние убивали. Тела, изрешеченные пулями, заполняли могилы. Истерзанные, обесчещенные жертвы и бесчестные насильники, а надо всем этим — небо. Следующие засыпали могилы землей. Земля была и над Юдеяном: над туннелем находился сад на Квиринальском холме. Римские папы прогуливались по этому саду. Римские папы молились в этом саду. Их молитвы не были услышаны, и чего они, собственно говоря, требовали от господа бога? Две тысячи лет христианского просветительства, а кончилось все Юдеяном. Зачем же тогда было изгонять старых богов? «Не убий!» Разве эта заповедь звучала под сводами туннеля? Pontifex maximus * в древнем Риме не знал этой заповеди. Он охотно смотрел бои гладиаторов. Pontifex maximus в новом Риме был слугой декалога**, он приказал проповедовать эту заповедь, повелел соблюдать ее. Но разве после этого перестали убивать? А сам пастырь христианского стада, сам он хотя бы отвернулся от убийства, признался перед всем миром: «Видите, я бессилен, они убивают вопреки заповеди божьей, вопреки слову своего пастыря»? «Так будьте же справедливы к Юдеяну!!» — отдавалось эхом под сводами туннеля. Маленького Гот-

---

* Верховный жрец *(лат.)*.
** Десять заповедей Моисея.

либа учили в школе, что и папы вступали в союз со смертью, и было время, причем совсем не так давно, когда папы давали работу даже палачам, даже таким людям, как Юдеян, а скольким полководцам воздавали честь римские папы и сколько раз благословляли их победоносные знамена! Будьте же справедливы к Юдеяну! Короли тоже разгуливали по саду Квиринала, любуясь красками заката. Короли не были так импозантны, как папы; Юдеяну они все еще представлялись в виде карикатур на страницах юмористических журналов времен первой мировой войны — маленький Готлиб тогда еще только научился читать; на карикатурах короли выглядели тщедушными, измена была написана у них на лице, а рука боязливо сжимала ручку зонтика. Разве и Чемберлен не ходил с зонтиком, эта комическая фигура, этот миротворец, собиравшийся отнять у фюрера войну; короли и их дипломаты просто жалкие фехтовальщики, сражающиеся зонтиками против грозовых туч судьбы. Юдеян — против зонтиков. Маленькому Готлибу хотелось стать настоящим мужчиной, он решил не подчиняться ни отцу-учителю, ни отцу небесному. Настоящие мужчины не боятся никакой непогоды, они презирают ярость небес. Настоящие мужчины под градом пуль идут во весь рост навстречу врагу, их не пугает огненный шквал — так представлялось маленькому Готлибу,— так будьте же справедливы к Юдеяну. Фары автомобилей светились в туннеле, как глаза огромных хищных зверей. Но хищники не угрожали Юдеяну. Они гнались за другой добычей. Псы ада не кусали Юдеяна. Они гнались за другой дичью. Юдеян дошел до конца туннеля. Преисподняя выпустила его на волю. Он достиг выхода.

Могила отпустила его. Царство мертвых выплюнуло его.

Он стоял в начале виа дель Лаваторе. Улица была тиха и пустынна. Уже спустилась теплая ночь. Но в другом конце улицы раздавалось пение, и оно манило Юдеяна.

Я хотел затворить окно, я хотел захлопнуть деревянные ставни, иссушенные солнцем, изрядно потрепанные ветром, я хотел плотно закрыть их, потому что Вавилон был разрушен, на площади уже не говорили на двунадесяти языках, один язык заглушил все остальные: немецкий женский хор стоял у грота с колоннами, прямо перед богами и полубогами, перед сказочными существами в барочных одеждах, перед древним окаменевшим мифом, перед водой из римского водопровода; женский хор был залит лучами прожекторов и пел «У заставы, у колодца липа шелестела», хор пел свою песню посреди Рима, посреди ночной темноты, никакая липа не шелестела над ними, нигде, куда ни глянь, не увидишь ни деревца, но они там, внизу, у бассейна оставались верными себе, оставались верными своей верности, они были искренне растроганы и своей липой, и своим колодцем, и этим «У заставы»; какие торжественные минуты, они встречают их песней, ведь они долго копили деньги и приехали издалека. Что же я мог поделать? Закрыть окно и захлопнуть деревянные ставни? Но он стал рядом со мной, задев меня сутаной, и мы высунулись из окна, а он опять начал вспоминать, как увидел моих родителей и брата Дитриха, он смотрел на них сквозь стеклянную дверь гостиницы, и он сказал мне:

— Твои родители еще ужаснее моих, они окончательно погубили свою душу.

Я тоже увидел их за стеклянной дверью гостиницы, хотя никогда там не был, но я отлично видел их, я был слишком высокомерен для того, чтобы пойти и взглянуть на них, что же я мог поделать, и я ответил ему:

— Отстань от меня со своей теологией.— И что же я мог поделать,

если женский хор пел внизу все куплеты песни о липе и какой-то усталый итальянец, которому захотелось спать, принялся бранить их из окна, а мужчина, сопровождавший женский хор и восхищавшийся пением, крикнул наверх: «Заткнись, старый макаронщик»,— что же я мог поделать? Подъехала полицейская машина, остановилась у фонтана, полицейские с удивлением смотрели на поющих женщин, затем машина медленно двинулась и скрылась за поворотом — что они могли поделать? А с виа дель Лаваторе вышел человек и присоединился к женскому хору и к мужчине, который перед тем крикнул «заткнись, старый макаронщик»,— и...

Он обрадовался, что нашел их, что встретил их здесь. Он был рад. Юдеян пришел сюда на звуки песни, немецкой песни. И этот некогда могущественный человек благоговейно внимал пению немецких женщин: их песня — это Германия, их песня — это отечество, это немецкие «застава» и «колодец», это немецкая липа, словом, все, ради чего стоило жить, бороться и умереть. Юдеян не добавил: и убивать. Он не считал себя убийцей. Он был бравый старый вояка, и эта песня была усладой для сердца бравого старого солдата, музыкой, обновляющей душу. Когда они кончили, Юдеян крикнул: «Браво!» — подошел к ним и представился, хотя и под чужим именем, а так как они стояли в ряд, словно войсковая часть на перекличке, он дал волю своим чувствам и обратился к ним с небольшой речью, сказал о том, как возвышенна эта песня, как важен этот исторический час, сказал о немецкой женщине, о знаменательной встрече здесь, в чужой стране, о сердечном привете от отечества, прозвучавшем в этой, к сожалению, предательски настроенной стране. И они поняли его, они все постигли, и мужчина, крикнувший «заткнись, старый макаронщик», крепко пожал Юдеяну руку, поблагодарил за яркую речь, оба почувствовали, как глаза их увлажнились, и оба по-мужски подавили слезы, ибо немецкие мужчины не плачут, они полны германской суровости, но сердце смягчается, когда на чужбине они слышат пение немецких женщин и вспоминают об отечестве, о колодце у заставы.

Я же думал об Адольфе: я тебе не верю, у тебя к этому нет призвания, и ты сам знаешь, что бог не призывал тебя; ты был свободен, одну-единственную ночь был ты свободен, тогда, в лесу, но ты этой свободы не вынес, как пес, потерявший хозяина; тебе был необходим новый хозяин, и тут тебя нашел священник, а ты воображаешь, что это бог призвал тебя.

Но я не открыл ему своих мыслей. Он мешал мне. Он мешал мне своими рассказами о родных. Что тут поделаешь?! Я ничего не желал знать о нем. Я ничего не желал знать о них. Я хотел жить своей жизнью, только своей маленькой жизнью без особых притязаний, не вечной жизнью, не греховной жизнью — да и что считать греховным? — я хотел жить своей эгоистической жизнью, только для себя и справляться на свой лад с собой и с жизнью, а он, который так трусил, хотел побудить меня идти вместе с ним разыскивать родню — я ненавижу это слово и нарочно употребляю его, чтобы выразить отвращение,— разыскивать нашу семейку, это ярмо, которое они хотели надеть на меня пожизненно, но я вырвался, меня освободили, я сам себя освободил, я был действительно свободен, и я не хотел туда возвращаться. Почему их разыскивал Адольф? И почему, встретив их, не пошел к ним? Почему он явился ко мне? Может быть, он хотел обратить их в свою веру? Или меня ему хотелось обратить в свою веру? Он сказал:

— Это мой отец!

А я сказал ему:

— А это моя мать, но я не желаю ее видеть.

И он сказал:

— Это моя мать!

Я возразил:

— А это моя мать, но я не желаю ее видеть.

Что касается моего брата Дитриха, то о нем я решительно ничего не хотел знать. Юдеяна же черт побрал, во всяком случае я надеялся на это, а если черт дал ему отсрочку, то это в конце концов дело черта. У меня было только одно желание: не попадаться ему на пути, моему дяде, могущественному нацистскому генералу, владыке над жизнью и смертью, предмету моих детских кошмаров, черному петрушке коричневого обер-шута.

Адольф настаивал:

— Нужно что-то предпринять. Нужно помочь им.— Он не сказал: «Я должен спасти их души». Для этого ему не хватало веры, да он и не осмелился бы сказать мне такое.

Я ответил:

— Нет.— И поглядел на него. В сутане он казался тощим, неуверенным, жалким, этот долговязый диакон, который даже еще не был священником. И я насмешливо спросил: — Как же ты предполагаешь помочь Юдеяну, твоему отцу? Ты намерен крестить его? Ведь отпускать грехи ты еще не имеешь права? Ты сказал мне, что еще не можешь отпускать грехи.

Он дрожал. Я все смотрел на него. Он был бессилен. Мне стало его жалко. Он думал, что находится в союзе с богом, а был бессилен.

На комоде лежали ноты, там же лежала нотная бумага, и Кюренберг ждал от меня музыки, которую должны слушать выдающиеся люди, чтобы обновить свою душу. Мухи водили хороводы вокруг лампочки без абажура. Целомудренная и уже нецеломудренная широкая кровать, letto matrimoniale, супружеское ложе, кровать для сожительства, стояла прямо под лампочкой, окруженной мухами. Я представил себе, как мужчина на ней обнимает женщину, и мне стало противно, ведь объятие могло вызвать продолжение жизни. Я тоже был бессилен и даже не стремился обладать властью. Муха, попавшая в стаканчик для полоскания, утонула в остатке вина. Она утонула в пьяном море, в хмельном упоении, а чем был для нас воздух, что значили для нас вода, земля, небо? Разве не бог направил муху в стакан? Ни один волос не упадет с головы... Я спросил:

— Ты где ночуешь? — А сам подумал: предложить ему остаться у меня? И подумал: нет, я не должен предлагать ему остаться. У него ведь есть убежище в гостинице для священников. Пусть идет. Я видел, как он направился к двери, и мне снова стало жаль его, и я подумал, что он все-таки освободился от своей семейки. И я спросил его, что он делает завтра, оказалось, он сам не знает и поэтому медлит с ответом, а может быть, ему и не хотелось отвечать, потом он ответил, что пойдет в собор св. Петра, и я предложил ему встретиться возле моста Ангелов, перед крепостью Ангела, у меня не было желания видеть его снова, но я назначил время, и он сказал, что придет туда в этот час.

Наконец Рим затих. Женский хор ушел, туристы удалились, кто-то завернул кран, и фонтан перестал орошать высеченный из камня Олимп богов, полубогов и сказочных существ. Журчание воды прекратилось, оно выпало из времени. Казалось, слышишь тишину. В тишине, которую я слышал, до меня донесся звук его шагов, он спускался по каменным ступеням лестницы, он, священнослужитель, диакон, словно спускался в шахту времени. Я выглянул в окно, увидел, как он вышел из дома, и посмотрел ему вслед. Точно черный пес, брел он через тихую вымершую площадь, пока не свернул за угол на улицу, ведущую к пассажу на площади Колонны. Я взял стакан с оставшимся вином и утонувшей мухой и вылил вино и муху в раковину. Адольф был бессилен...

Они огибали пассаж, отец был уже у выхода на Корсо, сын — еще у церкви Девы Марии; рабочие чистили мозаичный пол пассажа, посыпали опилками грязь, которую нанесли люди, и выметали ее большими метлами; другие замазывали разведенным гипсом щели и трещины в мозаике, приглаживая свежий гипс катком. Звук был такой, словно здесь точат длинные ножи. Юдеяну казалось, что уснувший город бросает ему вызов. Город издевался над ним. Юдеяна раздражали не только спящие — пусть себе изнемогают в своих вонючих постелях или в объятиях похотливых жен, им не выиграть битвы жизни,— его все возмущало в этом уснувшем городе: каждое закрытое окно, каждая запертая дверь, каждая штора, опущенная над витриной. Юдеяна бесило, что город уснул не по его приказу — иначе по улицам ходили бы патрули в стальных касках с автоматами в руках и патрули следили бы за тем, чтобы город спал, выполняя приказ Юдеяна, а вот Рим спал без его разрешения, он дерзал даже видеть сны, дерзал чувствовать себя в безопасности. То, что Рим спит,— это саботаж, саботаж войны, которая еще не кончена, а может быть, по-настоящему даже еще не начиналась, но это во всяком случае война Юдеяна. Будь это в его власти, Юдеян разбудил бы город, пусть бы даже трубами иерихонскими, трубами, от звуков которых рассыпаются каменные стены; пусть бы город разбудили трубы Страшного суда, в школьные годы они вызывали у маленького Готлиба трепет и восхищение, а позднее, просветившись, он в своем неверии смеялся над ними. Но власть у Юдеяна была отнята, и это обескураживало его. Он не мог этого вынести. В пустыне он жил как во сне. Казарма в пустыне повиновалась ему, казарма давала ему иллюзию власти. Он увидел стену, облепленную свежими плакатами, они были еще сырые и пахли типографской краской и клеем. И опять указ церкви висит рядом с воззванием коммунистов; воззвание — красное и наступательное, церковный указ — белый и с трудом сохраняющий собственное достоинство. Это голоса власти — старой и новой, но в них нет того удара кулаком, того окончательного отказа от всякой мысли, от желания убедить в своей правоте, нет той слепой веры в насилие и приказ, которые Юдеян считает необходимыми; и он стал раздумывать, уж не заключить ли ему союз с красными, он бы их подтянул, но маленький Готлиб был против, он ненавидел этих безродных пролетариев, он верил в Германию, верил в собственность, хотя и стоял за новое распределение собственности — в пользу Юдеяна, в пользу чистокровных германцев; и потому, что маленький Готлиб не хотел этого, Юдеян никак не мог пойти к коммунистам, и он занял место в строю, чтобы их убивать, но бессильный и продажный мир мешал ему делать это. На площади Колонны он нашел такси и приказал отвезти себя на виа Венето, назад в большой отель, назад в крепость, которая была его командным пунктом, командным пунктом могущественного, великого Юдеяна.

Адольфу, который не слышал, как точат длинные ножи, и не видел плакатов на стене, уснувший город казался тихим, он действовал умиротворяюще на его неспокойную душу, ему представлялось, что он идет по большому кладбищу, среди прекрасных памятников, среди крестов, обвитых плющом, среди старинных часовен, и Адольфу нравилось, что город мирно спит, словно большое кладбище, и, может быть, он сам уже умер — ему и это нравилось,— и он, этот мертвец, шел по мертвому городу и, уже мертвый, искал переулок, где была гостиница для приезжих священников, а они тоже лежали мертвыми на своих мертвых ложах в этой гостинице для мертвецов, она, должно быть, недалеко. Вот уже блеснул перед ним свет неугасимой лампады.

Юдеян остановил такси, не доезжая до гостиницы, и вылез из машины.

Гомосексуалисты разошлись по домам. Юдеяну не пришлось слышать их воркование. Красавцы официанты в красивых лиловых фраках громоздили стулья на столы, лениво похлопывая руками по красному бархату сидений, пыль с примесью парфюмерии вздымалась столбом, пахло лавандой, одеколоном «Португаль» и туалетной водой, а улыбающаяся красавица Лаура подсчитывала деньги в кассе и чеки официантов, и снова сумма чеков не сходилась с выручкой, но Лаура улыбалась своей дарящей счастье улыбкой, пленительной и сияющей, не омраченной ни единой мыслью, чудесной улыбкой, и женолюбивый владелец гомосексуального бара был счастлив и милостиво принял улыбку Лауры и счет, который не сошелся, он был хорошим человеком и хорошо зарабатывал; Юдеян же, не замеченный ни Лаурой, ни владельцем, ни официантами, продолжал охоту, он вел разведку местности, подсматривал в щелку уже занавешенной двери — так выслеживает жертву вор или убийца; он увидел Лауру, увидел ее улыбку, взволновавшую и его, очарование подействовало и на него, но улыбка эта терзала его; на вечер Лаура подвела веки синим карандашом, отчего глаза стали глубокими, лицо ее было напудрено, губы чуть подкрашены, она казалась очень, очень бледной, казалась застенчивой и нежной, словно сотканной из ночного сумрака, застенчиво укрывшейся в ночи. Юдеян нажал ручку двери, она поддалась, его рука выглядела большой и тяжелой на изящной дверной ручке из посеребренной бронзы, но Юдеян снял руку, он подумал: у них тут не разберешь, наверно, она еврейка, шлюха еврейская, а тех, кто путался в Польше с еврейками, вздернули, и он снова нажал ручку двери и снова отпустил ее — еврейская сука. Разве он боится?

Швейцар отеля браво приветствовал его, приложив руку в перчатке к козырьку фуражки, он приветствовал Юдеяна, как командующего, который был здесь владыкой, хотя и под чужой фамилией. Обтянутые шелком стены поблескивали, комната напоминала номер в роскошном борделе, маленькому Готлибу и во сне не снилось ничего более шикарного. Почему он не перехватил эту девчонку? Почему не увез ее с собой? Он бы взял ее, а потом вышвырнул вон. Ему было бы приятно взять ее и приятно выгнать вон. На камчатном покрывале кровати разлегся шелудивый кот Бенито. Он потянулся, выгнул спину, замигал. Юдеян почесал его облезлую шкуру. От кота воняло. Воняло по всей комнате. Кот насмешливо взглянул на него, точно хотел сказать: «Ты уже пережил себя, ты бессилен». Можно ли приказать швейцару привести какую-нибудь девчонку? Было время, когда Юдеян мог отдавать такие приказы. Он мог бы приказать, чтобы ему привели сотню девчонок. Он мог обнимать их, а затем приговаривать к смерти. Не позвонить ли ему Еве? Вот перепугались бы в ее бюргерском отеле. По ночам там боятся. Там боятся смерти. Почему бы Юдеяну не напугать бюргерский отель? Может быть, вот сейчас, ночью, он смог бы поговорить с Евой откровенно? Он мог бы сейчас объясниться с ней. Лучше разговаривать по телефону. Приказ об отправке на тот свет передают по радио или по телеграфу. Для этого не являются лично. Ева — германская женщина, нацистка, она должна понять его, она должна понять, что Юдеян еще не умер, что он еще блуждает по краю жизни. Ева — германская женщина, как те женщины, которые пели у фонтана прекрасную немецкую песню, но она выше, чем те женщины, она женщина, навеки преданная фюреру, и она — жена Юдеяна, она поняла бы его. Глупо со стороны Юдеяна бояться встречи с Евой. Почему его тянет к этой южанке, к этой, может быть, даже еврейской девчонке из лилового бара? Она же не в его вкусе. Чужая кровь. Но в ней есть что-то такое, почему он захотел именно ее. Вернее всего, она шлюха. Или все же еврейка. Тощая похотливая еврейская шлюха. Связь с ней — расовая измена. Ему нечего бояться этой девчонки. Он готов ее возненавидеть. Вот в чем дело, ему нужна женщи-

на, чтобы ее ненавидеть, для его рук, для его тела нужно другое тело, другая жизнь, которую можно ненавидеть и уничтожить,— живешь только убивая, а кто еще, кроме девчонки из бара, доступен для ненависти Юдеяна! У него отняли власть. Он бессилен...

Ева спала, она спала вытянувшись. Она спала на узкой односпальной кровати тесного номера, спала все такая же напряженная, только волосы были расплетены, распущены, похожие на пожелтевшую, забытую в поле пшеницу, на неубранную солому, уже выцветшую и поблекшую, но она спала крепко, без сновидений, глупо открыв рот, слегка посапывая, тело ее пахло, как пенки с кипяченого молока,— уснувшая гневная Норна ночного бездумья...

Предавшись ночному забвению, спал Дитрих Пфафрат и громко храпел в той же гостинице, но на куда более мягкой постели. Вино, выпитое им вместе с родителями и другими немцами того же круга и тех же взглядов, не утомило его, открытый чемодан стоял возле самой кровати, ибо Дитрих был старателен и прилежен и даже во время восхитительной семейной поездки в Италию продолжал готовиться к ответственному государственному экзамену по юриспруденции; он был уверен, что выдержит его, но все же читал юридическую литературу, которую привез с собой. Форменную фуражку студенческой корпорации Дитрих тоже прихватил с собой — ведь всегда можно встретить членов других корпораций и устроить веселую попойку. Фуражка с цветной лентой лежала рядом со сводом законов: Дитрих был уверен в том, что принадлежность к студенческой корпорации и закон помогут ему в жизни. В открытом чемодане лежали еще карты дорог, Дитрих охотно водил машину обер-бургомистра, своего отца, и тщательно отмечал крестиком те места, которые следовало посетить, названия этих мест он записывал на особый лист бумаги и аккуратно регистрировал имеющиеся там достопримечательности, а красным карандашом подчеркивал места боев — их тоже надо было осмотреть — и точные даты сражений. Возле чемодана лежал журнал, Дитрих бросил его туда, когда гасил ночную лампочку, он плохо прицелился, и ярко иллюстрированный журнал не попал в чемодан, Дитрих купил его в киоске, он считал, что за ним никто не наблюдает здесь, в Риме, где он никого не знал и где никто не знал его. На обложке была изображена девица, она стояла, расставив ноги, пестрая, мясистая, в блузке, расстегнутой до пупа, сетчатые чулки облегали ее мясистые упругие бедра, в этот вечер не пиво, а эти бедра утомили Дитриха. Побороть влечение к девушке он был бессилен, но его с огромной силой тянуло к сильным мира сего, которым он хотел служить, чтобы сидеть в доме могущества, приобщиться к силе могущества и самому стать могущественным...

Довольный собой, дремал Фридрих-Вильгельм Пфафрат, хотя и не в объятиях, но рядом с женой Анной на двуспальной кровати, дома они спали порознь. Да и чего быть недовольным. Его жизнь представлялась ему безупречной, а жизнь не бывает неблагодарной по отношению к людям безупречным. В Германии чувства стали снова немецкими, и мысли стали тоже немецкими, хотя она и была поделена на две чуждые друг другу половины, и Фридрих-Вильгельм Пфафрат снова стал городским головой, благодаря одобрению, симпатии, приверженности граждан к строго демократическим выборам, причем все произошло безупречно, никаких махинаций, никакого обмана избирателей, никаких подкупов — и уж конечно не по милости оккупационных властей; нет,

его выбрали добровольно, и он был рад, что стал обер-бургомистром, хотя раньше уже был обер-президентом и распоряжался большим партийным имуществом, он был рад, он был безупречен, но страшное видение незаслуженно и несправедливо потревожило сон безупречного обер-бургомистра: в черном мундире, на храпящем коне подскакал к его ложу Юдеян, хор яростно пел отчаянную нацистскую песню, и Юдеян рванул к себе Пфафрата, посадил рядом с собой на храпящего коня, и они понеслись к небу, там Юдеян развернул огромное светящееся знамя со свастикой и тогда сбросил Пфафрата, столкнул его вниз, и Пфафрат падал, падал, падал — против этого кошмара могущественный обер-бургомистр Фридрих-Вильгельм Пфафрат был бессилен, совершенно бессилен.

Бессилен я. Я умываюсь. Я умываюсь холодной водой из раковины и думаю о том, что вот эта вода течет по старому римскому водопроводу, течет ко мне с печальных голубых гор и через развалившиеся стены акведука — такими их нарисовал Пиранези,— проходит сюда в раковину, приятно умыться такой водой. Я иду босиком по прохладному каменному полу комнаты. Ощущаю под ногами холодный и твердый камень. Приятно ощущать прохладу камня. Я ложусь нагим в широкую постель. Хорошо лежать нагим в широкой постели. Я не накрываюсь ничем. Хорошо лежать одному. Я словно предлагаю кому-то свою наготу. Нагой, неприкрытый, я смотрю на неприкрытую, нагую лампочку. Мухи жужжат. Наг, раздет. Белая нотная бумага лежит на мраморе. Но она уже не белая: бумага засижена мухами. Я не слышу никакой музыки. Во мне ни единого звука. Нечем освежить себя. Ничто не может освежить жаждущую душу. Нет никакого родника. Августин удалился в пустыню. Родник был тогда в пустыне. Рим спит. Я слышу гром великих сражений. Он еще далек, но он ужасен. Битва еще далека, но она приближается. Скоро заалеет утро. С улицы донесутся шаги рабочих. Битва придвинется, и рабочие пойдут ей навстречу. Они не будут знать, что идут в бой. Если их спросить, они скажут: «Мы не хотим идти в бой»,— но они пойдут. Рабочие всегда встают в строй, когда надвигается битва. И девушка в красном галстуке пойдет вместе со всеми. Все гордецы идут в бой. Я не горд, или я тоже горд, но по-другому. Я раздет, я наг, я бессилен. Нищ, наг, бессилен.

II

Римский папа молился. Он молился в своей домашней часовне в Ватикане, он стоял коленопреклоненный на покрытых пурпурным ковром ступеньках алтаря. Распятый смотрел на него вниз с картины, богоматерь смотрела на него вниз с картины, святой Петр выглядывал из облаков; папа молился за христиан и за врагов христианства, он молился за город Рим и за весь мир, молился за священнослужителей во всем мире и за безбожников во всем мире, молил господа о том, чтобы господь просветил волей своей правительства всех стран, молил господа открыться и главам непокорных государств, просил, чтобы матерь божия заступилась за банкиров, узников, палачей, полицейских, солдат, за исследователей атома, за больных и увечных Хиросимы, за рабочих и коммерсантов, за мотогонщиков и футболистов; силой и властью своих посвящений благословлял он народы и расы. Распятый с мукой смотрел на него, матерь божия смотрела на него улыбаясь, но с грустью, а святой Петр, хоть и поднялся с земли в облака, все же сомнительно, достиг ли он небес, ибо путь на небо только и начинается от

облаков, и еще ничего не достигнуто, если витаешь в облаках, путешествие даже не начато; и святой отец возносил мольбы за покойников, за мучеников, за погребенных в катакомбах, за всех, кто пал на поле битвы, за всех, кто умер в темнице, возносил он мольбы и за своих советчиков, за своих хитроумных законоведов, за своих изворотливых финансистов, за своих многоопытных дипломатов; вспомнил он вскользь и об умерших гладиаторах его города, об умерших цезарях, умерших тиранах, умерших папах, умерших кондотьерах, умерших художниках, умерших куртизанках; он вспоминал о богах Ostia antica *, о душах старых богов, блуждающих в римских руинах, о памятниках, о развалинах, о языческих храмах, превращенных в христианские, о разграбленных алтарях древних язычников и видел в духе — аэродромы, видел в духе — роскошный римский вокзал, видел, как сюда непрерывно прибывают толпы современных язычников, и эти язычники смешиваются с язычниками, уже живущими в его городе, и нынешние безбожники еще дальше от бога, чем язычники древности, чьи боги стали теперь тенями. Может быть, и сам римский папа стал тенью. Может быть, он на пути к тому, чтобы стать ею?

Папа отбрасывает на пурпурный пол часовни узкую, бесконечно мягкую, бесконечно трогательную тень. Но там, куда она падает, пурпур ковра сгущается до цвета крови. Солнце взошло. Оно засияло над Римом. Когда святой отец умрет, кто унаследует sacrum imperium — священную империю? Кто они, эти будущие наследники священной империи? В каких катакомбах молятся они, в каких темницах томятся, на какой плахе умирают? Никто не знает. Солнце светит. Его лучи греют, и все-таки их блеск холоден. Солнце некогда было одним из богов; греющее, сияющее и все же холодное, взирало оно на то, как гибли боги. Солнцу было все равно, кому светить. А язычники в Риме и язычники во всем мире утверждали, что солнечный свет — явление астрофизическое, и они исчисляли солнечную энергию, исследовали солнечный спектр и определяли солнечное тепло в градусах. Но солнцу было безразлично, что думают о нем язычники. Так же безразлично, как молитвы и мысли священников. Солнце светило над Римом. Оно светило ярко.

Я люблю утро, я люблю римское утро. Встаю я рано; сплю мало. Я люблю утреннюю свежесть узких улочек, укрытых тенью больших домов. Я люблю ветер, когда он с изогнутых кровель спрыгивает в старинные закоулки,— это утренний привет семи холмов, с ним посылают в город свою насмешку боги. Солнце дразнит своим блеском башни и купола, оно дразнит мощный купол св. Петра, оно гладит обветшавшие стены, ласкает мох в сточных желобах, ласкает мышей Палатина, плененную волчицу у Капитолия, птиц, свивших гнезда в Колизее, кошек Пантеона. В церквах служат обедню. Мне не нужно далеко ходить, чтобы послушать обедню. Есть церковь рядом с фонтаном ди Треви и еще одна — на углу виа дель Лаваторе, а потом еще пять или шесть домов божьих — тоже поблизости, их названий я не знаю. Я охотно хожу в церковь. Вдыхаю благочестивый запах ладана, тающего воска, пыли, олифы, старой одежды, старых женщин и старого страха, запах великодушия и бездушия. Я слушаю литании «Ab omni peccato libera» **, слушаю однообразное бормотанье, раз навсегда установленный и раз навсегда затверженный диалог между священником и старухами, которые закрывают лицо вуалью и смиряются, чтобы их возвысили; преклоняя колени на каменном полу, слушаю звон колокольчика в руке

* Древняя Остия *(лат.)*.
** Освободи от всякого греха *(лат.)*.

служки. Я стою у самой двери, чужак, почти нищий; я стою в стороне от прихожан и делаю это сознательно. Я смотрю на свечи, горящие перед изображениями святых, и однажды сам купил свечу, зажег и поставил в неукрашенную, пустую нишу, еще не отданную никакому святому; я поставил свечу неведомому святому, так же как римляне построили храм неведомому богу, ибо мы скорее не заметим святого, чем проморгаем какое-нибудь божество. Может быть, этот неведомый святой живет среди нас, может быть, мы проходим мимо него; может быть, это разносчик газет в пассаже, который возвещает об отдельных эпизодах грандиозного разбоя, выкрикивает прогнозы военной опасности; может быть, святой — тот полицейский на виа дель Тритоне; может быть, узник, приговоренный к пожизненной каторге, который уже никогда не пройдет по римской улице; но мало вероятно, чтобы святым, да к тому же неведомым, мог быть директор итальянского Коммерческого банка, роскошное здание которого высится на Корсо, хотя верующие и утверждают, что для бога нет невозможного, поэтому, ладно, допустим, что и банкир может быть призван, однако ни к одному из них не явится святой отец, чтобы омыть ему ноги, ибо святой отец и не подозревает, что могут быть святыми люди, обитающие неподалеку от него, и до церкви никогда не дойдут их имена, она никогда не узнает, что они жили на свете и были святыми. Но ведь возможно, что святых вообще уже не существует, так же как не существует богов? Я этого не знаю. Может быть, знает папа. А если он и знает, так мне не скажет, а я не спрошу.

Прекрасны утренние радости. Чистильщик почистил мне ботинки, и они заблестели, отражая солнце. Парикмахер побрил меня, его руки массировали мне кожу; потом я прошел пассажем, я ступал по его камням, и мои шаги будили веселое эхо. Я купил газету, от нее пахло типографской краской, и в ней был приведен новейший курс на духовные и материальные ценности во всем мире; затем направился в бар «Эспрессо», подошел к стойке, остановился среди других мужчин, тщательно вымытых, тщательно выбритых, причесанных, приглаженных, в опрятных крахмальных сорочках, в меру надушенных, и стал пить, как и они, горячий крепкий кофе, приготовленный машиной; я пил его à la cappuccino — с сахаром и со сливками, здесь я любил стоять, здесь мне нравилось, а на шестой странице газеты я обнаружил свой портрет и свою фамилию, и мне было приятно, что фотография автора симфонии, которая будет исполняться сегодня вечером, помещена в итальянской газете, хотя отлично знал, что никто на фотографию и не взглянет, разве что несколько композиторов: они будут рассматривать ее очень внимательно и выискивать в моем лице черты глупца, неудачника, бездарности или сумасшедшего, а затем газета станет макулатурой, ее используют как оберточную бумагу или еще для каких-либо нужд; но я считал, что так и надо, это хорошо и правильно, я не хочу оставаться таким, какой я сегодня, не хочу неизменности, я хочу жить в вечных превращениях, и я боюсь небытия.

И вот я иду на последнюю репетицию, иду к святой Цецилии — покровительнице музыки. Будет ли она ко мне благосклонна? Я не ставлю ей свечи, я предложу звучания, которые, быть может, ей не понравятся. Я иду к Кюренбергу, к мудрому волшебнику, и к ста музыкантам, они играют мое сочинение, и я перед ними робею; вероятно, я встречусь с Ильзой Кюренберг — ее как будто ничто не трогает, она принимает жизнь и смерть так же, как смеется солнце и падает дождь. Она не покровительница музыки, я это чувствую, но, быть может, она богиня музыки или заместительница Полигимнии, муза современности, скрывающаяся под личиной уклончивости, ожесточенная и равнодушная. На виа делла Муретте я почтительно останавливаюсь перед похоронным бюро. Смерть влечет к себе; но как смешон реквизит, который человек поку-

пает, чтобы достойно улечься в могилу. Управляющий бюро, красивый плотный мужчина с крашеными под вороново крыло, словно лакированными волосами, как будто цель его профессии — отрицать все преходящее, отпирает дверь бюро, и его кошка, дремавшая на гробах, на бронзовых венках и стальных иммортелях, не поддающихся распаду, тлену и грязному превращению в прах, его кошечка весело идет к нему навстречу, а он любезно приветствует ее: «Доброе утро, милая киса!» Вероятно, этот господин боится мышей, боится, что ночью мыши примутся грызть пышные аксессуары смерти и, опередив могильных червей, сожрут бумажные саваны или ощиплют лепестки искусственных цветов.

Адольф сидел в конце длинного стола в трапезной гостиницы для приезжающих в Рим священников, грязновато-коричневый полусвет падал на Адольфа, ибо единственное окно выходило в тесный двор, к тому же на окне висели гардины, поэтому в помещении царил сумрак, а несколько тусклых лампочек придавали дневному свету еще более коричневатый оттенок; у всех сидевших за столом был крайне утомленный вид, словно после неудачного ночного путешествия или неожиданного стремительного переезда, а ведь они провели ночь в этом доме, и если даже им и не удалось заснуть, то во всяком случае они отдыхали в своих постелях и, спали они там или бодрствовали, во сне и наяву гордились тем, что находятся в Риме, в столице христианского мира. Некоторые уже побывали в церкви на ранних службах и вернулись к завтраку, стоимость которого включалась в цену ночлега,— безвкусный, стандартный завтрак, как и все завтраки в семинариях, больницах и интернатах: кофе, точно помои, на черствый крошащийся хлеб намазано повидло, лишенное цвета и запаха каких-либо фруктов; они с трудом проглатывали пищу и тут же изучали свои карманные путеводители, выписывая адрес, куда нужно зайти.

Отец-гостиник спросил Адольфа, не хочет ли он принять участие в экскурсии по городу — намечено осмотреть все святые места, гробницы мучеников за веру, места откровений господних и святых знамений, сам папа обещал принять экскурсантов. Но Адольф поблагодарил и отказался, ему хотелось побыть одному. Ведь они уже священники, их уже возвели в этот сан, епископ выкликал их имена одно за другим, и все оказались на месте и все крикнули «Adsum» *, и тогда епископ спросил у архидиакона: «Считаешь ли их достойными?» — и архидиакон ответствовал: «Насколько позволяет мне человеческое несовершенство, я знаю и могу подтвердить, что они достойны нести бремя иерейского сана». И епископ воскликнул «Deo gratias» **, они стали священниками, над ними совершили обряд помазания, и они обещали быть послушными епископу и его преемникам и получили право отпускать грехи: Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis, et quorum retinueris, retenta sunt ***. Адольф еще не священник, он только диакон, он стоит на ступеньку ниже их, они для него начальство; и он смотрел, как они едят хлеб, как они составляют планы, чтобы с пользой провести этот день в Риме, и спросил себя, неужели бог избрал их, неужели они посланы богом, эти тщеславные вороны, эти робкие огородные пугала,— он сомневался в этом, ибо почему же бог тогда не сделал бо́льшего, почему же его слуги не борются решительнее с трагическим развитием событий в этом мире? Адольф пришел к ним после катастрофы, постигшей этот мир, и теперь ему кажется, что, даже будучи священником, он вряд ли

* Присутствуют *(лат.)*.
** Благодарение богу *(лат.)*.
*** Прими дух святый: кому отпустишь грехи, тому будут они отпущены, а на ком оставишь их, на том — останутся *(лат.)*.

сможет воспрепятствовать новой катастрофе, он даже не уверен, сможет ли остаться непричастным к ней, прикрываясь столь сомнительной праведностью фарисеев, и он спросил себя: действительно ли он призван, если призваны такие, как эти? Ответа он не нашел, как не нашел ответа и на вопрос, должен ли он явиться к матери и отыскать отца; может быть, он все-таки любит своих родителей, или это его обязанность — любить их, особенно важная обязанность для священника — любить отца и мать, хотя, может быть, именно для священника и не такая уж важная, ибо священник должен любить всех людей одинаково; родители дали ему жизнь, но душу дал ему господь, родители произвели его на свет не во имя божье, не для того, чтобы служить богу, чтобы выполнять заповеди божьи, они произвели его на свет, предаваясь наслаждению, потому что были чувственными, а может быть, они дали ему жизнь оттого, что были неосторожны, или им просто захотелось иметь ребенка, или оттого, что в Третьей империи было модно иметь детей, сам фюрер любил детей, а может быть, Адольф появился на свет в результате всех этих причин — жажды наслаждения, неосторожности, желания иметь потомство и заслужить благосклонность фюрера, и все-таки где-то за всем этим стоял бог, незримый и неведомый, ибо всякое зачатие — чудо, и даже пьяный, насилующий молоденькую служанку в придорожной канаве, творит зачатие по непостижимому соизволению божию; однако Адольф, диакон, вопрошал: «Зачем, зачем, зачем?» Но в сумраке этого убежища, в сумраке глупого, бессмысленного уныния и противного здравому смыслу кисловатого благочестия Христос не явился ему, и Адольф не мог, подобно апостолу Петру, вопросить: «Камо грядеши, господи?»

Пфафраты положили в машину все, что требовалось для пикника: хлеб, холодное мясо, кусок фазана, вино и фрукты,— они решили поехать в Кассино, не в монастырь, нет, им хотелось увидеть поля сражений, они уговорились с другими немецкими туристами, участниками былых боев, те могли бы им дать объяснения; однако Пфафраты опоздали, им пришлось сначала разыскивать Юдеяна — они все же решили пригласить его поехать с ними, ведь поля сражений должны интересовать его, и это сблизит их всех, согреет души общим идеалом, пробудит несокрушимую гордость победителей, которая остается несмотря на поражение, но Ева, игравшая в данном случае главную роль, расстроила все планы: она отказалась, отказалась принять участие в поездке, отказалась от свидания и пожелала остаться в своем номере, в каморке, окно которой выходило на шумный двор, полный кухонного дыма и чада, лучше уж она вернется домой, в Германию, чтобы и там замкнуться в тесной каморке. Пфафраты рассвирепели и стали умолять ее:

— Почему же ты не хочешь видеть его, что он подумает?

И она не могла ответить им, им, которые уже снова вкушали радости быстротечного дня, уже примирились со всем: примирились с крушением всех надежд, с изменой, с мародерством; она не могла объяснить им, что ее брачный союз с Юдеяном был настолько тесно связан с Третьей империей, настолько поддерживался верой в нее и питался из того же источника, что теперь брак расторгнут, распался сам собой, как только умер Гитлер, рухнул Третий рейх и чужеземные солдаты вступили на германскую землю, кощунствуя над провидением и предвидением фюрера. Кому это неясно, кто не понимает, что иначе и думать нельзя, тому не втолкуешь, и уж лучше молчать, не выставляя на поругание свою скорбь. Не ее это вина и не вина Юдеяна, оба они неповинны в том, что случилось и чего уже не поправить, но им приходится разделять ту вину, которая неизбежно ложится на каждого уцелевшего после катастрофы; Ева считала себя виновной не в том, что помогала прокладывать путь,

который привел к катастрофе, а в том, что осталась в живых, что она цела и невредима; сознание этой вины не меркло, и Ева боялась, что Юдеяну теперь тоже придется, что он вынужден будет разделить вину с оставшимися в живых, а этого она не желала, ведь она видела его еще не обремененного этой виной, среди героев Валгаллы; однако доля вины неизбежно ложится на каждого уцелевшего, поэтому письмо, написанное Юдеяном, весть о том, что он жив, испугала ее, а не обрадовала. Но кому могла она открыться, кому сказать о своем ужасе? Сын стал ее врагом. Он стал ее злейшим врагом, если только слово «злейший» содержит в себе зло, и будь она верующей, она прокляла бы сына, но верующим был он, а она, язычница, не располагает проклятиями, язычница — нищая: она не верит ни в силу благословения, ни в силу проклятия, она верит лишь в былое единство германской нации, а кощунствующий над этим единством заслуживает лишь смерти. Но ведь не может она его убить. У нее больше нет власти над ним. Она может его только забыть. Но чтобы забыть, нужно время, она уже почти забыла сына, как вдруг появление Юдеяна вновь вернуло все забытое, память обо всех крушениях, всех потерях, поэтому она не хотела видеть Юдеяна и осталась в отеле, ей казалось, будто ее стегают кнутом.

Пфафраты ехали в машине, которой правил Дитрих, и думали: мы не можем сказать ему прямо, нужно сообщить осторожно — она сошла с ума; да, после всего, что ей пришлось вынести, пожалуй, нет ничего удивительного в том, что она сошла с ума, но мы сделали все, что могли, нам упрекнуть себя не в чем, никто не может упрекнуть нас, мы поддерживали ее, Юдеян должен это признать, мы привезли ее сюда, и пусть теперь он решает, как с ней быть. А Дитрих думал: дядя живет в более шикарном отеле, чем мы, у него, видно, есть деньжата; когда мы учились в Орденсбурге, я завидовал Адольфу — его отец занимал гораздо более высокое положение, чем мой; хотелось бы знать, так ли дело обстоит и сейчас и как удалось Юдеяну ускользнуть от врагов, как ему удалось прорваться; интересно, остался ли он все тот же, добьется ли снова власти, возобновит ли борьбу, и можно ли уже перейти на его сторону или это пока слишком рискованно?

А Фридрих-Вильгельм Пфафрат сказал:

— Может быть, еще рано думать о его возвращении! Может быть, ему следует подождать год-другой, пока ситуация станет яснее. Суверенитет нам, конечно, дадут, и новая армия у нас тоже будет, нельзя не признать, что боннское правительство в этом отношении хорошо поработало, и все же нам пока приходится лавировать, но, когда армия будет создана, тогда, может быть, настанет время для подлинно национальных сил взять власть в свои руки и рассчитаться с изменниками.

— С изменниками рассчитаются,— сказал Дитрих.

На лице его появилось злобное выражение, он судорожно стиснул руль. Он чуть не задавил господина, который, словно дипломат, с раскрытым зонтиком переходил виа ди Порта Пинчана и столь явно и очевидно верил в торжество разума, что едва не попал под машину.

Юдеян встретил их в халате, он обтерся спиртом, надушил седую щетину туалетной водой и выглядел как старый преуспевающий боксер, который ради хорошего гонорара еще раз выходит на ринг. Роскошь, окружавшая его, смутила их. Они стояли перед ним, как просители, как бедные родственники, как стояли перед ним всегда; он заметил это и почувствовал себя на высоте положения, все было рассчитано — они видели стены, обтянутые шелком, ощущали под ногами толстый ковер, их пленяли его чемоданы, а на кровати они увидели венец всей этой роскоши, знак независимости и власти—большого шелудивого кота.

— Это Бенито,— представил его Юдеян.

Ему было приятно их восхищение и их тайный ужас. Фридриха-

Вильгельма Пфафрата просто жуть взяла при виде паршивого животного, но он и виду не подал, хотя ему чудилось, что храпящий черный конь, который мчал его во сне, превратился в этого шелудивого кота. Юдеян не спросил Пфафратов о Еве. Он видел их насквозь. Он прищурил глаза, и они стали узкими, хитрыми и злыми, как у вепря, он угрожающе нагнул голову, пусть противник на ринге остережется старого боксера. Теперь Ева стала для них бедной родственницей, а Пфафраты, разумеется, благодетели; этого нельзя дольше терпеть. Юдеян решил позаботиться о Еве. Он раздобудет денег, пусть она купит себе дом и станет независимой. Как только Пфафраты заговорили о Еве, Юдеян остановил их движением руки. Он обо всем позаботится сам, сказал он с величественным, диктаторским жестом. Он не высказал желания повидать Еву. Он понимает ее. Он понимает, почему она не пришла; правильно сделала. Они не могут увидеться, не могут взглянуть друг другу в глаза, они не могут увидеться в присутствии Пфафратов, этих обывателей, которые ничего не поняли, ничего не постигли. Может быть, Юдеяну удалось тайно повидать Еву, словно скорбящую тайную возлюбленную, увидеть которую так страшно?

Но вот боксер дал маху, неосторожно открылся, спросил об Адольфе, и Дитрих тут же выпалил: Адольф-де стал попом; удар был страшен, прямо в сонную артерию. Юдеян покачнулся, лицо его исказилось, он побелел, потом залился краской, щеки, лоб, кожа побагровели, жилы набухли, словно его вот-вот хватит паралич, он вцепился в горло, будто задыхаясь, и вдруг с его губ полился поток ругательств, поток грязи. Эти извержения захлестнули Пфафратов, Юдеян заревел, что все они подлизы, приспособленцы, скряги, они теперь дрожат и пикнуть не смеют, точно домашние свиньи, увидевшие вепря; но виноваты они, они отвечают за измену, вероломство, дезертирство, капитуляцию, лакейство перед врагом, они в штаны наклали, лизоблюды, коллаборационисты, пресмыкающиеся подхалимы, жалкие псы, они хнычут от страха перед адом и повизгивают перед священниками, они, видно, прикатили в Рим, чтобы лобызать ноги папе и испросить себе отпущение грехов! Но история осудит их, Германия проклянет, немецкое отечество низвергнет их, такой народ, как они, достоин гибели, это понял и фюрер; фюрер явился к трусливому народу, к прогнившему племени — в этом была его трагедия; а они слушали, господин обер-бургомистр слушал его, фрау Анна и Дитрих ловили каждое слово, точь-в-точь как в былые дни: великий Юдеян говорил речь, высокий начальник гневался, и они покорялись, они даже испытывали какое-то удовольствие, сладострастную резь в животе и ниже, они преклонялись перед ним. Он смолк. Он изнемог. Раньше бы такая речь не лишила его сил, раньше подобные взрывы только укрепляли Юдеяна. Его волосы слиплись, шелковая пижама под халатом вымокла от пота, лицо все еще было багровым, как гребень индюка. Но его не свалить, он не рухнул на ринг, а, быстро овладев собой и похлопывая себя по ляжкам, рассмеялся: вот так анекдот, великолепный анекдот, ему следовало отправить на небеса еще больше попов, раз уж он сам поставил одного церкви; Юдеян прошелся по комнате, налил себе коньяку и выпил его залпом, предложил коньяку и им, но только Фридрих-Вильгельм Пфафрат разрешил себе рюмочку, Дитрих же извинился — он ведь должен вести машину; подобная воздержанность вызвала у Юдеяна только презрительный смех.

— Что у нас за дети! — воскликнул он; казалось, ему пришла в голову какая-то мысль, какая-то забавная мысль, он подошел к кровати и вырвал из когтей Бенито итальянскую газету, которую здесь подавали вместе с завтраком. Юдеян стал рассматривать ее, не понимая текста, разглядывал картинки и подписи под ними и обнаружил портрет своего племянника Зигфрида, он помнил его очень плохо, но, должно быть, это

все-таки его племянник Зигфрид Пфафрат, и вот Юдеян протянул фотографию Фридриху-Вильгельму Пфафрату с возмущением и насмешкой, ибо, не поняв надписи под портретом, он решил, что племянник стал скрипачом. Разумеется, это не так скверно, как быть попом, но все же это весьма скверное занятие, и оно противоречит традициям семьи, происхождению, воспитанию в военной школе; так Юдеяну удалась маленькая месть.

Пфафрат взял газету, он был ошеломлен столь неожиданной атакой и возразил, что Зигфрид не скрипач, а композитор, и тут же рассердился на себя за то, что сказал это, ведь для Юдеяна не имело значения, пиликает ли Зигфрид в кафе или пишет концерты, так или иначе, это не мужское занятие, недостойная профессия. Пфафрат согласен с Юдеяном, но все же портрет сына в римской газете вызвал в нем иные чувства; может быть, ему вспомнился домашний книжный шкаф, где стоят сочинения Гёте и биография Вагнера, он гордился Зигфридом, гордился тем, что у него такой сын, он протянул газету Анне, та закудахтала, точно наседка, которая высидела утенка и видит, как он бросается в пруд, прямо в воду и плывет, отдаваясь стихии. Дитрих тоже склонился над газетой и, увидев брата, пробормотал:

— Черт возьми,— что могло в равной мере выражать изумление, радость или негодование. Юдеян так и остался опозоренным своим благочестивым отпрыском, а Пфафратам, пожалуй, даже лестно, что у них такой сын, который пиликает на скрипке или сочиняет музыку, хотя им совершенно неизвестны ни его взгляды, ни его пороки; может быть, он ведет грязную жизнь в обществе евреев и людей без роду, без племени, может быть, газета дала публикацию за хорошую мзду.

Юдеян нервно расхаживал в своем халате по комнате — так ходит по рингу взволнованный боксер, протестующий против несправедливого решения судей. Он наотрез отказался поехать с Пфафратами в Кассино. Что ему поля сражений, сказал он издеваясь, на которых тишь да гладь, где земля уже впитала кровь, где уже зарыты трупы и снова растут цветочки, где пасутся ослы, а рядом с ними, на смех ослам, ползают по земле туристы. Да и что такое битва под Кассино по сравнению с битвой под Берлином! Под Берлином произошло сражение, которое не кончилось и никогда не кончится, битва продолжается, она продолжается незримо, ему хотелось сказать — бой ведется над землей, но Юдеян позабыл легенду о Каталунской битве, которую учил в школе маленький Готлиб, он помнил только, что кто-то сражался в воздухе, но то были не духи умерших, духов не существует, и не сами умершие, они хоть и существуют, но сражаться не могут; наверно, это были летчики, и естественно, что летчики сражаются в воздухе, они и в дальнейшем будут так же сражаться, будут в конце концов сражаться новым оружием — всей мощью атома, потому что им не удалось отстоять Берлин.

— Ты веришь, что будет новая война? — спросил Пфафрат.

И Юдеян ответил, что всегда верит в войну, во что же еще можно верить? Пфафрат тоже верил в новую войну, война будет, этого требует справедливость, но он полагал, что время для нее еще не пришло, он полагал, что война еще невыгодна для Германии, по его расчетам шансы на успех еще ненадежны, но он не осмелился сказать это Юдеяну, так как знал, что Юдеян сочтет его трусом.

— Ты тогда вернешься? — спросил он Юдеяна, и тот ответил, что он всегда в бою и всегда за Германию.

Потом Юдеян унизился до того, что стал ломать перед ними комедию: позвонил в дипломатическое представительство страны, оплачивавшей его услуги, и, отчаянно коверкая французские, английские и арабские слова, заказал себе посольскую машину, при этом сделал

вид, будто отдает приказания как диктатор и решает вопросы войны и мира — пока что для Ближнего Востока. Фридрих-Вильгельм Пфафрат и его жена не заметили мошенничества маленького Готлиба и были снова захвачены величием своего родственника, а Дитрих Пфафрат поджал губы, он тоже не смог разобрать эту языковую мешанину, но внезапно почувствовал, что славное время его дяди миновало навсегда, что Юдеян стал авантюристом с непрочным положением и темными деньгами. «Будь осторожен,— предупреждал внутренний голос,— Юдеян может повредить твоей карьере». И все же Дитрих охотно пошел бы за ним, если бы Юдеян развернул свое знамя и призвал к национальному объединению, пошел бы, разумеется, при наличии перспективной и выгодной должности. Но пока выгодные должности можно получить и в Западной Германии; Дитрих добьется их, когда успешно сдаст экзамены. Вот если он останется без работы, если у него не будет автомобиля для развлечений, если он скатится до уровня пролетарской интеллигенции, если разразится экономический кризис, вот тогда Дитрих слепо пойдет за любым лживым знаменем, без раздумья пойдет на любую лживую войну.

Зигфрид явился на репетицию поздно; он опоздал нарочно, он боялся, боялся своей музыки, боялся Кюренберга; он пошел пешком, затем сел не на тот автобус и поехал не в ту сторону, задумавшись, следовал некоторое время за каким-то малышом, а когда все же приблизился к концертному залу, ноги его были точно скованы, а башмаки словно свинцом налиты, он мешкал в нерешительности перед гардеробом, несколько плащей болталось на унылых крючках, словно тени повешенных, три-четыре зонтика привалились к стене, будто пьяные; уборщица ела бутерброд с ветчиной, сало свесилось, оно таяло от тепла, вызывая отвращение, отвращение вызывали и отвислые груди уборщицы, ее расстегнутая, пропитанная потом блуза; Зигфрид вспомнил о материнском лоне, о том, что у нее есть дети, и ему стало противно от этой теплой и влажной груди, от влажных и теплых детей, от влажной и теплой жизни, зловещим и отвратительным показалось ему жадное стремление к жизни, на которое мы обречены, слепая жажда продолжения рода, обман, которому еще поддаются самые бедные, эта видимость вечности, где нет ничего вечного, этот ящик Пандоры, полный страхов, войн и нищеты; и тут он услышал тромбоны, свои тромбоны, они угрожали ему, он услышал арфы, свои арфы, и казалось, будто они дрожат, до него донеслись скрипки, его скрипки, и казалось, они кричат, его музыка была для него чужой, чужой. И, кроме того, она будила страх. Он шагал по коридору взад и вперед. В зеркалах на стенах отражалась его фигура, и Зигфрид казался себе уродливым. Он говорил себе: «Я выгляжу как призрак, как дух, но не как дух музыки». Он даже не старался ступать неслышно. Он чуть не топал по полу, крытому линолеумом, и можно было подумать, будто он хочет помешать репетиции, будто хочет ворваться в зал и закричать: «Прекратите! Прекратите!»

К нему подошла Ильза Кюренберг. На ней модный летний костюм василькового цвета, и она снова кажется молодой, у нее крепкое тело, без жировых складок, она симпатична Зигфриду оттого, что у нее нет детей. Он подумал: она не рожала, она рожала не больше, чем статуи в римских садах, возможно, она все-таки богиня музыки, муза Полигимния, умудренная и девственная. Но он ошибся: Ильза Кюренберг сегодня скорее напоминала безымянную богиню предприимчивости, рядом с ней шел господин, чем-то напоминавший пойманную птицу, большую и весьма меланхоличную, и Ильза представила его Зигфриду как главу музыкального отдела крупной радиокомпании, а может быть,

она представила Зигфрида этой птице, занимавшей столь значительный пост; Ильза Кюренберг и птица говорили по-французски, говорили свободно, быстро, певуче, очевидно, это была французская птица, а Ильза Кюренберг знала этот язык — наверно, старик Ауфхойзер нанимал для своей дочери воспитательницу француженку, или, может быть, Ильза Кюренберг научилась французскому языку в эмиграции, а может быть, и то и другое, и Зигфрид опять почувствовал стыд за свою необразованность: в нацистской школе не заботились об образовании, отец его не позаботился, чтобы сын учился французскому языку,— Фридрих-Вильгельм Пфафрат не ценил ни Францию, ни благозвучие французской речи, может быть, он слегка ценил француженок, да и то лишь как военную добычу; и вот Зигфрид, запинаясь, подыскивает слова, он не может понять, чего хочет от него эта птица, но птица чего-то хотела, и Ильза Кюренберг кивнула и потребовала от Зигфрида согласия, и он согласился, не зная, на что,— охотнее всего он убежал бы, бросил бы и богиню музыки, и возглавлявшую какой-то музыкальный отдел птицу, пусть себе спят вместе или пожрут друг друга. Но тут Зигфрид услышал заключительный аккорд своей симфонии, в нем прозвучало крушение всех надежд — так захлестывает волна идущий ко дну корабль, и вот остались только обломки и слышен короткий всплеск. Кюренберг вышел в коридор. Он вспотел и вытирал лоб. Как ни странно, но он вытирал пот большим красным платком, и казалось, это не дирижер, а, скорее, крестьянин, возвратившийся с поля после тяжелой работы. Его сопровождало несколько человек — журналисты и критики с блокнотами в руках, а также фотокорреспондент, вспышка его лампы тут же озарила всю группу. Кюренберг заметил, что Зигфрид подавлен, он пожал ему руку и сказал:

— Смелей! Смелей!

А Зигфрид думал: смелей? Я ведь не малодушный. Но смелость мне не нужна. Вероятно, мне нужна вера. Я, правда, верю, но я верю в то, что все бессмысленно, а может быть, не все бессмысленно, но то, что я здесь, и то, что я говорю с этими людьми,— бессмысленно, и то, что нас фотографируют, и самая вспышка магния — все это бессмысленно, и моя музыка тоже лишена смысла, она могла быть и не бессмысленной, если бы во мне была хоть капля веры. Но во что мне верить? В себя? Наверно, самое разумное это верить в себя, но я не могу верить в себя, иногда я пытаюсь, а потом мне становится стыдно. Верит ли в себя Кюренберг? Не знаю. Мне кажется, он верит в свою работу, и он имеет право верить в нее, но если она отдана моей музыке, в которую я не верю, вправе ли он верить в свою работу? Это очень хорошо, что он похож на крестьянина, вернувшегося с поля. Но на чьем поле он трудится? На чьей ниве? И кто пожнет плоды?

Кюренберг представил Зигфрида. Критики заговорили с ним. Они заговорили с ним на разных языках. Он их не понял. Он не понял их, говорящих на разных языках. Он был с ними и не с ними. Он был уже далеко, далеко.

Адольф шел к собору св. Петра, вот он уже близко, он видит его купол, который отсюда кажется небольшим и поэтому вызывает даже разочарование, он поражен видом помпезных фасадов, массивными колоннами, образующими как бы своеобразные театральные кулисы, и бесконечными пилонами виа делла Кончилиационе, ведущей к величественному собору; дома этой улицы, расположенные справа и слева, напоминают роскошные здания процветающих страховых обществ, крупных акционерных компаний или правления преуспевающих трестов; их холодные каменные фасады, сплошь освещенные солнцем в это время дня,

навевают скуку, словно опубликованные финансовые отчеты, и говорят о высокой квартирной плате и о том, что Христос изгнал торгующих из храма; захваченный видом этого знаменитого, благородного, в высшей степени святого и притом — разве могло быть иначе — весьма мирского зрелища, перед этой священной, издревле почитаемой и деловито осматриваемой сценой, на подмостки которой трепетно и благоговейно вступают все паломники и которую как обязательный предмет изучают все туристы,— захваченный всем этим, Адольф ощутил сильный страх. Достоин ли он предстать перед святыней, выдержит ли он испытание, укрепит ли это его веру? Адольфа и других экскурсантов вытряхнули из автобуса, как вытряхивают из корзины домашних птиц — пусть подкормятся, и вот они уже роются в пыли и готовы клевать красивые виды и незабываемые впечатления, ни одно зернышко, достойное почитания, не должно ускользнуть от них, вот уже щелкают затворы их фотоаппаратов, шуршит оберточная бумага, извлекаются бутерброды, пора утолить голод, разжигаемый галочками в путеводителе; а другие уже проворно набросились на ларьки с сувенирами и открытками — для церкви это тоже доход,— и вот выпорхнувшие из клетки отечества, вылетевшие из хлева обыденности уже шлют домой приветы из собора св. Петра, даже до того, как побывали в нем; от всего этого Адольфу стало грустно, и он бродил в одиночестве, затерявшись, как щепка, в людском потоке; одни толкали его, этого скромного священника, другие, считая его компетентным, бессмысленно требовали от него бессмысленных разъяснений; глядя на пилоны, он, по дурацкой ассоциации, вспоминал другую улицу и другие путевые вехи, но не такого рода, не эти, увенчанные дешевыми фонарями фабричного производства, а бутафорские колонны — наверху огонь и дым, он вспомнил пылкие головы и улицу с пылающими факелами, по которой он гордо проезжал, как отпрыск привилегированного семейства, как сын своего отца; Нюрнберг — вот что напомнила ему виа делла Кончилиационе. Но, увы, тот плац нацистских съездов в Нюрнберге казался мальчику великолепнее, чем этот путь к храму храмов, от которого он не ждал и не ждет великолепия, но который все же претендовал на великолепие, состязался с отвергнутым всеми и презираемым великолепием Нюрнберга и проигрывал, уступал ему в этом состязании, хотя великолепие Нюрнберга, после ярких огней на пилонах, привело к тому, что запылали дома, города и целые страны. Разумеется, убогих хижин нечего было и ожидать на этой улице — таков уж мир; обнаженной нищеты — таков уж мир — здесь бы на площади перед собором тоже не допустили, а нищенствующие монахи, которые с жестяными тарелочками в руках христовым именем выпрашивали на кусок хлеба — таков уж этот мир,— наверно, повымерли; однако новые здания, свидетельствующие о мудром использовании земельных участков и удачливой спекуляции,— разве они не говорят о бесспорном торжестве этого мира и разве они — не запоздалый триумфальный памятник Симону-волхву, сражавшемуся с апостолом Петром в этом городе?

Площадь перед собором имеет форму овала или эллипса, и Адольф подумал: может быть, здесь был цирк Нерона, может быть, вокруг обелиска посреди площади мчались колесницы, запряженные четверкой, которые и теперь еще охотно показывают в кинобоевиках для возбуждения страстей, не стоял ли здесь крест, на котором головой вниз висел апостол Петр, одержавший трагическую победу над Нероном, над его лютней и всеми его певцами, над всеми императорами, правившими после него? С аттика колоннады, точно взволнованно жестикулирующие зрители, смотрят на овал площади фигуры святых, изваянные Вернини, но публично уже никого не распинают на кресте, никого не травят дикими зверями, гладиаторы не убивают друг друга;

никто не мчится по арене на колеснице, только автобусы туристских компаний в упорной и жестокой борьбе состязаются друг с другом: Рим и Ватикан, святой отец и гробница апостола предлагаются за небольшие деньги, на краткий срок, а в придачу голубой грот на Капри, дворец Тиберия, «Весна» Боттичелли во Флоренции, катание на гондолах в Венеции и наклонная башня в Пизе. Некоторые пришли сюда пешком и группами ходят по площади: девочки из пансионатов, голубые школьные блузки облегают неразвитые трепетные груди; бойскауты со всей их мальчишеской испорченностью, в широкополых шляпах, с ковбойскими галстуками на шее, с флажками; члены католических конгрегаций — седые старики в черном; среди окуней и карпов промелькнет и щука, озабоченная своей карьерой; члены сельских церковных общин, паства под присмотром своего пастыря, пожелавшего хоть раз выехать за пределы села; английские женские союзы, американские дамские клубы, пресытившиеся послеобеденной игрой в бридж; немецкие туристы, подгоняемые экскурсоводом: живей, живей — еще так много нужно осмотреть, а потом ехать в Кассино, где заказан обед; но дети не торопятся, они задерживаются у фонтанов и жадно подставляют руки с лихорадочно бьющимся пульсом под охлаждающие струи, а матери спешат уже окрестить новое потомство и поднимаются по ступенькам церкви с новорожденными на руках.

«Паси моих ягнят, паси моих овец» — значит, Христос видел их неразумие, их беспомощность, их уязвимость, Иисус хотел защитить беззащитных, а апостол Петр был распят в цирке вниз головой и погребен на склоне Ватиканского холма; суждено ли кефасу стать скалой, той непоколебимой основой, которую «и врата ада не одолеют»? Итак, апостол Петр был погребен на холме в Ватикане, но волк охотно выдает себя за пастыря, волк любит рядиться в овечью шкуру; короли, тираны, диктаторы и президенты пасут своих ягнят, стригут своих овец, гонят свои стада на убой ради личной выгоды, и, когда появились проповедники разума и возвестили: «Вы не ягнята, вы свободны; вы не овцы, вы люди, оставьте стадо, покиньте пастыря»,— какой страх вызвали они у стада, в какую пустыню загнали овец, тоскующих по запаху родного хлева, а возможно, и по кровавому смраду скотобойни. Адольф вошел в собор. И его воспитание шло рядом с ним. Его воспитание было незавершено, быстро прервано, и к тому же Адольф отрицал такое воспитание. Но сейчас оно снова с ним и сопровождает его. Наедине с собой или же беседуя с такими же диаконами, как он сам, с образованными учителями духовной семинарии или со своим исповедником, Адольф чувствовал себя освобожденным от прошлого, от гнета нацистской школы, от лозунгов минувших лет, но, когда он шел с толпой, когда его окружали людские массы, они опять сбивали его с толку, ожесточали его, толпа вызывала в памяти все хитрости нацистских воспитателей — учение об использовании масс, о презрении к массам и об умении руководить ими, нацистские бонзы тоже пасли своих овец, и с немалым успехом: ягнята так и бежали к ним. Адольфу честно хотелось забыть обо всех распрях, непрерывно терзающих мир, о буйном самоуправстве истории, но в его памяти всегда оставался чан с кровью, с теплой, тошнотворной кровью убитых, и каждый раз, когда мир и история подходили к нему вплотную, вторгались в его мысли, он начинал сомневаться, действительно ли, надев одежду священника, он отмежевался от всех этих убийств, не попал ли он, несмотря на все свои благочестивые упражнения, снова в такую организацию, которая, как это ни парадоксально, оказалась хоть и против воли, но все же неизбежно связанной со всей этой бандой убийц? Неужели спасение только в отречении, бегстве, одиночестве, неужели отшельничество — единственный путь к осуществлению его надежд? Но одинокий человек казался ему слишком

слабым, потому что сам Адольф нуждался в поддержке, ибо боялся себя, он нуждался в какой-то людской общине, но сомневался в ее ценности.

Великолепные колонны, колонны, колонны, Браманте, Рафаэль, Микеланджело — кто не вспоминал здесь о них! — но колонны храма были великолепны и холодны, роспись стен великолепна и холодна, орнамент пола достоин изумления и холоден, а вот и Карл Великий верхом на коне, холодный всадник на холодном коне. Адольф шел дальше к центральной части собора, здесь находился порфировый постамент, на котором короновались императоры, вот он, монолит, в нем кристаллы кварца и слюды— и это все холодное, холодное, холодное, здесь совершалось помазание императоров на царство, императоры принимали помазание как право на свободу действий, как право на мародерство, они отправлялись в походы, чтобы расширить свою власть, чтобы в свирепых боях добывать победу, их престол стоял на награбленном золоте и был холоден, а после битв на растоптанной траве лежали изрубленные и застывшие воины. Почему же церковь вступала в союз с императорами и генералами? Почему же она не разглядела их, облаченных в пурпурные мантии и фраки, в обвешанные мишурой мундиры, в простые диктаторские куртки, почему не разглядела их, этих людей, которые ради грязных сделок, ради обжорства и разврата, ради золота и земель, ради низкого властолюбия вступили в союз с богом и кощунственно прикрывались святым крестом? Повсюду видишь часовни, а у алтарей деловито хлопочут священники. Они читают молитвы, отправляют службы, сердца этих благочестивых пастырей, ведущих добродетельную жизнь, полны благоговения; и вместе с тем это чиновники, приказчики, исполняющие свои служебные обязанности и поручения, а если кому-нибудь придет на ум столь дурная мысль, разрушающая всякое очарование, то алтари покажутся прилавками в большом универсальном магазине. Для желающих стоят слева и справа исповедальни, словно маленькие крепости из прочного дерева, и в этих освещенных будках исповедники восседают, точно кассиры и счетоводы в солидном банке, на любом языке может покаяться верующий, и на каком бы языке он ни каялся — ему отпустят грехи его. И Адольфу показалось, что и от этих исповедален тянет холодом, ему они показались холодными, как мраморные плиты в лавках менял.

Одиноким чувствовал себя Адольф среди этого просторного роскошного величия, которое вовсе не казалось ему возвышенным, а только, может быть, высокомерным; он чувствовал, что вера в бога и сам бог оставили его, он чувствовал, что его терзают сомнения или даже его искушает дьявол, который, возможно, вовсе и не дьявол, да и как дьявол проникнет в дом божий, в крепость апостола Петра, в столько раз освященное место. Лишь от лампад, мерцавших над саркофагом апостола, веяло теплом, слегка согревающим холодную пустоту храма, но колоссальная статуя молящегося опять заслонила мягкий, вызывающий раздумье свет лампад, эта статуя была похожа на могильный памятник какому-нибудь коммерции советнику. И только при взгляде на Pietà, на это прославленное изображение божьей матери у тела Христа, к Адольфу вернулись вера и спокойствие, то было спасением для утопающего в водовороте мыслей, страданий и потрясений, и Адольф воспринял это, как милосердие, как могущество всеобъемлющей любви, он хотел любить, даже если надо принудить себя к любви, он хотел ласково и любовно относиться к каждому человеку, даже к родителям хотелось ему относиться ласково и любовно, даже к отцу, любить которого всего труднее. И здесь, перед прославленной богоматерью, Адольф стал молиться, он просил укрепить его в любви, он ни о чем больше не просил в этом главном храме христианства, и затем

он, этот запутавшийся во всем, этот долговязый, тощий и жалкий диакон, подавленный чрезмерным великолепием храма, оставил собор св. Петра, ибо не мог больше выносить его воздуха и вида.

Я уже не помнил, на какой час уговорился с Адольфом. Не то на полдень, не то после полудня. Я не помнил. Я забыл. Или мне просто не хотелось вспоминать. Мне не хотелось видеть Адольфа, и все же я пошел на условленное место — вот я и пойман, и меня рассердило, что я попал в западню. Адольф мешал моей свободе, мешал непосредственному восприятию жизни, мешал моему непрерывному изумлению. Он напомнил о всех притеснениях в юные годы, он воскресил прошлое — родительский дом, спортподготовку и занятия в нацистской военной школе; и хотя Адольф и отрекся, подобно мне, от тех дней и тех лозунгов, хотя он ушел из семьи в духовную семинарию и жил там своей жизнью, семья прилипла к нему, как вечный устойчивый запах, устранить который невозможно, даже надев сутану, как вечный пот на теле, который нельзя смыть ничем, который прилип и ко мне; юдеяно-пфафратско-клингшпорская вонь (сестры Клингшпор — наши матери) знаменовала целое столетие национальной глупости, солдатской муштры и германской ограниченности обывателя, который вскочил, наконец, со своего слишком тесного ложа и, одержимый манией величия, впал в буйство. Слабость — вот что толкало меня на свидание. Адольф в одежде священника растрогал меня. Мне казалось, что он переоделся со страху. Так переодевается тот, кто хочет бежать и боится, что его узнают. Куда же бежит Адольф? Удовольствуется ли он просто бегством, как, например, я, и примирится ли он с тем, что вечно будет в скитаниях, вечно будет в пути, о котором известно, откуда он ведет, но совершенно неизвестно — куда? Я нахожу удовольствие в таком пути или воображаю, что нахожу, но Адольф не привык к новой жизни, к свободе от родственных пут, от порабощающей зависимости, так, во всяком случае, мне казалось; я был против эгоизма, который я сам себе проповедовал, хотя иногда себялюбие представлялось мне единственной возможностью самосохранения, причем опять-таки возникала мысль: стоит ли беречь себя, и вопреки инстинкту самосохранения я был склонен поддержать Адольфа, помочь ему; но в моих ли это силах? Умел ли я жить свободной жизнью? И я подумал: если уж ни Адольф, ни я не умеем жить свободной жизнью, тогда нам нужно объединиться против тех, у кого нет совести, кто в меру своей ограниченности жаждет власти, объединиться против подлинных Пфафратов, Юдеянов, Клингшпоров — и, может быть, нам удастся изменить Германию? Но пока я размышлял об этом, мне уже казалось, что едва ли можно изменить Германию, изменить можно лишь себя, и каждый должен делать это сам, сам по себе, и я подумал: пусть Адольф убирается к черту.

Я шел по мосту Ангела к крепости Ангела, и ангелы с их мраморными крыльями казались отяжелевшими чайками, со свинцом во чреве или со свинцовыми мыслями,— им уже никогда не подняться в воздух. Этих ангелов на мосту я не мог представить парящими в небесах. Никогда не парить им над Римом, никогда не распахнут они мое окно, не подойдут к моей кровати и никогда не осчастливят меня прикосновением своих крыльев, не зажгут для меня гигантское райское сияние. Тибр гнал свои воды, мутные, черноватые, не пригодные для питья; река внизу текла под древними каменными арками, устремлялась в Остию, к морю, немало убитых унесли ее воды, это была старая многоопытная река, и меня не манило искупаться в ее потоке, напоминавшем вонючую воду, которой мылась старая шлюха, страдающая нимфоманией, и все же поток манил меня, ведь, может быть, и меня когда-нибудь убьют.

Адольфа еще не было у входа в крепость. Я обрадовался. Я пришел слишком рано. Теперь я вспомнил: я же пришел на час раньше; и я обрадовался, что пришел на час раньше, я стоял без дела у ворот крепости, это время мне даровано, это свобода!

Какой-то гид сидит на скамеечке, греясь на солнце. Он читает «Аванти». Может быть, он мечтает о мире, где царит справедливость. Он сдвинул форменную фуражку на затылок. Лицо упитанное, вид важный и глупый. На нем изношенные ботинки, но начищены они до блеска. Время от времени он сплевывает между своих до блеска начищенных ботинок.

Рядом ожидает извозчичья пролетка. Неизвестно, занята она, свободна или ждет только ради самого процесса ожидания. Сзади на пыльном сиденье спит кучер. Его открытый рот зияет. Вокруг рта носится и жужжит какая-то мошка. Для нее рот кучера — это врата ада. Рот кучера для нее и угроза, и соблазн. У лошади лоб и уши закрыты сеткой от мух. Лошадь смотрит на мостовую пустым разочарованным взглядом старого теолога-моралиста. Когда гид сплевывает между ботинок, лошадь неодобрительно качает головой.

Большой черный автомобиль тоже стоит перед крепостью. Он выглядит, как экипаж из преисподней. Может быть, у черта еще есть дела на старой квартире римского папы? Машина показалась мне знакомой. Где-то я ее уже видел. Да ведь кому не попадалась чертова колесница! Шофер с военной выправкой в солдатской ливрее стоит перед машиной. На нем скрипучие кожаные краги, широкие бриджи и куртка в талию. Лицо угловатое и загорелое. Глаза холодные и недоверчивые. Глаза солдата и надзирателя. Шофер вызвал во мне безотчетную тревогу. Он мне не понравился.

Я подошел к берегу Тибра. Перегнулся через перила и увидел внизу на реке в обманчивом блеске живописную плавучую купальню. Вода лениво покачивала судно-купальню, оно выглядело как Ноев ковчег. Всевозможная живность: крикливые утята и гусята, котята и щенки самых различных пород и помесей — миролюбиво резвилась на палубе...

Вниз, в подземелье спускался Адольф. Это был крепостной окоп, освещенный лишь скудным светом ламп, подземный ход, извиваясь, уводил все ниже, в самое чрево папской крепости, и вот уже нависают низкие своды, веет могильным холодом, идти нужно согнувшись, за подземными дверями чернеет глубокая нора, бездонные пропасти нагоняют страх, это ямы, предназначенные для убийства, колодцы смерти, со стен свисают цепи, железные оковы для ног, кандалы для рук, колючие пряжки для живота, клещи, костоломы — всевозможные орудия пыток свешиваются с потолка; а рядом каменные ложа, на которых заживо гнили скованные узники, и на твердом бесчувственном граните остались очертания гниющей плоти — контуры осужденного или забытого; а наверху — роскошные покои, уютные квартиры, разукрашенные часовни, наверху знают толк в искусстве, там есть прекрасные и благочестивые картины, резные скамьи для молящихся, серебряные подсвечники работы Челлини, в библиотеке люди наслаждаются обилием книг, впитывают в себя мудрость и блаженствуют, слушая музыку или вдыхая вечернюю прохладу, а еще выше, совсем наверху — ангел парит над крепостью, это архангел Михаил, он видит солнце, созерцает сверкающее великолепие звезд, он смотрит на панораму вечного города, и его огненный меч давно покоится в ножнах.

Адольф достиг наконец самой нижней темницы. Узкая яма наподобие амфоры, выбитая в древней скале,— туда ставили пленника, он стоял прямо, голова его выступала над уровнем пола, но его собствен-

ные испражнения поднимались все выше, и его тело, тело грешника, преданного анафеме, оказывалось постепенно замурованным в нечистотах, они поднимались до самой шеи, и тот, кто при свете дымящегося факела увидел бы голову этого человека, отделенную клоакой от туловища, у того, наверно, вырвался бы крик: «Ecce homo» — смотри, се человек, и тюремный надзиратель преклонил бы колени и постиг, что значит стать Христом, ибо именно это свершилось с отверженным узником в глубокой темнице. Адольф опустился на колени перед ямой и начал молиться. Он молился с бóльшим жаром, чем в соборе апостола Петра; молился за упокой души безвестных узников. Его сутана испачкалась в пыли, камни больно резали колени. Он веровал: миру нужно спасение. Он веровал: люди снова должны быть спасены. Он встал и почувствовал в себе удивительную силу. Ему захотелось подняться наверх, снова увидеть дневной свет — ведь по-настоящему видишь его только после темноты,— но тут он услышал шаги, твердые, уверенные шаги, так идет тот, кто не боится, кого ничто не угнетает, кто бодро расхаживает по своему дому, а дом его — тюрьма, и на Адольфа напала робость, он словно устыдился, что находится в таком месте, он попытался ускользнуть через какую-то нишу, но пройти через нее было нельзя, и Адольф остался в своем укрытии, однако через трещину в стене он мог видеть посетителя, столь уверенно идущего по самой глубокой темнице.

Они подъехали к монастырю в Кассино и устроили там веселый пикник на поле боя. Вино пьянило, и дамы боялись захмелеть, но мужчины уверяли их, что тогда — после сражения — было выпито гораздо больше, причем из подвалов монастыря выкатили бочки лучшего вина, один из участников еще очень хорошо помнил все подробности сражения, он служил полковым адъютантом, он выяснял и уточнял обстановку, он уточнил ее снова: вон монастырь, вот здесь находились они, а там — противник. В общем и целом это была честная война. Война разрушила древнее здание монастыря, но он был разрушен в честном бою. Все сражались честно, даже противник, ну а те, кто был убит, честно умерли. Дитрих Пфафрат жадно ловил каждое слово рассказчика. На горе сияли новые белые стены монастыря. Где же развалины? Строительные леса говорили о восстановлении, и как это увлекательно и возвышенно слушать на идиллическом лоне природы рассказы о честной войне, особенно после всех надругательств над Марсом. Потом и Фридрих-Вильгельм Пфафрат, воодушевленный беседой, заговорил о Вердене. Он рассказывал об окопной войне. Окопная война была, правда, менее честной, возможно потому, что тогда еще не прониклись такой спортивной объективностью, но и эта война велась самым достойным образом, по всем правилам. Прилично и по всем правилам ненавидели противника, прилично и по всем правилам стреляли в него, и если сейчас обратиться к прошлому и хорошенько припомнить, как все было, то выяснится, что на войне не только умирают,— можно рассказать немало смешных эпизодов и веселых анекдотов из времен великой бойни. Пфафраты достали еще закусок и вина из своей машины. Они ели на белоснежной скатерти, которую захватила фрау Анна, ибо была внимательной хозяйкой. Старые и юные воины весело чокались, женщины пили вместе с ними, сияло солнце, и какой-то осел, пасшийся неподалеку, отгонял хвостом мух и кричал: «И-а, и-а, ведь вы победили!» И Дитрих важно выпрямился, расправил плечи и твердо решил следовать любому призыву отечества, как, собственно, и должен поступать всякий честный человек, разве что ему дадут броню по службе, разумеется, он не трус, нет, но он честолюбив и должен думать о своей карьере.

Через трещину в стене Адольф увидел Юдеяна, который вошел в

самую нижнюю темницу. Он узнал его. Он узнал своего отца. Он испугался, хотел броситься к нему, но, словно парализованный, остался стоять, хоть и окаменевший, но внимательный наблюдатель.

Юдеян обошел крепость Ангела, видел оружие, доспехи, военное снаряжение, и маленький Готлиб живо ощутил ужас истории, однако Юдеян, шагая по залам, скучал: в прошлом не было ничего нового, все это ему слишком знакомо, он нисколько не ошеломлен, но получил как бы подтверждение своего профессионального мастерства и с некоторой скукой спускался в подземелье, как путник, который после долгого отсутствия осматривает свой издавна знакомый дом. В самой нижней темнице он равнодушно подошел к углублению в скале, к могиле заживо погребенного. Войны и тюрьмы, плен и смерть существовали всегда, во все времена. Апостол Петр умер, как мученик, на кресте, а его преемники мучали и казнили своих врагов, так было, так будет, и это хорошо. Это по-человечески. Кто говорит о бесчеловечности? Юдеян прислушался, все тихо, шагов не слышно, и он уступил позыву и справил нужду в яму для несчастнейшего из узников.

Подобно Хаму, Адольф увидел наготу отца своего Ноя, но, подобно Симу и Яфету, закрыл лицо руками.

Закрыла лицо руками и Ева, мать Адольфа, она не хотела видеть ни голубого неба, ни веселого римского солнца. Она стояла у окна — эта женщина в черном, этот призрак из северной, туманной страны, занесенный судьбой в Рим, эта яростная мстительница, вынашивающая страшное возмездие, верная хранительница мифа двадцатого столетия, скорбящая о фюрере, навеки поверившая в Третий рейх и его воскрешение; она стояла у окна, перед ней лежал двор отеля, облюбованного немцами, и во дворе — гора пустых бутылок. Стремясь поспеть вовремя на пикник в Кассино, Пфафраты в спешке забыли сообщить Еве о встрече с Юдеяном. Даже привета ей не передали. Она была одинока. Во дворе поварята и судомойки распевали негритянские песенки. Ева не понимала их содержания, а их ритм раздражал ее. В коридоре у самой двери в ее номер молоденькая горничная сказала официанту из буфета: «Эта старая баба никуда не выходит, зачем она приехала в Рим?» Официант тоже не знал, зачем эта старуха приехала в Рим. В ответ он бросил изрядную непристойность. Молоденькая горничная взвизгнула и восхищенно посмотрела вслед официанту, одетому во все белое. Потом она постучала к Еве, вошла в номер и с явным неудовольствием принялась подметать. Ева не знала, куда ей деться от веника, от мусора. Горничная открыла окно, и негритянские песенки зазвучали громче, они зазвучали неистовее, они ворвались в комнату и даже в тот угол, где стойко держалась Ева.

Адольф плакал.

А на берегу время остановилось. Кучер спит, рот его открыт по-прежнему, мошка все еще жужжит перед вратами ада, лошадь горько и глубокомысленно поглядывает вниз, а гид все так же читает «Аванти» и все так же поплевывает между своих начищенных до блеска башмаков. И только большой черный автомобиль с арабскими буквами на номере уехал. Я рад, что он уехал; мне не придется больше смотреть на шофера с солдатской выправкой, не придется чувствовать на себе взгляд его холодных бдительных глаз. Верно, черт уладил свои дела в папской крепости. Ангелы на мосту все еще не могут взлететь, но они уже не кажутся мне тяжеловесными и озабоченными, они представляются мне легкими и парящими.

Он вышел из ворот крепости, и солнце, должно быть, ослепило его, потому что он меня не увидел. Он был бледен, и на миг мне показалось, что он так же бледен, как я. Адольф не похож на меня, а может быть, и похож, но это — кривое зеркало, в котором видишь себя другим и вместе с тем похожим. Когда он, наконец, заметил меня, то стремительно пошел навстречу. Его гневные шаги, казалось, хотели разорвать одежду священника. Черный хвост сутаны и клубы пыли вились за ним, а его башмаки, его грубые мужицкие башмаки, выглядели убогими и непривычными на римской мостовой. Он крикнул: «Я видел его». Можно было подумать, что священнику явился сам нечистый. Он указал на ворота и воскликнул: «Он был здесь». Я понял, что он видел Юдеяна, своего ужасного отца. Говорил ли он с ним? Я спросил. Лицо Адольфа вспыхнуло. Ему было стыдно. Значит, он не говорил с ним, значит, он спрятался, и я подумал: он боится своего отца, прячется от него, какой-нибудь психоаналитик сказал бы — прячется от лика бога-отца, от древнего иудейского бога-мстителя; нет, Адольф не свободен. Он был мне безразличен, вернее, был мне в тягость, он остался для меня звеном, связывающим меня с моей семейкой, о которой я знать ничего не хотел, и все же меня трогало его смущение, его стремление найти путь, но его путь не вел к свободе; я охотно помог бы Адольфу, я охотно повел бы его к свободе. Но хочет ли он свободы? Я вывел его на мост. Адольф был подавлен, и я решил штурмом выбить из него эту подавленность, я воскликнул: «Разве Рим не прекрасен?» Я сделал такой жест в сторону реки и ее берегов, будто все это принадлежало мне. И снова воскликнул: «Погляди на Тибр, на прекрасный, древний Тибр, разве вид его не радует?.. Взгляни на этих ангелов,— продолжал я,— и представь себе: они взмывают в небо, их тяжелые мраморные крылья трепещут, они летят к Капитолию и танцуют там со старыми богами. Разве ты не слышишь: Пан играет на саксофоне, а Орфей поет негритянские песенки под аккомпанемент банджо?» И действительно, неуклюжие ангелы вдруг показались мне прекрасными, и я действительно увидел, как они летят и как танцуют буги-вуги; я приветствовал их, ангелы тоже мои друзья, я ликовал, я — свободен. Небо сияло, весь его высокий голубой купол. Это я заселил небо ангелами и богами, в небе по-дружески жили ангелы и боги, потому что так хотел я, потому что это доставляло мне удовольствие, это я заставил небесный джаз-банд играть на Капитолийском холме, это в моих мечтах играла музыка, и танцевали тоже в моих мечтах; пусть летчики утверждают, что небо темное, если смотреть на него, поднявшись на высоту, что небо — лишь тонкая завеса перед ледяным Ничто, окружающим нашу глупую Землю,— я все же рад своим мечтам, я свободен, я свободен мечтать, я имею право мечтать, я сам себе это разрешил. Мне хотелось сбросить Адольфа в Тибр — окрестить его в радостную веру, но так как он ничего мне не возражал и молча шел рядом со мною, постукивая по мосту грубыми башмаками, лишь изредка поглядывая на меня удивительно твердым, вопрошающим, пронизывающим насквозь и требовательным взглядом, и так как мне хотелось доставить ему какое-нибудь удовольствие, я пригласил его есть мороженое.

Он пил только молоко, стерилизованное молоко для грудных детей, тщательно и с большой точностью подогретое до температуры парного молока. За ним ухаживала няня из детской больницы, она заботливо поправляла подушки в комнатном кресле на колесиках, недоверчиво пробовала молоко и в своем медицинском халате с белыми и голубыми полосками сама пропахла молоком, стерилизованными пеленками и тальком, а он осторожно брал стакан желтыми, как пергамент, руками,

бережно подносил его к своему тоже пергаментному лицу, смачивал нежными сливками губы, тонкие, как лезвие ножа. На улице светило солнце, но комната была затемнена, и мощные электрические печи дышали почти нестерпимым жаром, от этого жара и от приторного запаха молока мутило каждого посетителя. Он называл себя Аустерлицем, и возможно, его действительно звали Аустерлиц, но трудно было представить себе, что у него есть настоящее имя, никто не знал, каким концерном или каким заводом он владеет, какой акционерный капитал он представляет,— может быть, он владел всеми оружейными заводами и представлял все или почти все капиталы; местонахождение своих складов он всегда держал в тайне, как отправляли его грузы, знал только он, но винтовки и пушки прибывали по назначению и точно в срок. Аустерлиц был корректен и заслуживал доверия, а его связи со всеми правительствами, со всеми путчистами и заговорщиками были столь же легендарны, как и его кредит. Подобно Юдеяну, Аустерлиц носил синие очки, поэтому оба они с дурацкой таинственностью, словно два синих призрака, поблескивали стеклами своих очков. Они были похожи на двух мрачных гомункулов. Няня подкатила к Юдеяну тележку с крепкими напитками, льдом и стаканчиками для коктейля, и он с радостью слушал — хотя жара и молочный чад мучили его и заставляли много пить,— слушал о том, что́ из вооружения перепадает малым от сильных мира сего. Иное хорошо сохранившееся орудие смерти можно было приобрести по неожиданно сходным ценам — похоже, еще не перевелись тайные меценаты, скромные благодетели человечества, тайные друзья смерти, которые, не стесняясь расходами, снабжали оружием малые, но храбрые народы и государства, располагавшие меньшими возможностями, чтобы и в странах, стоящих в стороне, не угасала угроза войны. А вдруг опять вспыхнет искра и новый пожар охватит весь мир? В такое дело стоило вкладывать капиталы, смерть — надежный должник. Осмотрительно, со знанием дела Юдеян отбирал то, что может пригодиться в пустыне. Его полномочия признаны. Но виски, которое он пил, спасаясь от жары, от жары и молочного чада, вызывавших тошноту и удушье, разгорячило Юдеяна, и он рассердился на то, что опять закупает только для своих семитских и негритянских частей, для своих вымуштрованных парней из крепости в пустыне, и он затосковал по своему отечеству, по немецким лесам, по более широким связям и более серьезным задачам, которые позволили бы ему сделать Аустерлицу значительно более крупные заказы. Аустерлиц запачкал молоком верхнюю губу, и казалось, на пергаментной коже выросли молочные усики; он, разумеется, был хорошо осведомлен о состоянии такого важного рынка, как немецкий. Не показать ли Юдеяну биржевой курс? Ведь он старый клиент. Но Аустерлиц умел ждать. Открывались определенные перспективы, и так как он считал Юдеяна бойцом второго эшелона, до него дело пока не дошло, да и неизвестно, когда и где дойдет до него большое дело, а потому Аустерлиц не сказал ему всего, что знал. Все же он упомянул о генерале фон Тейфельсхаммере — он из самых верных и теперь снова взялся за дело — и назвал маленького доктора, который уже раньше был доносчиком на службе у большого доктора, а теперь прикинулся идеалистом и хочет играть роль доктора — исцелителя национальной политики. Юдеян знал их, он живо представил себе генерала, с лицом, похожим на примус, круглыми очками, оттопыренными ушами и маленьким ртом, всегда открытым, словно для того, чтобы залаять, он вытанцовывал еще перед фюрером, всегда по струнке, всегда примерный ученик, всегда готовый удерживать фронтовые позиции до последнего, самого старого, фольксштурмиста; Юдеян помнил и другого — этого маленького доктора, готового удерживать фронтовые позиции до последнего, самого юного, члена гитлерюгенда,

он иногда приходил к Юдеяну в кабинет с поручением от большого доктора, краснобай и подлиза, рот точно у крысы, у крысы, которая улыбается, Юдеян его терпеть не мог, не оттого, что он напоминал крысу, а потому, что он учился и слыл честолюбивым интеллигентом, и вот, смотрите-ка, эти двое объединились или подыгрывают друг другу, но едва ли они делают это в духе Юдеяна и готовят Германию для него; видно, он уже слишком долго ходит в мертвых, надо ехать в Германию, появиться там, чтобы не остаться вне игры, надо зорко следить за этими первыми учениками и пай-мальчиками, иными словами: надо все-таки предстать перед судом Пфафратов, чтобы добиться официального или негласного аннулирования приговора; союзников Юдеяну уже нечего бояться, они дадут согласие, ведь они думают о своем будущем. Но Юдеяна сердило то, что пока придется опираться на Пфафрата и относиться к нему дружелюбно. Он стукнул кулаком, стаканы задрожали. Казалось, лопнули реторты, в которых были созданы оба гомункула. В испуге прибежала няня, но Аустерлиц успокаивающим жестом отослал ее. Он вынул из небольшого замшевого футляра модель нового пистолета с глушителем и показал его гостю, и Юдеян — еще маленький Готлиб с завистью простаивал у витрин оружейных магазинов,— Юдеян тут же влюбился в столь удобного и портативного носителя смерти и уже не мог с ним расстаться. Аустерлиц, знавший итальянские законы, тут же предупредил Юдеяна, что продажа, покупка и ношение огнестрельного оружия запрещены специальными предписаниями, но все же оставил Юдеяну пистолет как образец, на случай большого заказа для употребления в пустыне.

— А где же,— тихим голосом спросил Аустерлиц, по-детски улыбаясь и прихлебывая из чашечки приторное молоко,— где же нет пустыни и нет джунглей? — Он не спросил: «Где нет смерти?»

Столы и стулья были вынесены из кафе-мороженого и расставлены во внутреннем дворе; здесь было приятнее посидеть и понаслаждаться тенью в стороне от шумной улицы; Зигфрид и Адольф, словно два друга, встретившиеся, чтобы поболтать, сидят в лоджии, украшенной по старому римскому обычаю: полуколонны, обвитые плющом, исцарапанные доброжелательные маски лар окружают их, небольшой фонтан журчит свою веселую песенку, рядом дружелюбно кивает пальма, а гипсовые головы богов, поэтов, философов, выщербленные лица сатиров, государственных деятелей, цезарей и миловидные личики пастушков и нимф, без ушей, с разбитыми носами, слепым взглядом смотрят, как Зигфрид и Адольф ковыряют мороженое, твердое, словно гранит. У Адольфа, у этого удрученного диакона, который с неохотой следовал сюда за Зигфридом, мороженое потушило пожар мучительного стыда, оно вдруг показалось ему приятным, и он жадно глотал этот искусственный, ароматично тающий зимний плод, слегка пощипывающий язык, а Зигфрид стал теперь задумчивым и только ковырял и крошил свою порцию, пока она не растеклась по чашечке, как молочный красноватый соус. Адольф, которого освежило лакомство и которому здесь в беседке все уже представлялось естественнее, безобиднее и не таким сложным, спросил у Зигфрида, почему бы им, собственно, не повидать своих родителей. Он предложил пойти к родителям, стать перед ними и заявить: вот мы какие, разумеется, не такие, как хотелось бы вам, но можно оправдать и ту жизнь, которую мы ведем. Но Зигфрид воскликнул:

— Ты с ума сошел! Я вовсе не собираюсь оправдывать мою жизнь! С чего бы это я стал оправдываться перед родителями. И не подумаю!

Адольф в ответ заметил, что оправдываться следует всегда, во имя самой жизни, перед богом и людьми, а почему бы и не перед родителями.

— Ты что же, считаешь своего отца богом или, может быть, даже человеком? — спросил Зигфрид. Он разозлился. И Адольф был взволнован.

— Все это фразы,— воскликнул он,— у тебя такое же пристрастие к фразам, как и у всех других, над кем ты утверждаешь свое превосходство, и все из-за того, что ты придаешь своим фразам негативный, циничный, вызывающий смысл, который мне кажется бессмысленным и лишь показывает, насколько ты уже впал в отчаяние.

Зигфрид:

— Это ты в семинарии научился приписывать людям отчаяние, чтобы психологически подготовить их возможное обращение в лоно церкви?

Адольф:

— Я говорю не с семинарии. Я говорю о тебе.

Зигфрид:

— Меня оставь в покое. Я живу, как хочу. Мне никто не нужен.

Адольф:

— Хорошо, ты желаешь жить для себя. Ты думаешь, что нашел свой путь. И тебя это удовлетворяет. Но тогда почему ты так непримирим? С тем же правом и наши родители могут сказать: они тоже жили, как им хотелось, шли своим путем, и это им нравилось.

Зигфрид:

— Они так именно и скажут.

Адольф:

— Но ведь ты их не одобряешь?

Зигфрид:

— Не одобряю потому, что вследствие своих взглядов они мучили других, навязывали им эти взгляды, потому что они отдали меня в военную школу, потому что они развязали войну и принесли людям ужасные страдания, потому что они безжалостно все разрушали и превратили нашу отчизну в страну, где царит нетерпимость, глупость, мания величия, в страну тюрем, солдафонов и виселиц. И еще потому, что они убивали людей или преспокойно сидели в своих уютных домах, зная, что людей убивают.

Адольф:

— И ты думаешь, это не может повториться?

Зигфрид:

— Конечно может. Днем и ночью снятся мне марширующие коричневые солдаты, и национальная глупость марширует вместе с ними. Поэтому-то я хочу жить своей жизнью, пока нацистский бог еще бессилен и не может мне помешать. Это мой единственный шанс.

Адольф:

— А почему ты не пытаешься бороться с тем, что, по-твоему, развивается столь роковым образом?

Зигфрид:

— Бороться с этим?

Адольф:

— Попытайся изменить людей!

Зигфрид:

— Их нельзя изменить.

Адольф:

— Ты обязан попытаться!

Зигфрид:

— Попытайся сам! Твоя церковь пытается это делать уже две тысячи лет.

Адольф молчал. Может быть, он не знал, что ответить? Или он увидел, что никакой надежды нет? Но потом он начал снова:

— А твоя музыка? Разве ты не стремишься изменить мир своей музыкой?

Зигфрид сказал:

— Нет. Ты фантазер.

Но Адольф упорствовал и спросил:

— Почему ты занимаешься музыкой, почему ты пишешь симфонии?

Зигфрид:

— Не знаю.

Разве я не знал? Он прав: страх, отчаяние, зловещие видения и ужасные сны — вот что заставляло меня писать музыку, я мудрил, играл в загадки, задавал вопросы, но ответа не находил, ответа у меня не было, ответа я дать не мог, да и не было никакого ответа. Музыка — таинственный дом, в который нет входа или, может быть, осталась узенькая дверь, и в нее могут войти немногие. Тот, кто находится в этом доме, уже не может быть понятым оставшимися за порогом, но и для этих оставшихся за порогом имеет значение это таинственное убежище, воздвигнутое согласно магической формуле. Музыка существует не для того, чтобы изменять людей, но она связана с другой, столь же таинственной силой, с силой времени, и благодаря этому, вероятно, сможет со временем содействовать великим переменам; но что такое для времени столетие и даже тысячелетие? Мы измеряем время мерами нашей мимолетной жизни, а что такое время, мы не знаем. Быть может, оно дружелюбнее, быть может, оно добрей и благосклоннее, чем мы думаем, а может быть, оно подобно Горгоне, чье устрашающее лицо мы все еще до конца не познали. Оставив в стороне время и музыку, я должен был признать, что Адольф взволновал меня, ведь это же была и моя мысль, что мы, сыновья, жаждущие иного образа жизни, должны бороться за него, хотя эта борьба и кажется нам безнадежной. Мне хотелось пожать Адольфу руку. Однако Зигфрид сказал:

— Мы не в силах бороться с Дитрихом. Мой брат Дитрих всегда будет побеждать нас. И ты, священник, тоже будешь побежден. Ты будешь побежден и вступишь в союз с Дитрихом — представителем порядка, государства и твердой власти и в конце концов погибнешь или же погибнешь сразу. Впрочем, я тебе ни в чем не верю, не верю, что ты веруешь в свою догму, не верю, что ты веруешь в человека. Ты бежал к богу, точнее, перебежал к нему, потому что тебе необходим повелитель, и ты станешь одним из тех разочарованных и ожесточенных священников, которые не веруют в бога. Внешне ты будешь безупречным священнослужителем. Но ты будешь страдать.

Адольф сказал:

— Этого я не знаю.

Я был безобразен, безобразен, как Калибан. Жаль, что тут не было зеркала, магического зеркала, оно бы показало мне лицо Калибана, лицо, «обвитое змеями». Я видел поношенную, местами совсем протертую сутану Адольфа, я видел под столом, хотя и не видел их, его грубые крестьянские башмаки. Зачем я мучил Адольфа? Зачем лишал его бодрости? Не потому ли, что я сам утратил бодрость, или, может быть, потому, что потеря бодрости позволяла мне вести жизнь стороннего наблюдателя и уподобиться флейте Пана, звучащей на краю болота? Действительно ли я ищу отчизну, или я взываю к человечеству только для того, чтобы исчезнуть в нем, словно в густом тумане? Я люблю Рим, потому что я здесь чужеземец, и, вероятно, мне хотелось бы навсегда остаться чужеземцем, взволнованным зрителем. Но другим нужна отчизна, и если бы нашлась страна, без криков и шума, без знамен и походов, без подчеркнутого государственного произвола, страна, где люди жили бы в дружеском общении и у них были бы мудрые правители, разве такая страна, где нет ни принуждения, ни высокомерия по отношению

к чужим и ближним, разве такая страна не стала бы и моей родиной? Но мне ее не найти. И я в нее не верю.

Я отдал Адольфу свой билет на концерт. Я сказал ему, что в одежде священника он может пойти на концерт, я же не могу, у меня нет фрака. Я добавил:

— Но ты, наверно, не захочешь пойти.

Он сказал:

— Нет, почему же.

Он сказал:

— Я пойду.

Лаура, пленительно улыбаясь, пришла на работу и, так как она не умела считать, снова просчиталась, на этот раз во времени. Бар был еще закрыт, владелец еще не появлялся, еще не сунул ключ в дверной замок, и красивых официантов тоже еще не было, они еще не надели своих лиловых фраков, все они сидели еще дома со своими семьями, помогали женам по хозяйству, играли с детьми и устало, невесело и неторопливо собирались идти на службу, к гомосексуалистам, где они зарабатывали себе на жизнь. Лаура стояла перед запертой дверью; оглянувшись, она улыбнулась виа Венето и улыбнулась большому черному автомобилю, который бесшумно подкатил к тротуару, словно скользя на невидимых полозьях по невидимому льду; она улыбнулась шоферу, который выскочил из кабины, затянутый, лощеный, блестящий, и рванул дверцу, щелкнул начищенными каблуками, и Лаура подарила свою улыбку Юдеяну, в котором она узнала отнюдь не гомосексуалиста, а обыкновенного мужчину в синих очках, однажды уже оказавшего честь их бару, не зная его особенностей. Юдеяну хотелось еще раз увидеть Лауру, и, встретив ее неожиданно на улице перед запертой дверью, он сообразил, в чем дело: она просчиталась во времени; он сказал по-английски, что, видимо, еще не время, бар заперт, и сделал вид, что очень сожалеет об этом, упомянул о виски, которое якобы вновь привлекло его сюда, а Лаура улыбалась, посылая лучи своей улыбки через его синие очки, лаская сердце, пробуждая чувства; ее улыбка относилась и к большому автомобилю, ибо для нее, как и для всех женщин, мощь мотора и то, что машина стремительно и неспокойно скользит, как хищник, являлось своего рода сексуальным символом, и к владельцу машины, которому подчиняешься чисто по-женски, не потому, что владелец, как видно, богач, выгодный поклонник, а из рабского инстинкта повиновения: ведь он властитель, он господин над лошадиными силами, которые, мощно пульсируя, устремляют вперед машину его жизни, а этот распоряжается еще и шофером, застывшим, как изваяние, перед его величеством хозяином. Что же делать? Юдеян хотел предложить зайти в соседнюю кондитерскую, он уже проголодался, а после противного молока у Аустерлица ему захотелось съесть порцию сливок, он представил себе удивленные глаза Лауры, с мечтательной и чувственной улыбкой созерцающей компоты и пирожные; всю эту сахарную атмосферу он решил приправить коньяком, но, приглашая ее по-английски, он запутался и начал запинаться, заикаться — маленький Готлиб не учил уроков — и, заметив, что ее улыбка относится и к автомобилю, предложил ей покататься; она не возражала, когда стоявший навытяжку шофер открыл ей дверцу, села в машину, и — таковы женщины — улыбка попала в клетку. Они плавно скользили вперед, словно на незримых полозьях по незримому льду, а под ними переливалась красками преисподняя, неистовствовали гномы, волновались злые карлики, скрежетали зубами адские палачи, все они были охвачены ожиданием, раздували незримые костры, купались в пламени; машина миновала Порта Пин-

чана и свернула в парк виллы Боргезе, а пойманная в плен улыбка растрачивала себя в мягком кузове; приятно мчаться по зеленым аллеям, Лаура откинулась назад, рядом — спутник в синих очках, может быть, это ее король Фарук, ее нефтяной магнат, у него большие руки, он не гомосексуалист; он глядел на нее, на ее талию, на ее шею, на то, за что можно обхватить, он ненавидел эту жизнь, этот сорт женщин, он признавал их лишь как военную добычу или в борделе, там платишь, раздеваешься, иногда даже не раздеваешься, удовлетворяешь желание, жадно вдыхаешь запах женского тела, обрызганного духами, но все время сознаешь плотский характер всего процесса, а затем появляется мыльный раствор или — предосторожности ради — ефрейтор санитарной службы с профилактическими средствами; а эта вот, рядом, свободная куртизанка, своей улыбкой она подчеркивает женское равноправие, права человека, ах, черт тебя подери — права человека, таких мы знаем; он сунул руку в карман брюк — такая могла довести до полного подчинения, превратить мужчину в жалкую тряпку, так предавались военные тайны, гибли государства, маленькому Готлибу это было отлично известно,— Юдеян нащупал в кармане мягковато-шершавый, нежно-твердый футляр, он, как мышь, скользнул в его руку, футляр с пистолетом, взятым у Аустерлица. Автомобиль промчался мимо воды и подъехал к какому-то храму, стоявшему у озера. Не живет ли здесь богиня любви? Может быть, она обитает в этом парке? Небо заволокло, деревья стали синими, это была синева долины смерти, цвет, испугавший Юдеяна уже раньше, когда он подлетал к Риму; таким, верно, был германский лес: бесшумно, как этот автомобиль, ступали ноги в военных сапогах по лесной почве, покрытой мхом и хвойными иглами, а друг его шел впереди сквозь кустарник, где расстреливал свои жертвы Черный рейхсвер; вороны кричали о предательстве: враг-враг-враг,— рука Юдеяна стиснула пистолет, и тело друга скатилось в лощину; враг-враг-враг,— каркали вороны с верхушек суковатых дубов; в поле травушка шевелится, полюбилась смугла девица, тоска-тоска-тоска по родине, нет, эта рядом — не смуглая, она черная, как эбонит, это заморская девка, вероятно, еврейка, даже наверняка еврейка, предательница, низшая раса, она улыбается, улыбается теперь во весь рот, красный как кровь, она смеется над ним, и лицо у нее алое как кровь, белое как снег, не совсем белое, почти как снег белое, как снег там, дома, в немецком лесу, и трупы там были белыми как снег, а здесь парк был синий, и эта синева заморского парка, синева итальянского кустарника, эта полная гнетущей тоски смертельная пышная синева римских деревьев стала ему невыносима. Лошадиные силы мчали еще в ущелье ада. Он резко приказал шоферу с солдатской выправкой, сидевшему почти неподвижно, ехать назад на виа Венето, к месту отправления, к арийским истокам, может быть, к Еве. Дверь бара была уже открыта, красивые официанты суетились в своих красивых лиловых фраках вокруг осиротелой кассы, Юдеяну хотелось выгнать Лауру из машины, шофер стремительно рванул дверцу и образцово вытянулся, а Лаура все еще медлила и улыбалась — узкая талия, длинная шейка, она улыбалась — черная, как эбонит, алая как кровь, белая как снег, она улыбалась своей волшебной улыбкой, на этот раз полной ожидания, и он назначил ей свидание на вечер. Лаура, улыбаясь, шла к кассе, уже на ходу успокаивая гнев владельца бара. Бедная девочка не была сильна в расчетах, и странное поведение нового поклонника сулило ей многое.

Оба в черном, оба бледные, словно силуэты в театре теней,— а солнце ярко светило в окно,— стояли они друг против друга, он в черной одежде священника, она в черном траурном платье; бледен был он по-

тому, что страшился долго и не решался войти в ее комнату, и она стояла бледная потому, что ее испугал его вид. Еве было мучительно видеть его в ненавистной униформе той власти, которая состояла, по ее убеждению, в постыдном союзе с еврейскими подонками, заокеанскими плутократами и большевистскими хитрюгами и содействовала разрушению — может быть, навсегда — возвышенной мечты о тысячелетнем рейхе, мечты об осчастливленном арийцами человечестве и о германском господстве. Теперь она уже привыкла к тому, что измена предстает перед ней с дерзко поднятой головой. Германские женщины бесстыдно разгуливали под руку с неграми, а предатели становились министрами. К этому она теперь привыкла. Она привыкла слышать слова, подсказанные слабостью и эгоизмом даже от националистически настроенных немцев, примирившихся со всем,— вероятно, они тайком плевались, но все же извлекали выгоду из переменившихся обстоятельств. Но ее сын? Родной сын — и вдруг в лагере предателей, сын — в бабьем балахоне враждебных рейху римских попов, он — в союзе со всей этой кликой, с людьми без роду и племени, точно какой-нибудь еврей. Это не просто рана, причиняющая горькую боль, не только пожар в сердце, это и обвинение и упрек в ее адрес. Откуда взялось это негодное семя? Родословная Евы велась тщательно, в ее арийском происхождении не могло быть и тени сомнения. И все же она не уберегла Адольфа от измены. Она отдала его в нацистскую школу и все же не уберегла от измены. Школу развалили, и он изменил, он предал в трудный час испытания дело своих родителей. Предателей судят. Их вешают на деревьях и на фонарях. А на грудь им прикрепляют табличку с позорной надписью. Разве Ева не должна указать Адольфу на дверь? Между ними не осталось ничего общего, и все-таки он ее сын, плоть от плоти ее, и чужим его делает только эта ханжеская одежда; он сам приковал себя к кресту, к неарийскому учению, пришедшему из страны иудеев, крест висел поверх его одежды, висел на цепи, которая сковывала Адольфа, он пришел к ней в обличии врага, он вовсе не был тем отпрыском, какого ей хотелось иметь,— ни продолжателем дела предков, ни мстителем за поруганное дело, но он ее сын; она рано отдала его в школу, чтобы он имел возможность стать мужчиной, а он стал бабой, ее охватила слабость, и она не указала предателю на дверь. Она холодно спросила: «Что тебе надо?» И он — сердце его усиленно забилось, а волнение сковывало язык — еле выговорил: «Навестить тебя», как будто стоило только взять стул, сесть, поболтать немного, и каждый тут же признает правильность пути и образ действия другого, но она не намерена предложить ему стул и уделить часок своего материнского внимания. Она снова повернулась к окну и снова уставилась на гору пустых бутылок, которые поблескивали в лучах солнца, как бы посылая ей пьяные приветы, и до нее снова донеслись чуждые и раздражающие негритянские песенки поварят.

— Отец в Риме,— сказал Адольф.

— Постарайся не попадаться ему на глаза,— пробормотала она,— он попов терпеть не может.

— Я его видел,— сказал он. И неловко добавил: — В тюрьме.— Вот оно, то слово, которое вывело ее из неподвижности. Вот оно — спасение, оправдание, ее желание исполнилось, это слово знаменовало героизм и героический пример. Юдеян в тюрьме, его арестовали, позорный приговор сохранил свою силу, и приговор будет приведен в исполнение, Юдеян попадет в Валгаллу, и их брачный союз снова получит оправдание.

— Где он? — воскликнула она. И когда Адольф ответил, что не знает, она схватила и стала теребить его за ненавистную одежду.— Говори, говори же.

И тогда он рассказал ей о встрече в подземелье, умолчав о том, как Юдеян использовал яму для самого несчастного заключенного, и Ева

сначала не поняла, о какой тюрьме и о какой крепости, к тому же папской крепости, он говорит. Разве римский папа арестовал Юдеяна? Она не поняла, в какие ямы нырял он, чтобы вынырнуть свободным человеком, изысканным господином, этот не обритый наголо посетитель темницы; и когда ей стало ясно в общих чертах, что произошло в подземелье, она почувствовала, что ее одурачили: а она-то не выходила из комнаты и скорбела о герое! И она гневно расхохоталась — эта нордическая эриния — и обозвала их трусами, и сына и супруга, этих тюремных экскурсантов, игравших в тюрьме друг с другом в прятки. Нет, тюрьмы — не для туристов, тюрьмы — для осужденных, в тюрьме или ты убиваешь, или тебя убивают. Сейчас еще не время осматривать достопримечательности тюрем в этом городе, который Юдеян мог бы в былые дни сравнять с землей.

— И папу римского он мог повесить, и крепость папскую мог бы взорвать,— кричала она сыну, который дрожа стоял перед нею,— он мог повесить папу, он был слишком глуп, чтобы это понять, или слишком труслив, вероятно, он уже тогда стал на путь предательства, а фюрер ни о чем не знал, фюрера обманывали все и скрыли от него, что папу римского следует повесить.

Она бесновалась, словно фурия. Может быть, ему преклонить колени и помолиться? Помолиться, чтобы ей простились все эти греховные слова? Он сказал:

— Успокойся же, мама.— И почувствовал, как нелепо прозвучали эти слова в ответ на ее упреки и ее неистовства. Вначале Адольфу почудилось, что мать одержима дьяволом, но вера его была не настолько сильна, чтобы он поверил в действительное существование дьявола. Дьявола, конечно, не существует, говорил он себе, значит, мать одержима не дьяволом, а дьявольской идеей. Но каким заклинанием бороться с идеей, чем укротить такую одержимость? Этого он не знал. Он был бессилен. Он подумал: Зигфрид прав. Мы не можем друг друга понять. Он хотел уйти, уже пора было уходить, но ему стало жаль ее. Он чувствовал, что она страдает. Он чувствовал, что она горит в пламени своих идей и носит ад в своей душе. Не нужно было никакого дьявола. Она сама себе дьявол и терзает свою душу и тело. Ему хотелось помолиться за нее, хотя в это мгновение он не чувствовал подлинной веры.

Юдеян пришел. Он как бы заполнил собой всю комнату. Коренастый, грузный, точно бык, он заполнил всю комнату. Тесная комнатка стала еще меньше. Она словно съежилась. Казалось, стены стремятся сдвинуться, а потолок опуститься на пол. Юдеян подошел к Еве. Он обнял ее и сказал:

— Ты скорбишь, ты в трауре?

Ева сказала:

— Я скорблю.

А сама думала: он пришел, он пришел, но все же не из Валгаллы. Он сказал:

— Я знаю все.— И подвел ее к кровати. Она опустилась на постель, он сел рядом. Юдеян оглядел комнату, тесную комнатушку с окнами во двор, он слышал доносившуюся из кухни негритянскую песенку, видел фибровый чемодан, вместительный и дешевый, и вспомнил кожаные сундуки, которые были у них прежде. Он сказал: — Виноваты евреи.

И она отозвалась:

— Евреи.

Она посмотрела на своего сына в одежде священника: тот стоял в лучах яркого солнца, черный, пыльный, потрепанный; цепь, на которой висел крест, он намотал на руку и выставил крест вперед, как бы навстречу родителям, он был бледен, и чудилось, будто он молится. Юдеян сказал:

— Было предательство.

И она откликнулась:

— Предательство.

— Евреи,— сказал он,— евреи без роду, без племени.

И она повторила:

— Евреи без роду, без племени.

Адольф глядел на них и вспомнил Лаокоона и его сыновей на греческом побережье, опутанных змеями,— извивающиеся гигантские змеи безумия, брызжущие ядом ненависти, поглотили его родителей. Он молился. Он читал «Отче наш». Она спросила Юдеяна:

— Ты будешь бороться дальше?

И он ответил:

— Я им покажу. Я им всем покажу.

Она взглянула на него, и ее затуманенные голубые глаза увидели больше, чем могли видеть; ее взгляд прояснился и как бы проник сквозь туман бытия. Она не поверила ни одному слову Юдеяна. Он ведь пришел не из Валгаллы. Однако Ева увидела смерть, стоявшую у него за плечами. Смерть ее не испугала. Смерть уладила бы все. Смерть отвела бы героя в Валгаллу. Юдеян взглянул на ее туманно-бледное лицо и подумал: она мой соратник, она осталась моим единственным соратником. Он ощутил, как ее рука постепенно согревается в его руке. Он сказал:

— Я вернусь в Германию. Я поговорю с Пфафратом. Я покажу всем предателям. Я еще прежний Юдеян!

Он был прежним, он был еще великим Юдеяном. Он был действительно велик в маленькой комнатке. Он был так велик, как тень маленького Готлиба. И Юдеян снова приказывал. Он приказал ей тотчас же уехать. Пусть едет домой. Он вытащил из объемистого бумажника деньги, деньги на билет в спальном вагоне. Он дал ей нужную сумму. Деньги на покупку дома он ей вышлет. А потом он взял пачку больших грязных итальянских кредиток с фантастически большими послевоенными цифрами и сунул ее Адольфу в молитвенно сложенные руки. Это развеселило Юдеяна. Он сказал:

— Купи себе поесть. Иди напейся. Или возьми себе девчонку, если ты еще мужчина.

Деньги жгли Адольфу руки, но он не посмел вернуть их. Он сжимал пачку кредиток вместе с крестом. Юдеян собрал вещи жены и бросил их в некрасивый дешевый фибровый чемодан. Ева сидела неподвижно. Она позволяла ему распоряжаться. Ее радовало, что он снова приказывает, что он снова распоряжается, но глаза ее не верили Юдеяну, они видели смерть за его плечами, они видели его уже на пути в Валгаллу, на пути к сонму героев. И было все равно, что он делает тут, на земле, и что приказывает; она подчинялась ему с полным безразличием и, держа его под руку, покинула свою комнату, ушла от негритянских напевов во дворе и от своего сына, чужого и, конечно, враждебного ей существа. Евреи, предатели, попы. Юдеян считал, что расплатился с сыном, дав ему отступного грязными кредитками с фантастически большими цифрами, и даже не поглядел на Адольфа, когда уводил мать.

В зале отеля, облюбованного немецкими туристами, они натолкнулись на Пфафратов, на этих загорелых экскурсантов, те возвращались с поля боя в отличном настроении, оживленные, шумные и окрепшие. Фридрих-Вильгельм Пфафрат был изумлен и встревожен, увидев Юдеяна в отеле да еще под руку с Евой.

— Я провожаю жену на вокзал,— бросил ему Юдеян.— Ее комната мне не понравилась. Мы потом еще поговорим.

Юдеяну было приятно отметить озадаченное и смущенное лицо своего родственника. Это расположило Юдеяна к шуткам, и он крикнул им:

— Вы идете на концерт? Сегодня пиликает ваш Зигфрид!

Но, точно возмездие за насмешку, следом за ним, как черная тень, шел Адольф. Он шел по залу, словно тощее привидение, озабоченное и печальное. Что они могли бы сказать ему? Пфафраты смущенно отвели глаза. Этот черный образ был подобен роковому предостережению, полученному Валтасаром. Но Дитрих после недолгого раздумья все же поспешил за кузеном и, догнав его, сказал:

— Здравствуй, Адольф. Может быть, ты станешь кардиналом. С тобой надо быть в хороших отношениях.

Фрака у меня не было, но я мог купить себе фрак или взять его напрокат; в Риме, вероятно, были люди, которые зарабатывали тем, что давали напрокат фраки, но я не хотел ни покупать фрак, ни брать напрокат, я не считал обязательным слушать музыку во фраке.

Я надел белую рубашку. Фонтан на площади журчал. Я не стал мыться. Мне хотелось сохранить легкий запах Тибра под белой рубашкой, фонтан на площади журчал. Я надел темный костюм. Это не был римский костюм. Это не был костюм элегантного римского покроя. Фонтан на площади журчал. Я надел немецкий костюм. Я — немецкий композитор. Я — немецкий композитор, приехавший в Рим. Фонтан журчал. Вода падала в бассейн. Монеты падали в бассейн. Боги и мифические существа не благодарили. Туристы вычеркивали фонтан из списка достопримечательностей, они его осмотрели, они сфотографировали воду и богов, урожай с него был собран полностью, фонтан был запечатлен в памяти и стал одним из воспоминаний о путешествии. Для меня он был дивным сном. Мальчишки выуживали монеты, которые туристы бросали в воду. Мальчишки были красивы; они закатали короткие штаны, обнажив стройные ноги. Я — в своей белой рубашке и черном костюме с легким запахом Тибра — охотно сел бы на барьер фонтана. Я смотрел бы на мальчишек и с охотой наблюдал бы, как красивы и как жадны эти мальчишки до денег.

К концертному залу устремлялся шумный поток машин. Непрерывно раздавался свисток полицейского. Его перчатки напоминали две изящные белые птицы. Подъзжали молодые королевы кружев, старухи под вуалями, с бриллиантовыми диадемами, графы рекламы, графы министерства иностранных дел, знаменитые женихи-обманщики, посланники, поседевшие от неприятных посланий, мать Снегурочки, а впереди всех — сестры Золушки, они выступали, как королевы красоты, и фотографы озаряли их вспышками; пританцовывающие законодатели мод с помощью тщеславных манекенов старались привлечь внимание к своим деловым мечтам, известные звезды экрана зевали прямо в лицо юным и богатым наследницам, и все они воздавали должное музыке, они — высшее общество, их нельзя отличить друг от друга, у них одно лицо. Критики скрывались под характерными личинами, издатели сияли от сплошного доброжелательства, как полная луна. Антрепренеры выставляли напоказ свое чувствительное больное сердце. Грузовик с красными флагами прогромыхал мимо. Листовки, словно стая завистливых серых воробьев, порхали над белыми перчатками полицейского. Пала крепость в джунглях. Но кому до этого дело? Биржа реагировала четко. Ага-Хан не появился. Он ожидал в своей вилле на берегу моря «Волну» Хокусаи. Но добрый десяток членов наблюдательного совета акционерных обществ все же явился. Здесь знали друг друга и раскланивались; а дамы вовсю стремились затмить богинь. Я был без шляпы, а не то я снял бы ее, ведь люди, собравшиеся здесь,— мои заказчики и хозяева, они кормили и поощряли меня, содействовали моему успеху, даже промышленность была представлена, проконсультировавшись с философами-песси-

мистами, она учредила музыкальную премию, за премией от фабрикантов должна последовать премия профсоюзов, за премией имени Форда — премия имени Маркса, меценатство становится все более анонимным, Моцарт был камердинером у сиятельных особ, а чьим камердинером являюсь я, стремившийся быть свободным, и где же великие люди, о которых говорил Августин, жаждущие после трудов отдаться музыке для восстановления своей души? Ни одной души я не видел. Вероятно, платья были слишком роскошными.

А может быть, я так ожесточен потому, что не купил себе фрака? Кому должна доставлять радость моя музыка? И разве она вообще должна радовать? Она должна пробуждать тревогу. Но здесь она ни в ком ее не пробудит.

У входа на галерку фотографов не было. Молодые люди, молодые женщины и — как ни странно — совсем пожилые люди шли через этот вход. Мастеру хочется верить, что молодежь за него, и он считает, что будущее за ним, если ему аплодирует галерка. Будут ли они мне аплодировать? Разве я писал для них, для этих гордых бедных девушек? На меня они не смотрели. А бедно одетые мужчины? Это, вероятно, студенты, будущие атомные чародеи, которым всегда угрожает опасность быть похищенными или растертыми между Западом и Востоком, а может быть, это просто будущие экономисты или зубные врачи — я, вероятно, все-таки тосковал по тем особым слушателям, о которых говорил Августин. Прошло несколько священников, прошло несколько молодых рабочих. Волную ли я их? Как мне хотелось бы во всей молодежи — в юных исследователях, студентах, рабочих, священниках, девушках — почувствовать своих друзей, своих камрадов; но слово «камрад» было навязано мне с юных лет, и оно мне отвратительно. И когда я увидел студентов и рабочих, я подумал также: Пролетарии и интеллигенты, объединяйтесь! — но я не верил в это, не верил, что из такого объединения возникнет новый мир; Гитлер, Юдеян, мое семейство, нацистская школа — они отняли у меня веру в любое объединение. Поэтому я приветствовал лишь немногих стариков, которые, затерявшись среди молодежи, восходили на Олимп,— они были одиноки, и, вероятно, концерт мой предназначен для одиноких.

В артистической меня ждал Кюренберг. В его облике было поистине нечто классическое. Фрак сидел на нем, как на мраморном бюсте, а над белизной манишки, воротничка и галстука бабочкой величественно, по-императорски высилась голова. Он был мудр. Он не торчал по-дурацки на улице, разглядывая публику. Он созерцал свое превосходство. Какое ему дело до их тщеславия и до их иллюзий? В его глазах общество выполняло лишь одну функцию, оно, словно мощные кариатиды, должно поддерживать сказочный замок музыки, волшебный храм звуков, и было совершенно несущественно, из каких соображений оно это делает. Ильза Кюренберг была в простом черном платье. И оно тоже сидело, как на мраморной статуе. Оно облегало ее так, словно это была тонкая черная кожа хорошо сохранившейся мраморной скульптуры. Кюренберг хотел отправить меня в ложу. Он видел, что я явился не во фраке, и это его сердило. Он был выше всех этих условностей и считал, что раз я пренебрег фраком и не подчинился общепринятым обычаям, значит, я придаю одежде и условностям больше значения, чем они заслуживают. Он был прав. Я злился на себя. Нужно соблюдать правила игры и избегать трудностей и столкновений. Звонок возвестил начало, и оркестр вышел на эстраду, сто прославленных музыкантов принялись настраивать свои инструменты, и то тут, то там я слышал обрывки своей симфонии, они напоминали крики птицы, заблудившейся в чужом лесу. Мне пришлось проводить Ильзу Кюренберг в ложу, и я сказал ей, что отдал свой билет священнику. Я не сказал ей, что этот священник мой двоюродный брат,

и только теперь сообразил, что здесь, в Риме, Адольф Юдеян будет сидеть в ложе рядом с Ильзой Ауфхойзер из нашего города. Отец ее был убит, после того как сожгли его магазин. Отец Адольфа немало содействовал этому, он содействовал поджогу магазина и содействовал гибели старика Ауфхойзера. Мой отец мог сколько угодно воображать, что он не содействовал ни убийству, ни пожару. Мой отец — вот кто тогда сидел в ложе. Из своей ложи он аплодировал исполнителям. Но меня не привело в ужас то, что Адольф Юдеян будет сидеть с Ильзой Кюренберг на одном диванчике. А почему бы им не сидеть рядом? Раз трагедия уже свершилась, за ней должен последовать фарс.

Юдеян отправил Еву в Германию, посадил ее в вагон первого класса, номер в отеле был клеткой, купе было еще более узкой клеткой, клеткой на колесах, и в этой клетке стояла пленница, нордическая эриния, в траурной одежде, с блеклыми волосами, полная возвышенной скорби и теперь уже уверенная в том, что супруг скоро возвратится в Валгаллу. Но на большом римском вокзале, на перроне станции Термини, названной так из-за находившихся по соседству терм Диоклетиана, неоновый свет вокзальной платформы прорвал на мгновение пелену тумана, и вдруг посветлел туманный облик Евы, проступило ее второе лицо — лицо ясновидящей фурии, проступили глаза — глаза оборотня, видевшие Юдеяна уже среди мертвых, и Ева взглянула из окна вагона, который шел к Альпам, на север, в сторону Германии, и она увидела Юдеяна, узнала его здесь в ярком неоновом свете таким, каким он стал на самом деле, — коренастый, поседевший мужчина в синих очках, и она крикнула ему: «Да сними ты, наконец, эти ужасные очки, садись, садись в поезд и поедем вместе!» И он жалко возразил, что его паспорт не дает права въезда в Германию и его вымышленное имя было бы раскрыто, а она вспылила: «Не нужно тебе никакого вымышленного имени, не нужны тебе очки и не нужен паспорт. Пограничники скажут: «Господин генерал вернулись? Мы рады, что господин генерал снова здесь». И они станут перед тобой навытяжку и позволят тебе ехать, куда ты пожелаешь, и они будут гордиться тем, что говорили с тобой, а дома тебя встретят салютом из пушек, и ты будешь неприкосновенен». Ева видела его возвращение. И она понимала, что это единственная возможность для Юдеяна вернуться в свое отечество, и он понял ее, она права, только так можно вернуться, только этот путь вел в Германию: «Господин генерал вернулись? Как мы рады, господин генерал»,— так оно и должно быть, и пограничники так и воскликнут, но Юдеян медлил, что-то удерживало его в Риме, в этом городе попов-импотентов,— была ли то Лаура или страх, нет, конечно, не страх. Юдеян ведь не ведал страха, но, конечно, и не Лаура удерживала его здесь, это было что-то другое, может быть, пустыня, казарма на краю пустыни, там он мог приказывать, и пусть они встретят его в Германии пушечными залпами, залпы прогремят и затихнут — даже боевых снарядов хватает ненадолго, а потом настанут будни, и что ждет его тогда, что такое Юдеян без власти, старенький Готлиб в федеральном объединении недовольных героев вчерашнего дня; Юдеян боялся времени, боялся своих лет, он уже не ждал победы, поэтому он сказал Еве: «Пфафрат все уладит, Пфафрат подготовит удобное возвращение»,— и прозревающий взор Евы померк, снова все застлал туман, лицо ее вновь стало туманным, теперь она поняла: Юдеян уже ни во что не верит, не верит в пограничников, не верит в пушечные залпы, не верит в Германию; и вновь проступило второе лицо Евы — лицо ясновидящей фурии: жалкая смерть на хромом одре гнала героя в Валгаллу, а поезд в это время уносил ее к Альпам, на север.

После прощания, которое показалось Юдеяну каким-то мучительным недоразумением, он направился в облюбованную немцами гостиницу, где остановился его свояк: пусть Пфафрат устроит ему возвращение на родину. Но в гостинице ему сообщили, что господа уехали на концерт; и действительно, по настоянию Дитриха, который был встревожен появлением фотографии Зигфрида в газете и решил пронюхать, каковы шансы брата на успех,— к тому же его влекло любопытство и смешанное чувство неловкости, гордости и недоверия,— по настоянию Дитриха родители поручили портье достать места в задних рядах, что он без всякого труда и сделал. А Юдеян, который удалился несолоно хлебавши, приказал отвезти себя в свой роскошный отель и по пути сообразил, что до условленной встречи с Лаурой остается еще несколько часов и что, пожалуй, будет забавно посмотреть, как сын Пфафрата пиликает на скрипке. Это нелепое и предосудительное зрелище поможет ему скоротать время, оставшееся до свидания, а кроме того, если он увидит своими глазами столь явное доказательство дегенеративности семьи, это укрепит его позиции по отношению к Пфафрату. И Юдеян тоже заказал через своего портье билет на концерт; а так как заказ был сделан из аристократического отеля, то место ему предоставили в первом ряду. Но он был не во фраке, и его не хотели пускать. Хотя Юдеян и не понимал того, что лопочет по-итальянски контролер, однако было ясно, что ему не разрешают занять его место; но раз уж Юдеян выложил за билет столь несообразно большую сумму, он считал себя в своем праве и, просто-напросто нажав плечом, отшвырнул тщедушного контролера. Чего ради к нему пристает этот нахал, эта презренная лакейская душонка? Юдеян бросил ему банкнот, вошел в зал и развалился в кресле. Тут только он заметил, что находится среди людей, одетых согласно требованиям света, и на миг ему показалось, будто он сел среди оркестрантов, среди этих шутов, которым предстоит его развлекать и чья профессиональная одежда — фрак. Но оркестр настраивал инструменты на эстраде, предположение, что он попал к музыкантам, пришлось отвергнуть, и Юдеян подивился тому, как сегодня все шикарно. Это импонировало маленькому Готлибу, он даже смутился. Но Юдеяна трудно было смутить, он еще шире расселся в кресле и вызывающим взглядом окинул зал. Как и тогда, когда его занесло на Корсо и виа Венета, ему снова почудилось, что он окружен хитрыми евреями и спекулянтами без роду, без племени. Он подумал: сволочи и фаты. Он узнал в этих людях новое светское общество, новое общество итальянцев-предателей. Тех, кто вероломно изменил Муссолини и теперь захватил власть. И перед этими-то людьми, чье место в тюрьме, в концлагере, в газовой камере, Зигфрид Пфафрат будет пиликать на скрипке! Юдеян обшарил взглядом эстраду, но племянника там не оказалось. Может быть, Зигфрид выступит позднее, первые скрипки всегда опаздывают: нахальная шайка, не мужчины, а бабы! Чего здесь недостает — так это дисциплины. Юдеян это сразу заметил. Говоря по правде, он признавал только военную музыку. Почему бы оркестру не сыграть лихой марш, вместо того чтобы наводить тоску этим настраиванием? Юдеян опять стал рассматривать публику и обнаружил в единственной ложе своего сына Адольфа; рядом с Адольфом сидела какая-то женщина, она произвела на Юдеяна впечатление. Неужели Адольф отдал этой женщине те деньги, которые отец сунул ему в молитвенно сложенные руки? Кто это? Его возлюбленная? Или она его содержит? Вот уж не думал, что этот поп способен на роль любовника! Юдеян недоумевал.

Увидев Адольфа в ложе, почувствовал недоумение и Дитрих. Зачем сюда попал диакон? Или его послала церковь? Может быть, она хотела выставить Адольфа напоказ из-за его фамилии? Как важного перебежчика, как человека, обращение которого в католичество считалось

важным событием? Может быть, ему предназначена особая миссия? В конце концов Адольф умен, он в самом деле может сделаться епископом и со временем получить большую власть. Как держаться с ним? Кто эта женщина в его ложе? Со своего места Дитрих не мог хорошенько разглядеть ее. И родители не могли разглядеть. Имеет она отношение к Адольфу или не имеет? И куда провалился Зигфрид? Может быть, он знает что-нибудь на этот счет? Сколько неразрешимых вопросов!

Неразрешимые вопросы. Ильза Кюренберг, усевшись на свое место, приветливо кивнула священнослужителю, но его лицо тут же встревожило ее — такие лица встают перед нами в кошмарных снах, она сама не знала почему, но это было лицо из страшного сна. Она подумала: у него вид мученика, вид флагелланта. Она почти видела, как он подвергает себя бичеванию. И она подумала: интересно, бичует ли он и других, бичует ли он еретиков? Но это невозможно, священник не будет бичевать даже евреев. Может быть, он мистик? И продолжала свои размышления: он католический священнослужитель, а похож на взбунтовавшегося Лютера.

Но когда началась музыка, Ильза поняла, что он все-таки мистик, немецкий священник и немецкий мистик, ибо и в симфонии Зигфрида, несмотря на весь ее модернизм, звучал мистический порыв, мистическое мироощущение, хотя и смягченное латинским началом Кюренберга; теперь Ильза поняла, почему сама симфония, несмотря на всю ясность исполнения, осталась ей несимпатичной. В этих звуках было слишком много смерти, смерти без веселых заупокойных хороводов, какие видишь на античных саркофагах. Порой композитор делал попытки воспроизвести чувственные радости, изображениями которых древние украшали свои надгробия, но тогда музыка Зигфрида становилась фальшивой, он давал не те звучания, и, хотя Кюренберг дирижировал очень сдержанно и спокойно, в музыке появлялось что-то крикливое и чрезмерное, она будто судорожно гримасничала, она вопила, в ней слышался смертельный страх, возникал нордический хоровод мертвецов, процессия зачумленных, и, в конце концов, пассажи растворялись, и возникала туманная завеса. Нельзя сказать, что как композитор Зигфрид потерпел неудачу, он по-своему талантлив, у Ильзы тонкий слух, и музыка взволновала ее, но в ней была та тревожная жуть, которую рождает туман и противоестественное стремление к смерти, а Ильзу отталкивала смерть, смерть страшила ее, ужасала своей мерзостью.

Ну и музыка! Какая скучища! Может быть, симфония еще не началась, и оркестр под руководством капельмейстера продолжает настраивать инструменты? Может быть, это не та вещь? Зигфрид не выступает. Или он отказался? Юдеян был разочарован. Ничего забавного не было. Юдеяна надули.

У него уже были рези от голода, жажда сушила язык, но маленький Готлиб не осмеливался встать и уйти. Он был точно прикован к месту. Шумы, производимые оркестром, парализовали его. Эти звуки мешали думать, и Юдеян не мог сообразить, кто та женщина рядом с Адольфом, не мог выяснить, хочется ли ему спать с Лаурой или с той женщиной в ложе.

Они были возмущены. Они были разочарованы. Им преподносилось что-то совсем другое, чем музыка, известная им до сих пор. Она была далека от всех представлений, которые Пфафраты создали себе о музыке. И даже от тех, которые они создали себе о музыке сына. А разве они вообще представляли себе как-нибудь его музыку? И если да, то чего же они ожидали? Что им предстанет посмертная маска Бетховена, с которой слишком часто смахивали пыль,— она висела у них в музыкальном уголке столовой, над двенадцатиламповым приемником? Или Вагнер, как выдающийся носитель берета и человек, явно обласканный гением?

Супруги Пфафраты находили, что музыке Зигфрида недостает благородного колорита, возвышенных и торжественных звучаний и доходчивых гармоний, они искали и не находили в ней приятно успокаивающей реки мелодии и тщетно прислушивались, не донесется ли до их ушей понятное им — так они считали — пение сфер, льющееся с горних высот; правда, у них не было там правожительства, да они и не стремились в этих сферах обосноваться, однако рисовали их себе наподобие некоего оптимистического неба, розового купола, покрывающего серую землю,— на земле же приходилось вести жизнь трезвую и благоразумную, а иной раз и подчиняться всем требованиям человеческой и даже нечеловеческой пошлости; но тем величественнее должна была парить над человеческим — слишком человеческим — розовая надстройка; Пфафраты верили в кондитерский храм искусства, вылепленный из сладкой массы и имеющий идеальную аллегорическую форму, он был для них потребностью, как они все еще лицемерно уверяли себя, потребностью, которую они любили называть «восторгом перед всем прекрасным»,— ведь музыка обращалась к их развитому чувству красоты и навевала приятную дремоту; но от зигфридовских звучаний мороз подирал по коже. Пфафратам стало не по себе, точно на них вдруг пахнуло ледяным дыханием, а потом музыка стала издеваться над их немецко-бюргерскими вкусами и нравами, в ней вдруг появились даже какие-то джазовые ритмы, и Пфафратам представился древний лес, негритянская деревня с голыми людьми и обнаженными вожделениями; а затем эти джунгли, полные дегенеративного рева, сменились просто скучными переходами, состоявшими из однообразных дисгармонических звукорядов. Неужели такое созвучие может нравиться! Неужели с ним можно примириться! Боязливо, как мыши, озирались они по сторонам, они боялись скандала, бунта, посрамления их рода, их бесспорно уважаемого имени. Но все сидевшие поблизости слушали вполне благовоспитанно, делали обычное концертное лицо людей, вдумчиво наслаждающихся музыкой, а некоторые даже притворялись, будто погружены в мир звуков. Дитриху казалось, что он угадал особый расчет, на котором была построена симфония брата, какой-то ловкий фокус, какое-то подобие математического уравнения, однако в его тайну он не мог проникнуть: эта музыка не была для композитора наитием свыше, как были, вероятно, наитием прекрасные и возвышенные созвучия Бетховена и Вагнера, эта музыка была сделана, она была утонченным надувательством, в диссонансах чувствовалась строгая продуманность, и это встревожило Дитриха — может быть, Зигфрид вовсе не так глуп, может быть, он опасен и стоит в начале славной карьеры? И Дитрих шепнул родителям: «Он новатор!» — Дитрих как бы порицал брата, а с другой стороны показывал, как конкретны его собственные суждения, насколько он объективен и сведущ в данной области. Все же это замечание заставило какого-то извращенного иностранца в поразительно тесном смокинге и с вызывающей острой бородкой, растущей прямо из шеи, сердито прошептать: «Ш-ш-ш...»

Адольфу музыка двоюродного брата не понравилась. Она настраивала его печально, она даже мучила его, но он все же силился ее понять. Понять самого Зигфрида. Что хотел Зигфрид сказать своей симфонией? Что удалось ему выразить? По мнению Адольфа, он выразил сочетания каких-то противоположностей—благодетельную боль, веселое отчаяние, мужественный страх, сладкую горечь, бегство и осуждение бегства, печальные шутки, больную любовь и заставленную цветочными горшками пустыню — словом, пестрое и зыбкое поле иронии. Была ли эта музыка враждебной богу? Вероятно, нет. В звуках жило также воспоминание о каких-то давних временах — до всякого греха, о красоте далекого и мирного рая и скорбь о пришедшей в мир смерти. Эти звуки

говорили об огромной потребности в дружбе — правда, здесь не было ни гимна радости, ни панегирика, не было тоски по радости и хвале творению. Порою Адольфу казалось, что в звуках этой симфонии он узнает самого себя. Словно ему в разбитом зеркале показывают его детство. Была здесь и нацистская школа, и спортивная полянка, и лес, солнечные восходы и закаты, и сны, которые он видел в дортуарах. Но потом цинизм, неверие и отчаяние, с которыми автор кокетничал, любуясь собой, и анархические порывы снова отталкивали Адольфа. Нет, церковь этой музыки не одобрила бы; на Тридентском соборе ее не признали бы достойной подражания. Имеет ли право Адольф, диакон, одобрить эту музыку? Нет, он ее не одобрит. Должен ли он проклясть ее? Нет, он ее не проклянет. Через эти звучания говорит не бог, а борющийся человек, поэтому, в конце концов, это все же не может быть бог, он ведет один из тех непостижимых разговоров, которые так смущают христову церковь.

Они свистели, я слышал, как они свистят, я подкрался к дверям галерки. Я стоял позади всех, словно нищий у церковных дверей, словно нищий при своей музыке, а они свистели, но это меня не удивило, они свистели на всевозможные лады, и так, как свистят уличные мальчишки, засунув пальцы в рот, они свистели, мои рабочие, мои студенты, мои молодые атомщики, которым угрожает опасность, мои надменные бедные девушки, но я этого ждал; молодые священники не свистели, хотя им тоже следовало бы свистеть. Я грезил о чистом творчестве, но соблазнился участием в земных битвах. Я не знаю, возможно ли чистое творчество, непорочное зачатие от чистого Ничто, но я мечтаю о нем; может быть, это высокомерие и безумие, может быть, это самонадеянность Икара, а мои крылья сломались еще до полета. Но Икар должен дерзать. Таково же дерзание физиков в лабораториях, их лишенная воображения мудрость разрушает естественную цельность природы, а Кюренберг толкает меня на то, чтобы все взрывать, ибо его разум восторгается прекрасными формами, он постигает величественные законы, по которым совершается разрушение. Я же этих законов не постигаю и не умею читать формулы. Вероятно, я глуп. Как я могу что-нибудь вычислять и кому предложу я свои вычисления? И я все еще надеюсь найти сумму, не вычисляя, каким-то непостижимым путем, хотя Кюренбергу такой путь, наверно, был бы не по душе, и он счел бы его нелепым и нечестным. Галерка свистела, но в партере зааплодировали, начали вызывать меня, и пронзительные свистки с галерки, казалось, заставляли партер еще более шумно рукоплескать мне. Вот подходящая минута выйти во фраке. И следовало бы выйти, Кюренберг все вновь и вновь пожимает руку первой скрипке, указывает на оркестр, на кулисы, из-за которых я упорно не появляюсь, и делает все возможное, чтобы отвести от себя аплодисменты, приглушить их, не прекращая, и широкими жестами выражает свое сожаление по поводу непонятного отсутствия композитора. Одна из стоявших рядом со мной бедных надменных девушек пробормотала: «Кажется, в рожу бы ему плюнула!» Она хотела этим сказать, что готова плюнуть в лицо мне, композитору. Я понял ее: она говорила по-английски. А что они хотели бы сделать со мной, эти господа там внизу — мужчины во фраках, дамы в дорогих нарядах, критики, издатели, антрепренеры, что они задумали? Надеть на меня венок или тоже наплевать?

Но громче всех хлопал Юдеян; он никак не мог решить один сложный вопрос. Его тяжелые руки работали, как паровые молоты. Гораздо охотнее рявкнул бы он, выругался, приказал бы, чтобы все, кто был на эстраде, стояли навытяжку, или арестовал бы их. Зигфрида он поставил бы к цоколю с бюстом Палестрины; он с удовольствием заставил бы

Зигфрида и дирижера сделать тридцать приседаний. Но маленький Готлиб не решился бы — он же один среди всех этих фрачников. Юдеян не решился бы рявкать, браниться и отдать приказ насчет тридцати приседаний; а когда галерка начала свистеть, то он нашел, что это непристойно по отношению к господам из партера, к богатым, к сидящим на свету,— правда, он сам их презирал и всегда им завидовал, хотя теперь и поддерживал их возмутительные взгляды на искусство и их миросозерцание молотоподобными ударами ладоней.

В это время его увидел Адольф; он увидел отца из своей ложи, тот взволнованно аплодировал, а сын не знал, следует ли выражать одобрение, в котором он не слишком был уверен, да и подобает ли человеку, носящему одежду священнослужителя, аплодировать столь необычной и сомнительной музыке? Руки сидевшей рядом с ним дамы были спокойно сложены на коленях. Может быть, эта дама сочтет за дерзость, если священник подле нее присоединится к клаке? И все-таки Адольф присоединился бы к числу шумно выражающих свою благодарность, выйди Зигфрид на эстраду, ибо Зигфрида надо было благодарить за то, что он выразил тревогу господню; а если он не вышел на свет рампы, чтобы вкусить плоды своего успеха, это тоже говорит в его пользу. Но каким образом здесь появился Юдеян и почему он аплодирует зигфридовой музыке? Или Юдеян вдруг постиг язык этих звуков? Или они взволновали его и порадовали? Неужели в мире звуков Юдеян и Зигфрид все же поняли друг друга? Адольф не подозревал о существовании маленького Готлиба в душе Юдеяна и потому был не в силах разгадать поведение отца и мог истолковать его только неправильно.

Пфафраты понять не могли этого успеха, они слышали свист галерки, которую аплодисменты партера только раззадорили, до них доносились восклицания итальянцев, выговаривавших согласные в фамилии Пфафрат как-то особенно подчеркнуто, и они думали: каким же прогнившим, слепым и до ужаса разложившимся должно быть это неудержимо катящееся в бездну римское общество, если оно способно так восхищаться музыкой их сына! Однако предстоящий закат римского высшего общества не пугал Пфафратов, а, наоборот, укреплял их веру в собственное превосходство: считая себя истинными немцами, получившими в наследство от предков здоровую кровь и неуязвимыми для всяких онегритяненных созвучий, они надеялись извлечь из разложения Европы особую выгоду для собственной нации, которая скоро снова возьмет в руки гегемонию; и вот, все еще с повязкой национальной глупости на глазах, глупо успокоенные тем, что мучительная музыка кончилась и скандала, позорящего их фамилию, пока бояться нечего, Пфафраты тоже слегка похлопали в честь сына и брата. А Дитрих постичь не мог, почему Зигфрид, которого так упорно вызывают, не показывается. И это встревожило его, как тревожило все, чего он не понимал. Почему Зигфрид прячется? В чем тут фокус? Трусость или уже высокомерие? Надо все же это выяснить, и Дитрих предложил поискать Зигфрида в артистической.

Я медленно спустился по лестнице, ведущей с галерки. Я знал, что теперь Кюренберг будет на меня сердиться. Он будет сердиться, что я опять пренебрег одной из условностей, на которых держится профессия музыканта, и не раскланялся перед публикой. Пусть даже я не во фраке — все равно надо было выйти на эстраду. Но показываться мне не хотелось. Аплодисменты претили мне. Восторженное настроение публики, в моих глазах, ничего не стоило. Я чувствовал благодарность к освистевшему меня Олимпу; правда, сидевшие там тоже не боги.

Кюренберг устал, он опустился в красное плюшевое кресло. Вокруг него сверкали молнии фотографов. Он не упрекнул меня. Он меня поздравил. А я поблагодарил его и тоже поздравил, заявив, что это его

успех, да это и был его успех, но он отверг мою благодарность; тут что-то было не так, уж слишком каждый из нас отвергал любезности другого; и все-таки это его победа, он блеснул моей музыкой, но ему самому достаточно сознания, что эксперимент с новыми комбинациями в пределах ограниченного числа звуков удался, он исполнил одну из миллионов возможных звуковых комбинаций и показал, что музыка неустанно развивается, что это сила, которая продолжает жить среди нас, и теперь задача в том, чтобы идти вперед, к новым сочетаниям звуков. Он прав. Почему я не думаю о новых композициях? Или мой огонь погас? Не знаю. Мне стало грустно. Я бы охотно отправился к своему фонтану, к фонтану ди Треви; охотно посидел бы на его краю, разглядывая спешащих мимо глупых туристов и жадных до денег красивых мальчишек.

Подошла Ильза Кюренберг, она тоже поздравила меня. Рука, которую она мне протянула, была холодна. И я опять увидел в Ильзе Кюренберг трезвую и скептическую музу музыки наших дней, но признания этой музы я не завоевал. Мне хотелось поблагодарить ее за то, что я не завоевал ее признания, но я не знал, какими словами ей это сказать, чтобы она правильно поняла меня. Пока я подыскивал слова, стараясь выразить свои ощущения, я увидел в ее лице такую неприязнь, что испугался. Однако тут же понял, что она смотрит с ужасом не на меня, а на кого-то за моей спиной, и когда я обернулся, желая понять причину ее испуга, то увидел, как ко мне приближаются мои родители, увидел, что приближается мой брат Дитрих, а позади них стоит, повергая меня в оцепенение, тот, чей устрашающий образ мне памятен с юности,— восставший из мертвых дядя Юдеян, и он, глядя на меня, осклабился, словно хотел сказать, что вот-де он воскрес и мне уж придется с ним ладить, прежняя власть вернулась; к тому же в дверях появилось расстроенное лицо Адольфа. Это был поистине семейный праздник Пфафратов—Юдеянов, все они собрались здесь, и мне померещилось, что я вижу голову Горгоны. Мне стало стыдно. Стало стыдно моей семьи, и стыдно за то, что я стыжусь моей семьи, и я чувствовал себя как пес, которого окружили живодеры с сетями. Моя свобода была под угрозой. Отец и мать поздравляли меня, и они угрожали моей свободе. Они обращались ко мне, но я не понимал того, что они говорят; я чувствовал одно: моя свобода под угрозой. Мой брат Дитрих заявил, что я молодец, и сделал хитрую гримасу, он тоже угрожал моей свободе. А потом я увидел, как мой отец повернулся к Кюренбергу и поздоровался с ним, точно с добрым старым знакомым. Он напомнил Кюренбергу о нашем городском театре, заговорил о тамошнем оркестре, об абонементных концертах и о том, как хорошо жилось в тысяча девятьсот тридцать третьем году.

Ильза Кюренберг не знала этих людей, и все же она знала их, и ей показалось, будто разверзлась стена, в которой замурованы привидения, и вот они здесь, прорвались сквозь стену огненные духи некоего горящего дома — лемуры, убившие некогда старика отца. Она догадалась, что эти люди — родные Зигфрида, люди из ее города, о котором она забыла, нацисты из ее родных мест, которых она не желала помнить. И она догадалась, кто Юдеян, этот человек, державшийся позади всех, этот вершитель ее трагической судьбы, который сейчас глазами словно раздевает ее. Она сказала себе: «Я не хочу видеть этот сон». И она сказала себе: «Виновата симфония, недаром она мне так несимпатична, а этот священник в дверях — германский мистик, может быть, он святой, но горе мне, если он не святой, и горе мне, если он ренегат». И она сказала себе: «Тот, кто сейчас разговаривает с Кюренбергом, это отец Зигфрида, обер-бургомистр нашего города, он был обер-президентом провинции, когда мы просили о пощаде, он заявил, что хоть он и обер-президент, но этим не ведает». И она сказала себе: «Может быть,

он покупал себе рубашки в магазине моего отца, и первые игрушки для своих детей он, может быть, покупал в магазине моего отца, и когда магазин моего отца горел, а рубашки и игрушки были разграблены громилами, он это одобрил, и когда моего отца убили, он приобщил этот факт к делу и одобрил его». А Фридрих-Вильгельм Пфафрат, которого Ильза Кюренберг считала вдохновителем и соучастником поджога и убийства, рад был побеседовать относительно своей общины с Кюренбергом, вежливо и точно отвечавшим ему, и предложил дирижеру гастролировать у них в театре. Правда, театр еще разрушен, но очень скоро будет восстановлен, и когда урожденная Ауфхойзер, словно не замечая Пфафрата, позвала Кюренберга домой, Пфафрат обиделся и подумал, как это для них характерно: то скулят, то нос задирают. Дирижер оглянулся, ища Зигфрида, которого хотел позвать на легкий ужин, но Зигфрид исчез.

Они брели по бумаге; бумага покрывала площадь Пополо. Она лежала перед церквами Санта Мария дей Мираколи, Санта Мария дель Пополо, Санта Мария ди Монтесанто, все три Марии сторожили площадь, бумага лежала вокруг Египетского обелиска, который Август посвятил солнцу, а Сикст V — небесным воинствам, и небесные воинства тоже сторожили площадь, бумага лежала перед городскими воротами, через которые Гёте въехал в Рим. Гёте тоже был святой реликвией этой площади, бумага лежала в лучах дуговых фонарей, как снежная зима — в лунном свете. На площади Пополо происходили демонстрации, и листовки, обещавшие людям новую весну, за которой должно последовать небывалое лето и столь вожделенная золотая эра, листовки, словно осенние листья, упали наземь, и смелые лозунги грядущего счастья превратились в навоз, похожий на грязный снег, на серо-белую зимнюю одежду.

Он поднимал своей сутаной легкий ветерок, бумага шуршала, и я сказал ему, что мы идем через поле, усеянное обетованиями. Я сказал ему, что все эсхатологические теории представляются мне охапкой сена, которую привязали к шесту и держат перед мордой осла, чтобы он тащил повозку все дальше и дальше.

— Но ведь человечеству нужно стремиться к чему-то более отдаленному и высокому,— сказал Адольф,— вспомни, какую силу в эпоху средневековья давало людям привлекавшее их небо.

— Да,— согласился я,— осел тащил повозку. Он воображал, что тащит ее на небо, и скоро уже начнется рай, и там ослы уже не будут таскать поклажу, и пастбища будут вечно зеленеть, и хищные звери станут ласково играть с ним. Но постепенно осел начал замечать, что небо-то не приближается, он почувствовал усталость, сено религии уже не так манило его, ему уже не хотелось столь храбро идти все вперед. Тогда, чтобы повозка не остановилась, голод осла переключили на земной рай, на некий общественный парк, где всем ослам дадут равные права, кнут будет отменен, поклажа станет легче, корма — лучше; но и к этому Эдему путь долог, цель не приближается, и осел опять начинает упрямиться. К счастью, ему всегда надевают шоры, поэтому он не замечает, что идет не вперед, а только по кругу, и что он не тащит повозку, а вертит карусель, и может быть, мы — просто развлечение на празднестве богов, боги после ярмарки забыли убрать карусель, и осел все еще вертит ее, а боги и не вспоминают о нас.

Он сказал:

— Значит, ты живешь в совершенно бессмысленном мире?

Я сказал:

— Да. Но разве все непременно должно иметь смысл?

Он сказал:

— Если бы я смотрел на это, как ты, я бы покончил с собой.

Я воскликнул:

— Зачем? Я и так достаточно рано умру, и притом, уверяю тебя, я не слишком высокого мнения о развитии жизни, но меня ужас берет перед небытием смерти. Так ради чего я буду кончать с собой? Да, вот если бы я, как ты, считал, что самоубийство грех, тогда и для меня существовало бы какое-то «потом»! Истинной причиной, искушающей нас бежать из этого мира, является вера в мир потусторонний. А если я не верю ни в небо, ни в ад, я должен попытаться здесь найти немного счастья, немного радости, здесь должен я искать красоту и наслаждение. Нет для меня никакого другого места, никакого другого времени. Здесь и сегодня дана мне единственная возможность для этого. И тогда искушение покончить счеты с жизнью оказывается только капканом, который мне расставили. Но кто же мне его расставил? Раз есть капкан, то должен быть и охотник. Вот тут и начинаются сомнения. Если неверующий сомневается в своем неверии, это по меньшей мере так же страшно, как и сомнения верующего. Все мы испытываем сомнения. И ты сомневаешься, не отрицай. Или ты лжешь. В клетке доступных нашим чувствам трех измерений могут существовать только сомнения. И кто же не ощущает, что есть какая-то стена,— я называю стеной это Нечто или Ничто, впрочем, слово «стена» мало подходит для того, что отделяет нас от некой недоступной области, которая может быть тут, совсем рядом с нами, может быть даже в нас, и если бы мы нашли какую-то дверь в эту область, какую-то щель в стене, мы сами и наша жизнь предстали бы нашему взору совсем иными. Может быть, это было бы ужасно. Может быть, мы этого не выдержали бы. Говорят, что, узрев правду, человек обращается в камень. А я хотел бы увидеть эту правду без покровов, и пусть я обращусь в столб. Но возможно, что и это еще не было бы правдой, и за первой картиной правды, от которой я бы окаменел, выступили бы другие картины, другие покровы, еще более непостижимые, еще более недоступные, может быть, еще более жестокие, а я стал бы камнем и ничего бы не увидел. Наряду с миром, с жизнью существует еще что-то, чего мы не видим. Но вот что это?

— Ты ищешь бога не в его обители, ты ищешь его в тупиках,— сказал Адольф.

— Если бог есть, то он живет и в тупиках,— ответил я.

Мы шли по виале дель Муро Торто, вдоль древней городской стены. На Пинчо дул ветер, и из сада виллы Медичи доносился сладкий аромат. Власть создала эти сады, власть создала виллы, дворцы, власть построила этот город, власть возвела эти стены, власть доставила сюда сокровища, дала толчок искусству, город этот прекрасен, я счастлив, что иду вдоль его древней стены, но власть всегда была для современников устрашающей, всегда была злоупотреблением, она была насилием, угнетением, войной, поджогами и убийствами из-за угла. Рим построен на крови, даже церкви стоят на осквернённой кровью земле, ни один храм, ни одна базилика, ни один собор нельзя себе представить без пролитой крови. И все же Рим великолепен, его храмы великолепны — мы восхищаемся наследием, оставленным властью, мы любим его, когда властителей уже нет на свете.

Разве так делают? Взял да и смылся. Даже не попрощался с ними. Исчез, не сказав ни слова, а ведь они все-таки пришли на его концерт и хлопали ему, хотя его музыка свидетельствовала о порочном образе мыслей и показалась им отталкивающей, но они все-таки аплодировали, аплодировали тому, что он нашел себе в Риме публику,— правда, это

несерьезная публика, это труха, развеянная ветрами по всему свету, это снобы без роду и племени, не связанные корнями ни с одной культурой, и все-таки семья хлопала ему и готова была простить, да, простить, что после своего плена в Англии он уклонился от встречи с ними, что бежал из семейного клана и, видимо, живет в единении с врагами. Нехорошо он сделал, что ушел, и Адольф ушел вместе с ним, блудные сыновья опять удрали, а Кюренберг сдержанно поклонился и тоже ушел с этой своей еврейкой, дочерью Ауфхойзера, а затем удалились и журналисты, фотографы со своими магниевыми молниями, все эти кишевшие вокруг них люди, странно одетые и с сомнительными, чудаковатыми манерами, весь этот кагал — Фридрих-Вильгельм Пфафрат употребил выражение из антисемитского жаргона; и вдруг оказалось, что они остались одни в артистической комнате римской филармонии — Пфафрат со своей супругой, многообещающим сыном Дитрихом и свояком Юдеяном; они стоят среди красных плюшевых кресел, стены увешаны золотыми венками с выцветшими бантами — реликвиями поблекшей итальянской славы и портретами умерших композиторов с задорно вьющимися бородками, а на одной стене белесыми красками — фреска пышнотелой особы, изображающей Гармонию, которая укрощает вихри ветров. И вот Пфафраты стоят теперь, точно неприкаянные, в этой комнате, комната кажется почему-то призрачной, или они кажутся в ней призраками. Неужели жизнь отвернулась от них потому, что молодежь их покинула и с ними остался только насмешливый и высокомерный Дитрих? Дитрих еще только студент-корпорант, но уже решивший стать видным государственным чиновником и не служить государству, а властвовать над ним.

Юдеян упорно и бесстыдно разглядывал Ильзу Кюренберг, женщину в ложе, женщину, сидевшую рядом с Адольфом и возбудившую любопытство его отца. При этом он рисовал себе картины ее любовной близости с его сыном, который, как видно, вел развратную жизнь, несмотря на поповское одеяние. Когда она ушла, он спросил Пфафрата, знает ли тот, кто эта женщина, а услышав, что она дочь старика Ауфхойзера, еврея-коммерсанта, которого в свое время ликвидировали, Юдеян пожалел, что она от него ушла; она еще тогда ускользнула от его рук, от его сапог, от его пистолета, ибо границу закрыли слишком поздно, выказали, как всегда, слишком большое прекраснодушие, дали бациллам распространиться по Европе, германская Европа от них погибла, и вот рядом с Адольфом оказалась еврейка, немецкая еврейка спала с его сыном, который был священнослужителем римско-католической церкви, и это взволновало Юдеяна, как волнует и возмущает читателя описанный в судебной газете процесс по делу о кровосмешении; Юдеян жалел не о том, что он убивал,— он убивал слишком мало, вот в чем его вина; все же шум, поднятый затем вокруг каких-то там его пустяковых убийств, льстил ему, занимал его и сердил, как сердит и льстит постыдная слава, и настолько связал Юдеяна с его жертвами, что воспоминания о нерешенном до конца еврейском вопросе, о совершавшихся по его приказу массовых расстрелах, о снимках голых женщин, стоявших на краю могильного рва, вызывали в нем только извращенные помыслы: грех допустить соитие с еврейками — о грехе Артура Динтера против крови читал когда-то маленький Готлиб. Но размышления о грехе вызывали в нем желания, будили его мужскую силу; однако соитие с его жертвами осталось запретным, все это представало перед ним не как цепь рассуждений, а как смутная греза, как сон наяву, который привиделся ему сквозь внезапный багровый туман: после принесения в жертву своего семени, после освобождающих судорог страсти-ненависти следовало разбить раковину, созданную обрезанным, нечистый сосуд, полный непостижимого соблазна и кабалистической магии, хитростью выманивший у арийца его драгоценные гены.

Тут мысли Юдеяна перешли на Лауру. Возможно, что и она еврейка, точно он этого не знает, он условился с ней сегодня о ночном свидании, но он предпочел бы встретиться ночью с Ильзой Кюренберг-Ауфхойзер, он рисовал себе это свидание посреди безлюдной улицы, среди развалин, на краю темной могилы, при полной луне, и лоб его покрывала испарина. Пфафраты опустились в плюшевые красные кресла. Поездка на поле битвы под Кассино — возвышенное переживание и концерт Зигфрида — событие унизительное и сбивающее с толку — все вместе утомило их. В этих старомодных креслах сиделось так уютно, развалился в одном из них и Юдеян; и вот все они восседали перед Гармонией с ее ветрами, перед умершими итальянскими музыкантами, перед выцветшими лентами—реликвиями славы, перед золотыми венками, как будто сидели в гостиной родителей, или на рождестве в комнате пасторского дома, или в своей уютной квартире, которую они оставили, чтобы в окопах, в полевых и лесных лагерях, в штабах и волчьих ямах, за гигантскими письменными столами и на пышных банкетах добиваться власти, осуществлять власть и представлять власть. И тогда Юдеян заговорил о том, каким он рисует себе возвращение домой, возвращение в Германию, они слушали его внимательно, хотя не без труда, ибо им хотелось спать. Юдеян сказал, что он намерен появиться в Германии после признания ее суверенитета, и Пфафрат кивнул — тогда действительно будет уже не опасно, никаким чиновникам в голову не придет приводить в исполнение Нюрнбергский приговор, никакой немецкий суд не будет судить Юдеяна; и Юдеян заговорил о новой борьбе и новом движении, о необходимости собрать воедино стадо верных, и Пфафрат, это воплощение корректности, напомнил ему о том, что Юдеян за свои заслуги перед государством, за свой чин генерала армии может требовать себе пенсию, это право надо отстаивать, этот возможный процесс надо выиграть, ведь речь идет о верности и вере, о предъявлении отечеству особого счета, о борьбе с известными государственными формами, и тут уж ничего дарить не следует.

Под впечатлением столь приятных перспектив Юдеян пригласил своих родственников пойти куда-нибудь выпить. Пфафраты устали. Охотнее всего они подремали бы тут же в старомодных креслах, эта мебель словно была перенесена сюда из уютной гостиной родного дома, и Фридриху-Вильгельму Пфафрату чудилось, будто среди них сидит его отец, пастор, и рассказывает, как бывало, о Гравелотте, о Бисмарке, о старом кайзере и об основании рейха в Версале, в этом столь памятном и коварном месте. Но можно ли не подчиниться Юдеяну, который опять разыгрывает власть имущего? Они покорно последовали за ним, а он, выйдя из филармонии, решительно остановился и пронзительно засвистел. Он послал в ночь сигнал: то был такт из гимна пустыни; бесшумно скользя, к тротуару подкатил его черный автомобиль. Шофер с солдатской выправкой, неутомимый, словно он глотнул дьявольского зелья, выскочил из кабины и распахнул дверцу. Но ведь у Пфафратов есть своя машина, машина обер-бургомистра, она стоит тут же; поэтому решили, что они поедут следом за Юдеяном. И Юдеян покатил через Рим, как в дни былой славы, правда, не выли сирены и впереди не пыхтел автомобиль с охраной, но его снова сопровождала свита. Он оживил призрак, призрак национального величия, призрак расового возвышения, призрак реваншизма, и всем этим снова точно околдовал их. В какую сторону они едут? Куда? В ночь. Навстречу искушению. И как всегда, когда едешь навстречу какому-то концу, Юдеян решился — пусть шофер везет его на виа Венето. Почему бы не угостить родственников в этом баре с официантами в лиловых фраках? Блеск огней и блеск множества зеркал произведет на них впечатление, маленький Готлиб предчувствовал это, а Юдеян незаметно для них сможет

тем временем полюбоваться красавицей кассиршей, ее тоненькой талией, которую легко обхватить ладонями, и изящной шейкой, которую ему вскоре предстоит обнять.

После того как Зигфрид и Адольф долго бродили по городу мимо ночных садов и каменных стен, после бесцельных разговоров о разных целях, после звездной меланхолии и тщетных попыток приблизиться к незримому, Зигфрид пригласил двоюродного брата зайти в бар. Он не любил этого ресторана, но его забавляли посетители-гомосексуалисты, сидевшие перед стойкой на высоких табуретах, забавляли их бабьи повадки, их фальшивое птичье щебетание, их женоподобное тщеславие, их ложь и игра в ревность, их бесконечные, запутаннейшие романы: взрослые мужчины были Зигфриду неприятны, ему нравилась горькая и терпкая красота подростков, и он восхищался чумазыми уличными мальчишками, с их дикими забавами и лицами в шрамах, оставшихся после драк. Они были недоступны и неуязвимы и поэтому не вызывали в нем разочарования. Он жалел их только взглядом, он любил их только в своем воображении, он как бы духовно, эстетически отдавался красоте, они вызывали в нем волнующее чувство радости и печали. Порой Зигфрид сближался и с женщинами, напоминавшими ему этих мальчишек, и тут современные вкусы шли ему навстречу, существовало множество прелестных безгрудых девушек, которые бродили по жизни в длинных, шелковых или полотняных брюках, с растрепанными мальчишескими вихрами, но в них был скрыт источник материнства. И упорно действовала биологическая алхимия, а Зигфрид не хотел продолжать свой род. Мысль о том, чтобы дать жизнь новому существу, которое ждут непредвиденные встречи, случайности, действия и противодействия и которое, в свою очередь, через поступки, мысли или дальнейшее размышление будет влиять на далекое будущее, мысль о том, что он может стать отцом ребенка, казалась ему вызовом, который он бросает миру, приводила просто в ужас и омрачала отношения с женщинами, даже когда принимались соответствующие меры. В глазах Зигфрида физическое рождение было преступлением, но, конечно, не для всех. Других можно оправдать легкомыслием и неразумием, но он считал, что совершил бы преступление. Семя оскверняет красоту, рождение слишком похоже на смерть.

Адольф был несколько ошарашен элегантностью этого ресторана, истинное лицо которого, однако, осталось для него скрытым: его стесняли эти канделябры, сияющие зеркала, лиловые фраки красавцев официантов. Конечно, он в своем облачении духовного лица не мог взгромоздиться на высокий табурет перед стойкой, он решил, что даже сидеть на улице перед баром едва ли будет для него прилично. Поэтому они заняли столик в глубине ресторана, неподалеку от кассы, и Адольф Юдеян увидел улыбку Лауры.

Я не люблю их, но меня забавляет наблюдать за ними, за этими попугаями на жердочке, за моими мнимыми собратьями, я вижу их истерическую веселость, их врожденную наглость, их тайную печаль, я вижу их спаленные волосы, их кокоточные костюмы, их звенящие браслеты; тут ко мне подошел американский поэт, он был в остроносых ботинках и брюках дудкой, на лоб падали кудельки — это была прическа времен Директории, поэт получал римскую стипендию и тужился целый год над одним стихотворением, которое потом публиковал в журнале, выходящем где-нибудь в небольшом университетском городе. Поэт подошел и заговорил о концерте, на котором присутствовал, высказал несколько разумных и вовсе не банальных мыслей, добавил, что его искренне взволновала моя музыка, причем я заметил, он покосился на

Адольфа, ему, видно, было любопытно узнать, почему я появился здесь с духовным лицом. Все же я не пригласил поэта к нашему столу, я беседовал с ним не садясь, и, в конце концов, мы уговорились встретиться у стойки и вместе выпить. Я увидел, как удивительная красавица за кассой улыбается Адольфу, а он смотрит на нее и на ее улыбку, не сводя глаз, словно на видение. И мне она понравилась, ее улыбка казалась бестелесной, эти сияющие лучи точно исходили из таинственного источника, девушка была пленительна, ее звали Лаурой. Наше беглое знакомство состоялось, я как-то с ней беседовал, но я не подходил ей, она считала, что я мало чем отличаюсь от постоянных посетителей этого бара, а она проводила в их обществе каждый вечер, привыкла к ним, как к братьям, и они уже не волновали ее. Я не хотел подвергать Адольфа соблазну, я привел его в мужской бар, о Лауре я забыл, а теперь ломал голову над вопросом, стоит ли знакомить его с кассиршей; он молод, я не подумал о том, что он дал обет безбрачия, да он, вероятно, особенно и не страдает от него, а если хранит верность своему обету и соблюдает целомудрие, то это лучше, чем не соблюдать, и я предпочитаю верить, что он его соблюдает; но не беда, если он и нарушит его и сойдется с женщиной, ведь Лаура удивительно красива, и спать с Лаурой, наверно, очень приятно; что ж, пусть Адольф вкусит этой радости, господь бог ничего не будет иметь против, церкви это знать незачем, а если она и узнает, так простит; но, может быть, Адольфа одолевают укоры совести, тогда лучше не надо, тем более что еще неизвестно, согласится ли Лаура пойти с ним и есть ли у нее время на это; но он смотрел на нее так неотступно, что, пожалуй, следовало ему помочь; я еще не отпраздновал первое исполнение моей симфонии, и мне хотелось сделать кому-нибудь приятное.

Лаура видела, что в ресторан вошел священник, и так как она была благочестивой католичкой, ее оскорбило, что даже священники стали гомосексуалистами; конечно, такие люди встречаются и среди духовенства, но ее возмущало, что этот явился именно в ее бар, он же выдал себя и поступил дурно, хотя в ресторане ничего непристойного и не происходило; но потом, наблюдая за усевшимся Адольфом, она заметила, как он пожирает ее глазами, поняла, что никакой он не гомосексуалист — у нее был наметанный глаз,— поняла также, что он невинен, и не за тем пришел в бар, и теперь сидит перед ней, невинно уставившись на нее, не помышляя о мужчинах, и было что-то в его лице, напоминавшее ей другое лицо, лицо человека, также не интересовавшегося мужчинами, но она не могла вспомнить, чье именно, и лицо того человека не было невинным; тогда она стала улыбаться, улыбаться своей прелестнейшей улыбкой и думала при этом: да-да, я пошла бы на это, правда, это грех, но не такой уж большой грех, я пошла бы на это, а в грехе своем покаялась бы. И Лаура почувствовала, что она — подарок, у нее есть, что дарить, и обрадовалась, что и священнику можно сделать подарок, очень хороший подарок; Лаура знала — такой подарок будет большой радостью.

Адольф рассказал мне о деньгах, данных ему отцом. Он рассказал мне об этом в парке и хотел бросить деньги на дорожку в надежде, что их найдет бедняк, но я отговорил его, ведь банкноты скорей всего поднимет какой-нибудь богач, скупердяй или ростовщик. И тогда Адольф добавил, что отец, дав деньги, посоветовал на них купить женщину. Я же сказал ему:

— Ту девушку за кассой ты за эти деньги не купишь. Ты сможешь купить себе только очень дешевую девчонку, и не на виа Венето.

Он ответил, что это пошлость, а я возразил, что нет, не пошлость, он покраснел, а потом спросил, неужели я знаю любовь только как разврат.

— Нет,— ответил я.— Я не знаю, что назвать развратом.

Но он меня не понял: он выучил в семинарии и назвал мне всякие греческие термины для различных обозначений любви; я тоже знал эти греческие слова и тоже воображал, что ищу Федра. Пусть он попробует, пусть отведает горько-сладкого напитка. Я подошел к Лауре, разменял деньги для бара и спросил, сможем ли мы проводить ее, а она заулыбалась так, словно перед нею предстал ангел.

Она не умела считать, она путалась в цифрах, временах и обязательствах, не могла разобраться в суровых, скаредных и подчас жестоких требованиях жизни. Юдеян усадил Пфафратов на стульях, стоявших на улице,— так он мог войти в ресторан и незаметно проверить, состоится ли сегодняшнее свидание. Лаура увидела его, увидела человека в синих очках, и опять ей померещилось что-то значительное, и знакомство с ним показалось многообещающим, но сегодня ей хотелось подарить себя молодому священнику, сегодня ночью ей хотелось сделать кому-то добро, она отдастся ему, ведь он такой невинный и грустный, а наутро она расскажет своему духовнику, что подарила себя молодому священнику-иностранцу; и когда Юдеян вопросительно посмотрел на нее, она помотала головой в знак отрицания. Он подошел к кассе и по-бычьи уставился на девушку. Что случилось? Как смеет эта шлюха водить его за нос? К сожалению, ему не хватало слов ни на одном языке, а Лаура улыбалась, ей, видно, льстило, что очкастый взбешен, и потом она вообще предпочитала спать с мужчинами днем, а не ночью, она ведь устает от этих цифр, по ночам ей действительно хочется спать; поэтому она сказала ему, что если он желает, они могут встретиться утром, и написала на кассовом счете где и когда: в десять часов на вокзале около бюро — она будет ждать его там, а он не мог понять, что означает этот каприз, может быть, ей предложил больше какой-нибудь грязный богач еврей? Юдеян охотно бы нарычал на нее, но маленький Готлиб боялся рычать в ресторане, поэтому он сунул записку Лауры в карман и потребовал чек для бара на один коньяк «Наполеон», родственники пили за столиком вино, а он решил быстро опрокинуть у стойки большую рюмку коньяку.

Он протиснулся между сидевшими и толкнул меня, а я беседовал в это время у стойки с американским поэтом, мы опять заговорили о концерте — поэт все еще находился под впечатлением моей музыки, она продолжала волновать его, и он стал рассказывать мне о Гомере и Вергилии и о том, что в сонете, над которым он сейчас работает, будут цитаты из Гомера и Вергилия, и что после моей симфонии Гомер и Вергилий предстали ему, как образы его собственного одиночества, от которого он все время бежит и, спасаясь, взбирается на высокие табуреты бара и заводит с людьми на табуретах пустую болтовню; тут я обернулся и увидел Юдеяна, который проталкивался к стойке. Я был поражен, он, казалось, тоже, мы уставились друг на друга, и я должен был бы тут же отвернуться, но мне показалось уж очень смешным, что Юдеян здесь, в баре гомосексуалистов, в адском круге, где находимся мы, грешники, меня так и подмывало его подразнить, и я сказал:

— Разве ты тоже стал увлекаться мужчинами, дядя Юдеян?

Лицо его исказилось, он посмотрел вокруг и, кажется, только сейчас поняв, где находится, яростно прошипел:

— Я всегда подозревал, что ты такая же скотина, как и эти!

Подозревал? А подозревал он, почему я стал таким? Подумал он о нацистской школе и мальчиках, насильно одетых в солдатские куртки,— они были красивы, когда снимали форму, и, сбросив одежду, из маленьких чиновников превращались опять в мальчуганов, которые жаждут любви и нежности и чьи молодые тела полны желаний. Юдеян не оскорбил меня. Зачем я сказал это? Зачем? Из ненависти? Нет, даже ненави-

сти к нему я не испытывал. Все прошло, и я не хотел, чтобы мне об этом напоминали. В дни моей юности Юдеян был до ужаса страшен. Как член нацистской партии, он внушал страх. Теперь я считал его просто огородным пугалом. Почему же я не оставил его в покое? Теперь я был свободен! Но ведь это он сделал из меня «солдата», и я усвоил солдатский жаргон, меня тянуло сказать ему, что он — заросшая жиром свинья, но сейчас я был зол, моя семья разозлила меня. Я злился, как умели злиться Пфафраты, ненавидел себя и все-таки поступил самым недостойным образом, я сказал ему:

— Адольф тоже тут!

Юдеян проследил глазами за моим взглядом, и мы увидели Адольфа, одиноко сидевшего за столиком, он бросался в глаза своей сутаной, своим одиночеством среди щебечущих и кудахтающих гомосексуалистов, мы увидели, как он смотрит на Лауру, и я опять обратился к Юдеяну:

— Он тратит те деньги, которые ты ему дал, на девушку.

И тут я увидел, что у Юдеяна лицо сделалось багрово-синим, как перед апоплексическим ударом, и подумал: тебя, кажется, сейчас хватит удар. И подумал: только, пожалуйста, не здесь. И подумал: вот было бы чудно́, если бы Юдеяна хватил удар в этом лиловом баре. Я торжествовал? Нет, я не торжествовал. Я чувствовал себя опустошенным. Мне стало все равно, хватит Юдеяна удар или не хватит. Он протянул бармену чек, и его рука задрожала. Я подумал: он старый дурак. И я почувствовал: он же призрак. Я испытывал к нему почти жалость. Странно. Может быть, это просто сентиментальность?

Он проглотил коньяк и ощутил, как в желудке у него разлился поток огня, потом растекся маленькими ручейками по всему телу — ярость, ярость, ярость и боль, и только маленький Готлиб с его почтением ко всякому шику, даже если это были шикарные, но загаженные притоны гнилого разврата, мешал его ярости прорваться наружу. Достаточно было бы и того, что Зигфрид так дерзко заговорил с ним. У Юдеяна еще нашлись бы силы дать этой грязной тряпке по его интеллигентской роже, утратившей все черты национальности. Но против него восстал новый враг, незаметно подкравшийся к нему враг, чьего приближения Юдеян, когда у него была полнота власти, не слышал, да и находясь в казармах на краю пустыни, не замечал, ибо и тогда он обладал всей полнотой власти, хотя ее размах стал значительно меньше, но всегда Юдеян приказывал, он командовал, он не конкурировал; и вот теперь враг вдруг очутился здесь, открыл свое лицо, он настигал — это был возраст! Юдеяна не возмутил тот факт, что его сын сидит среди гомосексуалистов. Не показалось забавным, что его сын, диакон, окружен ими. Он видел только одно — его сын, этот лицемер, выхватил у него шлюху из-под носа, и Юдеяна бесило не только то, что у него отняты постельные радости, он был изумлен, он просто опешил, оттого что ему дали отставку и предпочли этого мальчишку, этого похожего на бабу хилого сопляка в поповском балахоне, которого Юдеян так презирал, что даже не удосужился его возненавидеть, а лишь стыдился, словно это было уродство, горб, делающий человека смешным. И Юдеян то и дело по-бычьи вперял свой взгляд в тот странно одинокий столик, за которым Адольф сидел один, весь отдавшись прекрасной улыбке Лауры. Юдеяну чудилось, будто перед ним какая-то злая и опасная фата-моргана, наваждение в пустыне, неуловимое, неуязвимое, какой-то зловещий и убийственный гротеск. Но там действительно сидел архивраг, наваждение, и все же не наваждение, архиобманщик, вырядившийся попом, чтобы надуть отца. Молодежь взбунтовалась против Юдеяна, дурацкая молодежь предала его. Молодежь военных лет пала на поле брани. Юдеян поглотил ее в годы войны, с той все в порядке, он не разочаровался в ней, она уже не может обмануть его и предать, она

лежит в земле. А вот новая молодежь предала его и продолжает предавать, да теперь еще обкрадывает, отнимает шансы на победу, похитила у него женщину, которая во все времена доставалась завоевателю, победителю, обладание ею было сладострастным символом победы, теплым осязанием власти и порабощения. Неужели Юдеян — старый олень, у которого молодой в бою отнимает самку, и старику остается только уползти в кусты и покончить счеты с жизнью? Нет, до этого дело еще не дошло. Это ложь, поповская хитрость. Нет, Юдеян еще далеко не тот старый самец, у которого отваливаются рога и он уползает в кусты. Он еще полон сил. Его дела говорят за него; но как он может рассказать Лауре о своих деяниях, своих победах, своих кампаниях по уничтожению людей? Весь мир знал о деяниях Юдеяна, и никто, казалось, не хотел о них вспоминать. Неужели верх взяли краснобаи, растленные трусы с их продажной болтовней, а деяния храбреца уже стерлись из памяти, они уже канули в небытие, в яму прошлого, где даже потоки крови растеклись мелкими ручейками и даже ужас покрылся плесенью и разложился? Что может сделать Юдеян? Он может отдать приказ очистить ресторан. Вздор, он не может отдать приказ очистить ресторан. Он даже не может подойти к кассе и выбить чек еще на одну рюмку коньяку. У него закружилась голова, и он боялся показаться смешным, боялся, что сцена его встречи с сыном-попом будет смешна. Юдеян крепко сжал латунные поручни стойки, словно необходимо было вцепиться в них, чтобы не упасть, чтобы тут же не умереть или не начать вслепую наносить удары, попав в такое безнадежное положение — ибо он был окружен врагами!

Я видел, что рука его судорожно стиснула латунные поручни, видел, что ему мучительно хочется выпить вторую рюмку коньяку, но он не решается выпустить поручни, и я сказал бармену, чтобы он дал Юдеяну еще рюмку коньяку, и бармен налил коньяк, ибо считал меня гомосексуалистом и решил, что я потом оплачу чек. Юдеян взял рюмку. Знает ли он, что это от меня? Он тут же опрокинул ее в рот и при этом так вильнул задом, словно хотел, держась за поручни, сделать приседание. Его глаза на миг остекленели. Но тут же сузились и стали опять его обычными коварными свиными глазками. И коварные свиные глазки уставились на меня. Потом скользнули по залу, посмотрели на Адольфа, остановились на Лауре, а я удивился, почему, собственно говоря, он так взволнован? Почему ему кажется таким ужасным, что здесь Адольф? Разве он из тех отцов, которые охраняют своих сыновей? Трудно поверить. Юдеян никого не намерен был охранять. И так как он ненавидел поповское одеяние сына, ему наоборот должно было бы показаться забавным, что это ненавистное одеяние очутилось в столь сомнительном месте. Вот он отошел от стойки и направился куда-то через весь ресторан. Он бочком пробрался мимо Адольфа, мимо кассы, а я не спускал с него глаз, чтобы вмешаться, если он вздумает заорать на сына. Но Юдеян прошел мимо Адольфа, не взглянув на него, казалось, и Адольф не видел его, как не заметил и моего ухода, ибо сидел в сиянии улыбки, которую излучала Лаура, словно это был блеск яркого солнца в безгрешном раю.

Пфафраты сидели на улице перед баром, ночь текла мимо них, элегантный Рим, богатый Рим, Рим крупных собственников и Рим хвастливых иностранцев, вся виа Венето выставляла себя напоказ перед стульями кафе, баров, отелей и дорогих дансингов, повсюду сверкали огни, каштаны цвели и шумели, звезды поблескивали над огромным мировым городом. Сначала Пфафраты всем восторгались, в том числе и официантами в лиловых фраках, но затем сквозь скопления стульев к ним на-

чали просачиваться признаки чего-то подозрительного, щебетание, звон браслетов, аромат завитых волос и по-женски выхоленных рук, которые обвивались вокруг чужих покорных станов. Фридрих-Вильгельм Пфафрат был возмущен. Он не решался высказать вслух свои предположения, но Юдеяну ни в коем случае не следовало приводить сюда фрау Анну. Негодовал и Дитрих, однако негодование и возмущение по поводу разврата и безнравственности также доставляли приятное чувство, он энергично выпрямлял спину, гордо закидывал голову, казалось, сама благопристойность сидит здесь среди чужеземного сибаритства и готы несомненно победят. Дитриха мучили любопытство и вожделение. Любопытство домогалось узнать, что побудило Юдеяна выбрать именно этот ресторан. Он же не гомосексуалист. Впрочем, может быть, он тут встречается с засекреченными связными, с подпольными осведомителями, ибо шпионы и торговцы сведениями очень часто вербуются из подонков общества; ими пользуются, а когда сами приходят к власти, то этих полезных, но презренных помощников переводят в другое место. Желание же влекло Дитриха к проходившим девушкам. Девушки были в туфлях на высоких каблуках, они семенили мимо в необычайно узких юбках, обтягивавших бедра,— холеные и вышколенные, как цирковые лошади, дорогостоящие верховые лошади, многообещающие мастерицы своего дела. Дитрих все это очень живо представлял себе, но он был расчетлив, и он высчитал, что цена на них очень высока, встреча обойдется ему дороже, чем он может себе позволить, и потому он возненавидел этих девушек, он решил, что они бесстыдно возбуждают мужчин, а их прогулки по ночной улице просто скандальны, и он со злостью и вожделением вспомнил об иллюстрированном журнале, лежавшем в его чемодане, о картинках с раздетыми девицами, даривших ему успокоение и сон. Наконец Юдеян вышел из закрытого помещения ресторана, из этой странной вольеры. Вероятно, его там чем-то рассердили, так как он тяжело дышал, жилы на лбу и на руке вздулись, и эта рука дрожала, когда он потянулся за остатком вина. А потом он начал оскорблять Пфафратов, поносить за то, что Германия еще не проснулась, что молодежь еще не марширует, что молодежь дерзка с людьми более высокого ранга и гибнет без дисциплины. Разве они могли защищаться? Они и раньше не умели защитить себя от Юдеяна. Фридрих-Вильгельм Пфафрат был постыдно беззащитен перед каждым крикуном, если тот произносил слово «национальный» с достаточным нажимом, ибо «национальное» — это был идол, Молох, которому приносились в жертву разум, жизнь и в конце концов даже собственность. Римские каштаны шелестели в теплом вечернем воздухе. Будут ли когда-нибудь опять шелестеть знамена? Фридрих-Вильгельм Пфафрат этого горячо желал: знамена — возвышенные символы, они зримые показатели выступления нации, но сейчас, когда Юдеян начал поносить его и нацию, Пфафратом — может быть, это старость — вдруг овладела непонятная тревога при мысли об этих юдеяновских знаменах, которые опять должны зашелестеть, и ему почудилось, будто кроткие римские каштаны хихикают, точно старые дамы. Он вспомнил свою мать, жену пастора, которая отнюдь не была в восторге от нацизма. Может быть, сейчас она глядит на него с усыпанного звездами неба? Она-то твердо верила в такое глядение с неба, Пфафрат же, как человек разумный, отклонял эту возможность. Но на всякий случай, если она все же отыскала его и смотрит вниз,— пожалеет ли она его? Юдеян обвинил Пфафрата в трусости и измене. И в эти колдовские ночные минуты Пфафрат, усталый, истомленный и полный возвышенных и необычных впечатлений, принял упреки. Да, он струсил, да, он изменил, но это была не та трусость и не та измена, о которых вопил свояк. Пфафрату теперь казалось, что он еще в молодые годы свернул с дороги, что и для него,

и для Германии существовал иной путь, чем путь войны, по которому пошел Пфафрат; и эта иная возможность, в которую он никогда не верил, теперь лежала перед ним, словно просветленный волшебством воспоминаний юношеский пейзаж, вот этому-то пейзажу он изменил, та, иная, Германия была навсегда утрачена. Каштаны рассказывали друг другу о его трусости, его измене, его отречении, а еще громче рассказывали об этом дома в Германии старые липы, но для человека обвиняющий голос ночи умолкает вместе с ночным трепетом деревьев, и после освежающего сна Пфафрат опять будет считать себя безупречным, честным немцем и обер-бургомистром, свободным от всякой вины, свободным от вины перед предками, от вины перед детьми, от вины перед собственной душой. Однако сейчас, в этот колдовской ночной час, ему представилось, что, быть может, Зигфрид своей симфонией искал какой-то более счастливой отчизны и что звуки, казавшиеся столь дисгармоничными,— это, может быть, разговор с глазу на глаз между Зигфридом и его молодой душой.

Я нарушил его погруженность в себя, я нарушил его погруженность в улыбку Лауры.

Адольф меня чем-то снова растрогал. Я положил ему руку на плечо, положил руку на черный рукав, но он отстранился и сказал:

— Ты не понимаешь, что это такое...

Я ответил:

— Нет, понимаю, ты открыл для себя новое страдание.

Он спросил:

— Ты в самом деле это испытал?

Я ответил:

— Да.

Я заказал для него стакан вермута, но он к вермуту не прикоснулся. Я заплатил за вино, а он спросил:

— Нам пора уходить?

Я сказал:

— Ее зовут Лаура. Мы уйдем вместе с нею.

Он взглянул на меня, губы его странно дрогнули, и он проговорил:

— Ты не понимаешь меня.

— Нет, понимаю,— отозвался я. А сам подумал: он воображает, что с него довольно смотреть на нее, и он прав: смотреть — это счастье, и если он устоит и не ляжет с нею в постель, это будет выигранное сражение. Я подумал: да, выигранное сражение, но сам он будет считать, что все проиграно. Я подумал: чем стал бы он, если бы вместе с нацистами не рухнули и их школы? Я подумал: может быть, тогда он и не увидел бы Лауры. Он избрал трудный путь. Не знаю, пойдет ли он по нему дальше. Дальше? Но куда? У страсти есть много троп, это запутанная сеть переулков.

Юдеян наблюдал за ними из глубины машины. Вот они показались в дверях бара. Вот они идут по виа Венето, они идут мимо ее медленно угасающих огней, под ее шумящими каштанами. Девушка идет посредине. Машина Юдеяна следует за ними — черная тень медленно скользит и подползает к ним, обгонит и снова отстанет. Вот они прошли мимо огромного отеля, где жил Юдеян, и за американским посольством свернули влево, в сторону виа Венти Сеттембре. Юдеян прекратил преследование. Он хотел знать наверняка и теперь знал наверняка: сын перехватил у него под носом шлюху. Его сын спит со шлюхой, с римской

еврейкой. Но его негодование смешно. Он это почувствовал. Он решил: ну и пусть. Очень хорошо, если Адольф поспит с женщиной, может быть, наконец станет мужчиной. И все-таки он потерпел поражение, великий Юдеян потерпел поражение, его приказ ни черта не стоит, мир взбунтовался против него. Вот что вывело его из себя, поэтому он и разразился потоком бессмысленной брани. То, что его сын, будучи священнослужителем, спит с женщиной, нисколько его не трогало. Он считал, что все попы — лицемеры и похотливые козлы. И он им отомстит. Он отомстит всем попам и всем шлюхам. Он приказал ехать в гостиницу. Поднялся в свой роскошный номер. Этим номером маленький Готлиб мог быть доволен. Кот Бенито, увидев Юдеяна, заорал. Он был голоден. Юдеян пришел в бешенство, оттого что животное не накормили. Он стал гладить кота, почесал ему шелудивую спину, сказал:

— Бедный Бенито!

Он позвонил, вызвал официанта, отругал его, потребовал рубленого сырого мяса для кота, а себе шампанского, ничего, кроме шампанского. Маленький Готлиб всегда пил в казарме шампанское. Маленький Готлиб пил шампанское, как победитель. Он пил шампанское в Париже, Риме, Варшаве. В Москве он не пил шампанского.

Они молча шли среди ночного сумрака. Они не прикасались друг к другу. Высокие дома молчали, они приветливо смотрели вниз. Мостовая доброжелательно ложилась им под ноги. Прозвонили колокола Сан-Бернардо; Санта Мария делла Виттория и Санта Сусанна тоже возвестили время звонкими ударами. Однако идущие не считали ударов. На площади Эседра они прошли под аркадами, образовавшими полукруг. Витрины были защищены решетками. Недоверчивые коммерсанты боялись грабителей и темноты. Однако выставленные товары были освещены. Там лежало множество сокровищ. Но Лаура не желала их; она не желала этих сокровищ с обозначенными на них высокими ценами, сокровищ, лежащих за решетками, запертыми на замок. Ее улыбка была точно благостное сияние в ночи, им была полна эта ночь, им был полон Рим. Лаура улыбалась всему городу, всему миру, urbi et orbi, и Рим, и ночь, и земля были преображены этой улыбкой. Когда они переходили площадь, Лаура омочила пальцы в маленьком фонтане Наяд и, будучи верной католичкой, окропила чело своего молчаливого диакона водой наяд, словно это была святая вода. Затем они укрылись в тени древней стены, где, быть может, жили ночные птицы. Молодые люди стояли перед церковью Санта Мария дельи Ангели, возле терм Диоклетиана. Зигфрид ждал, не подаст ли свой голос сова. Ему чудилось, что сейчас непременно должен заплакать сыч. Как композитор, он решил, что «кивит-кивит» зловещей птицы будет здесь очень у места. Но перекликались только паровозы на ближайшем вокзале, полные тоски и страха перед ожидавшими их далями. А как далеки друг от друга были эти трое... коротавшие вместе ночные часы! Зигфрид взглянул на Адольфа и Лауру. Но видел ли он их? Не переносил ли он собственные чувства на своих спутников? Быть может, это лишь его мысли о них, и он рад, что его мысли именно таковы, это добрые мысли. А они, видят ли они себя? В углу под стенами древних терм было темно, но перед церковью Санта Мария дельи Ангели мерцала неугасимая лампада, и они попытались в этом свете рассмотреть свои души.

Я покинул их, зачем мне было оставаться? Зачем? И я покинул их. Медленно направился я к вокзалу, вошел в неоновый свет. Пусть Адольф молится перед Санта Мария дельи Ангели: «Ut mentes nostras ad coelestia desideria erigas» — «вознеси наши сердца до небесных желаний». Разве я ввел Адольфа во искушение? Нет, я не ввел Адольфа во искушение. Никакого искушения не существует.

В гермах в Национальном музее хранятся изображения древних богов. Их зорко охраняют. Подарил ли я ему радость? Я не мог дарить радость. Существуют только иллюзии, блуждающие огни мгновений. Я вышел на перрон. У перрона стоял поезд, готовый к отправке. Вагоны третьего класса были переполнены. В первом классе сидел худой человек. Или это я сам сижу в первом классе? Может быть, он плохой человек. Или это я плохой человек? У меня не было желания ехать в переполненном третьем классе. Флоренция — Бреннер — Мюнхен. Привлекал ли меня этот маршрут? Он не привлекал меня. Я отправился в Альберго ди Жиорно, парикмахерская находится под вокзалом и напоминает освещенную неоновыми лампами пещеру. Нимфы этого грота делали мужчинам маникюр. Я люблю римские парикмахерские. Я люблю римлян. Ежечасно заботятся они о своей красоте. Здесь мужчин завивают, бреют, укладывают им волосы, делают маникюр, массируют, мажут помадой, поливают туалетной водой,— они сидят торжественно-серьезные в сетках для завивки, под блестящими колпаками для сушки головы, электрические токи пронизывают их волосы. Мне ничего не было нужно, и я от скуки попросил сделать мне компресс. Мое лицо накрыли горячим полотенцем, от которого шел пар, и грезы мои стали горячими. Я был Петронием, поэтом, и беседовал в общественных банях с мудрецами и мальчиками, мы лежали на мраморных ступенях паровой бани и говорили о бессмертии души, пол был искусно выложен мозаикой, всюду изображения Зевса, Зевс — орел, Зевс — лебедь, Зевс — бык, Зевс — золотой дождь, но мозаика была сделана рабом. К моему лицу приложили полотенце, намоченное в ледяной воде, я был Петронием, поэтом, я наслаждался речами мудрецов и красотою мальчиков, и я знал, что бессмертия не существует, а красота — тление, и знал, что Нерон был склонен к размышлению, и знал, в каком месте нужно вскрыть вену,— последняя мраморная ступенька была холодной. Я ушел из парикмахерской, я не стал красивым, я отправился в зал ожидания и выпил граппы, оттого что ее рекомендовал Хемингуэй, и опять она напомнила мне по вкусу немецкую сивуху времен инфляции. В большом газетном киоске я купил газету. Крепость в джунглях пала. Участники Женевского совещания разъезжались. Моя девица с красным галстуком гордо шла через Рим. Она не уезжала. Зачем ей уезжать? Она же у себя дома. Заголовок в газете гласил: «Что же дальше?».

Кюренберг звонил многим, он говорил с критиками и чиновниками об искусстве, говорил с антрепренерами и с организаторами конкурса, с учредителями премий и с членами жюри, это была политика, искусная дипломатия, каждый деятель напускал на себя загадочность и важность. Все же Кюренберг своего добился, и Зигфриду присудили премию, не целиком, но половину: по причинам дипломатического характера премию следовало поделить. Кюренберг сказал жене, что Зигфриду присудили премию, но Ильзе, которая в ванной комнате пустила воду, было совершенно безразлично, получит он премию или не получит: она не возмутилась и не обрадовалась. И она спросила себя: «Неужели я тоже заразилась, заразилась пошлостью, заразилась упрощенным мышлением замкнутой группы, заразилась стандартной враждой, грубой нелепицей круговой поруки, как они это называют, и только потому против Зигфрида и его музыки, что он принадлежит к данной семье? Он несчастлив в своей среде. И я знаю, что он порвал с ней. Почему же, глядя на него, я вижу его семью?» И она сказала себе: «Я не хочу никакой мести, никогда не хотела, месть нечистоплотна, но я не хочу, чтобы мне напоминали о прошлом, я не могу выносить таких напоминаний, а Зигфрид, хоть он и не виноват, напоминает мне об этом прошлом; напоминает, и я вижу убийц». Ванна уже была полна до краев, но вода оказалась слишком горячей. Ильза Кюренберг погасила в ванной комнате свет. Она распах-

нула окно. Она была нагая. Она любила ходить по комнате нагой. И нагой стала она перед окном. Ветер коснулся ее. Ветер охватил, словно форма, ее крепкое, так хорошо сохранившееся тело. Это крепкое тело крепко стояло на крепком полу. Она выстояла. Она устояла перед бурей. Ветер не умчит ее. И все-таки что-то в ней жаждало быть унесенной.

Шампанское он допил, но хмель не пришел, победы кончились. В Юдеяне что-то глухо закипало, он почувствовал какой-то шум и свист в ушах, пронизавший все его тело, у него поднялось давление, он подошел к окну и окинул взглядом Рим. Было время, когда он чуть не захватил власть над Римом. Он даже захватил власть над тем человеком, который властвовал в Риме. Муссолини боялся Юдеяна. А теперь Рим поднес Юдеяну шелудивого кота. Какая-то шлюха удрала от Юдеяна, и он не мог отдать приказ расстрелять ее. Какая-то шлюха удрала от Юдеяна с его сыном — священнослужителем католической церкви. Но Юдеян уже не мог расстрелять священнослужителя, он был лишен власти. Начнет ли он борьбу за то, чтобы снова прийти к власти? Но второй раз путь будет слишком долгим. Теперь он себе в этом сознался. Юдеян уже не видел цели. Цель расплывалась. Цель заслонял багровый туман. Шлюха ускользнула от Юдеяна, но вместо нее перед ним стояла голая еврейка; еврейке место во рву для расстрелянных, но она еще торжествует и издевается над ним; голая, она вознеслась над Римом. Он увидел ее среди облаков.

Они долго стояли вдвоем в уголке под древними стенами, на Санта Мария дельи Ангели; не раз били часы, вопили паровозы, и, вероятно, кричала сова, но они ничего не слышали, в памяти Адольфа неожиданно опять прозвучала музыка Зигфрида, и тогда он коснулся лица Лауры, словно хотел поймать ее улыбку, ощутить ее возвышенность, человечность, сладостное блаженство, но потом испугался и поспешил прочь, в сумрак ночи, которая не улыбалась и должна была тянуться еще долго.

Ангелы не явились. Ангелы с моста Ангелов не отозвались на приглашение древних богов. Они не перемешались в пляске с древними богами на Капитолийском холме. Мне очень хотелось, чтобы здесь, между остатками треснувших колонн сидел Стравинский у черного рояля. Вот здесь, среди белых грязноватых крыльев мраморных ангелов, на чистом и горном ветру, поднятом крыльями богов, которые были воздухом и светом, хорошо бы здесь Стравинскому, сидя за роялем с черным поднятым крылом, сыграть свои «Пассакалии»; но ангелы не явились, боги попрятались, на небе собрались грозовые тучи, и Стравинский сказал только: «Je salue le monde cofraternee» *. Музыкальный конкурс происходил в Капитолии. И мне казалось, что мы выглядим очень комичными в наших пиджаках, и боги, спрятавшиеся в развалинах, и фавны в кустах, и нимфы в буйно разросшихся сорных травах, вероятно, очень смеялись. Не они, а мы были старомодны. Мы были глупы и стары, и даже молодые среди нас были глупы и стары. Кюренберг подмигнул мне. Вероятно, он хотел сказать: «Отнесись к этому не так уж серьезно, но все же достаточно серьезно». Он считал необходимым предоставить антрепренерам инициативу, тогда можно будет время от времени ходить с музой музыки в дорогой ресторан. Премии раздавал мэр города. Он был коллегой моего отца, и он вручил мне половину премии. Он вручил мне половину премии за мою симфонию, и я был изумлен,

* Приветствую братский мир *(франц.)*.

что получил хотя бы половину; конечно, этого добился Кюренберг, и мой отец будет теперь в течение целого дня гордиться мной, ведь мэр дал мне половину премии. Но моему отцу никогда не понять, почему мэр наградил именно меня. А денежная премия была мне очень кстати. Я решил поехать в Африку. В Африке я напишу новую симфонию. Может быть, на будущий год в Риме сыграю ее ангелам: черную симфонию черного материка сыграю белым римским ангелам на старом холме богов. Я знаю, Европа чернее. Но я хочу поехать в Африку, я хочу увидеть пустыню. Мой отец не поймет, что можно поехать в Африку ради того, чтобы увидеть пустыню и у пустыни взять музыку. Мой отец не подозревает, что я, как композитор, глубоко предан римским ангелам. Собор отцов церкви одобрил музыку Палестрины, на конкурсе признали мою музыку.

Его сон прервала не побудка, он испуганно вздрогнул, услышав мяукание кота; в голове гудело, форт в пустыне был далеко, Африка была далеко, Германия была еще дальше, он проснулся в Риме, затылок ломило, все тело расслабло, он был взбешен, оттого что проснулся; после выпитого шампанского и несостоявшихся побед он ощущал во рту вкус парфюмерии, и вкус этот смешивался с чем-то кислым и едким, с вкусом разрушающихся клеток, где-то в мозгу покачивался образ пространства, ступни и ляжки дрожали, вместе с тем он ощущал в теле напряженность и жгучее волнение от неутоленных желаний. Юдеян принял душ, растер тело и сказал себе на жаргоне казарм: хорошо бы сейчас промаршировать с полной выкладкой, потопать через поле; но под душем он начал потеть и никак не мог вытереть кожу досуха, все вновь и вновь пот стекал струйками, выступал бисеринками. Юдеян задыхался, римский воздух слишком расслаблял его. По всем обычаям пьянства, раз начав, следует пить дальше, и рекомендуется утром с похмелья прибегнуть к тому же напитку, который ты пил вчера вечером, которым отравлен твой организм. Юдеян заказал полбутылки шампанского, шампанское — вино победителей. Он приказал как можно сильнее заморозить его. Бросил кусочки льда в бокал. Лед звенел о стекло. Рука Юдеяна дрожала. Он разом выпил бокал. Ясность зрения вернулась. Туман рассеялся. Он условился с Лаурой о свидании. Вот что главное. Пусть даже она переспала с Адольфом. Она ему необходима, еврейка или не еврейка, необходима, чтобы освободиться от мучительных кошмаров. Он вызвал черную посольскую машину, но через несколько минут позвонил шофер с военной выправкой и четко, без всякого трепета в голосе отрапортовал, что машина нуждается в ремонте, будет готова только вечером. Это прозвучал голос смерти. Но Юдеян не узнал его. Он выругался.

В старинной церкви Санта Мария дельи Ангели, в божьем доме под сенами терм, можно было исповедаться на многих языках, и Адольф Юдеян опустился на колени в исповедальне священника, говорившего по-немецки, и рассказал этому священнику, понимавшему по-немецки, то, что произошло между ним и Лаурой нынче ночью возле врат этой самой церкви. Но так как не произошло ничего такого, что могло бы вызвать серьезный гнев церкви против ее диакона, Адольф выслушал просто наставление впредь не подвергать себя соблазну и получил отпущение грехов. Сквозь решетку исповедальни он видел лицо своего духовника. Лицо было усталое. Адольфу очень хотелось сказать: «Отец мой, я несчастен». Но лицо у священника было усталое и отстраняющее. Ведь он выслушал сегодня столько исповедей. Столько приезжало в этот

город путешественников, и они каялись в Риме в тех грехах, какие у себя на родине не решались доверить своему духовнику. Им было стыдно перед духовниками, которые знали их. В Риме их никто не знал, и они не стыдились, поэтому у священника лицо и было таким усталым. Адольф спросил себя: «Неужели и я буду когда-нибудь сидеть в исповедальне с таким же усталым видом и мое лицо будет таким же отстраняющим?» Он спросил себя: «И где будет моя исповедальня? В деревне? В старой деревенской церкви под деревьями? Или я не призван, я отвергнут, отвергнут с самого начала?» Адольф хотел было сунуть деньги, данные ему Юдеяном, в церковную кружку, но, протянув руки к щели, передумал. То, что он делает, не соответствует его духовному сану. Ведь он не доверяет церковному попечительству. В церковном попечении о бедных есть что-то кисловатое, как и во всяком попечении, и оно пахнет супом для нищих; деньги расходуются на суп для нищих. А ему хотелось доставить этими деньгами настоящую радость. И Адольф сунул грязные смятые банкноты в руку старухи, просившей милостыню у церковных дверей.

Юдеян ждал. Он ждал на вокзале возле справочного бюро, но Лаура все не шла. Неужели она отложила и утреннее свидание? Или она еще лежит в объятиях Адольфа? Ярость вредна. Юдеяну еще было трудно дышать. Временами перед ним опять все заволакивало туманом, багровым газом. Быть может, в следующую большую войну такой туман окутает всю землю. Юдеян подошел к буфету на колесах и спросил коньяку. Он стоял перед буфетом, словно перед продовольственной повозкой на поле боя. Он залпом выпил рюмку коньяку. Багровый туман рассеялся. Юдеян посмотрел в сторону бюро, но Лауры все еще не было. Юдеян прошел мимо газетного киоска. Он увидел иллюстрированную «Огги», висевшую на стенде киоска, на титульном листе был изображен Муссолини. Давний друг выглядел измученным, и Юдеян подумал: я тоже кажусь сегодня измученным. Позади Муссолини стоял какой-то мужчина в эсэсовской фуражке. Он стоял позади него как соглядатай, он стоял как палач. Череп на фуражке выделялся очень отчетливо. Кто это? Верно, кто-нибудь из моих офицеров, подумал Юдеян. На картинке эсэсовец стоял опустив глаза, и Юдеян не мог узнать его лица. Вероятно, этого человека уже нет на свете. Большинства его людей уже нет на свете. И Муссолини умер. Его смерть была гнусной. И Юдеяна некогда приговорили к гнусной смерти. Но Юдеян жив, он ускользнул от них. Он жив, и время работает на него, а вот и Лаура. Он снова увидел ее улыбку и на мгновение подумал: да пошли ее ко всем чертям; а потом опять: она — еврейка, и это его снова возбудило. Лаура же увидела многообещающего иностранца и подумала: интересно, что он мне подарит? Теперь она внимательно рассматривала товары на витринах. Девушке нужны побрякушки, девушке нужны наряды, и даже если девушка не умеет считать, ей все равно нужны тонкие чулки, и она привыкла при случае все это получать; при случае она допускала небольшие приключения, со всей невинностью, охотнее всего перед обедом, у нее не было постоянного друга, а после вечера, проведенного среди гомосексуалистов, хорошо было полежать в постели с настоящим мужчиной, это полезно для здоровья, а потом со всей невинностью покаешься духовнику; старики тоже ничего, правда, они некрасивы, но утром у них сил вполне достаточно, и потом они дарят больше, чем молодые, те сами хотят что-нибудь получить, а в Адольфе она ужасно разочаровалась, ужасно разочаровалась в этом иностранном молодом священнике, ей так хотелось провести с ним ночь, а священник удрал, побоялся греха; Лаура расплакалась и решила отныне держаться стариков — старики не боятся греха, и они не удирают. Объясняться с Юдеяном было трудно, все же он понял, что она предлагает ему пойти в гостиницу возле вокзала.

Кюренберг пригласил меня в первоклассный ресторан на площади Навона. Он решил отпраздновать мою премию. Он извинился за жену — она не будет завтракать с нами, а мне стало ясно, что Ильза Кюренберг не хочет участвовать в этом праздновании, и я понял ее. В утренние часы ресторан был пуст; Кюренберг заказал всяких морских животных, мы положили их на тарелки — они напоминали маленьких чудовищ,— мы запивали их сухим шабли. Это было нашим прощанием с Кюренбергом. Он улетал в Австралию. Он намеревался в предстоящем сезоне дирижировать «Кольцом» *. Вот он сидит сейчас напротив меня, вскрывает чудовищных морских животных, высасывает их вкусное мясо, а завтра он будет сидеть с женой высоко в воздухе и есть воздушный обед, а послезавтра будет обедать в Австралии и пробовать странных обитателей Тихого океана. Мир мал. Кюренберг — мой друг, он мой единственный, истинный друг, но я слишком почитаю его, чтобы обходиться с ним просто по-дружески, и поэтому, когда мы бываем вместе, я молчу, и он, может быть, считает меня неблагодарным. Я рассказал ему, что мне хочется на свою премию поехать в Африку, и рассказал о своей черной симфонии. Кюренберг одобрил этот план. Он посоветовал мне отправиться в Могадор. Я нашел, что название Могадор звучит красиво. Оно звучит достаточно черно. Могадор — древняя мавританская крепость. Но так как мавры теперь уже утратили свою мощь, я отлично могу пожить в их древней крепости.

Не успела Лаура подумать: снимет он в постели синие очки или нет,— как он уже снял их, и это ей показалось забавным, но затем она испугалась его глаз, они были налиты кровью, и она отпрянула, увидев его коварный и жадный взгляд: опустив бычий лоб, Юдеян шел на нее. Он спросил: «Тебе страшно?» Но она не поняла его и улыбнулась, однако уже не прежней широкой улыбкой, и тогда он швырнул ее на кровать. Она не ждала от него такой прыти, обычно мужчины, спавшие с ней и дарившие ей подарки, которые девушке необходимы, так сильно не волновались, они проделывали все очень спокойно, а этот накинулся на нее точно зверь, стал щипать ее, потом грубо овладел ею, и вообще вел себя ужасно грубо, хотя она была тоненькая и хрупкая, а он такой тяжеленный, и чуть не раздавил ее, а ведь ее тело легко и удобно обнять, и она невольно вспоминала о гомосексуалистах, о гомосексуалистах из бара, об их мягких жестах, об их душистых кудрях, пестрых рубашках, позвякивающих браслетах и подумала, что, пожалуй, уж лучше быть таким, пожалуй, и ей уж лучше быть такой, а этот — он отвратителен, подумала она, от него воняет потом, воняет козлом, словно он поганый, грязный козел из конюшни; ребенком она однажды побывала в деревне, в Калабрии, и ей там стало страшно, она затосковала по Риму, по своему родному великолепному городу; в деревенском доме стояла нестерпимая вонь, и Лаура принуждена была смотреть, как коз ведут к козлу, на деревянной стремянке стоял какой-то мальчишка и вел себя непристойно, и ей подчас снился потом тот козел и мальчишка, но у мальчишки были рога, и он бодал ее, а рога вдруг отваливались, точно гнилые зубы, тут она вскрикнула: «Мне больно»,— но Юдеян не понял ее, так как она вскрикнула по-итальянски; а потом стало все равно, что ей больно,— зато приятно, она теперь сама отдавалась, многообещающий старик повел себя неожиданно, и она прижалась к нему, усиливая его волнение, а мужчина бесился: «Ты же еврейка, ты же еврейка»; она не поняла, но подсознательно догадалась: когда немецкие солдаты были в Риме, это слово имело определенное значение, и она спросила: «Ebreo?» И он прошептал: «Евреи»,— и обхватил руками ее горло, она же крик-

---

* Имеется в виду серия опер Вагнера «Кольцо Нибелунгов».

нула: «No e poi no, cottolico» *,— причем это слово как будто еще больше распалило его ярость и вожделение, и под конец было уже все равно — ярость или вожделение, все поплыло у нее перед глазами, а он, задыхаясь, обессилев, повалился на бок, точно сраженный насмерть. Она подумала: сам виноват, зачем так усердствовал, старики так не усердствуют. Но она уже снова улыбалась и гладила потные волосы на его груди — ведь он совсем выбился из сил. И она была благодарна ему за это, он дал ей радость. Она продолжала поглаживать его грудь и чувствовала, как колотится его сердце: это храброе сердце не пожалело себя, чтобы дать девушке радость. Затем она встала и подошла к умывальнику. Юдеян услышал плеск воды и поднялся.

И опять все заволокло багровым туманом. Лаура стояла перед Юдеяном нагая в багровом тумане, и черный таз на умывальнике казался черным рвом, в который падают расстрелянные. А еврейку необходимо ликвидировать. Фюрера предали. Ликвидировали слишком мало. Одеваясь, он чуть не упал. Лаура спросила:

— Ты разве не хочешь умыться?

Но он ее не слышал. Да и не понял бы. В кармане брюк лежал пистолет Аустерлица с глушителем. Сейчас все решит пистолет. Сейчас мы произведем чистку. Пистолетом мы наведем порядок. Только бы легче стало дышать: Юдеяну не хватало воздуха, он весь дрожал. Покачнувшись, он рванулся к окну распахнуть его, высунулся на улицу; внизу тоже лежал густой багровый туман. Улица была узкая, по ней двигались машины, они скрипели и урчали, стоял адский шум, и сквозь багровый туман казалось, что там ползают урчащие чудовища. Но вот в удушливой мгле мелькнул просвет, в тумане появилась щель, и Юдеян увидел в раскрытом французском окне большого отеля напротив Ильзу Кюренберг, дочь Ауфхойзера, еврейку, ускользнувшую от кары, женщину, которая сидела с Адольфом в ложе и которую он видел ночью нагой в облаках над Римом; Ильза Кюренберг стояла неподалеку от окна, она была в белом пеньюаре, но для него она была нагая, как ночью, как женщина на краю могильного рва; и Юдеян поднял пистолет и выпустил по ней всю обойму; таким залпом расстреливали, на этот раз он расстреливал собственноручно, он не только отдал приказ — какие теперь приказы,— надо самому стрелять; с последним выстрелом Ильза упала, приказ фюрера был выполнен.

Лаура вскрикнула, вскрикнула только один раз, затем с ее губ сорвался поток итальянских слов, но заглушенные багровым туманом, они слились с плеском воды. Юдеян вышел, а Лаура, снова бросившись на постель, зарывшись лицом в подушки, еще потные и теплые, разрыдалась: она не понимала, что же произошло, но, видимо, случилось что-то ужасное, этот человек стрелял, он стрелял в окно — и он ничего ей не подарил. Она все еще была неодета и накрыла голову подушкой, лицо ее уже не улыбалось, она силилась заглушить рыдания. Казалось, на растерзанной постели лежит безголовое тело прекрасной Афродиты Анадиомены.

Адольф не видел Лауры нагой, поэтому нагое тело статуи не напомнило ему Лауру, и когда в музее терм Диоклетиана он стоял перед безголовой Афродитой Анадиоменой, он думал не о теле Лауры, он представлял себе ее улыбку. Афродита еще держала в поднятой руке свои косы, словно хотела удержать голову за косы; и Адольф старался себе представить, какое же у Афродиты было лицо и улыбалась ли она, как

* Нет, нет, я католичка *(итал.)*.

Лаура. Статуи вызвали в нем смятение. Здесь утверждал себя мир Зигфрида, мир прекрасных тел — вот Венера Киренейская, она безупречна. Всякий видит, насколько она безупречна. Крепкое, чудесно сохранившееся тело, но какой в ней холод, холод, холод. А потом фавны и гермафродиты, со всеми своими телесными особенностями. Вот они не сгнили, не стали прахом! Им ад не угрожал. Даже в чертах спящей Эвмениды не чувствовалось ужаса. Даже подземный мир был добр к этим статуям, даже ад вел себя иначе, они не познали его. Неужели надо грозить человеку ужасами, чтобы спасти его душу? И разве душа погибнет, если будет поклоняться красоте? Адольф сел на скамейку в саду, среди каменных свидетелей древнего мира. Он был изгнан из их общества, его обет, его вера виноваты в том, что он изгнан навсегда. Он заплакал. А древние статуи смотрели на него глазами, не ведавшими слез.

Юдеян брел, спотыкаясь, через площадь. При каждом шаге ему казалось, что он проваливается в бездонную пропасть, ускользает куда-то навеки, и он хватался за воздух, чтобы хоть за него удержаться. Он знает, что произошло. И он не знает. Он стрелял. Дело завершено, он завершил его. Приказ фюрера выполнен. Это хорошо. А теперь пора спрятаться. Ведь окончательная победа еще не одержана. Надо снова прятаться, снова бежать в пустыню, вот только багровый туман мешает. В этом багровом тумане трудно найти место, где спрятаться. Правда, есть закоулки между старых стен, есть развалины. В Берлине он прятался между развалинами. А в Риме надо платить за вход, если хочешь спрятаться между развалинами. Юдеян заплатил за вход в музей при термах. Он прошел какими-то коридорами, поднялся по лестнице. Сквозь багровый туман он увидел только голые тела. Вероятно, это бордель. Или газовая камера. Тогда понятен и багровый туман. Юдеян — в газовой камере, среди множества голых людей, их будут ликвидировать. Но тогда ему нужно немедленно выбираться отсюда, ведь его-то не будут ликвидировать, он же не голый. А он командир. Эти мерзавцы слишком рано дали газ. Беспредельное хамство. Дисциплину надо оберегать! Он еще поставит виселицы!

Всеми средствами надо оберегать дисциплину. Юдеян вошел в комнату. Тут, видимо, находился командный пункт. Туман рассеялся. Повсюду поблескивали старинные зеркала, они казались ослепшими. Он смотрел в слепые зеркала. Что это? Он не узнал себя. Чье-то сине-багровое лицо. И опухшее. Оно напоминает лицо боксера, которого беспощадно измолотили. Синие очки он потерял. Не нужны ему сейчас синие очки. Но вот перед ним ясное зеркало, теперь он узнает себя. Он стоял перед мозаичным изображением атлета, и это было его лицо, его шея, его плечи — весь Юдеян в его лучшие времена,— тот стоял посреди арены, он сражался коротким мечом, он многих тогда перебил. А вот и кот Бенито — это была мозаика: кошка с птичкой. Бенито тоже многих сожрал. В конце концов, жизнь вовсе не так уж плоха. Немало народу перебито, немало сожрано. Обижаться не на что. Юдеян, спотыкаясь, вышел в сад. В кустах прятались голые женщины, голые еврейки. Но это им не поможет. Юдеян умеет ликвидировать и сквозь кусты. Вот он сейчас продерется и... он рухнул наземь.

Адольф видел, как отец приближается, видел с отчаянием и ужасом: он увидел, как Юдеян вдруг рухнул наземь, рухнул, как подкошенный. Адольф бросился к нему, но грузное тело было уже недвижимо. Мертв? Лицо сине-багровое... Явился служитель музея, он подозвал второго, и они втроем отнесли Юдеяна в сарай, где реставраторы латали античные скульптуры; его положили на полу возле какого-то саркофага с рельефом. На рельефе была изображена торжественная процессия: надмен-

ные римляне ведут привязанных к коням, униженных германских воинов. Реставраторы в белых балахонах обступили Юдеяна. Один сказал:

— Он умер.

И другой сказал:

— Нет, он не умер. Мой тесть тоже умер не сразу.

Сторож ушел, чтобы позвонить на вокзал и вызвать оттуда санитарного врача. Отец еще был жив, и тут Адольф вдруг вспомнил о самом главном — ведь ад есть, есть, есть! Нельзя терять ни секунды,— и он помчался через сад, промчался под воротами, он мчался в церковь Санта Мария дельи Ангели. Священник, говоривший по-немецки, еще не ушел. В исповедальнях никто не стоял на коленях. Адольф пробормотал, что отец умирает и нужно совершить над ним последнее таинство. Священник понял и заторопился. Он захватил с собой елей для соборования. Адольф сопровождал его в качестве диакона, и они поспешно, насколько позволяли приличия, зашагали к музею.

Контролеры пропустили их без билета, служители обнажили головы, и реставраторы почтительно отошли в сторонку. Юдеян лежал как труп, но он еще не умер. Пот и испражнения были предвестниками смерти. Его прослабило, он облегчился. Чистилище — это очищающий огонь. Дошел ли он уже до него? Юдеян лежал в глубоком обмороке. Никто не знал, что в нем происходит: скачет ли он в Валгаллу, или черти его волокут в ад, или его душа ликует, ибо наконец спасение близко. Священник опустился на колени. Он приступил к соборованию и к полному отпущению грехов, предусмотренному для умирающих в бессознательном состоянии. Елеем, который был освящен епископом, священник коснулся глаз Юдеяна, его ушей, носа, губ и ладоней. При этом произносил слова молитвы: «Силой святого соборования и благостного милосердия божьего, да простит тебе господь все грехи, содеянные через зрение, слух, обоняние, вкус, осязание». Юдеян не шевельнулся. Разве его не затронули эти слова? Он лежал на земле и уже не шевелился, католический священник препоручал его милости божьей, а сын, облеченный в одежду католического диакона, молился за него. Это были два посланца его врага — католической церкви.

Пришли санитары, врач закрыл ему глаза. Санитары были в одежде защитного цвета, и казалось, они уносят Юдеяна с поля боя.

В тот же вечер газеты сообщили о его смерти; ввиду особых обстоятельств о ней узнал весь мир, но никто не был потрясен.

О романе «Смерть в Риме» и его авторе

Действие романа «Смерть в Риме» происходит спустя несколько лет после окончания второй мировой войны — в те годы решающих перемен в судьбах народов, которые все мы вспоминали недавно в связи с двадцатилетием великой победы над фашизмом. О Нюрнбергском процессе над главными гитлеровскими преступниками на страницах книги говорится еще как о событии недавнем; в рассказах о бесконечно гнусных преступлениях фашизма чувствуется еще потрясение, с каким человечество в те годы осознавало масштабы гитлеровского варварства. В романе Вольфганга Кёппена читатель найдет много конкретных примет того времени (хотя подчас они и скрыты в сложноассоциативной повествовательной ткани) — времени, когда рост коммунистического движения и укрепление лагеря социализма решающим образом меняли соотношение сил в мире, когда становился ясен близкий окончательный крах колониальной системы, когда Соединенные Штаты Америки, стремясь извлечь империалистическую выгоду из победы, протягивали свои щупальца по всему миру. Есть в этой книге и упоминание об атомной бомбе и угрозе атомной войны, и не случайно на ее страницах так много вопросов, которые возникали в то время перед самыми разными людьми: «Почему?», «Зачем»?», «Камо грядеши?», «Что же дальше?».

Для Германии эти вопросы стояли специфически остро. Напряженная интеллектуальная атмосфера романа Вольфганта Кёппена хорошо передает мучительные метания мысли, свойственные тем немцам-антифашистам на Западе Германии, которые трагически воспринимали судьбу своего народа, но не умели найти ясный и прямой ответ на вопросы времени,— перед лицом уже свершившегося, усилиями западных держав, раскола Германии, ее непреодоленного прошлого, ее неопределенного будущего.

Все эти проблемы автор завязывает в один тугой узел, сводя на улицах Рима на протяжении немногих часов всех героев книги, жителей одного немецкого города: избежавшего возмездия гитлеровского главаря Юдеяна, который решил, что он «слишком долго ходил в мертвых»; его жену Еву, фанатичную гитлеровку, охваченную звериной злобой; семью его родственника Пфафрата, «добропорядочного» (в кавычках) бюргера, раньше обер-президента провинции, а ныне уже снова обер-бургомистра; его сына Адольфа, ставшего католическим священником; его племянника Зигфрида Пфафрата, композитора, порвавшего со своей семьей; и, наконец, супругов Кюренберг, изгнанных из родного города, эмигрантов, гонимых и преследуемых некогда и Юдеяном, и Пфафратом.

Зловещая, гротескная фигура Юдеяна господствует над всем сложным пейзажем романа. Этот «призрак реваншизма», «посланник ада», жалеющий, что он «слишком мало убивал», обрисован Вольфгангом Кёппеном с огромной силой ненависти. В бредовых рассуждениях Юдеяна мы найдем весь комплекс «солдатских идей» немецкого милитаризма — презрение к народам, не исключая своего собственного, учение о вожде и толпе, чистоте расы, слепое преклонение перед приказом, демагогическая ложь о «фронтовом товариществе» и т. д. и т. п. В образе Юдеяна многое связано с традицией немецкой антифашистской литературы, в том числе и мысль о внутреннем бессилии, страхе перед жизнью как психологической основе реакционного насилия (и даже то, что эта мысль разложена по фрейдистской схеме),— об этом немало писалось в немецкой литературе, начиная со «Спора об унтере Грише» Арнольда Цвейга. Но Юдеян у Вольфганга Кёппена — это воплощение германского милитаризма новой, гитлеровской формации — беспочвенно-авантюристического, одержимого манией мирового господства. Ненависть к разуму, культ иррационального, насаждавшиеся гитлеризмом, обернулись в романе Вольфганга Кёппена гротескными картинами маниакальных фантазий, безумными человеконенавистническими планами Юдеяна, исступленной жаждой убийства, власти. Расхаживая, как зловещий призрак, по улицам «вечного города», Юдеян уверен, что его время еще впереди; его мышление бредово, но он сам — безумие, бред, кошмар. Биография его — это вполне реальная биография высокопоставленного гитлеровца: воспитанник офицерской касты, член тайных контрреволюционных судилищ, участник фашистских погромов, штандартенфюрер СС, в годы войны повелитель миллионов, которого боялся сам Муссолини, ныне наемник, готовый учить убивать где угодно и кого угодно, завтра — если дать ему волю — снова во главе бундесвера; и в то же время Юдеян — это смелое обобщение, своеобразный символ гитлеризма. Литература Западной Германии не знает другого примера столь осознанной и столь сильно выраженной ненависти к милитаризму и его носителям.

Юдеян — это сама смерть, и даже умирая, побежденный идущей не по его законам жизнью, он убивает. Но название романа может быть соотнесено не только с Юдеяном и его непосредственными жертвами. Здесь, в Риме, в центре католицизма, выясняется моральное крушение его сына Адольфа, порвавшего с ним и «перебежавшего к богу». Здесь, в Риме, терпит провал и Зигфрид Пфафрат, также порвавший навсегда со своим семейством (имена героев почти всегда имеют у Вольфганга Кёппена сатирическую окраску, «Адольф» и «Зигфрид» звучат здесь особенно иронически). Музыка Зигфрида, искренняя, будящая тревогу, но противоречивая и бессильная, модернистская музыка, в которой «слишком много смерти», вызывает восторженные овации богатых римлян и освистана молодежью (а только тому, с кем галерка, «принадлежит будущее»). Название романа и эпиграф к нему отсылают читателя к ранней (1911) новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции»; образ Зигфрида (и второй эпиграф из Дантова «Ада») ведут к позднему творению Томаса Манна, его «Доктору Фаустусу». Как и Адриан Леверкюн, Зигфрид — «немецкий композитор», как и тот, он решительно рвет с традициями, придя к атональной дисгармоничной музыке, и если «договор с дьяволом» лишил Леверкюна возможности достичь «истинного порыва», то Зигфрид Пфафрат сам понимает, что его чувства и мысли исковерканы и извращены «Гитлером, Юдеяном, семьей, нацистской школой».

Зигфриду отданы многие мысли об искусстве, важные, очевидно, и для самого Вольфганга Кёппена; он единственный, кто на страницах романа не только описан, но и говорит от первого лица, от своего имени. И если мы посмотрим его трезвые слова о том, что ему недоступно, то увидим, что в них заложено стремление к сильной, здоровой, гармоничной музыке, которая может помочь людям, изменить их к лучшему,— именно по такому искусству он тщетно тоскует. Столь же трезв Зигфрид в оценке своего (и Адольфа) социального бунта: «Мы не в силах бороться с Дитрихом. Мой брат Дитрих всегда будет побеждать нас».

Дитриху, верному сыну Пфафрата, отведено в книге не так уж много места, но по силе и четкости критической мысли этот образ надо отнести к самым большим удачам книги. Молодой хищник с железной хваткой, ловкий и хитрый, «современный», ждущий своего часа и знающий, что этот

час придет, он заставляет читателя задуматься о тех, кто сегодня в Западной Германии снова ведет преступную игру, проигранную Гитлером и Юдеяном, когда нужно — «демократически», когда можно — диктаторски, железом и кровью. Вообще роман Вольфганга Кёппена заставляет многое вспомнить (и многое помогает понять) в жизни Западной Германии уже после тех лет, которые описаны на его страницах,— и запрещение коммунистической партии, и судебные процессы против сторонников мира, и стремление овладеть атомным оружием, и амнистию гитлеровским преступникам, которой боннские власти отметили двадцатилетие победы над фашизмом. Наглый разгул реваншизма, который мы наблюдаем сегодня, разворачивался уже в те годы, и Вольфганг Кёппен проницательно указал на его опасность.

Тех, кто мог бы активно противостоять Дитриху Пфафрату и его отцу, в романе нет. Не надо думать, что Вольфганг Кёппен вовсе не видит и не приемлет антифашистской борьбы: для этого он слишком большой и слишком серьезный художник. Юдеян не случайно с такой ненавистью думает о ротфронтовцах и коммунистах — это были самые непримиримые его враги; лукуллово священнодействие эмигранта — «гедониста» Кюренберга не случайно описано в иронических тонах: не так держались и не так вели себя активные и последовательные противники гитлеризма. Но Вольфганг Кёппен явно разделяет со многими современными писателями буржуазной Европы сомнения в том, где лежат пути к перестройке мира на началах социальной справедливости, сомнения в поступательном движении истории — в том числе и истории немецкого народа. Отсюда и скорбная, трагическая тональность всего романа, отсюда и скептические замечания по адресу тех, кто верит в лучшее будущее. Отсюда же и многие особенности этой книги: подчеркнутое внимание к биологическому в человеке, к низкому и грязному, фрейдистское объяснение поступков героев и их психологии и т. д. Роман построен необычно и интересно, но порой, в ущерб его реалистической силе, излишне усложнен и даже манерен. Нужно отметить, однако, что сам Вольфганг Кёппен резко выступает против увлечения экспериментаторством в искусстве, утверждая, что на этом пути роману грозит опасность сузить свое воздействие, стать «непонятным для читателя», «превратиться в код для посвященных литераторов».

Вольфганг Кёппен родился в 1906 году, печататься начал еще в довоенные годы, но широкая известность пришла к нему после возвращения из эмиграции — ее принесли три романа, опубликованные один за другим в начале пятидесятых годов: «Голуби в траве», 1951; «Теплица», 1953; «Смерть в Риме», 1954. (Подробнее о жизни и творчестве Вольфганга Кёппена см. статью Р. Самарина «Против тех, кто сеет смерть» в «Иностранной литературе» № 8 за 1960 год.) С тех пор Вольфганг Кёппен не опубликовал ни одного художественного произведения, только книги путевых заметок и несколько статей, показывающих, с какой тревогой он наблюдает за политическим развитием Западной Германии, «где отрицают, что было, не ведают, что будет» (так он говорил в статье «Безумие»). Критика ФРГ пишет о нем противоречиво: иногда высоко оценивая формальное мастерство, чаще резко обрушиваясь на его антивоенную и антифашистскую позицию. В опубликованном на страницах печати ГДР «Очерке истории немецкой национальной литературы с начала немецкого рабочего движения до настоящего времени» справедливо указывается, что романы Вольфганга Кёппена не были должным образом оценены в Западной Германии. В «Очерке» в частности говорится: «...Идеология враждебности идеологии, которую представляет Кёппен, мешает ему видеть силы, способные остановить рефашизацию. Несмотря на это, романы Кёппена представляют собой мастерские произведения, подводящие итоги развития Западной Германии и предвидящие его дальнейшее направление» («Веймарер бейтреге» № 5 за 1964 год, стр. 761). Сам Вольфганг Кёппен мало участвует в жизни своей страны и живет в Мюнхене в высшей степени уединенно. В 1960 году, принимая премию имени Бюхнера, которой он был награжден, он еще раз подтвердил свое писательское кредо: «Я принадлежу к тому сословию, которое призвано вызывать злость».

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

ОЛЕ БИНКОП

РОМАН

Перевод с немецкого
Н. МАН и С. ФРИДЛЯНД

21

Мертке поселилась у Нитнагелей. Лучше и не придумаешь! Под крылом у матушки Нитнагель она чувствует себя как дома. Нитнагели получили дочь взамен сына, который погиб на *большой войне*. Их старые сердца отогреваются подле Мертке.

Эмма Дюрр развешивает белье. Веревка натянута очень высоко, чтобы концы простынь не закрасились о траву. Веревка высокая, а Эмма маленькая. Она подпрыгивает, как курица в зимнем курятнике за подвешенным куском брюквы.

Мертке не может смотреть, как мается Эмма. Лучше она сама развесит белье.

— Вот отзывчивая девушка, вот чуткая,— хвалит ее Эмма.

Вильм Хольтен отвинчивает какой-то болт с трактора. Болт заело. Хольтен всем телом налегает на большой гаечный ключ. Ключ соскальзывает, и Вильм со всего размаха ударяется лбом о мотор. Со лба течет кровь.

Хольтен идет в правление за куском пластыря. В правлении сидит Мертке и заполняет сводку по яйценоскости. Она промывает Вильму рану и заклеивает ее пластырем.

— Больно?

— Ни чуточки! Спасибо.

Эгон, четырехлетний сынок Буммелей, перелезает через загородку — на ферму к тете Мертке. На колючей проволоке остается клок его штанов. Эгон громко рыдает. Мама задаст ему взбучку. И то сказать, Софи Буммель куда ловчее управляется с вилами, чем с иглой. Всякие штопки-заплатки для нее все равно что экспедиция в непроходимые джунгли.

Мертке зашивает рваные штаны и в награду получает от Эгона три воробьиных яйца и один поцелуй.

Герман Вейхельт считал когда-то Аннгрет сущим ангелом, но ангел напустил на себя важность и улетел. Взамен явилась Мертке. Она уже почти архангел. Мертке отутюжила Герману парадный костюм, и он

Окончание. Начало в №№ 7, 8 и 9.

стал как новый. Да еще приколола на лацкан значок: красная звездочка с серпом и молотом! Полезные предметы!

Воздай добром за добро! Герман придумывает, чем бы ему порадовать Мертке. Он ждет полнолуния. Тогда он споет под ее окном.

Тракторы тарахтят в поле. Они пробуждают землю от зимней спячки; их плуги срывают зимний наряд с земли и открывают ее дождям и солнцу. После плугов тракторы тащат бороны. Бороны разбивают комья земли, готовят пуховую перину для семян.

Весенние полевые работы связывают Оле по рукам и ногам. Больше ни для чего не остается времени, вот только при виде детей он испытывает что-то похожее на голод.

Он сажает Детлефа Тимпе к себе на багажник. Они надумали поездить по белу свету. Белый свет — в данном случае тихая заводь Ласточкина ручья, что петляет по лугам. Оле ловит колюшек для маленького Детлефа. Он словил бы для мальчика даже ящерку, но слишком торопится, слишком хорошо помнит, что он председатель. По-весеннему пестрая ящерка попросту смеется над ним. У нее от смеха даже хвост отгибается в сторону.

Оле зачерпывает воды в свою пропотевшую кожаную шапку. Колюшки резвятся в этом самодельном аквариуме, насколько позволяют его размеры. Отличное весеннее развлечение для маленького Детлефа.

Но развлечению скоро приходит конец. Дома, на кухне, колюшки переселяются в банку — председателю нужна шапка. Без шапки какой из него мужчина! Ранняя пташка Тимпе заснул после обеда. Эрна, любвеобильная мать, переселяет колюшек в банку. Но тут из спальни является в костюме Адама сам Тимпе:

— Постель свободна, если вам так уж приспичило.

С перепугу Эрна роняет банку. Колюшки скачут по кирпичному полу. Мальчик ревет, Оле его утешает. Связываться с ревнивым Тимпе ему неохота. Как-никак это не экономические вопросы.

Немного спустя Оле застает на соломе в курятнике плачущую Мертке. Рядом лежат пятеро мертвых цыплят, дохляки, они попали под ноги своим более жизнеспособным собратьям и были раздавлены.

Оле и здесь утешает: пятеро цыплят — полпроцента на тысячу — в норме. Нечего плакать.

Мертке плачет еще горше. Растерявшийся Оле бежит за матушкой Нитнагель и препоручает ей дальнейшее утешительство. С подростками Оле ладить не умеет. Может, у этой девушки как раз переходный возраст.

Впрочем, Мертке плачет не из-за одних только цыплят. Летучие утки председателя скрылись в неизвестном направлении. А Оле передавал ей уток с великой торжественностью. Он, так сказать, взывал к ее сердцу:

— Не думай, что перед тобой просто две сотни ног, две сотни крыльев и несколько мешков пера и пуха. Это целая лаборатория, это опыт, это преддверие безграничных возможностей.

Оле трижды насвистывает утиную песню. Мертке постеснялась просить его просвистеть в четвертый раз. Ей было стыдно заставлять этого занятого человека заниматься какими-то пустяками.

И вот Мертке заявилась в утиную лабораторию. Открыла дверь сарая. Утки с кряканьем взлетели и, сделав круг над сараем, взяли курс на Коровье озеро. А вечером, когда утки показались вновь, Мертке сложила губы трубочкой и засвистела.

Но утки не приняли всерьез девичий свист. С каждым днем они все позже и позже прилетали домой, а однажды, в полнолуние, сделали традиционный круг над сараем и скрылись из глаз.

Мертке побежала на озеро; она свистела, звала. Улегся вечерний ветерок. На вынутом из камышовой рамы озере ни единой волны. В водной глади отражается месяц. Блеск, переливы, поэзия, но только не для Мертке. Она затаила дыхание. Где-то в дальнем заливе ей послышалось кряканье. Она бросилась туда. С залива поднялись дикие утки. Вдалеке ухнул филин, и Мертке громко заплакала. Ну и весенняя ночь!

И следующий вечер принес с собою одни лишь разочарования. Утки прилетели, сделали круг над большим каштаном, поиздевались над беспомощным школярским свистом Мертке и улетели. Вся лаборатория в полном составе скрылась за лесом.

Мертке выплакалась в передник матушке Нитнагель.

— Не плачь! Это же не люди, это просто утки.

Старуха помогала ей искать. На следующий день к ним присоединился Адам Нитнагель. Но утки, черти крылатые, не выказали уважения даже бывшему бургомистру. И ущербный месяц бессмысленно озарял трех искателей-неудачников.

Что делать? Рассказать Оле?

Адам Нитнагель вызвался начать предварительные переговоры.

Нет! Мертке сама пойдет к председателю, посмотрит ему прямо в глаза и скажет: так, мол, и так...

Пахота завершена успешно. Оле облегченно вздохнул и вдруг почувствовал себя как судно, лишенное балласта. Нос председателя повело кверху. Как там поживают его утки? Несутся ли они, сидят ли на яйцах?

Вечером он крадется к сараю, стучит по низкой крыше. Никакого ответа. Он лезет в темный провал — ничего, кроме засохшего утиного помета.

В ярости он бежит домой и залпом выпивает три рюмки подряд. От мятной водки ему не становится веселей. Ворча, он ложится в постель, но сон не идет к нему.

Стало быть, новая птичница — обыкновенная вертихвостка. Почему-то все ее любят, только не он. Когда Оле сочинял объявление, ему виделась солидная женщина, которая знает, что делается у человека под фуражкой. «Ты бы, товарищ председатель, чайку выпил». Вот какая!

Настает серое, дождливое утро. Мертке бегает в поисках Оле. А ему уже без надобности ее слезливые признания. Ему, может, самому нужна ласка и слова утешения.

Мертке бежит в свинарник. Оле выскакивает через заднюю дверь. Мертке — в правление, а Оле прячется в так называемом красном уголке и проверяет там заземление у приемника. Но в коровнике скрыться уже некуда. Мертке, бледная как полотно, собирается с духом. Оле даже не дает ей рта раскрыть:

— Знаю, знаю, утки пропали. Интересно, зачем мы тебя держим? Ну, ну, не реви!

Мертке бежит прочь. Вперегонки со своими слезами.

22

Дни идут. Цыплята нежатся под весенним солнышком, все крепче стоят на ножках, растут. На головах у петушков, словно листья шиповника, уже проглянули гребешки.

— Отличный молодняк!

Такую похвалу Мертке слышит от стариков Нитнагелей, от свинарки Хульды Трампель, даже от Тимпе, который обычно хвалит только себя самого. Но вот Оле не удостаивает ее и дружеским взглядом. Он

проходит через вольер для молодняка как карающее божество. А эта особа с косичками, Мертке или как там ее зовут, для него все равно что бледная тень.

— Отделить петушков от курочек. Самое время!— И протирает своей кожаной фуражкой оконное стекло.

Мертке без всякой жалости отрезала бы косу, если бы это помогло скрыть, как дрожит ее голос.

После обеда она сама моет окна. Покупает в кооперативной лавке за свой счет кусок холстины и трет, чистит, моет... Курятник сверкает, как волшебный замок. Тщеславное солнце отражается в каждом стеклышке. А Оле не приходит.

Мертке отделяет петушков от курочек, при этом опять поднимается пыль, и Мертке опять моет стекла. Тряпка истерлась до дыр, потому что Мертке начистила заодно и автокормушки. Все сверкает, только на душе у нее мрак. Следует ли давать волю своему горю? Нет, Мертке просто уйдет отсюда. Где вы, первые дни, когда со всех сторон ее окружали доброжелательные люди? Где первое воскресенье вместе с учителем Зигелем и семью чудесами света? Да и председатель в те времена не рявкал на нее, как цепная собака. Но сейчас Мертке значит для него меньше, чем какая-нибудь утка.

Воскресенье. Чуть свет Оле уже возле Коровьего озера. Вода блестит. Сердце полно милых, грустных воспоминаний. Оле ищет своих уток.

Берег озера оголен. Новые побеги камыша имеют еще жалкий вид. Ни лысух, ни чомги, ни утиного перышка.

Оле, неугомонный председатель «Цветущего поля», обратил всю озерную романтику в камышовые коврики, а коврики — в звонкую монету. Он сам выжил отсюда уток. Оле оглядывается: не подслушал ли кто его мысли? И скребет свои каштановые космы.

— Так, так,— бормочет он.

Вечером общее собрание. Нелегко выбрать день и час, устраивающие двадцать пять человек сразу. А в сельском хозяйстве право решающего голоса принадлежит к тому же погоде и скотине. Вот и сейчас отсутствует свинарка Трампель. Как прикажете это понимать, если даже Фрида Симсон, представительница государственного аппарата, сумела урвать время от скудных часов воскресного отдыха?

— Коллеги и друзья! Я усматриваю здесь недооценку роли общего собрания! А что думает по этому поводу председатель?

— Ступай в свинарник и подежурь там вместо Трампель. У нее свинья поросится.

Фриду передергивает. Эмма Дюрр прыскает в кулак. Хорошо ли поступает председатель, выставляя Фриду на посмешище? Неужели он решительно не способен прислушиваться к критике?

Первый вопрос повестки дня звучит весьма таинственно: полезные ископаемые в «Цветущем поле».

Оле открывает собравшимся тайну — завещание своего отца Пауля Ханзена, сокровище, которое он до сих пор хранил про себя. Может, в его сердце еще гнездились остатки сомнения в успехе добрых начинаний, но теперь он от всего сердца выкладывает свое сокровище: берите, пользуйтесь!

Итак, под тем лугом, который достался Оле в наследство, есть мергель, огромные запасы мергеля. Ни одной волшебной палочкой не измерить толщину мергельного пласта.

Но собравшиеся почему-то и не думают бросаться ему на шею. Мергель? Прекрасно. Но разве это золото, серебряные рудники или — того чище — уран? Считать мергель полезным ископаемым? Нос Тимпе дергается от иронической ухмылки.

Нет, друзья, уймите ваши носы и разиньте рты: мергель надо доставить на окисленные луга, разбросать его между ржавыми побегами щавеля. Травяной покров от этого удвоится. И соответственно возрастет поголовье скота. По дешевке продается прекрасная, удобная, надежно спрятанная от глаз мечта. Что вы на это скажете?

Для начала людям надо вздохнуть после мергелевого извержения. Если Тео Тимпе и Фрида Симсон перемигиваются, это еще ничего не значит.

Карл Крюгер использует паузу, чтобы пообтесать общественное мнение: не одно только «Цветущее поле», а еще пять-шесть соседних кооперативов могут получить большой доход от мергеля. Никаких дорог, никаких транспортных издержек, не надо дожидаться ссуды. Утренняя заря. Колумбово яйцо. Верное дело.

Скупо, по капле сочатся мнения. До сих пор Оле с божьей помощью все обращал во благо, будем надеяться, что господь не оставит его и в этой затее. Таково мнение Германа Вейхельта.

У Оле большие организаторские способности. Никто не скажет, что его планы хоть когда-либо шли во вред кооперативу.

— А кто не согласится с этим от чистого сердца, для того пусть луна не светит.— Это мнение Франца Буммеля.

— Точно! — подтверждает Вильм Хольтен, верный оруженосец Оле.— Главное, что колхоз от этого расцветет!

Эмма Дюрр, мешочек балласта, необходимый при полетах Оле в заоблачные сферы, выражает опасение, что без машин разрабатывать мергель невозможно.

— Само собой!

Нос у Тимпе отплясывает танец диких. Пора, да, да, пора уже выступить с обоснованными возражениями. Мергель мергелем, известь известью, на всякую дрянь их хватает, а про него и не вспомнят! Увеличивать стадо лишь тогда, когда луга усвоят мергельную присыпку,— да это же бред сивой кобылы! Прикажете ему, опытному скотнику, брать в общинной кассе пособие на бедность только потому, что некоторые люди тяжелы на подъем и не желают добывать корма на стороне? Ого-го!

— Тебе что, заработка не хватает?

Выкрик Крюгера не обескураживает Тимпе. Насколько ему известно, против хороших заработков не возражают даже самые ответственные товарищи.

Для ушей Фриды Симсон это не совсем идейно выдержанная музыка.

— Товарищи и коллеги! Тимпе позволил себе ошибочный выпад. У него стяжательская идеология. Надо же понимать — речь идет о молоке, масле и мясе. Блюменау неважно выглядит на общем фоне. Надо подтянуться.

Но Оле не желает брать на себя новые обязательства. Масло, молоко, говядина — все это хорошо, но корма с неба не падают. И в конторах их не производят.

Карл Либшер кивает, Иозеф Барташ кивает, Софи Буммель кивает — все, кто не верит в чудеса, согласны с Оле.

Симсон что-то записывает в черную тетрадь.

Оле взрывается:

— Ты чего там строчишь?

— Я отмечаю недостаток доверия к государственному аппарату.

— Мы доверяем только самим себе. Запиши-ка.

Кажется, что от перепалки, как от запального шнура, вот-вот вспыхнет застиранная скатерть.

23

Теперь надо проголосовать, хотят ли члены кооператива видеть в своих рядах Мертке Маттуш. Мертке рассказывает свою немудреную биографию: она родилась, выросла, пошла в школу. Все очень просто. Потом училась в средней школе, но не кончила ее. Особые обстоятельства. Выучилась на птичницу. Приехала сюда, чтобы учиться дальше. Коротко и ясно! Вот и все!

В рядах дружно кивают. Никто не спрашивает про особые обстоятельства в средней школе. Для них школа особых обстоятельств — это кооператив «Цветущее поле»! Дело теперь только за напутственным словом.

Эмма Дюрр не заставляет себя долго ждать. Мертке — отзывчивая девушка, этого у нее не отнимешь. Плевать в конце концов на сотню уток, которые летали взад-вперед что твои воробьи. Пусть Оле не пышет пламенем. Какого лешего он приучил своих птичек к дурацкому свисту и к незнакомой песне?

— Сейчас же подай девочке руку и помирись с ней!

Оле улыбается.

— А что скажут другие?

Пожалуйста, можешь послушать других. Карл Крюгер хвалит своего молодого коллегу. Мертке — дочь такого отца, который делал то, что нужно и когда нужно.

— И я хотел бы, чтобы вы учли это!

Мертке не из тех узких специалистов, которые, кроме своего участка, ничего перед собой не видят. Крюгер еще скажет о них в дальнейшем. А она видит все в совокупности, она будет достойным пополнением в кооперативе!

Вильм Хольтен, Софи и Франц Буммель, Иозеф Барташ, даже Тео Тимпе — все хвалят Мертке. Просто хвалебная симфония. Птичница Нитнагель совсем разнежилась: Мертке очень ласковое существо. От нее исходит тепло и приветливость.

— Словом, косвенные производительные силы,— уточняет Адам Нитнагель, надеясь, что эта точка зрения не будет сочтена социал-демократической.

Из-за изразцовой лежанки в чадный воздух вонзается серым корешком палец Мампе Горемыки.

— А не эта ли барышня с косичками прохлопала музыкальных уток нашего Оле? Сколько центнеров корма, истраченного за зиму, пошло псу под хвост?

— Дрыхни лучше за нетопленой печкой! — огрызается Эмма Дюрр.

Мампе Горемыка понуро прикладывается к извлеченной из кармана бутылочке. Ах, какая упущена возможность щегольнуть сочувствием к Оле.

Неужели так никто и не возьмет его сторону? Нет, нашелся сторонник — Фрида Симсон. То ли она хочет с ним помириться, то ли молодость Мертке возбуждает в ней дух противоречия.

— Попрошу внимания, товарищи и коллеги! Нельзя же так — раз, два — перешагивать через сотню потерянных уток и центнеры впустую растраченного корма! И не следует ли предъявлять более высокие требования к сознательности и чувству ответственности лиц, принимаемых в кооператив?

Мертке просит слова. Щеки у нее пылают. Она откидывает со лба прядь волос.

— Дорогие ребята, я признаю свою вину!

Смех. Мертке, подняв руку, утирает пот. Взглядом она просит о помощи. Даже на Оле смотрит умоляюще.

Мертке услышала немало лестных слов по своему адресу. И ей стыдно. Биография Мертке отнюдь не чистый лист бумаги. В самой середине ее зияет жирная клякса. Из-за своей небрежности Мертке ввела в убыток «Цветущее поле». Может, ей поплакать? Так она уже плакала. Она вполне согласна с намерением председателя разумно использовать озера. Но разве для этого непременно нужны дикие утки? Вовсе нет. И Мертке просит, чтобы ей дали возможность разводить домашних уток, две тысячи сразу, а то и больше, если можно.

— Я очень, очень вас прошу!

Неужели Оле Бинкоп не мог ухватиться за предложение Фриды Симсон о перемирии? Нет, под его каштановой шевелюрой бродят совсем другие мысли.

— Я сам упустил диких уток! — Это Оле не оставил на озере места для гнездовья. Кооперативной кассе деньги за камышовые коврики пошли на пользу, а уткам — во вред. Одним словом, столкнулись интересы двух вспомогательных промыслов. Только не устраивать паники и не подсчитывать убытки. За уток платил сам Оле. На корм шло зерно, которое ему выдали натурой. Что ж тут такого? Жены у него нет, детей тоже, он может себе это позволить. А теперь шире дорогу предложению молодой птичницы: даешь три тысячи мясных уток, даже пять тысяч! И добро пожаловать, новый член нашего кооператива.

Мертке глядит на него с благодарностью. А Оле бьет озноб. Но вселенская стужа здесь ни при чем.

24

Ветви фруктовых деревьев усыпаны цветами. Белей, чем спустившиеся с неба облака, высятся на межах терновые изгороди. Ивовые пни вдоль Ласточкиного ручья выбрасывают побег за побегом. Даже старые колья и камни обрядились в разноцветные мхи. Май на дворе.

Герман Вейхельт дождался наконец подходящей ночи и соответствующей фазы луны, чтобы излить свою благодарность Мертке за все ее добрые дела. Он поет визгливо, как старуха, и самозабвенно, как мудрец. Его очки сверкают. Пришельцем из других миров выглядит благочестивый Герман в призрачном свете майской луны.

Мертке спит сладким сном, как все невинные дети. Зато от песни Германа просыпается кто-то другой. В том месте, где хорал гласит «Вот жених грядет, выходите навстречу ему!», кто-то хватает его сзади под мышки. Это Оле трясет Германа.

— Эй ты, святой человек, видать, и тебя разобрало в мае!

Герман трижды сплевывает и открывает богословский диспут:

— Церковь признает май как таковой. И отмечает приход весны майским праздником троицы.

С этим тезисом Оле решительно не согласен:

— Иисус не знал ни берез, ни березовой туалетной воды.

— Оле, друг любезный, это ты говоришь, не подумавши. А бог не делает различий, для него всякий человек — человек и всякое древо — древо.

Слово за слово, и председатель, не прекращая диспута, уводит Германа из-под окна Мертке на дорогу.

Интересно, с чего это наш председатель в такую ночь покинул Эммину лачугу, все свои справочники и очутился в деревне? Да ни с

чего, случайно. Просто он ходил на Коровье озеро, глядел, как строится новая птицеферма, потом немного посидел у воды. Как хочешь, так и понимай.

По утрам, взнуздав свой трактор, Вильм Хольтен скачет за молоком. Он легко закидывает в прицеп полные бидоны, можно подумать, что они весят меньше, чем сноп сена.

По счастливой случайности Мертке каждое утро проходит мимо, и всякий раз Вильм заводит с ней по-майски бестолковый разговор.

— Нечего тебе тут ходить каждый день! — говорит он.

Мертке замедляет шаг:

— Разве я тебе мешаю?

— А вдруг я нарочно отдавлю себе палец, чтобы ты мне его перевязала?

Мертке едва заметно улыбается, а Вильм стоит, держа в вытянутых руках по полному бидону. Влюбленный Геркулес.

— Нет, я все-таки хотел бы знать, почему пальма первенства досталась учителю?

Мертке теребит косу. В эту минуту она не менее тщеславна, чем все девушки ее возраста.

— Не понимаю, про какую пальму вы говорите.

Вильм вздыхает еще глубже:

— Я ни за что бы не осмелился, с моими-то лошадиными зубами.

— Человек таков, какой он есть.

— А я гораздо хуже.

Поди пойми его!

Но ей уже пора. Все громче и нетерпеливее доносится с птицефермы кукареканье петухов.

На учителя Зигеля май действует по-другому. В нем с новой силой вспыхивает страсть к научным изысканиям. Осенью он на глазах у детей закопал в школьном саду белые корешки пырея. В мае снова откопал их. И полюбуйтесь: корешков стало куда больше. Целые гнезда! Пырей — злейший враг плодородия. Он отбирает питание у культурных растений, будь то картофель, репа или что-нибудь другое.

— Во-первых, интересно, во-вторых, поучительно.

Дети возмущены:

— Долой сорняки!

Учитель ведет учеников в поход на брюквенное поле кооператива. Раздает мотыги и велит девочкам и мальчикам искать белые корни-червячки. Дети входят в азарт:

— Вон из земли!

И вот уже корни пырея — кучка подле кучки — лежат между грядками. А ну, к какой смерти их приговорить?

— В конюшню! Пусть их там растопчут! — говорят мальчики.

Нет, от этого пырей не погибнет. И вместе с навозом снова попадет в поле. Не успеешь оглянуться, и снова пробились из земли его побеги.

— Во-первых, интересно, во-вторых, поучительно.

Решено сначала высушить корни, а потом сжечь их.

На этот вечер назначен весенний костер, и пионеры приглашают своих друзей из Свободной немецкой молодежи. А тот, кто не ходил воевать с пыреем, пусть лежит в постели и кусает себе локти. Так ему и надо. Пионеры что есть сил трубят в горны. Сухие корни пырея кор-

чатся в огне, и кроны придорожных лип кажутся неестественно зелеными, как листья на декорациях.

Друзья из Свободной молодежи прыгают через костер. А учитель Зигель ведет под руку фрейлейн Мертке — ту, что с птицефермы. Он суетит очки в карман и тоже прыгает. Но без очков Зигель неполноценный человек и уж никак не прыгун. Он приземляется посередине костра, где корчатся сухие корешки пырея. Маленькая фрейлейн Мертке отчаянно машет руками, чтобы не угодить в огонь вместе с ним. Несколько секунд Зигель жарится на костре и разыскивает свои очки. Во-первых, интересно, во-вторых, поучительно. Никто не смеется, даже самые отчаянные озорники. А старшие мальчики вытаскивают своего учителя из огня и сбивают искры с его брюк и голубой рубашки. Вильм Хольтен с особым удовольствием сбивает с него искры. Теперь он понимает, что кому кому, а уж Зигелю пальмы не видать.

25

Ничего не скажешь, к Зигелю все относятся хорошо, кроме Фриды Симсон. Для Фриды новый учитель — это социальный пробел. По ее понятиям, он, так сказать, не человек переднего плана. И эти понятия имеют свою подоплеку: Зигель и Фрида зачастую ведут ученые споры и яростно сражаются. При этом Фрида ведет бой из танка, и ее орудийная башня снабжена минимум тремя орудиями, Зигель же воюет в пешем строю.

— Человек развивается! — утверждает Фрида.

— Но медленно,— уточняет Зигель, как раз перед этим изучавший памятники древнеегипетского искусства.

Фрида дает полный газ:

— Человек развивается с каждым часом.

Зигель увертывается от ее машины:

— Насчет языка спорить не стану, я говорю о мозге и о сердце.

Ну и взревели моторы во Фридином танке!

— Сердце — это мускул! Мышца! И все.

— А душа! — в отчаянии стонет Зигель.

Фрида давит его гусеницами:

— *Мистифизикация, лирика, психопатрика, мелиорация и реакция!*

Зигель не успевает отпрыгнуть и какое-то мгновение замертво лежит под танком, потом выбирается из-под него, встает и, поправив очки, изрекает:

— Классики марксизма тоже не пренебрегали понятием души.

Фрида перерывает все тетради, исписанные в бытность ее в партийной школе. Нигде ни одного слова про орган, именуемый душой.

Это должно бы убедить и укротить Зигеля, но он не жалует сведения, полученные из вторых рук.

Фрида берет за бока партгруппу. Пусть группа осудит заблуждение учителя. Для памяти Фрида заносит *неквалефецированные* выпады Зигеля все в ту же черную тетрадь.

— Вот и хорошо, что вы спорите на группе, пусть все послушают,— говорит Карл Крюгер и кстати рассказывает о благочестивых мужах, в свое время споривших о том, сколько ангелов может уместиться на кончике иглы. В наши дни люди, естественно, спорят на экономические темы: что было раньше, яйцо или птица. Умники, ничего не скажешь, дерутся, как вороны из-за кости, покуда собака не сожрет их вместе с костью. Чудной народ, эти схоласты! Толкуют о душе и так и сяк, а душа — просто условное обозначение того свойства, которое принято именовать человечностью.

Зигель почтительно благодарит Крюгера. Фрида холодно сует ему руку. Она не удовлетворена и не убеждена.

Ах, Фрида, Фрида! Погубит тебя твоя неуступчивость. Сходила бы ты лучше к врачу, попросила бы выписать тебе какое-нибудь новое патентованное средство.

Фрида, конечно, стремится к добру, но семена добра не просеешь через густое сито.

Между тем Зигеля занимают уже совсем другие проблемы. От корней пырея он переходит к вопросам размножения вообще. Согласно своему основному принципу, учитель идет от неизвестного к ближайшим областям известного и штудирует всевозможные способы размножения как на земле, так и на небе. Он прослеживает размножение овода, с одной стороны, и червя — с другой. Но всего примечательнее кажется ему нетипическое размножение существа, которое кладет яйца, предоставляет солнцу выводить из них детенышей, а затем кормит их собственным молоком. Называется это существо утконос австралийский. Чего только нет на свете!

Но если кто-нибудь поспешит с выводами, узнав, что Зигель именно в мае, то есть в период повышенной тяги к размножению, отправился на птицеферму к Мертке,— мы смело можем назвать его клеветником. Просто-напросто Зигель хочет, чтобы Мертке познакомила его с различными стадиями развития куриного зародыша.

Мертке изо всех сил старается удовлетворить Зигелеву жажду знаний, но слишком уж велика эта жажда. Он даже по вечерам приходит к Нитнагелям, просит Мертке уделить ему минуту-другую и внимательно выслушивает ее объяснения о том, как зародыш в последние дни своего развития рефлекторным движением надламывает и разбивает яйцо изнутри с помощью твердого рогового нароста на верхней стороне клювика. Мудрая предусмотрительность природы умиляет Зигеля.

Во-первых, интересно, во-вторых, поучительно!

Итак, в вопросах размножения кур для Зигеля все ясно. В мире стало одной тайной меньше и одним чудом больше. Чудо следует за чудом, а самое замечательное, что он с Мертке познакомился, так сказать, совсем случайно.

— Чудо, чудесно,— бормочет Зигель, отыскивая свою шапку. Он находит ее в кармане брюк, надевает, краснеет, снимает. Кланяется Мертке, снова надевает. Но теперь у шапки какой-то мятый и даже как будто заплаканный вид. Нет, нет, таким, как он, пальмы не видать!

С умыслом ли расточает Мертке свои чары на всех мужчин? Навряд ли — женщины любят ее не меньше, чем мужчины. Как это у нее получается, у маленькой девчушки с косичками? Ее тянет к гармонии, и тяга эта так же присуща ей, как другим людям присуща тяга к склокам и раздорам.

26

Милая доверчивость Мертке сбивает с толку даже Оле — изрядно помятого жизнью сеятеля будущего. Через два дня после общего собрания она явилась к нему с блестящими глазами и блестящей косой и попросила уступить ей потемневший от непогоды тес, предназначенный для строительства открытого коровника. Почему бы из этой поросшей мохом кучи досок не построить сарай для уток?

— Валяй, разбирай залежи.— Ребяческая жажда действий вызывает у Оле улыбку.

И чудо свершилось: Мертке — краса, золотая коса получила в свое распоряжение больше мужчин, чем бывает колец на руке. Мужчины

объявили строительство жилья для уток своей первейшей задачей; и заметьте, то были не какие-нибудь завалящие мозгляки, а все парни хоть куда: Иозеф Барташ, и Карл Либшер, и даже Вильм Хольтен со со своим трактором. Постойте, а при чем здесь Хольтен? И чего ради он так старается: ради уток и экономии или ради пальмы?

Нелегко было председателю это сносить, ведь детская затея Мертке, или как там ее зовут, оставляла его не у дел, где-то в стороне. Об этом, кажется, щебечут все птицы в «Цветущем поле».

Его охватывает беспокойство, и от работы оно не проходит. Просыпаются желания, просыпаются и ноют, как старые раны. По вечерам Оле покидает Эммину лачугу и слоняется бог весть где. Да, втянув голову в плечи, он выползает из своей норы, хотя прежде она не была для него ни узка, ни тесна. За колченогим столом, над грудой справочников привык он в последние годы обретать то, что вроде бы придавало полноту его жизни. А теперь бродит как неприкаянный. И, стало быть, не случайно прогнал он благочестивого Германа из-под окна спящей Мертке.

Однажды вечером, после конца работы, он отправляется на стройплощадку к Коровьему озеру. Подручные новой птичницы Иозеф Барташ и Карл Либшер здороваются с ним почтительно, чуть ли не подобострастно, но подсобить в работе не приглашают. А эта Марта — ведь не Мертке же ее полное имя,— напялив на себя штаны, скачет через доски и балки, приветливо кивает ему и скрывается за неструганными стенами нового сарая.

Зато Вильм Хольтен отпускает по адресу Оле наглую шутку:

— Чего ты тут зря околачиваешься? Раз я тут, все будет в порядке.

Ах так! Здорово, ничего не скажешь. Этот рыжий дурень вздумал здесь распоряжаться, да еще задирает нос. И вдруг Оле, любивший некогда Хольтена как родного брата, замечает, что у милейшего родственничка лицо не только жуликоватое, но вдобавок еще украшено крупными, лошадиными зубами — как нарочно, чтобы скалиться.

Не подумайте, чего доброго, что Оле позволит отшвырнуть себя в сторону, как пересохший репей. Он и на другой вечер предпринимает очередную попытку, потому что может помочь хорошим советом, может пригодиться той же Мертке. Но из этой затеи ничего не выходит. Кто-то хватает его сзади и, закрыв ему ладонями глаза, кричит:

— Угадай кто!..

Долго ломать голову не приходится. По ухватке и по дородности сразу чувствуется, что это Хульда Трампель.

— Вот ты и попался! Мне нужен твой совет! У свиней рожа!

И Трампель увлекает Оле от Коровьего озера в свинарник. Он осматривает поросят, циновки, свиноматок. Хульда стоит позади. Перегибаясь через загородки станков, он чувствует биение жизни в ее налитой майскими соками груди. Но никакой рожи у свиней нет и в помине.

Соленые словечки. Щипки, пинки.

Хульда вскрикивает:

— Ты посадил мне синяк! Что, если муж увидит? — и расстегивает кофту.

Оле спасается бегством.

27

Оле стоит на опушке за домиком Нитнагелей. Ему бы надо обсудить с Мертке ряд важных вопросов, но не входить же к ней, когда там сидит учитель и хозяйка обволакивает его своими чарами.

Конечно, Оле мог бы отдохнуть на опушке, послушать лягушек, выкурить трубочку, продумать план работы на ближайший день, а то и

вздремнуть, поспать впрок, но он этого не делает. Он просто ходит взад и вперед и радуется, что гардины матушки Нитнагель, висящие у Мертке на окнах, сели от частой стирки и плотно не закрываются.

Хорошо ли со стороны Оле заглядывать на ходу в щель между гардинами? Не больше ли пристало человеку его возраста полежать на мягкой травке? Оле чувствует себя как струна виолончели, натянутая до предела. Жизнь вздумала разыграть на ней новую мелодию: порою это начало томной сонаты, порою — первые такты бурного галопа, потом звон и все стихает. Не подбирается ли жизнь к скрытой мелодии вальса?

Мимо проходит парочка. Оле отступает в тень дерева.

— Ты ревнуешь, а мне это очень больно,— говорит девушка.

— Я болен, а тебе больно? — спрашивает мужчина.

— Доверяй мне,— просит девушка.

— Рад бы, да любовь мешает,— говорит мужчина.

Пара исчезает в тени деревьев. И снова все тихо. Только воркует майская ночь.

Ну, да ладно. Оле и не с такими испытаниями справлялся. Разве надменная Аннгрет Анкен не изводила, не обманывала его? Но разве она выбила Оле из колеи? Помешала его работе, похитила его мечты?

Если место занято, проживем и так.

Оле долго не может заснуть. Комнатенка в Дюрровой лачуге тесна для него сейчас, как ореховая скорлупа. Желание ворочает жернова мыслей, кипит, клокочет, и наконец Оле забывается беспокойным сном.

Едва первый солнечный луч заглянул в окошко, в кустах расшумелись два кукушонка. Но в адском пламени ревности милые зовы кукушки кажутся Оле злобным тявканьем дворняжек.

— Ладно,— бурчит Оле.— Надо положить этому конец.— Он встает и одевается, не умывшись. Нахлобучивает кожаную фуражку на нечесаные космы. Прогоняет ревность и суетность. Чего вы от нас хотите? Мы с Оле такие, какие есть, и ничего тут не поделаешь.

Оле широко пользуется лекарством, которое сам же себе прописал. Берет в руки заступ и целый день проводит среди женщин полевой бригады, на свекле; он копает и копает, не поднимая глаз, не разгибая спины, пока женщины не начинают ворчать:

— Ты что, хочешь навязать нам на голову новые нормы, благо у тебя спина не болит?

Нет, нет, ничего подобного. Просто у него жар. И ему надо пропотеть. А потеть никому не возбраняется.

Словом, Оле проводит майский день на свой лад, и вечером ему кажется, что все его думки о некоей Марте с косами подернулись тонким слоем плесени. Усталый сидит он у себя в комнатенке.

— Ту-ру-ру, улетайте прочь, детские радости и печали...

Стучат. Маленькие ножки в туфлях на низком каблучке переступают порог, такие ножки мыслимы только при блестящей косе и ослепительно блестящих глазах. Теплый ветер. Полузабытый аромат. Второе цветение. А Оле не умыт и не причесан. Черт знает что такое! Он вытирает ладонью изъеденный червяком стул. Надо же гостье присесть. Не сочтите за наглость. И мятная настойка сыщется, если, конечно, такая редкая гостья согласна пить ее из кофейной чашки.

Мертке садится, пьет мятную настойку и оживленно болтает. Мирком да ладком. Словно, все это в порядке вещей. Маленькая комнатка полнится девичьей прелестью, Мертке все видит, все замечает. Оле, нечесаному и неумытому, впору залезть под стол и не вылезать оттуда.

Пришла же Мертке вот зачем: она хочет посадить утиный молодняк в вольер. Но хорошая сетка для вольеров — большая редкость, а в

послевоенной суете она вообще исчезла. Не может ли Оле оказать ей такую любезность и лично похлопотать о сетке?

У Оле ничуть не больше возможностей, чем у молодых людей. Разве Вильм Хольтен, мастер играть на флейте, скрипке и контрабасе, не может достать для нее сетку?

— Что вы! — говорит Мертке.— Вильм? Да ни в коем случае.— И добавляет загадочные слова о какой-то пальме, но это уже выше его понимания.— Нет, нет, уж если кто и может добыть сетку, так это Оле Председатель.

А ведь неплохо сказано, очень даже неплохо. Оле Председатель! Таким прозвищем можно гордиться, но человек не успевает порадоваться своему счастью — на пороге возникает Эмма Дюрр в ночной рубахе и с распущенной косичкой.

— Завтра вроде тоже будет день. Мне сейчас пора спать, а тебе, Мертке, и подавно.

28

Даже враги не скажут, что Тео Тимпе поддался чарам молодой птичницы. Напротив, он идет жаловаться Фриде Симсон на нее и на Оле.

— Только косичек нам тут не хватало! — Новейшей конструкции коровник загадят какие-то утки, работящий скотник на глазах у всех лишится славы и заработков.

На глазах у всех, говорите? Но не на глазах у нее, Фриды Симсон. Фрида давно уже наблюдает, как эта приезжая финтифлюшка приманивает к себе всех мужчин с председателем во главе.

— Слабаки подобрались в «Цветущем поле»! — Ну ничего, Фрида им покажет.

Вилли Краусхар, инструктор районного управления, был раньше трактористом. В дождь и мороз, в солнце и ветер сидел он на своем тракторе, и каждая клеточка его тела была здоровей здорового. Но потом выдалась целая неделя холодных дождей — ничего, кроме дождя и ледяного ветра. Люди и скотина попрятались под крышу, только Краусхар не слезал с трактора: он поднимал зябь.

Когда Краусхару вручали значок активиста, его уже здорово донимали почки. Он соорудил над сиденьем козырек — никакого проку. Пришлось обратиться к врачу, а потом и вовсе лечь в больницу. В результате приговор: забыть о тракторе.

Краусхар с приговором не согласился. Днем он работал в мастерской при МТС, а по вечерам врубался в науку, как в джунгли. Образно выражаясь, он валил лес перочинным ножом и медленно выбирался к свету. Пришло время, и Краусхар стал агрономом, даже не из плохих. Дайте срок! Зерновые и кормовые культуры у него в кооперативе не стыдно будет показать людям. Людям показали.

— Кто добился высокого урожая? — последовал вопрос.

— Агроном Краусхар,— гласил ответ.

— Превосходно! Вот подходящий кадр для районного управления.

Краусхар отбивался, как мог. Солнце и ветер покрыли его лицо стойким загаром, управленческий воздух вызывал у него дурноту. На него насели всем скопом и уговорили:

— Скажешь, на рудниках воздух лучше, чем в управлении?

Краусхар распростился с крестьянами, а друзьям наказал:

— Дайте мне хорошего тумака, как только заметите, что я, словно склеротик, забыл старых друзей и прилип задницей к креслу.

Во многих управлениях существует неодолимая тяга к благодушию

и самодовольству. Краусхар сразу ее почуял и стал сопротивляться изо всех сил. Он был свежим пополнением — от сохи, так сказать, он был терновым кустом, устойчивым и цепким, наделить его этой тягой оказалось не просто. Завтракал он, к примеру, дома, а когда ему случалось проспать, то предпочитал и вовсе ничего не есть до обеда. Сердце его пока еще работало как раньше, на поле, и не испытывало потребности в инъекциях кофе.

Мало-помалу Краусхар понял, какая ответственность лежит на работнике районного управления, прежде всего ответственность, возложенная на него *сверху.* Еще через некоторое время он пришел к выводу, что и работник районного управления облечен известной властью, прежде всего властью по отношению к тем, кто *внизу. Верх* — это место, откуда льется дождь циркуляров. *Низ* — это место, где не очень-то охотно читают циркуляры. Ответственность порою велика и горька, власть порою мала и сладостна.

Но и после таких выводов Краусхару предстояло испытать немалое удивление, причем в один из тех дней, когда он успел позавтракать дома и, стало быть, не проголодался: в управление привезли шпроты. Замаскированные писчей бумагой «стандартная номер четыре», распиханные по портфелям из телячьей кожи, шпроты расплывались по комнатам управления.

Вот так-так! Даже в бытность свою трактористом Вилли ради шпротов приостановил бы битву за гектары. Тощие рыбки, сопровождаемые ломтем хлеба, изукрашенные веточкой петрушки и сдобренные чашкой кофе, предстали перед Краусхаром. Наконец-то он догадался, почему его секретарша выращивает на подоконнике петрушку — сельское хозяйство не имело к этому ни малейшего отношения.

Шпроты, бутерброды, петрушка и кофе являлись на письменном столе Краусхара с неумолимой закономерностью, словно в честь Всемирного дня бюрократов. И почти в ту же секунду секретарша запирала изнутри дверь его кабинета. Так у них было заведено со времен краусхаровского предшественника. Снаружи на двери вывешивалась табличка: «Идет заседание. Просьба не мешать». Всего этого Вилли Краусхар поначалу не знал. Мы должны сообщить об этом в его оправдание. И вообще, товарищи, мы попросили бы вас не делать никаких обобщений на основе вышеизложенного, ибо сказано же в писании: работники районных управлений, восстаньте из-за письменных столов. Сказано-то сказано, но разве сверху не спускают достаточно глины, чтобы накрепко приклеить работников к их письменным столам? А как прикажете заполнять сводки и вопросники для окружного секретариата без кабинетов, циркуляров, телефонов? Что получится, если Краусхар, как *отлученный-от-стола,* начнет повсюду разъезжать, чтобы инструктировать, а из окружного секретариата приедет другой инструктор, тоже чтобы инструктировать? Допустим, что окружной инструктор проявит максимум добросовестности, разыщет Краусхара, объездит район и обнаружит недостаточно активную борьбу с колорадским жуком. А дальше? Дальше наш Вилли получит свою, положенную ему сигару и приказ обрушить все силы на колорадского жука, начнет разрываться на части и в конце концов совершенно упустит из виду кампанию по внедрению *открытых коровников* и план *увеличения поголовья.*

Да, таковы трудности, которые неведомы человеку, сидящему на тракторе. Инструктору районного управления приходится порой держать в голове такие вещи, каких профаны — и мы, с нашей школьной подготовкой — даже представить себе не можем. (Теперь Краусхар уже вполне заслуживал тумака, о котором он просил своих друзей перед вступлением в должность.)

А в общем-то ничего плохого про Вилли Краусхара не скажешь. Выполняет он свои обязанности добросовестно, человек он положительный, бережливый и по воскресеньям ездит на мотоцикле. Жена сидит на багажнике, а коляски для детей пока нет. Стоп! Такой ли уж он положительный? В его биографии есть небольшое пятно, еле заметный изъян.

Это случилось после совещания деревенских бургомистров. Сельскому хозяйству указали новую линию развития. А потом все радовались — уж больно проста была новая линия: *передовой крестьянин сажает только квадратно-гнездовым способом.* Пили, шумели, Вилли Краусхар тоже пил против обыкновения — не сказать, чтобы много, но и не сказать, чтобы мало.

А у Фриды Симсон как раз выдался опасный, мятежный день, и она ходила как чокнутая. В этом состоянии она наткнулась на Краусхара. Из нее фонтаном било многомесячное, нерастраченное благожелательство. Она смеялась, курила и была похожа на памятник своим юным дням.

У Краусхара язык работал без устали и тоже источал благожелательство.

— Эх, черт подери, не будь я женат...

— Уж такова моя судьба,— вздохнула Фрида, подмигивая.— Все, кто получше, давно женаты. Как ни старайся, до счастья не доедешь.

— Ну, насчет счастья не скажи,— ответил Краусхар, осмелев до чрезвычайности.

Дружеская встреча подходила к концу. Бургомистры уселись на велосипеды и мопеды и — кто более, кто менее прямо — двинулись по домам.

А Вилли Краусхар поздней ночной порой вдруг с изумлением увидел, что бредет под ручку с Фридой.

— Ну нет,— сказал он,— так не годится! — и выпустил руку Фриды.

Фриде это пришлось ох как не по вкусу!

— Эй, эй,— крикнула она,— ты чего сдрейфил? Разве мы не товарищи по партии?

Тут Краусхар вдруг смекнул, что жена-то с детьми уехала к теще. И может, какая-никакая дорожка все-таки ведет к счастью.

Ночь, когда фотография жены была повернута к стене, вряд ли можно назвать самой почетной в биографии Краусхара. Все было привычно и скучно, как в захудалой конторе.

Но утро оказалось и того хуже. Едва солнце озарило Фриду, она почувствовала себя чуть ли не изнасилованной, начала причитать и сыпать упреками. Краусхару пришлось немало попотеть, прежде чем он убедил прямолинейную Фриду не затевать персонального дела о ее же собственном моральном разложении.

Вот что бывает порою с человеком! В конце концов, они решили потоварищески поделить вину и впредь помалкивать о таком проявлении человеческой, слишком даже человеческой слабости.

Прискорбный этот случай был почти забыт, и каждый из них втихомолку вспоминал о нем лишь изредка, при встречах.

Вилли Краусхар ведет длинный разговор по телефону с одним товарищем из районной газеты, продающим подержанную коляску для мотоцикла, когда ему вдруг докладывают, что его желает видеть Фрида Симсон, бургомистр из Блюменау.

Он не сразу принимает Фриду. Ему надо сперва позвонить на стоянку, где находится его мотоцикл, а потом сообщить жене, что у них появились виды на коляску. В конце концов, каждый человек имеет право на личную жизнь.

Фрида ждет с лицом угрюмым и желчным. Именно сегодня она как нельзя отчетливей вспомнила ту ночь после совещания бургомистров. Значит, для Краусхара это пятно в воспоминаниях съежилось до размеров мушиной точки, иначе он не заставлял бы ее торчать в приемной из-за какого-то разговора по телефону. Что она, *индифферентный* посетитель, явившийся похлопотать о кормах для своей лошади?..

Вилли Краусхар думает о коляске. Дешевле грибов. На лице его ни тучки, ни облачка.

— Фрида, ты чего скисла?

Фрида все еще страдает из-за проявленной в ту ночь слабости. Отягощенная собственной греховностью, отвергнутая людьми, лишенная поддержки и участия, словно прокаженная, влачит она свою безрадостную жизнь. Сейчас она во что бы то ни стало должна разделаться с этим интриганом, с Оле, который только о том и думает, как бы подорвать ее авторитет, как бы изничтожить ее.

— А в чем дело с вашим Оле?

Ах, лучше она не будет об этом говорить. Она не видит больше никакой радости в жизни. И не знает, хватит ли у нее сил исправить свое упущение в области морали.

29

Веселые головки цветов никнут под ножами косилки и ложатся рядами. Сенокос.

В полдень солнце стоит прямо над головой. Пестрые платочки женщин мелькают над лугами. Женщины из кооператива сушат траву по краям заболоченных канав, там, где Хольтен непременно увяз бы со своим ворошителем. Хольтен украсил машину букетами из лугового сердечника. И прихватил с собой в поле гармошку. Так ли уж он виртуозно играет на гармошке или просто ему чудится, что в один прекрасный день Мертке будет аккомпанировать ему на своей гитаре? Не в этом ли причина? Хольтен все еще не перестал бороться за некую пальму.

Остальные мужчины тоже вышли на косьбу, предводительствуемые капитаном Оле в кожаной фуражке. Только Тео Тимпе сюда не заманишь, дудки! Какое ему дело до грубых кормов? Он отвечает за своих коров, и баста.

Июньское небо высокое и ясное. Поет жаворонок, поет, взмывает вверх, поет, взмывает, превращается в поющую точку, увлекая своим пением косильщиц. Вот уже и Мертке заводит утиную песню Оле, и Софи Буммель гудит, и свинарка Хульда Трампель басовито подтягивает. Последним вплетается в песню чуть дребезжащее кудахтанье Эммы Дюрр.

Новая песня, состоящая из одной строфы. А деревенские песни должны быть длинные. Чувство требует широты и глубины.

Оле гордо расправляет плечи. Видно, кто-то думает о нем. Пусть этот проныра Хольтен мяукает на своей гармонике до второго пришествия. Все равно здесь поют песню Оле. А Хольтену пора смазать свою гармонь. Это же надо так фальшивить! Неужто он не слышит, что мешает поющей Мертке?

Гнездись скорее, белый гусь!
Заря в любом оконце.
Ушла зимы студеной грусть,
И пригревает солнце.
Вон пчелы над цветком гудят.
Стреми ж полет высокий —
Пусть желтый выводок гусят
— Весна! — галдит в осоке...

Итак, утиная песня обрела вторую строфу, похоже, что она выросла вместе с луговыми травами.

А небо все такое же ясное и высокое. Ни единого облачка, предвестника грозы. Но грозы порою разыгрываются и на земле, да, да, товарищи, на земле. Сперва они дают о себе знать легким посвистом в спицах бухгалтерского велосипеда, который мешается с прерывистым дыханием, характерным при нарушениях кровообращения. Потом как бы грохочет дальний гром: бухгалтер Бойхлер спрыгнул с велосипеда. Косцы поднимают головы: телится корова? Поросится свинья? Или где-то вспыхнул пожар?

Напыщенно-кислый Бойхлер не отвечает на шутки. Он как бы шагает по утиной песне.

— Председателя немедленно требуют в правление. Приехал Краусхар из района. И Симсон там.

Председатель не выказывает особого востроrа.

— Если Краусхару чего надо, пусть сам идет сюда.

Бойхлер носовым платком вытирает пот под рубахой.

— Я так ему и передам — на твою ответственность.

Спустя полчаса является совсем уже рассвирепевший Бойхлер. Этот чертов председатель хочет вогнать его в гроб! Краусхару надо немедленно переговорить с ним. Речь идет о новом сарае для уток.

Оле швыряет вилы на землю, так что зубья трещат.

— Что же мы, по-ихнему, холуи, что ли?

Он садится на мотоцикл и включает мотор. Синий дым из выхлопной трубы застилает луг. Герман Вейхельт молится, зажимая уши.

— Боже праведный, отпусти твоему заместителю этот грех!

А Эмма Дюрр, приметливая курочка, подталкивает локтем поющую Мертке.

— Сарай для уток — разве это не тебя касается?

Когда один человек хочет обратить в свою веру или совратить другого, он говорит. Атмосфера сгущается. Словесная туча застилает горизонт. Порою вдруг вылетит зажигательное слово, и туча разорвется, а в голове у слушателя запылает пожар.

Так было и в тот раз, когда Фрида Симсон накачивала Краусхара: «Оле, Оле, Оле, Оле...»

Уши у Краусхара были заложены, но вот в них проникло зажигательное слово — утки.

Краусхар совсем недавно соорудил для уток птицеферму, птицеферму районного значения, и сделал это не по собственной прихоти и не со скуки. Мыслимое ли дело при его многочисленных обязанностях добровольно взвалить на себя такую ответственность! Просто Краусхар получил директиву: переходите на птицу, с говядиной туго! Очень толковая директива.

Краусхар вызвал к себе бывшего сослуживца Шульца, страстного голубятника.

— Нам нужна птицеферма.

— А корма у вас есть?

— Ферма нужна, ясно?

Сперва у Шульца как бы заложило уши. Но потом сорвалось зажигательное слово — мастак.

— В утках ты мастак! — сказал Краусхар.

Шульц все еще сомневался, потому что у него никогда не бывало на руках больше двадцати уток.

— Ну и что? Долго ли выучиться? Квалификации нет, это точно, да ведь времени в обрез.

Шульц успел только на скорую руку прочесть «Руководство по успешному откорму уток» профессора Тимма, как все и началось. Прибыли утята.

По очень многим вопросам мнения ученых расходятся. Откорм уток не составляет исключения. Вышеупомянутый профессор Тимм придерживается, во всяком случае, следующей точки зрения — откорм уток рентабелен при соблюдении ряда условий, как то: 1) он не должен длиться свыше девяти недель; 2) в течение этих девяти недель уток не подпускают к воде; 3) купание производится единожды — перед тем, как забить уток. Тогда оно вполне желательно и способствует очищению перьев.

Точка зрения — она и есть точка зрения. Дурак тот, кто подпустит уток к воде. А Шульц Голубятник и Краусхар — отнюдь не дураки, и посему они принимают на вооружение теорию профессора Тимма.

Утиная ферма возводится на западной границе района, в безводной местности, где нет ни рек, ни озер. Кстати же, там живет и Шульц Голубятник. Здесь ни у одной утки не возникнет соблазна поплавать и понырять. Ни-ни!

Пять тысяч утят. Заметка в районной газете. В ней утята предстают перед читателями уже как взрослые, откормленные птицы, даже не птицы, а тушки, развешанные в мясных лавках. Но Краусхар покамест забил не уток, а только *перспективы, и перспективный* забой стяжал ему похвалы из округа за проявленную инициативу.

А тут этот чертов Оле суется не в свое дело. Дурью мучается человек! Чтоб утки плавали?! А жиреть они когда будут? Утки в открытом коровнике?

— Ну, мы ему дадим по рукам!

Воедино слились чувства, волновавшие Фриду и Краусхара. И вот они сидят, а против них стоит потный Оле — для специалиста интересный пример столкновения человеческих характеров. Разговор начинается в приглушенных тонах.

— Сколько телят ты вырастишь в этом году?

Оле называет цифру.

— А в плане сколько сказано?

— Ты меня не допрашивай, ты ведь знаешь мои намерения.

Разговор становится тоном выше. Краусхар не затем сюда пришел, чтобы толковать о чьих-то намерениях.

— Я тебя про план спрашиваю.

А Оле про план и толкует.

— Не изображай из себя склеротика,— говорит он Краусхару.

Вот он, тот самый тумак, о котором Краусхар некогда ходатайствовал перед друзьями. Но за это время Краусхар стал другим. И теперь он чувствует себя оскорбленным.

— Ах, так я склеротик? — переспрашивает он.— А ты дубина!

Открывается дверь, входит Мертке. К ее блестящей косе пристали соломинки. Луч солнца среди ненастья.

— За утками хожу я. Хотите их посмотреть?

Каких-то плавающих уток, которые объедают коров? Нет, Краусхар хочет видеть телят и коров-первотелок, а хлев продули, просадили, прохлопали, использовали не по назначению. И подумать, что этот Бинкоп еще сидит в районном собрании.

— На собрании я Ханзен, а не Бинкоп!

— Ну и что с того?

— А ничего! Только меня избирали в собрание за мою голову, а не за мою задницу.

И грянул гром.

Симсон строчит в своей тетради. Воцаряется тишина. Бойхлер вынимает вату из ушей — ему послышался какой-то шум, шум дождя.

30

Мертке говорит, что ей нужны возки для кур.

— Что такое возок для кур?

— Просто телега, на которой можно перевозить петушков и молодок.

— А зачем?

— Их можно будет вывозить на жнивье, пусть побегают.

— Разве куры — перелетные птицы?

— Нет, но они будут подбирать зерно, а сэкономленный корм можно отдать утятам и обеспечить им первые недели жизни. Вот и все.

От гордости Оле становится выше ростом. Почему, собственно? Он, что ли, додумался, как добыть окольным путем корм для утят? Нет, Мертке додумалась. А разве Мертке его дочь? Тс-с-с! Такая находчивая, такая чудная девушка! Ту-ру-ру-ру!

А телеги где взять? Они должны быть дешевые, почти даровые. Мертке рассчитывает на старые телеги, а прежде всего на помощь Оле.

Для Оле такое доверие заменяет мотор в три лошадиные силы. Разве он может обмануть надежды Мертке? И находчивость у него осталась прежняя, как в ту пору, когда он собирал навоз для «Цветущего поля».

У Барташа Оле разжился тележной рамой, в амбаре бывшей Рамшевой усадьбы откопал две старые телеги, затем перерыл всю мастерскую тележника и после работы стал на себе перетаскивать колеса, оси, доски и жерди. Вскоре перед воротами риги выросла куча всякой утвари.

Пришла Мертке, захлопала в ладоши.

— Ой, как здорово!

Оле в смущении поднял ось вместе с колесами высоко над головой. Острой необходимости, да и вообще надобности в этом не было, но он не знал, как иначе дать выход распиравшему его счастью.

И снова мужчины из «Цветущего поля» трудятся вечерами после рабочего дня, но на сей раз Оле не отстает от них и уж никак не стоит в стороне. Даже Мампе Горемыка, и тот вносит посильную лепту — прямит старые гвозди, чтоб их можно было пустить в дело.

До звезд стучат молотки и ухают топоры. Даже по воскресеньям в кооперативе не перестают строгать и клепать. В результате — жалоба Серно на осквернение молитвенного благочестия.

Оле обтесывает доски. И не огорчается, когда Мертке пособляет ему в работе. Все новые и новые идеи расцветают в голове у рьяного плотника при свете заходящего солнца. А не устроить ли на одном из возков кабину для сопровождающего и чтобы там можно было полежать и отдохнуть?

— Ой, как здорово,— щебечет Мертке, и губы ее, то ли случайно, то ли умышленно, оказываются совсем близко к Оле, ближе и не бывает. Ему чудится, что прохладная от утренней росы земляничка скользнула по его седому виску. Сердце отстукивает польку! Господи боже! Оле хватает молоток и наспех вколачивает несколько гвоздей только для того, чтобы заглушить стук сердца, потом снова берется за рубанок. Кабина с постелью — это что! Если он окончательно рехнется, то и стол там еще приладит.

— Стол? Да что ты говоришь! Только если Краусхар заберет уток, все это не имеет смысла.

Заберет уток? С луны Мертке свалилась, что ли? Пусть тот, кто посмеет до них дотронуться, наденет сперва штаны потолще. Не о чем и говорить. Оле дует в рубанок, так что разлетаются стружки, а про себя вспоминает прохладное прикосновение землянички. Место это покраснело. Ну и ну! Неужели человек глупеет с годами? Ту-ру-ру-ру!

Так ли, иначе ли, но в присутствии Мертке этот пентюх Оле объясняется высоколитературным слогом. Подумать только! Он начал ежедневно бриться, он даже повязывает на шею шелковый платочек — видел, что так ходят районные франты.

Конечно, помнить при таких обстоятельствах про Эмму ему не с руки. Домой он приходит поздно. Эмма в одной рубашке и с распущенной косичкой встречает его.

— Мы часом с тобой не поженились?

До Оле не доходит смысл ее слов.

— Я ищу свой летний платочек, прямо обыскалась, а он, видите ли, красуется на твоей волосатой груди!

Оле краснеет, как упомянутый платок. Эта тряпица валялась безо всякого толку. А теперь Эмма берет ее двумя пальцами, как чужой засморканный платок, и уносит прочь. Нет, у Антона никогда не было такой буйной растительности на груди.

Подходит лето. Небом завладело солнце. Поутру из леса доносятся последние зовы кукушки, а вечерами небо над лесом долго не темнеет. Кругом растекается легкий аромат зреющих хлебов.

Однажды в деревню прибывает комбайн. Современный бронтозавр пасется на бывшем пустыре. Лет семь назад здесь бродили гуси, овцы и козы, с блеянием и гоготом щипали сухую траву. А теперь гигантский ящер слизывает своим волнистым языком наливные колосья. Он пропускает добычу сквозь свое тело, проталкивает ее через свои короткие железные кишки, встряхивает, выбирает зерна из колосьев, отделяет их от соломы и мякины и, наконец, выплевывает: в одну сторону — зерно, в другую — солому. Вполне современный зверь, он облагораживает съеденное и затем возвращает, как повелел ему человек, его творец.

Карл Крюгер осматривает выпотрошенные колосья. Редко-редко попадется среди них зернышко.

— Да, вот это обмолот!

Оле подставляет руку под струю полновесных зерен.

— Здорово!

Рокот, посвист, стук.

Оле вспоминает годы, когда он махал косой, обливаясь потом, и подыхал от жажды. Это было еще во времена Аннгрет. Воспоминания не из сладких. Оле на мгновение останавливается, жует нагретые солнцем зерна, покачивает головой и глядит на солнечное марево; там, где шумит комбайн, ему видится целая фабрика на колесах, мукомольная фабрика, размерами с горный транспортер. Фабрика ползет по полю, а вокруг ни души, лишь через равные промежутки времени из специального люка вываливается уже запечатанный мешок муки — и сразу в железнодорожный вагон. Что это? Фата-моргана?

Что такое? Через поле едет на тракторе Хольтен, а Мертке стоит позади и крепко держится за его плечи. Все, нет больше фата-морганы!

Со всех сторон бегут люди. Уборка прекращается. Сейчас начнется цирк. Все кричат, машут, свистят. Трактор-тягач весело тявкает. Пахнет соляркой и потом. Гогот, кудахтанье, галдеж внутри возка. Куры надрываются, как в те далекие дни, когда Оле и матушка Нитнагель «обобществляли» первых кур.

Чтобы развезти по жнивью три возка, надо немало времени. Младенчески голубые глаза Хольтена сияют. Хитрые глаза. Уж не завоевал ли он пальму?

Мертке ходит от возка к возку и открывает дверцы. Снегопад в ясный день. Какое-то мгновение куры бестолково мечутся, крича и хлопая крыльями, потом склоняют головы к земле. И вот уже мерно застучали клювы. Начинается куриный праздник.

Карл Крюгер снимает пропотевшую шапку. На сей раз перед Мертке. А та кланяется — словно балерина благодарит за аплодисменты. Повода для ревности в этом нет. Более того, Оле и сам хочет выразить Мертке свое полное и безоговорочное одобрение, но в этот момент он слышит, как кто-то пыхтит у него за спиной. Это Бойхлер заявился на поле, обливаясь потом.

— Оле, срочно гони в Майберг. Тебя вызывает сам Вуншгетрей.

31

Земля кружится в мировом пространстве. Существует один общий закон: давление передастся через атмосферу.

На первого секретаря Герберта Вуншгетрея оказывают давление. Формула давления выведена черным по белому. «До каких пор Майбергский район намерен зажигать красный свет на путях увеличения поголовья?» — пишет окружная газета. Перед мысленным взором секретаря встает большой фонарь с красным стеклом, и болтается этот фонарь на хвосте у коровы. Впереди шагает стадо окружных коров, а сзади, припадая на все четыре ноги, плетется с фонарем корова Майбергского района.

Мучительное видение для секретаря, ибо Вуншгетрей уже давно решил стать достойным товарищем. Это намерение не выжжено огненными буквами в мозгу Вуншгетрея, как говорится в романах, правильнее будет сказать, что оно вмерзло в его мозг.

Случилось это под Сталинградом. Вуншгетрей вместе с другими солдатами был зажат в огромном кольце. От своеобразного забытья его разбудил не дружеский толчок, как Оле, а собачий холод. Сидели они, ждали, когда прорвут кольцо, когда придет окончательная победа, а солдатские пайки усохли тем временем до такой степени, что могли бы среди зимы исторгнуть слезы у любого уважающего себя берлинского воробья. Хорошенькие, одетые под сестер милосердия барышни, которые перед отправкой на фронт обносили солдатиков горячим бульоном и дешевыми сигаретами, разыгрывая чувствительные сценки под названием Народное единство, теперь ангелочками являлись в солдатских снах.

Солдаты в снежных окопах раздували своим слабым дыханием каждую искорку надежды и пытались как-то согреть друг друга, если считать, что ледышка способна кого-то согреть. Кто сидел на корточках, кто лежал скрючившись. В них еще вспыхивали порою искры жизни, словно в лампочке перед тем, как сядет батарея, и ни один не догадывался, что те самые девушки, держа в дрожащих руках газеты, уже славили их как *павших на поле чести героев. Гордая печаль* — иначе не скажешь!

Вуншгетрей сидел в снежной яме со Штошем и Киншем, лучшими своими друзьями. Над головой у них вместо крыши был кусок плащ-палатки. Они сидели, ждали, молчали. Все уже было давно переговорено. И какие у каждого из них перебывали девушки, и что каждый из них с ними делал — все это было давным-давно увековечено в длинных рассказах, некоторым образом израсходовано, как запасы света и тепла, и так знакомо, словно не один, а все трое переспали с каждой из них.

Потом друзья повздорили. Они не могли достигнуть единства в вопросе, как лучше есть картошку — если она вообще когда-нибудь попадет им в рот — с кожурой или без оной. Вуншгетрей высказался за очи-

щенную, Штош и Кинш — против. По обычному времени — разногласие смехотворное, но здесь, в окопе, оно привело к яростному спору.

Все трое скалились друг на друга, как голодные волки, потом Кинш полез из окопа — подошла его очередь.

Вуншгетрей и Штош лежали скрючившись и ждали. Чего — они не знали сами, но искра надежды теплилась в них.

Кинш рыскал, как дикий зверь, в поисках съестного. Через полчаса зверь, а в прошлом бравый немецкий солдат, который некогда чеканным шагом вышел из Бранденбургских ворот, свалился обратно в нору. Взгляд у него за время отсутствия стал более осмысленным. Вуншгетрей и Штош подняли головы: «Ну что?»

Воротившийся Кинш запустил свою отмороженную руку в карман и застонал. Трижды проделывала его рука этот мучительный путь. И каждый раз она возвращалась с добычей: три гинденбурговых светильника. Обнаружены в заднем кармане бывшего каптенармуса, который в процессе мочеиспускания упал и замерз неподалеку от их норы.

— Приступ почечной колики! — заметил Штош, и это прозвучало, как краткое извещение о смерти. Вот и все. Не вспыхнул над солдатской могилой огонь трех залпов, как это изображают на трогательных открытках полевой почты.

В снежной норе под номером пять тысяч плюс икс, где икс означает черт знает сколько, начался пир. Кит, пойманный в мирное время тремя рыбаками, был бы ничтожной добычей по сравнению с гинденбурговыми светильниками, которые достались трем солдатам. Светильники давали ворвань, тепло, свет и небольшое количество надежды в качестве побочного продукта горения.

Мгновение стояла тишина, но все трое чувствовали, что они пялятся в темноте друг на друга. «Сейчас!» — сказал Штош. Ничего больше. В эти дни все трое экономили даже слова! Они приканчивали НЗ горючего.

Сейчас! Понимай так: сейчас можно зажарить припасенный кусок портупеи. Этот сладкий миг уже не раз мерещился им в голодных снах.

И они зажарили портупею в самодельной сковороде — в куске изогнутой жести. Кожа портупеи, очищенная от гуталина, напиталась стеарином и ворванью и начала шипеть. А трое солдат использовали выделявшееся при этом тепло и освещение для задуманного пира.

Партия в карты при праздничной иллюминации не бог весть какое чудо, но карточные фигуры несли привет с родины. Игральные карты и тюрингская колбаса! Все это было когда-то.

Вуншгетрей остерегался поднимать глаза и глядеть на то, что именовалось крышей. Хаотические пятна красок вызывали у него тошноту. То ли от повышенной чувствительности к цвету, то ли просто от голода в теле горело и щипало, дергало и сосало. Этим и кончилось. Желудок Вуншгетрея давно уже не мог позволить себе такую роскошь, как рвота. Но ему было очень плохо.

— Ну! — сказал Кинш.

Все трое отложили карты. Они хорошо усвоили значение короткого слова «ну!». Каждый получил точно отмеренную порцию жареной портупеи на крышке от своего котелка.

Они нарезали шкварок из подсушенной на огне портупеи, долго грызли первый кусок и проглотили, так и не сумев его разгрызть. Третий и четвертый они уже глотали не мешкая, так что их языки не успевали распробовать вкус ворвани и стеарина. Они загасили огонь, чтобы приберечь его для другого случая. И последние шкварки доели в темноте. А остатки тепла использовали для игры в карты. Да, да, они играли без света, ибо если чему-нибудь и научились за время своего пребывания в яме, то именно игре в карты на ощупь.

Они играли, как сытые немецкие пивохлебы по воскресеньям. Скоро в яме поднялась вонь — словно от тухлой рыбы.

«А как же иначе, странно, если бы здесь лучше пахло»,— подумал Вуншгетрей.

Карты были мечены по определенной системе. А кончики пальцев у трех обитателей ямы приобрели благодаря тренировке высокую чувствительность и ясновидение иллюзиониста. Они вслух называли карту, с которой ходят. Игра ладилась, это вносило даже известное оживление, и каждый собирался с остатками солдатской и товарищеской чести, чтобы не обманывать партнеров.

Когда играли десятую партию или что-то около того, Вуншгетрей заметил, что Кинш второй раз кроет трефовым тузом. Он ощупал карту.

— Ты ошибся, трефовый туз давно вышел, а это червонный валет.

Кинш зачавкал в темноте. Наверно, от смущения, решил Вуншгетрей. Игра возобновилась. Но через некоторое время Штош после долгого колебания вторично пошел с дамы бубен. Вуншгетрей не вытерпел:

— Ну, если вы надумали жулить...

— Чего, чего? — Штош с чавканьем очнулся от забытья. Кинш поспешил к нему на выручку:

— Ты ошибся, это трефовый валет...

Чавканье возобновилось:

— Угу, валет!

— Жулите, значит? Неужто мы так низко пали? — Вуншгетрей не захотел продолжать игру. Он собрал карты, опустил на уши клапаны шапки, сунул ноги в вещмешок, завернулся в одеяло и заснул.

Ночь миновала, Вуншгетрей проснулся от холода. Крыша была сдвинута в сторону. Виднелся кусок неба, серый и треугольный, как кусок торта. Чья-то невидимая рука сыпала на мир сахарную пудру, пудра сеялась сквозь молочную серость небесного торта и падала в яму. Вуншгетрей был в яме один. Неужели он так крепко заснул после ужина, что проспал и прорыв кольца и окончательную победу? Пусто, как в мешке. Вуншгетрей закричал и с криком вылез из ямы.

Наверху все было как всегда. Над соседней ямой вилась тонкая струйка дыма. Вуншгетрей задрожал от радости, побежал на дым и споткнулся о труп. Он смел снежок и на него глянуло искаженное лицо Кинша. Один глаз у Кинша был открыт, другой чуть прищурен, словно Кинш собирался подмигнуть кому-то.

Чуть поодаль Вуншгетрей наткнулся на Штоша, тот лежал ничком, уткнувшись в снег. Не чувствуя холода, Вуншгетрей перевернул тело. На подбородке у Штоша виднелись примерзшие следы рвоты — как всклокоченная борода.

Вуншгетрей прокричал весть о смерти в соседнюю яму, но оттуда ответили только:

— Ну, ну, не поднимай шума.

Обеспамятев от горя, Вуншгетрей вернулся к своему окопу, упал на землю, съехал вниз и задел ногой за припорошенную снегом плоскую банку. Он поднял ее без всякой задней мысли, просто потому, что был одинок, растерян и бесконечно удручен смертью лучших своих друзей.

Банка из-под сардин в масле. В банке еще оставалась капля застывшего масла, вонявшая так, что эту вонь не мог перебить даже мороз.

Вуншгетрей вздрогнул — так пахло у них в яме минувшей ночью. Он ощупал пальцами вспученное дно банки, вынутой из кармана замерзшего каптенармуса.

— Ага! — закричал он, почти теряя рассудок.— Ага-а-а!

Тоска по павшим друзьям иссякла: значит, минувшей ночью Штош и Кинш во время игры приложились к этому вонючему древу жизни.

Ха-ха! Они хотели выжить. А его не включили в список! Спор о том, как лучше есть картошку! Эге-гей! Выше бокалы! Да здравствует фронтовое товарищество! Да славится мудрость бедламов!

32

Кто пережил такое, а потом, в плену, обул валенки и каждый день получал свою пайку хлеба и каши, тот охотно слушает, когда ему объясняют причины войны. И тем охотнее — когда ему говорят, как хороша может быть жизнь при наличии известных предпосылок, причем не на небе, а еще здесь, на земле.

А тот, кто как следует все это усвоил, тот старается хорошенько вычистить свой котелок, выкуривает из него все лишнее, выгребает из углов отбросы классово чуждой идеологии и не только в пору — как бы это выразиться — переоценки ценностей, не только на глазах у советских учителей, в антифашистской школе, но и потом.

Окружная газета, пусть даже не в лоб, но довольно прозрачно намекнула, что, мол, в районе не все обстоит благополучно, не исключено даже, что и сам Вуншгетрей недостаточно сознательный член партии.

Противники Вуншгетрея, к примеру, видели, как он высокомерно усмехается, а это всего-навсего нервически подергивался шрам, скреплявший черты его лица, словно брошка. Вуншгетрей созвонился с Краусхаром.

— Что происходит? Что это за разговоры о красном свете?

Краусхар еще не накапал на Оле Бинкопа, этого непрошибаемого упрямца. Он хотел жаловаться сразу после стычки из-за уток, и еще как хотел, но убоялся встречных вопросов секретаря: «А ты что сделал, дорогой товарищ? А не твоя ли это ошибка?»

Но после этого звонка все предстало перед ним в новом свете. У Краусхара потребовали объяснений по поводу недостаточного увеличения поголовья. И он не видел причины щадить Бинкопа.

Секретарь райкома предложил Краусхару, Фриде Симсон и Оле явиться к нему в тот же день после обеда. Все. Трубка повешена.

В тот же день после обеда.

Оле явился пыльный и потный, прямо с поля. «Все, как один, на уборку урожая!» — призывала районная газета.

Краусхар, Симсон и Оле расселись в приемной секретаря, точь-в-точь как стороны перед началом судебного заседания. Краусхар изучает циркуляры, Оле выколачивает трубку, Фрида перелистывает свою черную тетрадь. «Все, как один, на уборку урожая!»

Вуншгетрей отодвигает кресло и пересаживается за малый заседательский стол.

— Надеюсь, все в курсе? Пусть Краусхар доложит и объяснит.

Краусхар докладывает обстоятельно и с перестраховкой. Инстинкт самосохранения. Мягкое кресло полезнее для почек, чем сиденье трактора. Доклад идет по схеме: сперва об успехах сельского хозяйства в районном масштабе. Даже очень сомнительная птицеферма для уток заносится в список успехов. Вперед, к новым успехам! Но следует отметить, что наряду с этим... недостатки... трали-вали, вы же знаете... Недостатком, к примеру, можно считать замедленные темпы увеличения поголовья. Краусхар сумел привлечь здоровое пополнение из других широт — он выписал шведских коров. Район может незамедлительно получить шведский скот, но как и куда прикажете его ставить, если люди возражают?

— Это кто же возражает?

— Да хотя бы Бинкоп.

Вуншгетрей улыбается:

— На каком основании, товарищ Ханзен?

— Известно на каком.

Симсон победоносно:

— Товарищ Вуншгетрей! Позволь мне как представительнице местных органов власти дать необходимые объяснения! — И далее Фрида констатирует недостаток доверия по отношению к государственному аппарату со стороны товарища Ханзена. Фрида листает свою тетрадь: вот, к примеру, его высказывания...

Черная тетрадь Симсон заворожила секретаря... Случилось это еще до того, как он приехал в Майберг первым секретарем. Он был тогда вторым секретарем в одном из северных районов республики, и у них разбиралось дело одного продавца из книжного магазина. Продавец, старый член партии, утверждал, что не все новые советские книги одинаково хороши.

Ну и удар для Вуншгетрея: старый член партии — и вдруг вражеские взгляды. А до сих пор все старые партийцы представлялись ему героями, образцом, достойным подражания. Итак, друг против друга стоят герой со своим опытом и Вуншгетрей, отягощенный грузом прошлых ошибок.

Товарищ из книжного магазина в подтверждение своих слов сослался на один новый советский роман. Что правда, то правда — это был далеко не шедевр.

Бурное собрание партактива. Вуншгетрей без устали строчит в своей черной тетради. Ночью он не может уснуть. Он отвечает за исход собрания, он должен сделать доклад. Должен защитить советского человека, защитить друзей и книги друзей, которые спасли его от смерти, открыли ему глаза.

Похоже, что Вуншгетрей недаром подвергал сомнению моральный облик старого члена партии: товарищ из книжного магазина провел годы *большой войны* в Англии, в эмиграции. Не исключено, что именно там в него проник классово чуждый дух сомнения. Кроме того, он, как выяснилось, регулярно получал открытки из Чехословакии. Эти открытки — несколько размашистых строчек — не содержали ничего, кроме безобидных приветов, и всегда были подписаны одним и тем же именем: Ганс. Подозрительно. Продавца из книжного магазина арестовали.

А Вуншгетрея после этого перевели в Майберг: сменить на посту прежнего секретаря Карла Крюгера.

До сих пор послевоенная судьба Вуншгетрея складывалась вполне благополучно: истина была истиной, а ложь — ложью. Все казалось неколебимым и неизменным. Историю советских коммунистов Вуншгетрей знал назубок. Это с него спрашивали, да он и сам к этому стремился. Он изучил биографию человека по имени Сталин. Он сроднился с этой книгой, покуда в году тысяча девятьсот пятьдесят шестом она некоторым образом не вывалилась у него из рук.

Что же теперь? Остался ли на свете хоть один человек с нормальными пятью чувствами? А у этого человека — голова? И в голове — мозги?

Вуншгетрей вконец извелся. Он был не из тех, кто с воплями бегает в поисках совета; он побывал в сталинградском котле и повидал много чего пострашнее.

На совещаниях районных секретарей он убедился, что другие уже вполне справились со своим разочарованием. Не разводить ошибочных дискуссий! Вперед! Пожалуй, так оно и лучше, ведь земля не выглядит серой, а напротив, сверкает летними красками.

Вуншгетрей представляется себе колоском, стоящим на краю

поля, у самой дороги. Колосок рос и наливался, но вдруг налетела буря и надломила его. Дождь прибил его к земле. Значит, конец? Нет, в один прекрасный день наиболее гибкая часть стебля распрямляется, пытаясь снова подставить колосок солнечным лучам. И снова стоит колосок с надломом — с надломом, но не пустой, не совсем пустой.

Одно лишь постоянно гнетет Вуншгетрея — судьба того старого члена партии, которого он в свое время из лучших побуждений закатал в тюрьму.

Герберт Вуншгетрей места себе не находит. Он едет, наконец, в район, где работал раньше, отыскивает адрес того старого товарища, но встречает только его жену.

А куда делся он сам? Умер, не в тюрьме, правда, а позже, когда его уже освободили. Никто не мог доказать, что он усвоил где-то вражеский образ мыслей. А критика советской книги — это отнюдь не вражеский выпад, скорей, наоборот. Вуншгетрей теперь это тоже понимал, но что толку? И ни к чему не приводили попытки убедить себя самого, что товарищ умер от старости, а не от потрясений.

Вуншгетрей заплакал самыми настоящими слезами. Не перед женой умершего и не перед собственной женой, а у себя в кабинете, предварительно заперев дверь. И плакал он не так, как плачут дети,— из его груди вырывался сухой хрип, без слез.

Где он постиг искусство черной тетради? Если покопаться в памяти, он овладевал этим искусством на окружных совещаниях. Черная тетрадь помогала прекращать нежелательные дискуссии и действовала посильней убедительных доводов. Достаточно было бросить пристальный или многозначительный взгляд на неуемного спорщика, склониться над черной тетрадью и сделать в ней какие-то пометки, чтобы дискуссия вошла в берега. Может, это и был самообман, но самообман общепринятый.

Вуншгетрей сжег свою тетрадь, где, вероятно, упоминался и Оле Бинкоп. Он навсегда возненавидел всякие тетради. К чертям их! У человека должны быть голова и сердце!

А тут перед ним сидит эта Симсон, убежденная в собственной непогрешимости, и зачитывает выдержки из черной тетради. Такова ирония судьбы! Ведь если вдуматься, она научилась всему этому у Вуншгетрея. Секретаря душит отвращение, но он берет себя в руки и не выставляет ее за дверь.

— Оставьте нас вдвоем.

Симсон несколько раздосадована — Вуншгетрей лишил ее удовольствия. Сейчас председателю намнут его упрямую башку, а она ничегошеньки не увидит. Фрида подмигивает Краусхару. А тот думает про утиную ферму.

33

Оле ходит взад и вперед, взад и вперед по кабинету. И Вуншгетрей тоже не садится в кресло, как делает обычно, когда к нему является посетитель. Он тоже ходит по кабинету. Занятная пара!

— Товарищ Ханзен, изложи мне суть твоих сомнений.

Дружеский тон сбивает Оле с толку, а впрочем, чего ему бояться? Намерения у него хорошие, против увеличения поголовья он не возражает, он только настаивает на соблюдении разумных темпов: параллельное расширение стада и кормовой базы. Осушить луга, избавить их от закисленности! Улучшить почвы! Зеленый корм! Партия и окружной секретариат должны не только приказывать, но и помогать. Вот ему, к примеру, позарез нужны экскаватор, вагонетки, рельсы. Он хотел бы разработать мергельный карьер и увеличить плодородие всех окрестных лугов. Но без помощи окружного секретариата ему не обойтись.

И тот и другой все еще мерят мелкими шажками бурый кокосовый половик. За открытым окном, в листьях каштана запутался летний ветерок.

Вуншгетрей обдумывает предложения Ханзена. Он чувствует, что с двух сторон две разные силы зажали его в тиски.

Это было после тысяча девятьсот пятьдесят шестого. Когда Вуншгетрей усвоил: настоящий член партии не слепо выполняет указания, а продумывает их. И если он все свои возражения — или того хуже — соображения складывает в ящичек, обитый изнутри драгоценным преклонением перед опытом старших товарищей, это далеко не всегда идет на пользу партии.

Но усвоить — это одно, а применить на практике — совсем другое. В последние годы много говорилось и писалось о повышении урожайности. Вуншгетрей советовался со знающими агрономами относительно повышения урожайности в своем районе.

— Для этого нужно время,— сказал один.

Время и расстояние — страшные слова для революционера. Вуншгетрей снова настроился подозрительно. Время — это звучит как-то реакционно. Время — так перед округом никогда не отличишься.

Специалист настаивал на своей точке зрения. Он доказывал секретарю, что урожайность с каждым годом снижается из-за ложного подхода к статистике, к соревнованию, к темпам.

Неужели добрые намерения и рвение могут снизить урожайность? На взгляд Вуншгетрея, дальше идти некуда, это крайние, чтобы не сказать архиреакционные, взгляды.

А специалист стоял на своем:

— Взгляни и убедись.

Поздней осенью, во время пахоты, Вуншгетрей выехал с агрономом на поле. Земля была сырая. И секретарь мог видеть, что хотя лемеха плуга рыхлят почву сверху, подошвы его одновременно разглаживают ее снизу будто гумно, цементируют ее.

— Вот, полюбуйся,— сказал агроном.— Гумно, да и только. Все утрамбовано. Это гумно летом отрезает корни растения от грунтовых вод, а мы каждую осень повторяем то же самое.

Вуншгетрей стал прикидывать: а разве обязательно каждый год проводить вспашку на одинаковой глубине? Надо же как-то разрушить пресловутое гумно. В эту осень Вуншгетрей не давал себе ни отдыха, ни срока, ездил из одной МТС в другую, следил, чтобы вспашка проводилась достаточно глубоко, чтобы можно было покончить наконец с обезвоживанием почвы. Завидев секретаря, трактористы бранились на чем свет стоит. Поди изловчись при таком контроле выполнить норму и победить в соревновании!

Секретарю удалось все-таки добиться, что по его району вспашка в общем и целом проводилась достаточно глубоко. Он обеспечил растениям приток грунтовых вод, зато себя самого никак не обеспечил: по осенней пахоте его район занял последнее место. В окружной газете появилась карикатура: тракторист сидит на улитке и спит сладким сном. «Майбергские темпы».

В последующие годы у Вуншгетрея просто руки не доходили до осенней пахоты. Пришлось пустить все на самотек. Район занял третье место по округу. Ругать его перестали. Статистика и темпы соревнования взяли верх над Вуншгетреем.

И вот Оле Бинкоп расхаживает по его кабинету. Он опять ерепенится и требует разумных темпов в увеличении поголовья. С его доводами трудно не согласиться. И, кроме того, Оле — это вам не первый встречный. Малый он, конечно, непокладистый и неуживчивый, но зато ведь передовик, инициатор. Итак, может ли Вуншгетрей проникнуться

взглядами Оле и противопоставить их точке зрения товарищей из округа?

Он еще раз пускает в ход привычные аргументы: больше молока, больше мяса для республики, и все это — ускоренными темпами.

Оле не лезет попусту в бутылку. Он со всем согласен. Пожалуйста, «Цветущее поле» готово принять еще двадцать, даже тридцать коров, но при условии, что их обеспечат кормами.

Вуншгетрею только этого и надо.

— Стало быть, ты возьмешь тридцать коров?

— Без корма ни единой.

И опять все начинается сначала. Фриде Симсон и Краусхару, что сидят в приемной и ждут приговора над Оле, предоставляется редкая возможность упражнять свое терпение.

Наконец Вуншгетрей и Оле приходят к соглашению. Это не мирный договор, отнюдь нет, но, по крайней мере, Оле дает согласие принять тридцать коров-иностранок. А Вуншгетрей со своей стороны обязуется исхлопотать для «Цветущего поля» экскаватор, узкоколейку и дополнительные лимиты на корма. При этом секретарь райкома думает о скрытых резервах. Не могут же там, наверху, требовать молниеносного увеличения поголовья, не располагая достаточной кормовой базой. Ему удается заразить своим оптимизмом даже Оле.

34

Новолуние. Мертке сидит на ступеньках перед будкой куриного возка. К ней подсаживается Мампе Горемыка. Ох уж эти безлунные ночи! Хоть сдохни, никак не уснешь, самое милое дело податься в ночные сторожа. А Мертке пусть идет домой и ложится спать. Уж как-нибудь Мампе Горемыка убережет ее костлявых питомцев. Огреет дубинкой каждого, кто польстится на даровую курятину.

— А ты мне четвертинку за это поставишь, идет?

Но у Мертке нет при себе четвертинки. И не станет она добывать выпивку для Мампе. Она уже пила однажды шампанское. В Берлине. Вспомнить — и то противно.

— Ты пила шампанское? — Вот уж чего Мампе не ожидал. Такая ласточка-касаточка, и вдруг шампанское. А Мампе разбирается в птицах. В молодые годы при нем была одна такая птичка-голубка.— Раньше я был трезвее двух пасторов, вместе взятых. Увижу бутылку, нарисованную на *пликате,* меня и то с души воротит. Да тут вмешалась судьба. Никогда не знаешь, где она тебя подстерегает. И под каким обличьем. Ко мне она явилась под видом инспектора, который заприметил мою жену. И увел от меня эту голубку.

Сперва она ходила по ягоды. Потом по грибы. Потом по дрова. Я сидел на своем портняжном столе и, знай себе, шил. А жена нанесла во двор кучи хвороста и валежника, настоящее аистиное гнездо. Гнездо для птенцов, думалось мне, потому что живот у нее становился все больше.

«Господь благослови тебя, моя голубка. Как мы назовем того, кого ты носишь под сердцем?».

Она не ответила.

«Без имени оставим?»

«Да».

А потом стала разговорчивей. И тут я узнал, что ребенка дарует нам судьба. И что эта судьба носит высокие сапоги и суконную куртку.

Я налетел на судьбу и обозвал ее сволочью, и тогда судьба отвратила от меня лик свой. Это куда хуже, чем ее удары. Заказов не стало, шить нечего — ни грубошерстных костюмов, ни рейтуз для верховой

езды, ни визиток, ни жилетов. На помещичий двор заявился бродячий портной. Он шил для господ, для инспектора, для учеников, даже крестьяне отступились от меня по знаку той же судьбы. Господь да обрушит на них дождь нечистот!

Деревянным метром я сметал паутину с портняжного стола. А иголкой ковырял в зубах. Довели!

Кажется, хватит? Не тут-то было, ты еще не знаешь, что такое судьба! Поздней осенью моя голубка снова пошла по дрова. И не вернулась. На озере — там, где теперь плещутся твои утки, судьба столкнула ее в воду. Мы искали ее целую неделю, ее и дитя без имени.

Но тут наконец судьба сжалилась надо мною. Она послала мне запой. И он закалил мое больное сердце.

А в один прекрасный день судьба обернулась зачатым от сифилитика сыном лесопильщика и в этом обличье сказала мне:

«Возьми обед Антона Дюрра — был у нас такой — и положи его под определенное дерево!» Эй, девочка, ты слушаешь или уже заснула?

Мертке слушает. В три уха.

— А ты что ответил?

— Я не согласился бы даже за пять тысяч марок. Раз в жизни я не выполнил требования судьбы.

— А кто же это сделал вместо тебя?

— Сама судьба.

— Ну а теперь, дядя Шливин, вы поладили с судьбой или еще нет?

— Теперь у нас тишь да гладь. А я давно лежу на дне. Судьба меня и знать не хочет. Ты хоть раз видела, чтобы судьба обрушилась на кротовый холмик?

Вот сидит Мертке, и жизненного опыта у нее на грош; хотела бы она его утешить, да не знает как...

Оле возвращается из Майберга. Фары его мотоцикла вырывают из мрака беленые стволы придорожных деревьев и снова отбрасывают их в сонную темноту.

Он останавливается у сжатого поля, а машину ставит в канаву. Мало-помалу в забитые грохотом уши проникает песня цикад. Кузнечики тоже стрекочут, оркестр летней ночи играет на полную мощность. Оле наперерез идет через поле — посмотреть, много ли успел наработать комбайн после обеда. По дороге останавливается у первого куриного возка, прикладывает к стене ухо: молодки чуть слышно кудахчут во сне. Полный порядок под дегтярно-черным небом.

Мертке свернулась клубочком в своей будке. Мампе ушел. Она его утешила, как умела: «Судьба ходит, судьба водит, судьба песенки поет!»

Мампе смеялся: «Водка иссушает, водка оглушает, водка утешает, эх ты, ласточка!»

Наверно, Мертке в самом деле ласточка, и больше ничего. Она лежит, отгоняет страх и пытается уснуть. Ее вспугивает чей-то крик: «Ух-ух!» Она закусывает губу. Ей вспоминается смешное наставление учителя Зигеля: все люди, которые сумели чего-то в жизни достичь, шли от известного к неизвестному. «Ух-ух!» Мертке вспоминает красочное описание крика хищных птиц, вычитанное у Брема. Но там мертвые буквы, а здесь сама жизнь. «У-ух!» Она откидывает одеяло, бросается к двери. Сова бесшумно улетает прочь.

Мертке садится на ступеньку и слушает большой летний оркестр... Вот она плывет в лодке по озеру. Волны поблескивают (а как же им не

блестеть, когда солнце?). Вдруг все темнеет (как в плохом фильме). Слышен свист. Туча опускается на озеро — тысяча уток (никто их не пересчитывал, но их ровно тысяча). Утки, белые, черные, рябые, зеленые даже (во сне только так и бывает).

И снова озеро залито солнцем. Поблескивает утиное оперение. Из камышей выходит Оле. Ур-ра! Утки вернулись!

«Наши утки»,— слышит Мертке собственный шепот. Оле берет ее на руки (как же так, почему она не сопротивляется?). Дышать легко, исчезли ночные страхи — как у ребенка.

Шорох в камышах. Судьба идет! (Нет, про это рассказывал Мампе Горемыка.) Судьба — это женщина, и тело у нее из тумана (как можно так жить?). А волосы у нее, как пушица (про это рассказывала ей Эмма Дюрр). Сердце у женщины из янтаря и свободно болтается на груди — на серебряной цепочке (непонятно, как же так?). Мертке пожимает руку Оле (ей давно уже хотелось пожать его руку). Судьба на цыпочках подходит ближе. «Мертке, это ты?» Мертке вскрикивает, и, соскочив с лесенки, убегает.

Оле стоит на лугу под липами и смотрит на домик Нитнагелей, ждет, когда погаснет свет в окошке у Мертке. Из-за синей стены соснового бора выплывает новый день. Сова возвращается на свою колокольню.

35

Занимается новый день осенней страды. Оле идет за своим мотоциклом. Он бросил его ночью в придорожной канаве. Мотоцикла нет. Масляное пятно на траве осталось ему как последний привет.

Молодняк нынче сытехонек. Без забот, без тревог. Коровы набили свой сычуг наливным овсом. Пастух в это время занимался другими делами. Теперь они отдыхают, и пастух тоже пристроился в холодке. Сидит и смотрит на подернутое дымкой поле. Боже оборони его от солнечного удара!..

Что такое человек по сравнению с комбайном? Пьяный долгоносик рядом с доверху полной кормушкой. Комбайн может умять за день такую гору, что словами не скажешь! Сколько самогонки можно бы сделать из такой кучи зерна! Бочку, здоровенную бочку, величиной с дом...

Мампе разливает водку по бутылкам, полный воз бутылок, прозрачные, аппетитные бутылки, и в них — белый огонь. Но вдруг чья-то тень закрывает эту ослепительную перспективу.

— Эй ты, пьянь несчастная, где мой мотоцикл?

Мампе не может так, сразу, вернуться в мир трезвый и требовательный.

— Мотоцикл? Какой мотоцикл, голубчик ты мой?

Что за чудеса! Стало быть, это председательская машина, а Мампе-то думал, что она принадлежит одному пижону в черной кожаной куртке. Кряхтя он поднимается с земли и ведет разгневанного Оле в кусты. Там лежит мотоцикл — руль согнут, зеркальце разбито, номер помят, бензобак покарежен. Оле заходится от гнева.

— Ты мне возместишь убытки!

Мампе стоит, вытаращив глаза, пока председатель и его машина не скрываются за поворотом дороги. Опять судьба начинает ему пакостить. Он-то надеялся сорвать вознаграждение за находку, а тут изволь платить. Хоть вешайся! Покинув отдыхающее стадо, Мампе идет в деревню: слышите, люди, как судьба на меня ополчилась. Мампе разукрашивает свое приключение не хуже, чем телегу на троицу:

— На жнивье посреди ночи вдруг откуда ни возьмись мотоцикл. Подле самого возка для кур. Ай да птичница, думаю я. Неужто мы живем при *феодальном целибате?* А молодчика я изловлю, будьте покойны! Уж я его выставлю на бутылочку.

Свинарка Хульда Трампель плотоядно облизывает губы.

— Кто это был?

Молчание. У Мампе от страха пересыхает в горле.

Хульда лезет в аптечку при свинарнике. Блеск бутылки ослепляет Мампе.

— Кто это был?

Хульда отнюдь не из закадычных друзей Мампе, но бутылка остается бутылкой...

Он отпивает глоток-другой. Вроде бы полегчало. И шепчет что-то на ухо Хульде. Та похотливо изгибается.

— Ах он, старый козел! — только ее и видели. Белые отвороты резиновых сапожек, хихикая, заигрывают на бегу с подолом юбки. Хульда по дешевке купила тайну.

Слух ползет по деревне, заползает в распахнутые уши мужчин и женщин, делает небольшую передышку и, расцвеченный грязным воображением, ползет дальше: Оле Бинкоп и новая птичница! Ночью! В поле! Ночью! Этой ночью! Как же она не закричала! Как же она не плюнула! Ай-яй-яй! Согрешить прямо в поле! И ночью, этой ночью! Ну и боров! Ну и скотина! Она же кричала!

Двери настежь, окна настежь! Ползет гадюка, заползает, выползает снова. Хорошо бы скотина откармливалась с такой скоростью: два часа — и хоть на бойню.

Тео Тимпе иронически поводит носом. Он ведь еще когда говорил: «Бык — этот ваш Оле, дубиной его надо промеж рогов!»

А слух ползет дальше. Чем грязнее ухо, чем тупей голова, тем охотнее он туда заползает. Жена Серно, тощая, как шорная дратва, состроив постную мину, закатывает глаза к небу:

— Коммунисты бесчестят младенцев!

Фриду Симсон этот слух застает за составлением очередной сводки по лущевке. Ах вот как, Оле и птичница! Симсон подпирает голову рукой. Приступ мимолетной, красивой печали. Голова у Фриды блещет новизной. Она «обновила» волосы перекисью. «Блондинки выглядят моложе»,— сообщает по этому поводу районный календарь друзей природы.

И насколько моложе! Судя по всему, Фрида опять соблазнительна для мужчин, как в молодости.

Человек может строить планы. Это возносит его над обезьяной. Но если планы ошибочны, он отнюдь не превращается в обезьяну. И вот Фрида планирует: Оле — птичница — лущевка. Теперь ей уже не усидеть в кабинете. Ибо сказано: «Восстаньте из-за письменных столов!» Но Фрида и на ходу строит планы: Вуншгетрей изничтожил Оле, пригнул его к земле. А она не помнит зла. И несмотря ни на что, протянет руку помощи своему прежнему противнику. Ты только взгляни на мою голову — вот до чего молодят светлые волосы.

Симсон выходит в поле. На ней сандалики, легкое платьице и в уголке рта сигарета. Женщины из «Цветущего поля» навивают на воз солому. Эмма Дюрр протягивает Фриде вилы. Фрида внимательно глядит на вилы, потом на Эмму.

— Шуточки шутим, а? — Да будет всем известно, что Фрида явилась на поле не для собственного удовольствия. Государственный аппарат в ее лице занят вопросами лущевки. И Фрида переходит к мужчинам.

Вильм Хольтен обращается в бегство. Герман Вейхельт трижды сплевывает, словно при виде нечистой силы. Он готов даже пасть на колени, как это делали библейские волхвы. И только Франц Буммель кричит с воза:

— Ах ты, Фрида, Фридочка, ты моя блондиночка!

А Оле, вытянувшись во весь рост, лежит под своим мотоциклом. Целый месяц Мампе Горемыка не получит ни капли спиртного! Надо приклеить объявление на пожарном сарае! И пусть об этом растрезвонит рассыльный при муниципалитете.

Черт ее принес, эту Симсон, белокурую и обесцвеченную до самых чулок.

— Чего тебе?

Фрида вся лучится нежностью (ибо Оле в полном смысле этого слова повержен на землю!). Фрида вздыхает, и кажется, что она засасывает воздух дырками своих сандалий.

— Ах, Оле, Оле, сколько мы с тобой уже знакомы! Сколько зим, сколько лет! А детство или школьные годы — это ведь тоже не фунт изюма! — Оле всегда был для Фриды тем мужчиной, на которого хочется смотреть и смотреть (пусть даже смотреть приходилось порой из-за занавески). Но девушка взрослеет, парень мужает! И Оле повел к алтарю некую Аннгрет Анкен. Благослови бог новобрачных! А Фрида будет тоскливо и безрадостно влачить свое девичество. Каждому свое. Одного мужчину нельзя разделить на двоих, но Фрида все-таки питала слабую надежду, и в этом нет ничего дурного.

Надежду? На что?

На мирное сосуществование двух товарищей по партии, в равной мере облеченных ответственностью.

Губы у Симсон подрагивают. Она улыбается и выглядит довольно привлекательно, и вообще ее можно пожалеть. Фрида хлопает себя по кармашкам с оборочкой. Как на грех, ни одной сигареты. Она вынимает у Оле изо рта обкусанную носогрейку.

— Давай выкурим трубку мира!

Фрида курит глубокими затяжками, потом вынимает трубку изо рта и разглядывает чубук. Чубук обмотан изоляционной лентой.

— Ах, как опускается мужчина без женской заботы!

— Смотри, чтоб Эмма тебя не услышала!

— Подумаешь, кто такая Эмма?..— Маленькая, невзрачненькая, бараний вес и возраст, возраст... А Оле нужны соки и сила, и вообще женщина, которая не даст ему опуститься.

Оле начинает терять терпение.

— Тебе чего от меня надо?

— Ты срываешь выполнение государственных планов!

— Это как?

— А вот так! Валяешься со своей вертихвосткой прямо среди поля, а лущевка пусть идет прахом!

— Ну и дряни накопилось в твоих заплесневелых мозгах!

— Вся деревня кричит об этом: растление малолетних! Разврат!

Оле вырывает у Фриды трубку. Колени у него дрожат, в глазах рябит — ничего не видать!

— Отойди, не засти мне свет,— говорит он.

36

Маленькая птичница, видно, в сорочке родилась. Грязный слух ее не достигает. И она спокойно тащит уткам сбереженный на курах корм.

Уткам полтора месяца. Они возятся на Коровьем озере — плавают, ныряют; они здоровехоньки от клюва до гузки, цедят через клювы озер-

ную воду, заглатывают личинок и рачков и нежатся на плавучих островках элодеи. Недалек день, когда Мертке сможет сказать членам кооператива: «Итак, мы выудили из воды столько-то тысяч марок чистой прибыли». Возможно, и Оле Председатель встанет перед собранием и скажет: «Убытки от диких уток покрыты и перекрыты. Спасибо тебе, дорогой коллега, Мертке Маттуш!» А Эмма Дюрр, возможно, спросит: «Ты как обращаешься к нашей птичнице? Какой она тебе коллега? Она — товарищ Маттуш. Мы готовы дать ей рекомендацию!»

О вы, мечты, прекрасные и стройные, как деревья на берегу! А про Краусхара-то вы забыли, товарищи?

После стычки с Оле Краусхар посылал сюда Шульца Голубятника.

— Немедленно забери у полоумного Оле три тысячи сверхпланового утиного молодняка для районной фермы.

— И не подумаю! Мне и своих-то пять тысяч кормить нечем,— отвечал тот.

Шульц состоит в Крестьянской партии, его не припугнешь партийной дисциплиной. Пришлось Краусхару выбивать корма по телефону. Он выдирал клочья из плановых запасов, в одном месте убавлял, в другое подбрасывал, словом, занимался бюрократическим колдовством.

На седьмой неделе жизни утки начали прихварывать. В первый день заболело двадцать уток, во второй — сорок. Они вяло сидели перед своими корытцами, почти не ели, и ноги у них подгибались. Спустя три-четыре дня утки начали дохнуть. К шестому дню поголовье уменьшилось на восемьдесят штук. Уж нет ли тут вражеских происков?

Шульц Голубятник решил перестраховаться. Подать сюда ветеринара! Пришел ветеринар. Уткам не хватает витамина Е, питание слишком однообразно, отсюда перерождение мышц.

Шульц Голубятник робко спросил:

— Может, им вода нужна?

— Ну, ну, давай без реакционных штучек.

Шульцу лучше схватить чахотку, чем прослыть реакционером.

— Я хочу сказать, что, может, им нужны водоросли, это же утиная похлебка.

— Плюнь ты на эту похлебку.

Шульц промолчал. И начал потихоньку подсовывать уткам зеленый корм, посадил немножко овса и уже подумывал о том, чтобы ловить водяных блох и прочую мошкару. Когда он совсем утратил человеческий облик и превратился во выючного осла-витаминщика, утиная смерть наконец отступила.

В это самое время Краусхар получил запрос от редакции районной газеты: «Сроки откорма истекают. Где пять тысяч отборных уток для наших хозяюшек?»

Настроение у Краусхара заметно упало. Он вызвал Шульца Голубятника.

— Сколько у тебя там передохло уток?

Шульц едва осмелился назвать точную цифру.

Краусхар проклял хвалебную статью, авансом увенчавшую его за инициативу.

Для инициативы в краусхаровском духе нужна удача. Удача появилась в его кабинете, приняв образ рыбака Анкена — брата бывшей жены Оле.

Рыбак Анкен стоял перед столом Краусхара.

— Плана по рыбе я не выполню!

— Это еще что за разговоры? Небось спустил рыбку налево?

Рыбак Анкен оскорбленным тоном:

— Будто сам не знаешь! Председательские утки всю рыбу сожрали.

Вот это удача так удача, бог посылает ему руководящее указание: надо просто перевести незапланированных уток Оле на райферму и таким образом покрыть все убытки.

Мертке готовит корм к вечеру, выкладывает его в корытца, сервирует ужин для уток и звонит. Звонит в тот самый колокольчик, что некогда был подвязан к сбруе резвой кобылки, принадлежащей Анн-грет Анкен. Из заливов и затонов несутся утки на птичий двор, где с аппетитом глотают зерно, сэкономленное на курах. Мертке напевает себе под нос:

Гнездись скорее, белый гусь!..

Из деревни доносится рев грузовика. Через несколько минут он усиливается так, что весь птичник вздрагивает. Три грузовика с прицепами въезжают на птичий двор.

Из них вылезают семеро мужчин. Один с приветливой улыбкой подходит к Мертке. Это Шульц Голубятник.

— Можешь радоваться — мы избавим тебя от уток.

В руках у Мертке пляшет клочок бумаги — накладная на перевозку груза. На ней прописью: «Три тысячи уток...» Подпись неразборчива, печать.

— Да как же так! — Мертке прилагает все усилия, чтобы не разреветься перед этими улыбающимися мужчинами. Она бежит за Оле. Оле в городе. Ищет Крюгера. Крюгер на МТС. Наконец ей попадается Вильм Хольтен.

— Вильм, а Вильм! Помоги мне.

Крики и жалобное кряканье несутся с птицефермы. Уж не тигр ли, сбежавший из цирка, забрался туда! В воздухе носятся перья — вихрь страха — и утиные вопли.

37

Висят звезды над сжатым полем. Оле сидит на ступеньках куриного возка. Он шарит в карманах — ищет зажигалку, чтобы раскурить трубочку среди ночи. И вдруг рука его натыкается на губную гармошку — старую знакомку по веселым молодым денькам. И как она, спрашивается, попала к нему в карман? Чудеса, да и только!

Помутнели блестящие края этого карманного органа. Оле подносит гармошку к губам и начинает дуть. Она ему отвечает. Дребезжащим старческим голосом. Звуки улетают вдаль. Оле — весь внимание. Слушай, вот рокочут басовые ноты. Да это же он сам! И его мысли! А вот тонкие, скрипичные ноты! Это Мертке! И ее мысли! Знает ли Оле ее мысли? Увы! Он их не знает! Знает ли Мертке его мысли, мысли немолодого мужчины, который бродит по пустынным лесам жизни? Не полянка ли открылась в лесу? Не девушка ли стоит на ней?

Кого ты ждешь, девушка?

Я жду тебя.

Мне грустно это слышать. Уж не слепа ли ты, девушка? Не юноша стоит перед тобой. Видишь, как время посеребрило мои волосы?

Я вижу, когда хочу, даже мошку в чашечке розы.

Ты ждешь меня?

Кузнечики и цикады сопровождают ночную музыку Оле. Громогласный оркестр! У Оле, *испытанного активиста*, приступ слабости (просьба к журналистам и портретистам молчать об этом). Оле мечтает, мечтает о любви: жил да был человек, который любил девушку по имени Кемерт. Любовь сделала его искусным и ловким. Я не преувеличиваю —

он мог поймать солнечный луч. И еще любовь дала ему силу. Думайте обо мне что хотите, но этот человек мог поднять с земли собственную тень и забросить ее в яму мрака. Таков он был.

А девушка Кемерт была не менее искусна и ловка. Кто на нее ни взглянет, тот улыбнется. Кого она ни тронет, тот обрадуется. Кто ни услышит ее голос, тот задрожит, как цветок на ветру, и ей ничего не стоило пройти по радуге, как по дороге.

Но жили возлюбленные не в самом лучшем из миров. Пришел к ним сосед и пожаловался:

— Я выбиваюсь из сил, целый день собираю ягоды, а к вечеру их остается только на дне моей корзинки, кто-то меня обкрадывает.

И пришел сосед соседа и тоже пожаловался:

— Я замерзаю. Моя жена пряла целое лето. Я ткал целое лето. А когда настала осень, у нас украли сукно. Клянусь богом, я замерзаю.

И тогда человек — влюбленный человек — устыдился и сказал соседям:

— Тот, кто обокрал вас, обкрадет и меня. Давайте вместе отыщем и накажем вора.— Так сказал человек, потому что любовь возвысила его.

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Цветущее поле», зачарованный ночным концертом, засыпает прямо на лесенке. Ночной ветер доносит с поля аромат спелых хлебов. Летучие мыши вьются вокруг сторожевой будки. Губная гармошка соскальзывает на колючее жнивье. И звезды мигают.

Хлопотливый, богатый событиями день выдался для Оле; пропавший мотоцикл, починка его, Симсон, обесцвеченная перекисью, злобные сплетни. Неужто же чертополох бабьей болтовни отпугнет Мертке? Нет.

Оле уехал в город. Приятно было подставлять грудь ветру. Казалось, ветер уносит прочь его ярость. Для человека за пятьдесят, если разобраться, вовсе не зазорно, что его заподозрили в связи с двадцатилетней. Но каково это для двадцатилетней?

Один за другим перебирает Оле дни своей жизни. Не так уж много даров разложило счастье на его извилистых путях. С вашей стороны, товарищ Счастье, будет очень даже неплохо, если вы припасете для него еще хоть самую малость. Прием круглосуточно в кооперативе «Цветущее поле», последний дом, крайняя дверка слева.

Деревья вдоль обочины, казалось, несутся ему настречу и склоняются перед неистовым мотоциклистом. Тс-с-с! Липы и каштаны шушукаются, как многоопытные старушки: «С чего это ты вдруг размечтался о любви? Коли на то пошло, ты до сих пор еще числишься мужем некоей Аннгрет Анкен». И Оле тут же решает с этим покончить.

В магистрате, конечно, только и ждали, когда Оле Бинкоп подаст заявление о разводе. Но вот он явился — почетный клиент с экстренным заказом. А дверь в магистрате оказалась на запоре. Это же надо, такой бюрократизм: заявления о разводе принимаются по средам. Ну а сейчас что, не среда, что ли? Среда, но еще нет шестнадцати часов.

Оле решил не терять времени даром, съездил на машинную станцию спросить, нет ли у них второй сноповязалки для «Цветущего поля».

Солнце уже клонилось к западу, когда он снова вспомнил о разводе. У магистратского чиновника кончились приемные часы. Но Оле так забарабанил в дверь, что ему открыли.

— Бог ты мой, у вас было шесть лет времени. На каком месяце ваша новая?

Оле и тут не обиделся. Он улыбнулся, польщенный, многозначительно отвечал на все вопросы и уладил все, что следовало уладить. Между тем наступил вечер, и на дворе стемнело.

Когда Мертке с Хольтеном прибежали к птицеферме, семеро приезжих уже погрузили на машины последних уток, закурили, отерли пот и

начали сдувать с губ последние перышки. Яростные вопли уток сменились боязливым покрякиванием.

Напыжившись от гордости, Вильм Хольтен обратился к грузчикам:

— Эй, вы, грабители, кто вас прислал?

Мужчины засмеялись:

— Раньше надо было приходить, сынок! Мы и без тебя все погрузили.

Перебранка, обильно уснащенная отборными терминами из большой матерной энциклопедии, вполне освежающее мероприятие в такую жару.

— А ну сгружай уток!

— А за порожнюю ездку ты, что ли, заплатишь, птенчик?

Хольтен беспомощно глянул на Мертке — до пальмы ли тут?

Мертке ринулась в Майберг. Она вскочила на велосипед, и, как девочка из сказки, помчалась вслед за легкими перышками, что кружились над дорогой.

Районное управление было закрыто. Не работать же им сверхурочно на случай, если какая-нибудь не в меру чувствительная птичница вздумает явиться с жалобой?

Мертке попросила сторожа дать ей домашний адрес товарища Краусхара. Нежно мурлыкал транзистор. У сторожа было кроткое, благостное настроение. Облако венских вальсов окружало его. Поэтому он против ожидания держался с Мертке вежливо и даже сказал ей: «Пожалуйста!»

У Краусхаров незнакомую девушку встретили дети, они же проводили ее в полутемную комнату. Краусхар с супругой смотрели футбол по телевизору.

— В чем дело?

В полутемной комнате Мертке, запинаясь, рассказала про свою беду, как рождественское стихотворение прочитала. Супруга Краусхара неодобрительно взирала на нее. Краусхар упорно смотрел футбол.

— Утки понадобились в другом месте.

— Но они еще не откормлены.

— Вот что, барышня,— вмешалась жена Краусхара,— мой муж и без вас знает, что ему делать.

Мертке не позволила себя запугать. Пусть они имеют в виду, что председатель Оле этого так не оставит.

— А ваш председатель дал согласие.— Краусхар зажег сигарету и снова углубился в перипетии футбольного матча.

Матч окончился ровно через пять минут. Краусхар включил верхний свет. Но Мертке уже в комнате не было.

— Она ушла, когда счет стал 2 : 0, как раз в ту минуту,— сказала жена.— По-моему, она не совсем нормальная.

Краусхар явственно ощущал, что в комнате не развеялось облачко печали, и задумался на мгновение, но тут начались последние известия, а Краусхару положено хорошо разбираться в международном положении.

Сердитая и огорченная, ехала Мертке домой. Домой? Какое там! Быть дома для нее значит участвовать в полезном деле, а дело это продано и предано.

Матушка Нитнагель, наперсница Мертке, уже спала. Спали люди, спали мыши. Мертке выбежала из дому, хоть на кур поглядеть. За дверью ее встретила глубокая ночь.

На ступеньке возка все еще спит Оле. Мертке так поглощена своим горем, что даже не пугается. Вот он, мужчина, повелитель! Кожаная

фуражка съехала набок, сквозь полуоткрытый рот вырывается мощное, как у коня, дыхание. Под ноги Мертке попадается губная гармошка.

— Стой, кто здесь! Пароль! — Оле спросонья размахивает руками, вскакивает и приходит в себя. Ему мерещится, что он собирался в чем-то извиняться перед Мертке.

Они говорят каждый о своем, как в традиционной комедии ошибок: он рассказывает о прошедшей ночи и о том, что вовсе не хотел испугать ее. Она — об увезенных утках.

— Что случилось с утками?

— Да ты просто старый и беспамятный!

А дальше что? А дальше ничего. Звезды мерцают. Кузнечики наигрывают. Земля кружится в мировом пространстве.

38

Стало быть, Оле уже стар. Дед. Всего бы лучше вырвать себе два передних зуба, насадить на чубук трубки резиновую пробку, сосать и хлюпать и пыхтеть, как Мафусаил.

Занимается серый, пасмурный день, когда Оле вторично открывает глаза. Старики помногу не спят. Он хочет выйти из сонной лачуги, но Эмма преграждает ему дорогу.

— Эй, старый дурень, ты теперь предпочитаешь малолеток? Будь жив Антон, он бы тебе вправил мозги!

— А ты веришь сплетням? Будь жив Антон, он бы на тебя подивился!

— Так ты переспал с этой птичницей? Отвечай?

— Нет, нет! — кричит Оле.

— Да ты и не посмеешь. А я не позволю заводить *египетские нравы* в моем доме.

Оле так хлопает дверью, что вся лачуга содрогается. Значит, слухи уже дошли и до Эммы! Что это такое, в конце концов, земля или сумасшедший дом? Эмма обозвала его старым дурнем. А еще товарищ называется. Он съедет от нее, и баста. Вопрос только — куда? Может, попросить комнатенку в своем собственном доме? Ох, и сморщит же нос Тео Тимпе.

Неудачи, к которым Оле проявлял раньше полную нечувствительность, без устали преследуют его. Он едет в город, к Вуншгетрею. Он заявляется в секретариат еще до того, как там успел собраться народ на первое по счету заседание.

Вуншгетрей не в восторге от раннего визита. Он отсидел полночи на собрании в одной деревне. И сразу же на его голову обрушилось три тысячи уток. Ох и чертова же эта должность, секретарская!

Вуншгетрей звонит Краусхару:

— Что произошло с утками? Кто дал распоряжение?

Оле беспокойно шагает по блекло-красному половику. Наконец Вуншгетрей кладет трубку:

— Произошло недоразумение. Очень сожалеем. Краусхар решил помочь кооперативу освободить хлев под импортных телок.

Оле грохает кулаком по столу:

— Немедленно верните уток.

Еще один звонок Краусхару. Еще один разговор. На сей раз он длится не более пяти минут, после чего Вуншгетрей кладет трубку и со своей непроизвольной усмешкой говорит:

— Уже забили.

Во второй раз за это утро Оле хлопает дверью. Прямой, как сосна, сходит он вниз по лестнице, но у подъезда, чтобы не потерять равновесие, вынужден схватиться за свой мотоцикл. Дрожат каштаны, дыбятся

булыжники на мостовой. Сердце Оле устраивает небольшое, персональное, так сказать, землетрясение. Не это ли и называется старостью, ты, старый дурень? Иди домой, дед. Оле видит перед собой насмешливую Мертке. Что, дедушка, улетели уточки? Целых три тысячи?

Хохот. Хохочет вся улица. Оле приходит в себя и понимает, что это заржали две лошади у коновязи.

Полчаса спустя крестьянин Оле по прозвищу Бинкоп в преображенном виде выходит из парикмахерской. У витрины он замедляет шаги: в стекле отражается стриженая голова. Предоставив для начала легкому утреннему ветерку обдуть свой череп, Оле вдруг нахлобучивает кожаную фуражку: ему вспомнилась обесцвеченная Симсон.

На бывшем дворе Оле стоит чье-то чужое стадо. Оно мычит на все лады: тридцать коров, из них десять — первотелки. Мампе Горемыка бродит среди них. Западные коровы прибыли издалека, но смотрят так же тупо, как отечественные.

— Мм-у! — говорит одна. Мампе обходит ее со всех сторон.

— Чего пялишься? Я — Мампе Горемыка. Учи немецкий. А вон идет Оле, главный пастух, поняла?

Коровы как на подбор, но Оле не приходит в восторг.

— Так, так,— бормочет он,— значит, уток отсюда, коров — сюда! Дважды нарушенная договоренность. Подвел ты меня, братец! — Едва-едва пошли на лад отношения Оле с секретарем, и вдруг такой удар!

Тимпе стоит в дверях коровника. И по движениям его носа нетрудно догадаться, как приятно ему поражение председателя.

39

«Всякая вещь имеет две стороны»,— говорили древние. «Всякая вещь имеет негативную и позитивную стороны»,— говорит учитель Зигель. Это многословнее, зато звучит более научно и не менее справедливо. Интересно, а у сплетен тоже есть две стороны? Должно быть, так.

Однажды на исходе лета Оле угодил прямо в обнаженные руки Розекатрин Зенф. По-летнему декольтированная, она пестра, как циркачка, быстроглаза и в курсе всех последних событий.

— А, Оле! Здорово! Я слышала, тебе надоело одиночество и ты намерен кое-что предпринять? — Ближе к делу. У Розекатрин ни родни, ни обузы. Она готова соответствовать планам Оле.

Но у Оле нет никаких планов, которые бы касались Розекатрин.

Как же нет, а кто посоветовал ей вступить в Обердорфский кооператив?

— Вот я и вступила.

— Спасибо большое, очень рад,— мямлит Оле.

Розекатрин перебирает тяжелые бусы на шее.

— Как погляжу я, что ты побрился и остригся, чтобы не завшиветь, мне до того тебя жаль становится, что я готова отказать колхозу свое добро и перебраться к тебе.

Хорошо, что на дороге показывается матушка Нитнагель. Оле позарез надо потолковать с ней.

— Прощай, Розекатрин. Желаю тебе удачи во всех твоих делах.

Но не всякий час подворачиваются ему ангелы-хранители. Однажды вечером, когда он стоит на мергельном лугу возле Коровьего озера, в одной из бухточек раздается мощный плеск, и Хульда Трампель выплывает на мелководье — стокилограммовый ангел, блистающий наливными боками.

— А ну, Оле, полюбуйся! Вот это мирная продукция, верно?

Ослепленный Оле пятится назад. Хульда все так же блистает среди мелководья.

— Кинь мне, по крайней мере, мою рубашку, если уж ты никак не хочешь полюбоваться на то, что посылает тебе господь.

Оле кидает ей рубашку и прячется в кусты.

— Прячешься, овечий хвост! Ха-ха-ха! Даже не понимаю, как это хоть одна ухитрилась с тобой договориться!

— Заткнись! — кричит Оле из-за кустов.

— Ха-ха-ха! Сопляк! Осиновый лист в портках!

Оле удирает, словно за ним гонятся собаки. Только в сенях Дюрровой лачуги он срывает кожаную фуражку с потной головы. Навстречу ему выходит Эмма:

— А у тебя гостья. Фрау Штамм.

Фрау Штамм по-прежнему стройна, и по-прежнему в ней чувствуется порода. Прическа, как у мадонны, и мягкие руки.

— Вы меня извините...

Оле распахивает дверь своей каморки:

— Прошу.

Встревает Эмма:

— Сидите где сидели.— У Эммы сегодня уборка. И кровать Оле до сих пор не застлана.

Фрау Штамм становится неловко.

— Вы извините, это очень важно.

— Ну, выкладывайте.

Фрау Штамм надумала провести лирическое мероприятие ко дню уборки.

— Что провести?

Фрау Штамм хочет пригласить поэта из города. Это вполне в духе времени.

Эмма неласково:

— А Оле тут при чем?

— Надеюсь, он будет так любезен и подпишет приглашение как председатель кооператива.

— Но сколько может стоить поэт? В долги мы залезать не станем.

— Pas de quoi, не о чем и говорить,— отвечает фрау Штамм,— извините, это я по-французски. Поэт — существо идеальное. Вы можете себе представить: двадцать стихотворений по четыре марки за штуку? Поэзия бесценна.

Оле вспоминает бесплатные брошюрки.

Фрау Штамм поясняет: поэзия — это специфическая отрасль культуры, с агитброшюрами она ничего общего не имеет. Область поэзии так обширна! Она, фрау Штамм, готова часами о ней говорить.

— Ах, а кровать-то у меня о сю пору не застлана,— говорит Эмма.

Фрау Штамм понимает намек.

— Извините.— И уходит.

На другой вечер к Оле является Герта Буллерт. Худенькая Герта с нежными глазами, батрачка у родного отца, чуть кривобокая. Сегодня она принарядилась — надела новый фартук и белый воротничок.

Эмма настроена подозрительно:

— А тебе чего понадобилось?

— Дядя Оле, ты не можешь сходить к отцу? Очень спешно.

— А он что, хочет вступать в кооператив?

— Как будто.

— Только не до ужина.

Пожалуйста. У Герты есть время, она может и подождать. Все равно, идти одной назад темно и страшно.

Курочка Эмма чует ястреба.

— А сюда идти было светло?

— Нет, но теперь стало еще темнее.— Герта беззаботно болтает о скотине, о молоке, о масле, о перлоновом белье, о модах.

— А ты, тетя Эмма, тоже рассталась, как я вижу, со своей косичкой.

Застигнутая врасплох Эмма хватается за круглую, под мальчика остриженную голову.

— Пришлось. Волосы повылезли. Словно ветром разнесло.

— Ага,— говорит Оле.— Ветер последней осени.

— Заткнись, лысый дурак.

У Буллертов не устраивают больше музыкальных вечеров. Нет музыки, зато есть достаток в хозяйстве. Криста, жена Буллерта, не показывается.

— Она что, заболела?

— Нет, ушла по делам.— Не беда, Герта и без нее сумеет позаботиться о госте.

Герта приносит земляничное вино собственного изготовления. Мужчины пьют, как пивали раньше. Она приносит закуски: свиную ногу и кислую капусту.

У папаши Яна сверкают глаза:

— Какова моя Герта? И стряпуха хоть куда, и хозяйка.

Оле кивает.

— Тоненькая, скромненькая.

Папаша Ян торопливо жует. Должно быть, в голове у него зреют важные решения. Вдруг он выскакивает из-за стола, бежит во двор и долго не возвращается. Не иначе — пересчитывает коров и свиней.

Оле и Герта остаются вдвоем. Пигалица жует свиное ушко и вздыхает.

Все гонятся теперь за модой. А поспеть за ней невозможно. Многие девушки, к примеру, выходят за вдовцов с детьми. На это бы Герта ни за что не согласилась. Вот вдовец без детей — это дело другое.

Оле жует и безмятежно слушает. Ну к чему молодой девушке какая-то старая развалина вместо мужа? Разве учитель Зигель не холостяк, разве не считает он без толку звезды в небе и цыплят в яйцах? Разве такой конопатый мужчина с лошадиными зубами, как Вильм Хольтен, не должен был бы на коленях благодарить небо, если бы оно послало ему девушку вроде Герты?

Герта краснеет. Так-то оно так, но она предпочитает людей более основательных.

Возвращается папаша Ян.

— Ну, как, поворковали?

Старые друзья пьют, как прежде, чокаются, снова пьют и хохочут, как прежде. Но чего ради Оле до сих пор возится со свиной ножкой, как какой-нибудь заезжий прощелыга? Не хочет ли он посмотреть, какие новшества в хозяйстве у Буллерта? Например, приданое для Герты.

Оле — немолодой человек. Обремененный многочисленными обязанностями. Устал он, неохота ему лазить по лестницам. Не лучше ли выпить еще по рюмочке и перейти к делу? Чего ради Буллерт посылал за ним?

— Так, так, кто много спрашивает, тот дурак.

— Вступать, значит, надумал?

— А как же иначе, если ты женишься на Герте.

Оле поперхнулся, а потом все кашляет и кашляет. Буллерт озабоченно хлопает его по спине. Но кашель не утихает. Оле постепенно прокашливается лишь по дороге к дому.

40

Приходит сентябрь — синие рассветы, золотые полдни. Под вечер косо падают солнечные лучи, и молодые ветры расправляют крылья. Но они не носятся теперь над сжатыми полосами, как поется в песне. Ибо сжатые полосы, согласно новейшим требованиям, подвергнуты лущевке и обращены в перегной.

Долговязый Георг Шабер не может по целым дням сидеть у себя в парикмахерской, поджидая клиентов, не может по целым дням писать таблички с ценами на туалетную воду, зубную пасту и бигуди. У себя во дворе он создал микроусадьбу: завел двух коз, свинью и полсотни морских свинок. Перуанских зверюшек деревенский брадобрей выращивает по старой привычке, как бывший военный санитар, для нужд медицинской науки, чем выражает свое глубокое перед ней преклонение. В ящике для электропробок, над дверным колокольчиком, угнездился паук. По будням у паука предостаточно времени от одного клиента до другого, чтобы связать своими нитями пробки и язычок колокольчика. В результате — короткое замыкание. Колебания язычка воспринимаются теперь лишь на глаз, а не на слух, и высосанные мухи дрожат в паутине, словно пытаясь еще раз вернуться к жизни.

Зато субботними вечерами и по воскресеньям паук ничего не успевает. Язычок колокольчика то и дело разрывает его паутину. В кассу Шабера текут деньги, а бедный паук изволь голодать.

Приближается праздник урожая. По этому поводу Георг Шабер вывешивает на дверях следующее объявление: «В предвидении большого наплыва посетителей рекомендую вниманию глубокоуважаемых субботних клиентов также четверг и пятницу».

Клиентуру Шабера составляют все деревенские жители, за исключением тех, кто случайно подстригся или побрился в городе. Шабер делит свою клиентуру на группы, строго соблюдает это деление и помнит о нем, беседуя с клиентами.

К первой группе относятся Карл Крюгер, Оле Бинкоп, Вильм Хольтен, Эмма Дюрр и все те, для кого праздник урожая — это демонстрация: смотрите, чего мы добились, невзирая на недоброжелательство и вредные разговорчики. Мы, кооператив! Шабер не за Оле и не за его кооперативных дружков. Потому что они упраздняют межи. А на межах растет корм для морских свинок.

Во вторую группу Шабер зачисляет таких людей, как фрау Штамм, Иозеф Барташ, Герта Буллерт, Франц Буммель, Карле-с-гусиным-крылом, Герман Вейхельт и многих других. При них не надо взвешивать каждое слово. Они люди покладистые и не стремятся бежать впереди своего времени. Как есть, так и ладно. Вращается земля и слава богу.

И, наконец, в последнюю группу входят те, кому, собственно говоря, больше пристало сидеть спиной к зеркалу: толстый Серно, рыбак Анкен, Тутен-Шульце и другие хозяева из бывших. Они тоскуют по тем временам, когда их слово имело вес. На расцвеченный красными флагами праздник урожая они смотрят фыркая, как бык, рвущийся с цепи на весеннем выгоне.

Между этими группами затесались отдельные человечки и порхают туда-сюда, как воробьи в поисках свежего навоза. Тут и бухгалтер Бойхлер, тут и Мампе Горемыка, и трактирщик Мишер. Шабер и сам той же породы, но не сознает этого. Он убежден, что принадлежит к числу людей, которые вообще не поддаются классификации — таких, например, как Ян Буллерт, фрейлейн Данке из кооперативной лавки и Фрида Симсон.

Фрида Симсон для Шабера — это особь статья и вообще особа, потому что она выкрасила волосы в городе, то есть у конкурирующей

организации. Что за высокомерие? Да Шабер, пожалуй, и сам выкрасил бы ее не хуже других. Не он ли освоил стрижку машинкой для парней, не он ли установил на радость дамам аппарат для шестимесячной завивки?

Предпраздничный наплыв в шаберовскую цирюльню уже начался. Фрау Шабер, женщина с глубоко запавшими щеками, выметает из зала мужские волосы всех мастей, опоражнивает старомодную вазу, в которую ее супруг сбрасывает мыльную пену с выбритых крестьянских щек, и следит на пару с ненадежным будильником за деятельностью аппарата для шестимесячной. Дамские волосы по требованию клиенток парятся в алюминиевых трубочках, накручиваются и укладываются.

Под металлическим шлемом сушилки сидит Герта Буллерт. Просто чудо, что ей удалось вырваться из дому в пятницу.

А вот и не чудо! Ее послал сам папаша Ян. Во время праздника она будет играть на аккордеоне; соло и без аккомпанемента — так пожелал учитель Зигель. И Герта желает обзавестись для своего выступления закрученными в штопор локонами до плеч.

Карле Цейц хочет, чтобы Шабер остриг его под машинку. Прежде у него всегда падала на лоб прядь волос. Она-то и обеспечила ему прозвище Карле-с-гусиным-крылом.

Шаберша разрывается между кухней и салоном. И зорко следит за будильником. Для перманента нужно точно установленное время. Самая лучшая картофелина разварится, если передержать ее на огне.

Наконец большая стрелка подошла к цели. Локончики Герты сварены вкрутую, а звонок будильника безмолвствует.

— Дз-инь! — кричит Шаберша.

Георг Шабер знает, что к чему. Он бросает Карле Цейца, выключает аппарат для завивки и треплет разгоряченную Герту по щечке.

— Сию минуточку, сию минуточку.

Вечером к Шаберу приходят более солидные клиенты. Позже всех — толстый Серно. Кресло тесновато для его объемистого зада. Шаберша тащит из кухни скамейку, и Серно кряхтя опускается на нее. Праздник урожая? А ему что за дело! Весной он справляет праздник весов. Это недешево стоит.

41

Ах, этот Серно! Как жилось ему с тех пор, как мы перестали думать о нем? И не он ли по дешевке купил в свое время машину небезызвестного лесопильщика Рамша?

Да ну вас с вашей машиной! Что за времена! Никакой радости у человека не осталось! Серно не захотел явиться в автошколу дурак дураком. Для начала он решил поупражняться дома. Но пятьдесят лошадиных сил многовато для начинающего. Он скромно начал с двух и решил прежде всего освоить вождение.

В серый предрассветный час Серно уселся за баранку. Его тощая половина хлестнула запряженных лошадей. Н-но! Лошади взяли с места и потащили машину. Машина почему-то оставляла за собой глубокий след.

— Стой.

Серно принялся отыскивать тормозной рычаг. Рычаг представлялся ему в виде рукоятки, какую он знал из своей извозной практики. Найдя рукоятку, он покрутил ее. Одно из боковых стекол ушло в дверцу. Господи Иисусе! Уж не потому ли Рамш, его брат во Христе, так дешево продал им машину, что в ней заклинило тормоз!

Серно поднял с постели Эйзенхауэра, деревенского кузнеца. Кузнец показал ему, где находится ручной тормоз.

— С вас две марки пятьдесят пфеннигов за консультацию в нерабочее время.

— Как низко пали все люди,— причитала тощая фрау Серно.— Никто теперь и шагу не ступит из христианской любви к ближнему.

На другое утро супруги отважились еще затемно, по росе, выехать в запряженной машине на дорогу, а оттуда в поле.

Но может ли человек, будь он честнее честного или, наоборот, последний мошенник, затеять в Блюменау хоть какое-нибудь дело, чтобы народный полицейский Мартен о том не проведал?

Мартен возвращался с ночного дежурства. Он катил на велосипеде и вдруг увидел персональную автошколу Серно.

— Эй, хозяин, куда собрался?

Серно хмуро сидел за баранкой.

— Не к тебе.

Но и у Мартена после дежурства настроение было не ахти какое.

— Машина конфискована.

Слово за слово, наконец Серно удалось вырваться из петли, ибо Мартен квалифицировал все случившееся как пособничество при побеге.

И вообще далеко не все шло у Серно без сучка, без задоринки. Вслед за Германом Вейхельтом попросила расчет батрачка. Она устроилась в Майберге на фабрику фаянсовых изделий. Ну и времена! Батрачки выделывают нынче пустые горшки вместо того, чтобы наполнять их молоком и сливками.

— Сельское хозяйство гибнет на глазах! — бушевал Серно.— Флагами, собраниями и нахальством страну не прокормишь. Золотое времечко было при Гинденбурге. Тот знал толк в сельском хозяйстве и сам был помещиком!

Серно излил свое недовольство перед пастором. Пастор сослался на высказывания святых мужей.

— Терпите! Не пекитесь о земном! Позаботьтесь о душе своей!

Серно скорчил кислую мину. Странно ему слышать такие речи от сельского пастора. Разве у церкви нет своей земли?

— Представьте себе, нет!

Оказывается, пастор давненько подумывает отдать свою землю в кооператив. Заставил же Оле деревенские пустыри давать урожай, а чем хуже церковные угодья? Что за времена! Зашатались твердые устои на земле, зашатались и тверди небесные.

С тех пор Серно в церковь ни ногой. И снял с себя полномочия церковного старосты.

Его тощая супруга, вся в черном, по-прежнему исправно посещала воскресную службу и по всем вопросам советовалась с господом богом.

— Ну, я пошла к всевышнему,— заявляла она вдруг.— Ты стал далек от него, как я вижу. Последи за курицей в духовке.

Нет, Серно не желает иметь ничего общего с церковью, если сам пастор заделался пособником Оле. С таким же успехом можно сходить помолиться в красный уголок. Серно пребывал в разладе с самим собой, со всем светом и по этой причине забыл про воскресное жаркое.

Теперь каждое воскресенье в доме у Серно шум и перебранка. Словно господь бог тайком бежал со двора, чтобы принять участие в собрании коммунистов.

И как раз в эту пору Оле и Крюгер нанесли Серно визит.

— Ты хочешь вступить в кооператив?

— Кто это вам сказал?

— Ты сам. Мы слышали это на улице.

Значит, ослышались, Серно не желает состоять в одном кооперативе с предателем.

Карл Крюгер, закипая:

— Это кто же предатель?

— Пастор.— Серно опять нашел причину, которая мешает ему вступить в кооператив.

Время шло, и хозяйство у Серно понемногу выправилось. Главное, сыскался новый батрак. Дюжий парень, лицо все в оспинах, ворочает за двоих, и вообще, судя по всему, работник старого закала.

Все бы хорошо, если бы не одна заковыка, и довольно серьезная: батрак явился прямиком из тюрьмы. Он не поладил с последним хозяином из-за жалования и пырнул его вилами. Забыл, должно быть, что на то существует профсоюз сельских и лесных рабочих. Вилы угодили крестьянину в мягкое место. Не очень-то приятно об этом слышать.

— А ты гонялся за ним с вилами? — осведомился Серно с любопытством и не без дрожи.

— Не-е, этот говнюк удрал от меня. А лучше было бы всадить вилы ему в живот. Жаль!

— Хо-хо-хо!

Хозяйство у Серно поправилось, он уплатил все налоги и поставки, начал даже кое-что откладывать, но за такой расцвет приходилось платить страхом и уступками.

По искони заведенному обычаю супружеская чета обедала по воскресеньям в чистой горнице. А старшая работница и батрак, как и в будни, обедали на кухне. И вот, не успели подать жаркое, как на пороге появился новый батрак с раскрытым перочинным ножом. Серно юркнул за сервант. Жена его стала читать молитву. Отто ринулся на жареного гуся, вырезал у него обе ножки и скрылся.

Скоро настала такая пора, когда супруги не могли без разрешения Отто даже навестить родню в соседней деревне.

— Сегодня со двора не отлучаться! — И Отто недвусмысленно взмахивал вилами.— И так заездили лошадей на неделе.

И Серно покорялся.

Даже начало рабочего дня устанавливал теперь Отто. Часов около четырех Серно в ночной рубашке выходил во двор, чтобы разбудить работницу, но у дверей его встречал Отто, который что-то ковырял все теми же вилами.

— Зайдите часам к шести, ясно?

И Серно босиком возвращался в спальню.

Страшная жизнь! Хозяйка молилась при каждом удобном случае, а Серно даже с лица спал. Частый испуг мешает кровообращению.

Однако в последние дни Серно веселей взирает на мир. Георг Шабер чувствует, как свежий ветер снова надувает паруса его постоянного клиента. По обычаю Шабер бреет толстяка дважды. Толстыми, будто сардельки, пальцами Серно выискивает отдельные волоски на своем обрюзгшем лице. Приходится намыливать и брить по третьему разу. А Серно тем временем сидит под белой простынкой, что твой король в мантии, да курит черную сигару. И табак для этой сигары навряд ли взращен на восточных полях.

— Пепельницу!

Шаберша немедленно приносит чистое блюдечко.

Последним заявляется в парикмахерскую Оле Бинкоп. Поздоровавшись, садится, берет районную газету и начинает читать. Сегодня он читает ее уже вторично. Это подвиг! А все потому, что Оле не хочет разговаривать с Серно. Тишина. Георгу Шаберу чудится, что он слышит, как паук тянет свою паутину.

Наконец Серно выбрит и острижен на славу. Шабер смахивает щеткой волосы с его воротника и плеч. Серно встряхивается, совсем как бульдог, у которого повыловили блох. И вперяет пристальный взгляд в читающего Оле. Оле чувствует этот взгляд.

— Ну, чего?

Серно высылает Шабера.

— Смотри, не опоросились бы твои свинки.

Серно и Оле теперь одни. Мимо окна громыхает телега. Серно облачается в надменное молчание. Наконец Оле это надоедает.

— Ну, хочешь вступить?

Булькающий хохот Серно заполняет маленькое помещение. Паук приостанавливает работу. Чтоб Серно вступил в кооператив?! Вот был бы номер, а? Нет, пусть лучше Оле уйдет из кооператива. Серно от души ему это советует. Разве Оле сам не видит, как у него все складывается? Уток отобрали. Коров навязали. Кормов не дают. А дальше будет еще хуже. Просто душа болит за бедного Оле. Зачем ему нужно, чтобы им помыкали? Серно переходит на шепот:

— Скажу тебе как крестьянин крестьянину — за океаном не дремлют. Положение скоро изменится. Сведения из верного источника.

Оле насмешливо:

— Знаю я этот источник. Он стоит у тебя на комоде.

Серно возмущенно:

— А я не слушаю политических сплетен. Нет, мне явился ангел, ей-богу, ангел.

— Ангел? Пусть доложит о своем прибытии.

— Смейся, смейся. Ты еще не знаешь, как грозны ангелы. Ты еще вытаращишь глаза.

42

Вот он, праздник урожая. Ради этого дня все заботы свалены в кучу и засунуты в дальний угол.

Побудку должны возвестить флейты и трубы. На этом пункте торжественной программы настаивает Фрида Симсон. А Зигель полагает, что в этом есть что-то от казармы. И на свой страх и риск вычеркивает его. Теперь он водит из дома в дом поющих детей. «Вставайте, вы, сони, кукушка твердит» и еще: «Смотри, как алеет восток!» Даже крестьян-единоличников почтили дети своим пением: «Мы в каждый дом приносим мир».

Герте Буллерт обидно, что бедные дети поют без аккомпанемента. И она со своим аккордеоном присоединяется к процессии, точнее говоря, к учителю Зигелю. Ее локончики до поры до времени упакованы в алюминиевые трубочки. Они звякают под косынкой.

А Франц Буммель отмывает у себя во дворе повозку. Она попала к нему с бывшего двора Оле Бинкопа. Некая фрау Аннгрет разъезжала на ней во время оно, когда Софи Буммель торчала дома, потому что ей не в чем было выйти на люди. Теперь у Софи Буммель три выходных платья, но мало случаев надевать их. Ну, кто бы мог подумать!

Усадьба Буммелей заметно изменилась за последние годы. В ней поселился добрый дух. Доброго духа привлекли арабские кобылы Буммеля. Имя его Карл Крюгер. Сердце Карла, бывшего кучера, до сих пор трепещет при виде красивой лошади.

Если позволяет время, Крюгер проводит у Буммелей все воскресенье. Два столь различных человека, как Буммель и Крюгер, совместно справляют воскресное конеслужение. Но, уходя, Крюгер непременно оставляет Буммелю какое-нибудь задание.

— Конечно, кони у тебя живут как в гостиной,— говорит Крюгер,— но вот... но вот крапива вокруг конюшни — это уж ни на что не похоже.

Буммель гордится дружбой секретаря партийной организации и старается доказать, что он достоин ее. Через неделю крапивы как не бывало. Карл и Франц сидят на скамеечке.

— Ну, как найдешь ты где кустик крапивы—хоть в очках, хоть без?

— Чего нет, того нет, вот только двор у тебя какой-то голый.— Неужто Буммель не знает, что где красивые лошади, там и цветы?

На другое воскресенье Буммель демонстрирует секретарю посадки штокроз, хризантем и ноготков перед конюшней.

Что ни неделя, то перемены на дворе у Буммеля. Двор и сад обнесены забором. Ворота украшены резными конскими головами. Головы здоровенные, будто у лошадей каменного века, но это не беда.

Теперь пожелания Крюгера касаются жилья. Человек, который выхаживает таких прекрасных коней, должен жить не хуже, чем его кони. Существуют же какие-то масштабы.

Для начала заново перебита кушетка старого барона, что стоит у Буммелей в горнице. Стулья, изъеденные червем, пущены на дрова. Может Буммель позволить себе это или нет? Он как-никак еще прошлым летом продал в Данию двух арабских кобылиц — так сказать, побочный доход. А деньги, вырученные за таких красоток, грешно продуть в карты.

К празднику урожая Крюгер с Буммелем добровольно взяли на себя обязательство: доставить в Блюменау поэта Ганса Гансена со станции Обердорф. Буммель смазывает все, что можно смазать. На лошадей надевает парадную сбрую. Красные и желтые султаны покачиваются на белоснежных головах.

Буммель и Крюгер распределяют обязанности. Первый будет развлекать гостя. Ему случалось и прежде беседовать с высокими, даже высочайшими персонами. А Крюгер будет править. Если же разговор свернет на политику, он вмешается.

Поэт Ганс Гансен с виду человек как человек. Буммель разочарован: хоть бы галстук надел! Франц не слишком осведомлен о том, как надлежит одеваться поэту, едущему на село. Главное это не галстук, а чемоданчик со стихами. Стихи не из тяжелых — Буммель двумя пальцами поднимает чемоданчик и закидывает его на багажник.

А Крюгер решил потешить свою душеньку: по старому кучерскому обычаю он приветствует поэта, опустив кнут. Впрочем, поэта явно не занимает ни сам кучер, ни его кнут.

Лошади тронули. Буммелю хорошо знаком весь церемониал.

— Хорошо ли вы доехали, господин Гансен? Удобный ли был вагон?

Крюгер щелкает кнутом — тайный знак для Буммеля переменить тему.

— Нравятся ли вам, господин Гансен, наша повозка и наши лошади.

Тут только поэт замечает лошадей. Красавицы, ослепительной белизны. По-модному разукрашены и вообще, наверно, чистокровки, не так ли?

На этот вопрос Буммель может ответить наиподробнейшим образом:

— Арабские чистокровки, элита, от кобылы Вудье и жеребца Зарифа из Неджда.

Некоторое время все молчат. Первые желтые листья медленно падают с берез на лесную дорогу и рождают у поэта первый вопрос.

— Пожалуйста, спрашивайте!

На какое количество слушателей ему следует ориентироваться?

В зависимости от программы. Последний раз в деревенское варьете пришло много народу, потому что выступал артист, который проглотил бутылку светильного газа и потом его поджигали.

Вот чего господин Гансен не умеет, того не умеет.

Крюгер щелкает кнутом.

Они галопом подъезжают к Блюменау. Песчаные облака клубятся за повозкой. У околицы повозку встречает фрау Штамм. И астматический звон церковного колокола. Звуки эти растекаются по долине, несутся на мергельные луга Оле, и тут у поэта рождается второй вопрос:

— Сколько человек в вашей парторганизации?

Крюгер щелкает кнутом. Это и есть политика. Буммель уступает ему место.

— Это наш секретарь кнутом щелкает.

Поэт снимает шляпу и кланяется:

— Ты уж извини меня, товарищ секретарь.

43

На вечер поэзии в танцзал Готхельфа Мишера собирается довольно много народу. Еще бы, не каждый день увидишь живого поэта. Герман Вейхельт и несколько старушонок сидят, потупив очи долу, как на богослужении. Явился даже господин пастор с супругой. Они забиваются в самый темный уголок зала. Франц Буммель рад-радехонек: народу собралось не меньше, чем на выступление фокусника-глотальщика.

Поэта Ганса Гансена не слишком волнует усиленный наплыв публики. Разве он не заслужил этого? Его поэтическую натуру зажали в рамки: с одной стороны фрау Штамм и Мертке, с другой — Фрида Симсон и Зигель.

Час великого торжества для фрау Штамм. Вот она стоит — волосы зачесаны, как у мадонны, закрытое платье из китайского шелка — стоит в гордом сознании своей почетной миссии: представить поэта восхищенной деревенской публике. Великое спасибо поэту, который, вняв ее робкому зову, предпринял поездку в деревенскую глушь.

Карлу Крюгеру страсть как хочется щелкнуть кнутом, да жаль, кнута нет.

Фрау Штамм распространяется о поэзии вообще и великолепных произведениях глубокоуважаемого гостя, в частности.

— Поэзия — это искусство; там, где оно всего непонятней, там оно глубже всего.

Учитель Зигель вскакивает с места:

— Невероятное заблуждение!

Фрау Штамм не теряется:

— Есть, разумеется, произведения, в которых уже с первой строки знаешь, в какие низины литературы они тебя уводят. Стихоплетство. Незачем даже читать до конца.

Выкрик Зигеля:

— Я не о схематизме говорю, если вам угодно знать!

Яростная дискуссия, прежде чем поэт успевает раскрыть рот. К ней, конечно, подключается и Фрида Симсон:

— Хватит городить вздор! К порядку дня! Слово имеет товарищ поэт для зачтения своих тезисов.

У товарища поэта дрожат губы. Он сам произносит вступительное слово. Да, он написал множество стихотворений. О проблемах широкоизвестных и о проблемах малоизвестных, о человеке отдельно взятом и о человеке общественном, о природе и ее творениях, но для сегодняшней встречи он выбрал самые сельские из своих сельских стихов и надеется на благосклонное внимание слушателей.

Люди рассаживаются по местам. Лесничий Штамм — в первом ряду. Он еще не решил, как ему быть — восхищаться женой или жалеть ее.

Поэт проверяет, сидят ли очки у него на носу. Порядок. Очки находятся там, где положено. Он достает рукопись, откашливается, читает: «Сельское одиночество». Пауза, пока это всего лишь название. Поэт следит за реакцией зала. «Сельское одиночество» принимается с весьма сдержанным одобрением.

В многострочных стихах Ганса Гансена проплывают голубые небеса и зеленые луга, порой мелькнет шелестящее дерево, порода которого в

стихах не уточняется. Все птицы поют мелодичными голосами, ни одна из них не ухает, ни одна не свиристит, и черные вороны на своих крыльях уносят в дальние страны печали прошлого.

Лесничий Штамм с этим не согласен. Вороны не перелетные птицы.

Не все слушают с одинаковым вниманием. Герман Вейхельт гладит задубевшими пальцами золотой крест на своем молитвеннике. Эмма Дюрр теребит букет астр. Букет предназначен для передачи поэту в конце вечера.

Мертке не сводит глаз с поэта. Оле пытается понять, о чем думает Мертке. Пастор опустил глаза и считает планки в паркете.

В стихах Ганса Гансена не обойдена вниманием сама идея сельскохозяйственного кооператива. Вырос на меже василек. Синеет василек, улыбается. Вышли на поле члены кооператива, распахали межу. И погиб василек. Но не надо слез. Он уже отцвел, пусть теперь подчиняется человеческим планам. Вполне современный цветок. И горе тому, кто скорбит.

— В этом есть своя мудрость,— шепчет Герта Буллерт.

— Вздор, василек — это сорняк,— заявляет Карле-с-гусиным-крылом.

В следующем стихотворении Ганс Гансен говорит о духовной жизни единоличника. Каждую весну единоличник высаживает у себя в палисаднике незабудки. Вот уже весь палисадник голубеет от них. Люди останавливаются. Что это значит? Неужто единоличник не может забыть старые времена? — спрашивают партийцы. Пусть ответит. И единоличник отвечает: голубые цветы в моем палисаднике говорят — не забудьте принять меня в кооператив. Очень просто. Как прекрасна простота!

Карл Крюгер неодобрительно хлопает себя по ляжкам. Некоторые воспринимают это как сигнал к аплодисментам. Раздаются хлопки, реденькие, как затяжной дождь.

Фрау Штамм просит собравшихся высказываться. Высказывания занимают куда больше времени, чем чтение стихов.

Оле раздосадован. Чего это Мертке так уставилась на поэта? Допустим, он моложе, но он ведь хлюпик и, вдобавок, прикрывает плешь зачесанными кверху волосами. Вообще Оле не намерен отмалчиваться во время дискуссии: правда, поэзия — не по его части, но то, что он здесь слышал, было донельзя наивно. Пустозвонство.

— В наивности сила поэзии,— говорит фрау Штамм.

Просит слова Мертке. Она краснеет до кончиков ушей и мямлит: простите, она, молодой член кооператива, позволит себе... Наивность может идти и от незнания.

Бурное негодование фрау Штамм.

А Мертке разговорилась. Она не хотела никого обидеть. Она имела в виду хотя бы себя. В городе для нее дерево было просто дерево. Кооператив — необозримые поля и распаханные межи. Курица — просто курица. И только теперь она узнала, что у тысячи кур тысяча разных лиц.

Хохот. Матушка Нитнагель спешит на помощь Мертке. Она лично тоже не хочет никого задеть, но некоторые стихотворения господина Гансена показались ей надуманными.

— Думать и творить — истинно немецкая черта,— говорит фрау Штамм.

— Нет, нет и нет! — матушка Нитнагель энергично мотает головой. Знает ли уважаемый гость новую жизнь села? Если нет, пусть изучит. Учиться никогда не поздно. Слава богу, добрая старая земля еще кружится. И матушка Нитнагель приглашает поэта хоть немного погостить у них в деревне.

Ее приглашение поддерживает даже фрау Штамм. Отличная мысль! Если господин Гансен примет это приглашение, они будут рады видеть

его у себя в лесничестве. И фрау Штамм кивает мужу. Муж вынужден ответить ей тем же.

Хорошо еще, что оба пути, по которым развивалась дискуссия, сошлись в этой точке. Ведь сегодня праздник урожая, и нельзя без конца говорить о стихах.

Поэт смущен. Теперь город и деревня для него не различные кушанья, каждое на своей тарелке. Он чувствует, что его по-дружески раздели до рубашки, а он даже не успел обидеться. Встает Эмма Дюрр, протягивает ему букет.

— Деревня приветствует поэта. Благодарит его за труд. Ничего, сынок, все образуется.

Аплодисменты — грозовым дождем.

44

Три сельских музыканта кликнули на подмогу трех городских собратьев из Майберга. Шестеро трубачей украсили маршем лицо деревенской улицы. Многие из единоличников стоят у ворот и приветливо машут знакомым. Другие, напротив, и носа не кажут на улицу. Сквозь дымку оконных гардин можно разглядеть их застывшие лица. А самые закоренелые даже запирают ворота, когда близится процессия. Для них это не праздник урожая, а просто непотребный шум и гам. Они торопятся уйти в огород или находят себе работу в сарае.

Крюгер и Оле Бинкоп шагают рядом, замечая про себя: те крестьяне, что стоят у ворот и машут руками, созрели для вступления в кооператив.

Несмотря на все неизбежные изъяны в общей картине, торжественная процессия выглядит очень внушительно. Она растянулась от магазина до церкви. Впереди пять телег, убранных цветами, березовыми ветками и свяслами. На телеге птицефермы стоят Мертке и матушка Нитнагель.

Они демонстрируют отборных леггорнов и итальянских курочек. В коричневых плетенках из ивняка мерцают ослепительно-белые яички. Темпераментные итальянские петухи надрывно кукарекают, подстрекаемые флейтой и кларнетом. На граблях матушка Нитнагель укрепила плакат, плод творчества фрейлейн Данке: «Три тысячи уток без дополнительных кормов. Наш вклад из скрытых резервов!» И это чистая правда. Если в живом весе уток и есть недостача, то никак не по вине птичниц.

Вслед за членами кооператива, поднимая тучи песка, топают лесные рабочие. У женщин из лесной бригады в руках корзины. А в них лесная малина и желтые лисички. Не забывайте о дарах леса!

За ними семенят школьники, чуть подальше — учитель Зигель и Герта Буллерт со своим аккордеоном. За школьниками скачут всадники. Они до блеска начистили своих коняг мочой, заплели им хвосты в косицы, украсили гривы и сбрую цветами.

Эти всадники, как правило, дети единоличников. И лошадей они без спросу вывели из отцовских конюшен. Кооператив для них не имеет никакого значения. Но ведь не каждый день бывают скачки с бочонком. Как монгольский хан и предводитель орды, впереди на вороном мерине красуется Ян Буллерт.

Музыка, звуки марша, запах сигар, шепоток. Нельзя, чтобы труд пропадал даром, хотя бы и труд, вложенный в это шествие. Оно проходит по всем улочкам деревни. Даже выселки разбужены от сентябрьской дремоты рокотом труб. «Дружба победит, дружба победит»,— поет школьный хор. Зигель дирижирует. На нем синяя рубашка Свободной молодежи. По рубашке можно догадаться, что она отутюжена холо-

стяцкими руками. Герта Буллерт, укрывшись за мехами своего аккордеона, думает про себя, что больше она не выпустит Зигеля на люди в таком виде: только пусть он сам предпримет сперва кое-какие шаги.

За час торжество несколько поизнашивается. Усыхает. Жарок сентябрьский полдень. Только старички пенсионеры, которых Франц Буммель усадил в повозку, запряженную его арабской кобылой, не прочь еще покататься. Навряд ли им удастся в другой раз объехать деревню с такими удобствами.

Вот и луг. Шествие распадается. Народ, как пчелиный рой, облепляет киоск Мишера со всевозможными напитками, а дети щебечут возле киоска со сладостями, где хозяйничает фрейлейн Данке.

Фриде Симсон приходится повременить со своей речью, покуда люди не утолят первый голод и первую жажду. Куда годится праздник без хорошей речи, из которой можно узнать, для чего все собрались вместе и что именно празднуют?

Достоинство этой речи в том, что она длинна и обильно уснащена конкретными высказываниями о государственном аппарате, попечениям которого сельские жители обязаны таким праздником. И, наконец, эта речь содержит перечисление всех сколько-нибудь значительных, на взгляд Фриды, этапов развития Земли от раскаленной туманности до ракет на Луну.

— Что я хочу этим сказать, товарищи, граждане и друзья? Я хочу этим сказать: нас призывают повысить сельскую гармонию...

— На пятьдесят процентов! — выкрикивает кто-то из всадников. Общий смех. Насильственно подавляемое веселье грозит захлестнуть торжественную речь. Крюгер и Оле, люди дисциплинированные, стоя под липой, пытаются шиканьем восстановить тишину. Крюгер с досады даже выплеснул на пыльную сентябрьскую траву остатки пива.

— Трудно их винить.

Там, на эстраде — отжившее поповство. За это ли боролся Крюгер?

— Нет, здесь нужны свежие силы.

45

Как-то раз Оле надел красный шейный платок, позаимствованный у Эммы Дюрр. Эмма Дюрр отняла свой платок. Когда Оле ездил в город подавать заявление о разводе, он купил себе новый. Потом ему сказали, что он стар для красных платков. Оле запрятал его за справочники, подальше от Эмминых глаз. Но на праздник урожая он его повязал. Эмма прищурилась и сплюнула.

— Ты что, рыжий из цирка, что ли? Солидные мужчины ходят в галстуках!

И она достала Антонов галстук. А Оле его не взял. Теперь он вызывающе бродит по лугу. И кончики его красного платка, как рожки, нахально отгибаются кверху. На стриженой голове сидит новая кожаная фуражка. И коленки у него еще не хрустят, черт подери!

Все это время он старался относиться к Мертке как к залетному ветерку. Ветерок нежно гладит тебя по щеке, ты рад ему, но он улетает вдаль, и ты не бежишь за ним вдогонку. Сегодня утром, на выступлении поэта, чары Мертке вновь одолели его, как внезапная хворь. И мурашки бегают у него по спине.

На зеленом лугу стоит арка. Она сколочена из могучих сосновых стволов. Девушки обвили эти стволы зеленью и гирляндами флажков. На перекладине висит деревянный бочонок. Всадник может ударить по нему дубинкой, привстав на стременах.

Духовой оркестр играет бешеный галоп. Капельмейстер дует в свой рожок. Тромбон и кларнет трюхают следом.

Всадники, обутые в сапоги, мелом выписывают друг дружке номера на спинах воскресных пиджаков. Так принято в спортивных состязаниях — слава богу, насмотрелись по телевизору.

Иозеф Барташ представляет на скачках «Цветущее поле». Гнедко у него шустрый — Иозеф не успел еще приподняться на стременах, как конь уже промчался под бочкой. У следующих трех всадников тоже сноровки нет, им нужно еще сперва выездить лошадей.

Уже целый месяц Мертке ходит сама не своя: она зря обидела Оле. Он ничего не знал про уток. Она хочет попросить у него прощенья:

— Оле Председатель, я...я...

— Окольцевала петушков и молодок?

— Нет еще.

— Ну, давай, давай.— Руку к козырьку и — общий привет. Вторая попытка, третья. И все без толку.

Сегодня Мертке в голубом полотняном платье стоит среди других девушек словно голубой цветок цикория. В руках у нее венок, предназначенный для победителя состязаний. Они сплели его вчера вместе с Гертой Буллерт.

Мертке входит в состав фестивального комитета. Заседал комитет в так называемом красном уголке кооператива. А Мертке была за хозяйку. Она выстирала скатерти и занавески. В магазине за свои деньги купила вазы и расставила их по длинному столу с букетами штокроз и георгин. Упросила продавщицу фрейлейн Данке написать новый лозунг: «Хорошее настроение помогает в работе» — и повесила его над пианино. Над тем самым пианино, на котором в давние времена некая Аннгрет Ханзен наигрывала одним пальцем любовные песенки.

Кроме Мертке в состав комитета входят фрау Штамм, учитель Зигель, Герта Буллерт и Карле-с-гусиным-крылом. Карле представляет Свободную молодежь, Герта — единоличников.

Комитет успел уже насовещаться, когда под окнами затарахтел мопед. Это Фрида Симсон явилась из города. Ее выход производит сокрушительное впечатление. На ней защитный шлем и мотоциклетные очки. Пыльный портфель Фрида швыряет на чистую скатерть, закуривает сигарету и берет слово, минуя председателя — фрау Штамм:

— Позвольте мне изложить принципиальные соображения по основным положениям о порядке проведения праздника.

Карле-с-гусиным-крылом ткнул Герту локтем в костлявый бочок.

— Ой!

Фрида опустила очки и сняла шлем.

— Прошу отнестись серьезно. Первые из основных положений о порядке проведения праздника — это гармония и единство всех сил нашей деревни. Единоличный элемент должен посредством этой гармонии, при основательно продуманном порядке проведения праздника почувствовать себя как бы вовлеченным в кооператив.

Взгляд Фриды останавливается на новом лозунге над пианино.

— Кто придумал сопливый лозунг?

Мертке подняла руку — как в школе.

Фрида извлекла свою черную тетрадь и сделала какие-то записи: объективизм у будущего кандидата в члены партии.

— Вы позволите мне продолжать?

— Позволю, — растерялась Мертке.

Фрида записала еще что-то.

— Итак, вы позволяете мне перейти к следующим положениям...

— Позволяем! — это говорит Карле-с-гусиным-крылом.

Фрида выпустила облако дыма, но записывать ничего не стала. На Карле как на единоличный элемент у нее нет управы.

Следующие положения, изложенные бургомистром, были чрезвычайно принципиальны:

— Следует подчеркнуть... вопрос стоит именно так, а не иначе...

В конце ее речи уже никто не знал толком, как надо отмечать праздник урожая. Не могла же Фрида, руководящий работник, размениваться на мелочи. А о всяких там играх-плясках, о прочей чепухе и об украшении деревни пусть позаботится комитет, но, конечно, в рамках принципиальных основоположений. Разработка программы праздника должна не позже чем послезавтра в полдень лежать на столе у Фриды на предмет рассмотрения и окончательного утверждения. Ответственные — Мертке и Карле.

Фрида водрузила на голову шлем. Ей надо спешить, спешить, дел по горло...

— Вот так она испакостила нам всю работу в Свободной молодежи, — сказал Карле.

— Во-первых, интересно, во-вторых, поучительно, — подает голос Зигель. — Она говорит, говорит и не дает никому рта раскрыть. Есть в ней какое-то колдовство, но, конечно, не в ее женской сущности, с вашего разрешения.

Члены комитета советуются, вносят различные предложения. Зигель, к примеру, хочет устроить научную викторину с небольшими призами: «Что старше — Земля или Луна?» — и тому подобное.

— Законный тотализатор! — Карле знает нынешнюю моду.

Зигель содрогается от ужаса:

— Что общего между викториной и тотализатором? К чему идеологическое сосуществование в языке. А впрочем, откуда, скажите на милость, может наша молодежь черпать языковые богатства, если даже в газетах теперь на западный лад пишут «бестселлер» и «стриптиз», чтобы не отстать от ложно понятой моды? Ну что это, к примеру, за название: «Очистил поле от сорняков». Кто очистил? Почему нет подлежащего? Западный модерн? Просто глупость? «Одинокий Ганс Баум (28) прошлой ночью...» Как это понимать? То ли у Баума двадцать восемь зубов, то ли он дожил до двадцати восьми лет, а остался дураком.

Карле перебивает учителя. Все чистая правда, но у них заседание комитета, а не урок родного языка. «К порядку собрания!» И тут же предлагает скачки с бочонком.

46

Скачки в самом разгаре. Вот рысцой трусит Вильм Хольтен. Он представляет кооператив. Его гнедая бранденбургская кобылка, стоявшая некогда на дворе у Оле, как раз перед аркой подымается на дыбы, и Вильм кубарем летит в траву. А кобылка прямым ходом чешет к Мертке. Ее соблазнил венок, приготовленный для победителя. Она с аппетитом выкусывает из него красную астру. Девушки визжат и бросаются врассыпную. Нет, Хольтену не видать пальмы.

Толстый Серно подходит к парням, что толпятся у стойки.

— Всем по две кружки пива! — Он чокается с всадниками.— За вашу победу! За общую нашу победу!

Карле-с-гусиным-крылом отворачивается. Он не единоличник, он работает в МТС, а чалую кобылу вывел из конюшни тайком от отца. Он храбро проносится под аркой и, замахнувшись дубиной, ударяет по бочонку. Гремит туш: Бум! Бум! Бум! Бочонок раскачивается. Мертке хлопает в ладоши. Оле созерцает кроны лип.

Длинноногий вороной мерин Яна Буллерта так стремительно пролетает под аркой, словно спешит к себе в конюшню. Бум! Летит вниз

первая заклепка. Герта на своем аккордеоне исполняет туш и в честь отца.

С другой стороны луга спешит Карл Крюгер. Он подбегает к Оле и тащит его за собой:

— Наших бьют. Нам нужно подкрепление. Эх, Оле, будь я молод, как ты...

У Оле разыгрывается тщеславие:

— А ну, дайте мне лошадь.

Франц Буммель только этого и ждал:

— Бери мою. Сейчас мы им покажем, что такое настоящая лошадь.

И Оле одним махом вскакивает на Буммелеву арабку. Кобыла ставит уши торчком, косится, оценивает своего седока. Буммель бежит рядом.

— Поговори с ней как с любимой женщиной, и она понесет тебя куда захочешь.

Кобыла несет Оле вокруг площади. Забыт праздник, забыт Крюгер, забыта Мертке. Высокая синева сентябрьского неба. Журавли летят. Оле мчится в босоногие времена своего пастушества.

И тут он замечает Буллерта. Оба молча скачут бок о бок. Взгляды их скрещиваются, как клинки. Ну, подожди, братишка, ну, подожди. Было время — мы вдвоем скакали на одном мерине.

Оле скачет за пожарный сарай. Там он дает лошади порезвиться и привыкнуть к всаднику. У Крюгера глаза стали как плошки, они ищут Оле. Неужели этот тип смылся?

А под аркой грохочут удары. И заклепки падают, как переспелые яблоки. Серно верещит у стойки:

— А ну всыпьте им, а ну всыпьте!

Ян Буллерт скачет по третьему разу. Его мерин фыркает и вскидывает голову, словно хочет выхватить заклепку зубами. Удар, бум-бум! Еще две заклепки падают в траву. Днище качается. Его держит последняя заклепка.

Остается самое трудное. Три всадника, один за другим, без толку колотят по бочонку. Подлетает Оле. Он горячится, а кобыла спокойна. Ему даются три попытки.

Толстый Серно потчует музыкантов пивом. Духовой оркестр играет «Голубых драгунов». Оле спешивается.

— В чем дело?

— Под такие хулиганские песни я скакать не стану.

Карл Крюгер затыкает кулаком ближайший раструб.

— Теперь понятно?

Музыканты перестраиваются и начинают «Галоп фонарщика». Оле спокойно минует арку. Даже не шевельнув рукой. Смех. Разочарование.

— Оле, ты что?

— Я испытывал кобылу!..

— Он испытывал кобылу!..

Вторая попытка. Перед аркой Оле выпускает из рук поводья и дает кобыле шенкеля. Кобыла проносится под аркой, удара опять нет.

Девушки умолкают. Парни свистят, а Мертке дрожит. И Серно грохочет у стойки: «Партскачки!»..

Третья попытка. Кобыла набирает скорость. Свободно висят поводья. И вдруг — гоп! — Оле взлетает на седло и стоя проносится под аркой.

— Иван! — орет Серно. — Казак, Иван! Ха-ха.

Оле взмахивает дубиной. Ну и удар! С шумом и треском разлетается последняя заклепка... Днище летит в траву. Франц Буммель выбегает на поле с криком:

— Лошадка моя, лошадушка, мы выиграли!

Крики восторга, рукоплескания, Мертке мчится к Оле с венком.

— Я прямо себе не верю...

Оле небрежно принимает венок из ее рук и надевает его на голову взмыленной кобыле.

— Я только хотел проверить, стар я или еще нет.

Разочарованная Мертке теребит свою блестящую косу. А что дальше? Крики ура, веселый гомон. Праздник идет своим чередом...

47

В сентябре за летним днем приходит весенняя ночь. Пыхтя, шныряют по садам ежи, причитает на опушке сыч.

Топают сапоги, шаркают выходные туфли, свиристит кларнет в танцзале. Из-за леса выглядывает полная луна — безжизненное лицо ухмыляющегося мудреца.

Посторонний человек, заглянувший на танцплощадку, почувствует себя как горожанин, заглянувший в улей. А у местных жителей наметанный взгляд пасечника: все в полном порядке.

Ранним вечером танцплощадка принадлежит молодежи. Людям посолиднее нужно сперва раскачаться и подмазать суставы.

Кооперативщики из «Цветущего поля» угощаются в помещении ферейна. Единоличники захватили трактир, а перебежчики знай себе снуют через линию фронта и повсюду собирают дань пивом и водкой. Выдвинутая Фридой идея сельской гармонии царит покамест только на танцплощадке.

Георг Шабер, деревенский брадобрей, взял на себя обязанности кельнера. Усердие его прямо пропорционально предполагаемой сумме чаевых. Осквернители межей из кооператива Оле Бинкопа для него посетители второго сорта. Смехота, да и только: они сидят и спорят, можно ли оплатить колбасу, лимонад, пиво и водку из культфонда или нельзя.

— Антон никогда бы этого не допустил. Антон стоял за настоящую культуру! — С какой стати Эмма Дюрр будет помалкивать? Она хочет зимой пойти на курсы агрономов. — Беда, если вы пропьете деньги на культуру. Пусть каждый сам раскошеливается. Мы ведь как-никак полумиллионщики!

Голосуют. Против — один. Мампе Горемыка.

Мампе удаляется, злобно ворча. Вечная политика, вечное голосование! Дожили — теперь даже выпивку утверждают большинством голосов.

Мампе вынюхивает, что делается в трактире. Там пахнет добрыми старыми временами: толстый Серно хохочет с бульканьем и присвистом и хлопает себя по ляжкам. Давненько он не бывал так весел, с тех самых пор, когда ловко продал на мясо трех коров.

— Братья по плугу и пашне! Хи-хи-хи! У судьбы припасено немало сюрпризов! Кой-кто еще вытаращит глаза! Выпьем по этому случаю!

Из дому Серно притащил любопытную штучку — стеклянный сапог. Пятьдесят восьмого размера. Сапог наполняют пивом. На стеклянном голенище выгравирована надпись. Но крестьяне ее не замечают. Серно шумно гогочет, когда к сапогу прикладывается Буллерт. И вслух читает надпись: «Королю урожая Серно. Союз молодых земледельцев. 1923».

Буллерт, так и не отхлебнув, передает сапог дальше по кругу, а сам подходит к стойке.

— Го-го-го, — изгоняется Серно. — Видали дурака? Ему всюду мерещатся гитлеровские сапоги.

Взмахом руки Серно подзывает Мампе Горемыку, который околачивается неподалеку.

— Поди сюда, свободный крестьянин и председательский холуй, окажи нам честь, выпей с нами.

Единоличное пиво, как и деньги, не пахнет. Мампе хватается за сапог. Серно вырывает сапог у него из рук. Ах, ах, пиво уж выдохлось. Серно не может обидеть своего гостя. Он набирает полный рот пива и сплевывает обратно в сапог. Опивки украсились водянистой пеной.

— Вот теперь пей, друг-колхозник!

Мампе Горемыка выплескивает опивки в одутловатое лицо Серно. А сапог швыряет оземь. Звенят осколки.

— Хватай его! — орет Серно. Никто не двигается с места. Не надо было так натягивать тетиву. Вот сидит король выпуска двадцать третьего года, король вымочен в пиве, изнутри и снаружи. Он отплевывается, отряхивает платье и больше не смеется.

А Мампе Горемыка бежит прямиком к своему ангелу-хранителю, к Герману Вейхельту. На Германе парадный костюм. Божье чадо, Мертке, его отутюжила. На лацкане поблескивают серп и молот.

Герман покупает Мампе две бутылки церковного вина. Разве Спаситель на пиру в Кане Галилейской не потчевал всех вином?

В зале под густым облаком табачного дыма обливаются потом танцоры. Герта Буллерт смотрит на Зигеля, как на божество. Сил нет, до чего она счастлива: учитель Зигель, оказывается, тоже презирает новый модный танец. Зигель вообще человек с принципами и танцует все танцы подряд в ритме танго.

И почти каждый раз поблескивает среди танцующих коса Мертке. За всю свою коротенькую жизнь она столько не танцевала. Ее наперебой приглашают, то Карле-с-гусиным-крылом, то Вильм Хольтен.

Мертке ласкова со своими партнерами. Ее мышиные ушки так и горят. Но когда Карле замечает, что было бы недурно выйти и подышать свежим воздухом, Мертке говорит, что это не модно. Свежим воздухом она дышит каждый день. Сейчас полнолуние. Полнолуние она тоже видела сто раз. И кроме того, она уже приглашена на пять танцев вперед.

Карле-с-гусиным-крылом проводит рукой по своей новой прическе — стрижка под машинку. Уж не Хольтену ли обещала пальму эта птичница?

Крюгер и Оле сидят в углу комнаты ферейна. Они неплохо поработали сегодня: за трех новичков можно ручаться. Это Купке, Метке и Кальц. Для Оле всего важней Купке и Метке. Они его соседи по приозерным луговым участкам. И на их участках тоже есть мергель. А добыча мергеля сейчас главная забота Оле. И если все сладится, дело пойдет на широкую ногу. Вот выкопают картофель, Оле сам раздобудет тогда экскаватор — на Вуншгетрея, видно, надежда плоха.

Крюгер угощает новых кандидатов водкой и пивом. Жаль, Оле пьет не так, как положено. Каждую минуту срывается с места и бежит в зал. Что вытворяет Хольтен? Где пропадает птичница? Разве для членов кооператива место не здесь, не в этой комнате?

Крюгер напоминает ему о выпивке:

— Оставь молодежь в покое! Сам не был молодым, что ли?

Вряд ли это замечание утешит Оле. Как скакать, так он молодой, а тут...

Ладно, ладно, не о том речь, речь о человеческих душах! О пополнении кооператива.

Трубач в зале играет туш: приглашают дамы!

Парни уставились в свои кружки. Этот танец покажет, какой парень и какая девушка вместе уйдут с вечера.

Музыка заиграла. Девушки идут приглашать. Вильм Хольтен жалеет, что не вышел ростом. А то бы Мертке скорей углядела его в толпе мужчин.

Крюгер толкает Оле.

— Тебя приглашают.

Мертке в бледно-голубом платье стоит перед Оле. Нога за ногу шагает Оле из долгой зимы. Среди осени прямо в весну. Растаял снег. Поют птицы. Ручьи нашептывают сказки лугам.

48

Без малого десять. Рыбак Анкен входит в трактир. Рукава его выходного пиджака мокры. Он успел сгонять проверить верши.

— Эгей! — приветствуют его крестьяне-единоличники.

Анкен привел двух дам. Первая — его собственная жена. У нее остренький, любопытный носик, таким при желании можно сверлить дырки в заборе, утверждает Мампе Горемыка. У второй, что держится поодаль, губы намазаны фиолетовой помадой. Она с головы до бедер закутана в синюю хламиду.

Пиджак Серно за это время высох. И дух его воспарил. Он притягивает к себе закутанную незнакомку, как баран распихивая трех мужчин.

— Пропустите даму!

Серно охоч до нежных заигрываний. Дома-то у него сплошь усохшая набожность.

— Присядь ко мне, дитя из дальних стран!

Дама с улыбкой подсаживается к Серно.

Свистом в два пальца Серно подзывает Шабера. Шабера нет. За двадцать марок чаевых Оле подрядил его обслуживать кооператив. Серно кивает Мишеру:

— Два пива!

А для дам заказывает майбергское яблочное вино по две марки пятьдесят пфеннигов бутылка.

В зале танцоры протирают подметки. Теперь пустилось в пляс и старшее поколение. Хульда Трампель оттаскивает мужа от стойки:

— Эвальд!

— Чего тебе?

— Пошли танцевать.

— Кха-кха, пошли, только не скачи так.

— Значит, не хочешь?

— Кха-кха, хочу, хочу!

Софи Буммель притопывает, прихлопывает и смеется. Отчего же ей и не посмеяться? Зубы у нее теперь есть. Франц Буммель доверху полон яблочным вином. Он похлопывает жену, как лошадь по крупу.

— Молодец, лошадка, молодец! Мы выиграли!

Герта Буллерт нежно льнет к измятой рубахе Зигеля. И слушает. Ибо Зигель читает лекцию.

— Танцы — это культ! Во-первых, интересно, во-вторых поучительно. У примитивных народов танец — своего рода первый шаг к размножению.

Герта вполне счастлива.

— Ах как хорошо, когда так много знаешь!

Мампе приканчивает третью бутылку яблочного. Да и Герман что-то начал покачиваться в такт музыке.

— А Иисус танцевал в Кане Галилейской?

— Было дело, но только вальс. — Мампе вычитал это в какой-то масонской брошюрке.

Герман приглашает фрау Штамм. Она даже больше чем мадонна. Этот пробор! Эта милая, непорочная улыбка!

Но всех счастливей третья пара — Оле и Мертке. Они танцуют вместе уже десятый танец. Не говоря друг другу ни слова. Да и о чем гово-

рить? Мертке выбрала Оле. Танцем они убивают сомнения. Они пожимают друг другу руки и этим пожатием говорят все, что чувствовали и чувствуют сейчас:

Я напрасно обидела тебя.

Я не помню обиды.

Это было летом.

Лето сейчас.

Какой ты молодой, ты моложе всех.

Какая ты хорошая, ты лучше всех.

Готхельф Мишер тащит к эстраде пиво и водку. Пусть музыканты пропустят глоток. Трубач исполняет туш. Заказной вальс. «В честь того, кто подносит нам щедрой рукой». Подносит Серно.

Молодежь становится в круг. Хлопает, потеет, топает и приплясывает. Оле с Мертке отходят в сторонку. Пусть все, кому охота, почтят Серно. Оле этого делать не станет.

И вот в зал является толстый Серно. Он снял пиджак. На руке у него повисла незнакомка — туфли на гвоздиках, чулки без шва, платье с глубоким вырезом на спине, подсиненные волосы похожи на линялую рубашку. Музыканты вскинули трубы. Серно выходит в круг. Он танцует вальс — круг налево, налево, налево...

На выбритом черепе Оле поблескивают капельки пота. Улыбка сбегает с его лица. Он стоит и не сводит глаз: женщина в синем... Где он видел эту спину? Эти чуть развернутые наружу ступни? В зале шепоток. Ветерком перебегает по залу имя — из уст в уста. Сотни взглядов устремлены на Оле. Это его жена танцует вальс. Озноб сотрясает Оле.

Аннгрет видит, что Оле стоит рядом с Мертке, и, оставив своего партнера, идет к нему.

— Нет, — кричит Оле. — Нет, нет!

По залу идет прежняя его жизнь, прежняя жизнь идет на высоких гвоздиках. Оле наклоняется к Мертке и крепко ее обнимает. Спаси меня, Мертке, спаси!

49

Аннгрет прибыла в деревню за два дня до праздника урожая. Брат встретил ее в рыбацком домишке меж двух озер.

— Зачем пожаловала, сестрица?

Сестрица приехала из-за судебного разбирательства.

Аннгрет одаривает детей бананами. Желтые приторные колбаски из-за океана. Брату она привезла западные сигары, черные, как кровяная колбаса, и в серебряной обертке: обертка с тропиками, обертка с пустыней, обертка с джунглями.

Жена Анкена получила маленькую коробочку пестрей павлина снаружи, дороже золота внутри. Она сорвала крышку.

— Ах, ко-офе! Кофе и у нас есть.

Аннгрет обиженно:

— Не думаю. Это экстра-кофе. Кофе, действующее по-западному — не только на голову, но и на душу. Незабываемые ощущения!

Аннгрет сновала по дому и по саду. Ах, какие низкие комнаты! Какие голые деревья! Она привыкла к другим садам, где полно травы.

— А если трава перерастает, мне велят ее подрезать.

— Ты, значит, там в услужении?

— Ну, конечно, я резала электричеством. А потом выбрасывала.

— Что выбрасывала, сено?

— На Западе оно не нужно.

Странно, брат ее никогда бы с этим не свыкся.

Целый день Аннгрет болтает и бахвалится. Вечером идет к Серно — передать ему привет от Рамша.

— От Рамша?

— Он скоро вернется. — Указание из-за океана. Межконтинентальные решения.

— Больше этот обманщик ничего не передавал?

Наступил праздник урожая. Аннгрет пошла с братом на танцы. Надо же на людей посмотреть и себя показать.

Прошел месяц. Аннгрет без дела слонялась по деревне, всегда разряженная, мягкие руки намазаны пахучим кремом.

— А тебе не пора назад? — тревожился Анкен.

Нет, Аннгрет решила еще позадержаться.

Анкен опасался неприятностей. Государство зорко следит за всякими туманными случаями, когда они связаны с Западом.

— Ехала бы ты с богом.

Аннгрет не уезжала. Вечером она даже пошла на деревню к Серно. Она забыла передать ему еще кое-что. И начала отсчитывать бумажки перед изумленным толстяком.

— За машину, ты ведь помнишь.

Рамш за железным занавесом места себе не находил, когда узнал, что у Серно конфисковали машину. Пусть это будет возмещением убытков.

Серно чуть снова не обратился к богу.

— Есть еще братья во Христе!

Час был поздний. Тощая жена Серно зевала, распяливая рот, как печную топку. Но можно ли оставить мужа и гостью вдвоем? Аннгрет только и знает, что подмигивать. А Серно уже вышел из-под божьей опеки.

— Ах, Запад, Запад! Там ведь тоже по-всякому живут! — Какая-то тайная думка есть у Аннгрет.

— Давай, выкладывай!

У брата так тесно — жена, дети и рыбой воняет.

Серно ощупывает деньги в кармане. Ладно, пусть Аннгрет перебирается к ним.

Фрида Симсон вызвала Аннгрет к себе:

— У тебя виза еще не истекла?

— Ах, нет! — И вообще не хочет ли Фрида хоть немножечко ее выслушать? Аннгрет рассказывает длинную историю, пропитанную слезами, приправленную чувствами. Она делает Фриду поверенной своих тайн. Secret, конечно! Фрида обещает молчать. И курит от возбуждения сигарету за сигаретой. На нее оказывали идеологический нажим. Теперь с этим покончено.

Аннгрет расхаживает по деревне в ослепительном западном ореоле. Она охотно заводит разговоры с местными сплетницами и охотно отвечает на их расспросы.

Аннгрет наносит визит семейству Тимпе. Не пугайтесь, мои дорогие, ее привели сюда воспоминания. Ведь когда-то она жила в этом доме.

Аннгрет одаривает детей:

— Увы, увы, местные конфеты! — Не могла же она мешками тащить через границу западные сласти.

Она ходит по комнатам.

— Здесь стоял мой буфет. Там — пианино. Кстати, а где оно сейчас?

Они с Тимпе курят американские сигареты. Последняя пачка из ее запасов. Недоверчивость Тимпе уносится вместе с голубым дымком сигареты.

— А как живут скотники на Западе?

— Как в раю! У коров вымя до полу.

— Почасовая оплата или участие в прибылях?

Аннгрет, не растерявшись:

— Шесть марок в час.

— А жилье?

— С ванной и уборной.

Аннгрет уходит. Накрашенная, раздушенная! Тимпе в полном восхищении:

— Ну и бабец! Не диво, что она бросила этого быка Оле.

Как-то раз Серно задает Аннгрет неожиданный вопрос:

— А что там поделывает Рамш? Не вижу я, чтоб он тебе писал.

Но теперь Аннгрет врет уже без всякого повода. Одна ложь влечет за собой другую. Письма от Рамша? Такого уговора у них не было. У нее здесь свои дела. Рамш не станет ее компрометировать. Gentlemanlike *.

50

Когда Аннгрет последовала за Рамшем на Запад, она убедилась, что дела у него на мази и без магазина, и без конторы, и без лесопильни. Встречи в маленьких кафе и пивнушках. Бумаги в яично-желтых папках. Явное и тайное участие в предприятиях.

Без особой радости встретил он жену Оле:

— Хелло, Аннгрет. I am glad **.

Он взял ее по старой памяти, но без клятв и любовных восторгов. Он взял и ее деньги, деньги с пропавшей сберкнижки Оле.

Аннгрет поселилась в отеле. Наличность быстро таяла.

— Тебе надо подыскать какой-нибудь job,— сказал Рамш.

Job? А что это такое?

Просто-напросто работа.

Аннгрет нашла себе крестьянскую работу. Другой она не была обучена. Она полола сорняки в садоводствах (было время, когда Софи Буммель полола для Аннгрет). Она поливала грядки, собирала овощи. И снимала угол от жильцов.

О том ли она мечтала? Рамш показывался редко: дела, дела! Как-то она пришла к нему в воскресенье. Он лежал на диване, окруженный густым облаком винного перегара. Лоб недоучившегося медика уперся в стену неудач, и медик задумался о прошлом.

— Скажи-ка, сколько коров стояло у меня в хлеву?

— Пятнадцать, а то и двадцать.— Аннгрет пришлись по сердцу разговоры о родине.

— Этот Красный Дюрр, как он погиб?

Аннгрет промолчала.

Рамш соскочил с дивана.

— Можешь ты поручиться, что я не провороню дела своей жизни?

Аннгрет думала совсем о другом.

— Я помню, повсюду лежал глубокий снег, и я поехала к тебе в санях. А муж тогда болел...

Рамш расхохотался, как безумный.

— Да-да, это получилось неплохо, goddam!

Ох уж эта западная страна чудес! Все люди здесь охотники. Все охотятся за счастьем. Юлиан тоже нашел дело по себе. И ухватился за него. Дело это называлось хула-хуп. Круглая штука, детский обруч из пластмассы. В него влезают и, непристойно подтолкнув животом, застав-

* Как джентльмен *(англ.)*.

** Я рад *(англ.)*.

ляют вращаться. Машинное производство. Рамш — сначала тайный, потом официальный пайщик. «Хула-хуп тебя спасет. Ешь до отвала — фигура сохранится. Рекомендуем тем, кто склонен к полноте. Порадуй свою печень. Хула-хуп сохранит тебе фигуру». Давняя любовь Рамша к медицине ожила в этих проспектах. Дело пошло. Да здравствует медицина!

В Аннгрет затеплилась надежда. Проснулась расчетливая крестьянка. Она потребовала, чтобы Рамш вернул ей деньги, которые она ему дала взаймы. Рамш рассвирепел: что за мелочные счеты. Деньги плодовиты, как мыши. Неужто лучше им сгнить в чулке у Аннгрет?

Чуть не за ночь выросла вилла. Машина, шофер, кухарка. Для представительства. Юлиан возглавляет наступление хула-хупов. Филиал в Западном Берлине. Натиск хула-хупов на Зону. Про животы и печень уже ни слова. «Вперед, к прогрессу! Хула — новый вид массового спорта!»

Аннгрет была непреклонна. Если уж для любви никак не остается времени, подавайте ей денежки. Рамш милостиво принял ее. Он распахнул перед ней всю роскошь нувориша.

— Вот куда пошли твои деньги.

Что правда, то правда, Аннгрет и сама это видела: белая вилла, стеклянные стены, гипсовый Гете; в саду — цветы, искусственное дождевание, гараж, пандус и рашпер под деревьями.

Чего ж тебе еще, Аннгрет? Это вы не подумавши спрашиваете, недогадливые вы люди! Несмотря на домашний бар и стиральную машину, Аннгрет так и осталась батрачкой. Рамш домой почти не показывался: бизнес, бизнес! Быть бизнесменом — значит создавать потребности. Зона как будто клюнула. Хула-хуп — политическое орудие.

Ну, а когда Юлиан возвращался домой, чем была для него Аннгрет? Хозяйка дома, гипсовая хозяйка, как Гете в саду. Молодые дамы надолго застревали в салоне у Рамша. Это манекенщицы — такое он дал ей объяснение. Секс помогает завоевывать новую клиентуру. Дамы крутили обруч вокруг своих обнаженных талий. Юлиан оценивал фигуру, шик и шарм.

Аннгрет решилась на последнюю попытку. Она купила золотые кольца. Юлиан глянул мельком: хула-хуп для пальцев? Ну нет, это попахивает свадьбой и восточными штучками. А свободный человек свободного мира живет свободно. «We live in western and modern times!» *

— Говори хоть по-немецки, скотина! — Еще раз ожила в ней гордая дочь рыбака.

Шрамы студенческих лет перекосились в усмешке:

— А кстати, у тебя есть законный муж в Восточной зоне.

И Аннгрет осталась ни с чем. Она возненавидела пестрые обручи. Ее тошнило при одном взгляде на них.

Тут-то и пришло письмо от адвоката. Аннгрет несколько раз перечитала его не без тайной грусти. Ей вспомнилось Коровье озеро, залитое солнцем озеро в лесу.

51

Середина ноября. Туманные рассветы уже отдают серостью заморозков. К полудню тусклые капли свисают с голых ветвей. Журавли улетели на юг. Лебеди кружат над туманными озерами. Стаи диких уток галдят в сухих камышах.

А для Оле сейчас весна. Запоздалая весна. Сердце так и стучит. Его подстегивает жажда действий. Ночь после праздника урожая пере-

* Мы живем по-западному и по-современному *(англ.)*.

родила его: чуть не семьдесят поцелуев в сентябрьском лесу. Забытые радости — ласковые девичьи руки. Словно вихрь, теплый и озорной, закружила его любовь. Оттаяли замерзшие желания. Преображенный Оле держался с полным самообладанием, но в нем бушевала радость, как в пору юношеского расцвета.

В октябре он столкнулся с Аннгрет. Он чувствовал себя неуязвимым, он не свернул с дороги.

Аннгрет стояла на высоченных каблуках, среди опавшей листвы, вознесенная над грязью и гнилью деревенской улицы. Орхидея среди ромашек. Сверкая синими волосами и ресницами, взглянула она на Оле. И подмигнула правым глазом. Ну совершенно по-городскому. Это подмигивание означало: «Мы, кажется, знакомы».

Оле не растерялся.

— День добрый,— сказал он.

— Привет,— отозвалась Аннгрет.— Вопрос один: как относишься к этому ты?

Оле не понял, о чем она говорит.

— А разве адвокат не поставил тебя в известность? — И Аннгрет еще раз подмигнула.

— Всего доброго,— ответил Оле и ушел.

— Адью,— сказала Аннгрет.

Оле поехал к адвокату. Ну как?

А вот как: Аннгрет не дает согласия на развод.

Оле принял это известие спокойно. Он даже не опечалился. Он засмеялся, большой ребенок. Вчера вечером он узнал неслыханно важную новость. Они сидели в комнате у Мертке и толковали о коровах, о цыплятах, о приближении весны. Мертке вдруг улыбнулась непонятно чему:

— А что будет с нашим цыпленком?

Оле просто ошалел от радости.

— Ой как здорово! — И умчался прочь. Он не мог усидеть на месте. Но он не стал плести колыбельку, как тогда. Сейчас весь мир был колыбелью. И Оле торопился не позже чем к лету весь его перестроить — для сына.

Взять, к примеру, шведских коров. После уборки урожая Оле велел выгнать их на пастбища. Обещанные районом корма так и не поступили. Подозрения Оле росли день ото дня. Он посоветовался с правлением — с Эммой, Крюгером, Либшером.

Эмма-малявка предостерегала:

— Не полагайтесь на посулы начальства.

Крюгер кивнул:

— Свистать всех наверх, избегнуть самого страшного. Спасти скотину «Цветущего поля» от голодухи.

Удвоили посевную площадь за счет жнивья. Засеяли ее люпином и подсолнухом. Как по заказу, выпали необходимые поздние дожди. Потянулись из земли всходы. Но в сентябре подсушило. Золотая осень. Золотая, только не для «Цветущего поля». Люди с тревогой поглядывали на всходы. Человечество бурно покоряет звезды, а предсказание погоды, как и прежде,— дело случая.

Словом, пожнивные посевы дали скудный урожай. Радоваться нечему. Ну что ж, ворошили и перетряхивали каждую травинку. Создали хоть какую-никакую загородку против голода. А что будет, если Вуншгетрей не сдержит слова?

С бывшего Рамшева подворья Оле вывез обветшалый хлев. Он гонял по всей округе, добывая известь и цемент. Келле-каменщику с его бригадой поручили расширить скотный двор кооператива.

Уже расчистили строительную площадку, а райотдел взял да и не утвердил проект. Оле помчался в город.

— Чего вы канителите? Осень на дворе. Надо спешить с коровником.

— А вам не нужен коровник.

— Это кто сказал?

— Краусхар.

Оле врывается к Краусхару:

— Ты чего лезешь не в свое дело?

Краусхар, с высоты своего трона:

— У вас есть открытый коровник.

— Значит, оставить племенной скот на морозе?

— Не твое дело указывать государству.

Оле проглотил вертевшийся на языке ответ и ушел.

Дома посоветовался с Келле. Вместе они составили план. Начали. И без того сколько погожих дней упущено!

Оле затеял лично подносить на леса строительный камень. Его радость искала выхода.

А Мертке? Вы когда-нибудь видели ее такой, как сейчас? Она не ходит, она летает по дорогам. И по-прежнему приветлива со всеми. Она готовит птичий двор к зиме, законопачивает каждую щель, через которую ненароком может залететь ветерок. Она намешивает корм и сама его пробует. И подбавляет морковки. И в ненастные дни ноября выманивает у своих курочек яички с ярким по-весеннему желтком. Она расцвечивает свою работу песенками:

Гнездись скорее, белый гусь!
Заря — в любом оконце.
Ушла зимы студеной грусть,
И пригревает солнце.
Вон пчелы над цветком гудят.
Стреми ж полет высокий —
Пусть желтый выводок гусят
— Весна! — галдит в осоке...

Так, значит, для Мертке сейчас весна? Уж вы поверьте ей, товарищи. Весна для нее, как и для Оле, началась в облетающем сентябрьском лесу.

Мягок был мох. Золотые листья падали с деревьев. Огнем жгли поцелуи. Ах, как близок был ей Оле. Близок — и все же недостаточно. Робость и стыд спадали, как изношенное платье. Великая пора любви, когда в каждой мысли бьется твое сердце!

Мертке обнимает матушку Нитнагель, свою наперсницу.

— А ты полюбила бы Оле, если бы он этого захотел?

Матушка Нитнагель улыбается.

— А если бы он тебе сказал: ты должна стать моей женой?

Матушка Нитнагель улыбается.

— А если бы он тебе сказал: не дай мне замерзнуть?

Матушка Нитнагель плачет.

А Мертке ходит окутанная плащом любви. Она заглядывает на строительную площадку и одаривает усталых каменщиков яблоками. Подручный Оле Бинкоп получает самое красное яблоко и впридачу шлепок по кожаной фуражке.

Она пляшет на деревенских улицах, невеста в золотых туфельках любви. Притаясь позади запотевших ноябрьских окон, злые феи прядут свою пряжу. Тощая фрау Серно сплевывает в горшок с цикламеном.

— Ни стыда, ни совести у этих коммунистических девок.

Фрида Симсон поворачивается к ней спиной и внимательно изучает объявления собственного производства.

Фрейлейн Данке из кооперативной лавки остерегает Мертке:

— Что до меня, я уже здорово обожглась на этой самой любви. И будь я на вашем месте, я не рискнула бы...

Всего труднее сладить с Эммой Дюрр.

— Ты бы все-таки подумала! Оле вполне мог быть твоим отцом.

— Он мой муж.

— Подожди чуток, он устанет и согнется в три погибели.

— Я буду любить его и не дам ему состариться.

— На мой вкус он малость волосат.

— Я люблю его таким, как он есть.

— Здесь его жена.

Мертке глубже закутывается в сотканный любовью плащ:

— Я — его жена.

52

За ночь подмерзли лужи на дорогах. Миллиарды ледяных иголок плавают в озере. Луговая трава прихвачена морозом. Мампе должен пригнать шведских коров с пастбища.

Великое спасибо Келле и его бригаде! Стоит капитальный коровник, крытый разномастной черепицей. Оле собирал ее с бору да с сосенки. Красоты особой нет, зато коровам будет вольготно.

Если вдуматься, шведских коров Оле навязали почти силой. И все же он заботится о них. На то он и Оле Бинкоп. Да здравствует жизнь! Теперь ему надо уезжать, но для начала он хочет поглядеть размещенное на зиму стадо. Широкогрудые, приземистые коровы. Ох и хороши на племя! Три из них стельные.

Всего через год Оле возьмет сына на руки и гордо пройдется с ним по коровнику. Одна мечта сбылась, один памятник сохранится — прекрасное стадо.

Хлопает дверь. В дверях Тимпе. Требовательным голосом:

— А где корма для шведской скотины?

Ни слова беспартийному Тимпе о том, как не сдержал свое слово член партии Вуншгетрей.

— Концентраты и сено из наших запасов!

Тимпе скалит зубы.

— Это на первое время.— Он иронически поводит носом.

Ватник, ватные штаны, валенки, ушанка, полный рюкзак — эдаким медведем вваливается Оле на птичий двор. Матушка Нитнагель тактично склоняется над кормушкой.

Прощание с Мертке по всем правилам.

Три поцелуя под аккомпанемент несушек и шлепок впридачу.

— Береги сына.

И Оле уходит в путь-дорогу, словно герой из сказки. Он хочет отыскать железного великана, который поможет ему добыть корма для «Цветущего поля». Стрекочет дряхлый мотоцикл. От морозного ветра заиндевели края шапки.

В окружном центре, в лабиринтах учреждений и управлений ищет Оле железного великана.

— Экскаватор! И как можно скорее!

Стражи железного великана глядят удивленно.

— Это не от нас зависит.

Вверх по лестницам, вниз по лестницам, из двери в дверь, из двери в дверь.

— Мне нужен экскаватор.

— Это не от нас зависит.

Зависит не зависит, ни от кого ничего не зависит. А от кого же зависит, черт подери?

Учреждения закрываются. Дня не хватило. Не пойти ли к окружному секретарю? Найдется ли у него время выслушивать особые пожелания? Сколько таких кооперативов в округе? Сколько особых пожеланий? Вот ведь черт подери! Оле сам активист, он знает в этом толк!

Устало бредет Оле в гостиницу. Мужчина за конторкой испытующе смотрит на него:

— Салат принес, что ли? Для поставщиков у нас черный ход.

— Сейчас получишь мешком по зубам. Мне нужна койка.

На другое утро все сначала:

— Мне нужен экскаватор.

— Не наседай, папаша, не наседай...

Оле хватает чиновника за лацканы и встряхивает.

— Ах так, я папаша? А ты знаешь, желторотый, что моя жена моложе тебя?

Чиновник смягчается:

— Непременно тебе экскаватор? Может, землечерпалка сойдет?

Оле так и взвился:

— Подавай сюда землечерпалку.

И опять не слава богу. Ее надо сперва найти.

Оле едет в Тюрингию. В рюкзак засунут номер «Крестьянской газеты»: продается почти новая землечерпалка, цена по соглашению.

Щиплет мороз. Искрятся деревья. Старый мотоцикл пыхтит и стонет. Оле добирается до Веймара, но тут окончательно сдает мотор. Оле колдует над ним, он весь перемазался в масле, он истекает потом, жмет на стартер — ни звука. Придется сдавать в ремонт. И дожидаться два лишних дня.

Блюменау вступает в зиму. Толстый Серно уже взгромоздился на печь. Он прогревает свои телеса, потом отправляется на прогулку. Куда запропастился Оле? Этот вопрос мучит его. Но вот ответ получен. Серно спешит к Купке и Метке.

— Эй, сыночки, купил вас Оле, а?

— Отвяжись, толстомордый!

— Ну, ну, детки, не грубите!— Серно просто зашел предостеречь их. Ведь Оле поехал за экскаватором. Он взроет наследственные луга Купке и Метке.

— Вряд ли ваши отцы этому порадовались бы, а, сыночки?

Заглядывает Серно и к Тутен-Шульце.

— Какие новости?

В Обердорфе замерзла корова. А всё эти фокусы с открытыми коровниками.

Серно располагает свой зад на мягком диване.

— Ничего, наш Оле умней! Он не позволит собой командовать.

Тутен-Шульце улыбается с эдакой хитрецой.

— Ах как жалко.

Так они дразнят друг друга, и оба довольны.

Серно выслеживает почтальона. Приносит ли он письма для Аннгрет? Нет, не приходят письма из *«свободного мира»*. Что-то не так у Рамша с Аннгрет.

Серно тащится к Фриде Симсон.

— У Аннгрет Рамш все в порядке?

— Все в ажуре!— Фрида весьма любезна. Серно зря трудился.— Но за заботу спасибо!

Вот это правильно. Только забот у Серно больше, чем о том догадывается Симсон. Даром, что ли, он заседает в общинном совете? Взять хотя бы коровник, сооруженный Оле. А комиссия его приняла? Если разразится скандал, Серно за Оле отвечать не намерен.

Фрида погружается в задумчивость. Сидишь-сидишь, пишешь-пишешь, бьешься-бьешься! Одни тревоги и огорчения. Ее просто из себя выводят похождения Оле. Растление, сожительство, *аморалка!* А ему хоть бы хны. Все силы он из нее выматывает. Когда прикажете ей работать с другими людьми, как справедливо требует инструкция? Фридины люди должны нормально развиваться и без ее вмешательства, работая над собой. Примеры? Серно.

Фрида делает себе пометочку: относительно Серно. 25.XI. Первые шаги от «я» к «мы».

После этого она вызывает к себе Тео Тимпе.

— Эй, друг, ты часом не спятил?— Где Тимпе разместил драгоценный импортный скот? В этой развалюхе?

Тимпе сдвигает набекрень свой колпак. Он туда коров не загонял. Загонял их Оле.

— А ну, чтоб духу коровьего там не было!

Тимпе чует благоприятную перемену погоды. Он даже приближается на шаг к премии.

— А удои все равно снизятся.

— Очумел?

Очуметь не очумел, но у него есть приказ снять концентраты из рациона дойных коров.

— Не сметь, ни единого грамма! Нам нужно молоко, понял?

Тимпе все отлично понял, а чем все-таки кормить?

Чем кормить, чем кормить! Ведь было сказано: силос — краеугольный камень зимнего содержания скота.

Тимпе перегоняет шведских телок. Он гонит их в открытый хлев на Коровьем озере. Запыхавшись прибегает Карл Крюгер.

— Что вздумаешь, то и будешь делать — так, что ли?

— Приказ Симсон.

— Начинаются шуточки.— Карл Крюгер перегоняет коров обратно.

Под вечер приходит усталый Мартен, народный полицейский.

— Ну что ты дуришь? Знаешь ведь, что хлев не принят официально. В конце концов я взываю к твоей партийной совести.

Крюгер сдается, но, уж погодите, он еще разуважит кнутом этих жеребцов из стройуправления. Ах, до чего неохотно перегоняет он стадо в открытый коровник!

А морозы крепчают. Куда же подевался Оле? Крюгер делает все, что в его силах. Он покрывает дерном овощехранилище, он покрывает насосы соломенными матами. Он то и дело наведывается в открытый хлев.

— Ты чего им дал?

— Силос.

— Они же его не едят.

Нос Тимпе иронически подергивается.

— Голод не тетка. Сожрут как миленькие.

— Ох, хоть бы Оле скорей вернулся.— В коровах Крюгер не силен.

Как медведь в клетке, мечется Оле по Веймару. Еще ни разу в жизни не было у него отпуска. Ежели отпуск выглядит именно так, то благодарю покорно.

Он разглядывает витрины. Как много всякой всячины нужно человеку. К примеру, этот зеркальный шкаф для водки. На ценнике написано: домашний бар. Надо же! Готовый набор для пьяниц.

Интересно, что сейчас делает Мертке, о чем думает? Не написать ли ей? Хотя сейчас не война. Он запросто обгонит собственное письмо. А следом явятся поцелуи на бумаге. К чему?

Он покупает маленькую туфельку для Мертке — игольник с надписью «Привет из Веймара». Смешно, правда ведь?

Старые дома! Боже праведный! Здесь Фауст любился со своей Гретхен. Старые колодцы, эркеры, переулки. А где жил сам старик Гете?

Оле бредет по заиндевевшим лугам, спрашивает, как пройти к загородному домику Гете. Основательная постройка. Хозяйственный человек был этот Гете. Луг прямо перед домом — коси на здоровье, непонятно только, где у него был сеновал?

Здесь же Оле узнает, что у Гете было целых два дома. Буржуй, значит? Хотя в те времена, наверно, нельзя было иначе, если человек хотел писать книги.

Оле топает к домику Гете на Фрауенплан. Может, здесь был сеновал? Тоже нет — один дровяной сарай. Этот человек из гипса, в лавровом венке — он ведь не только сочинял. Он изучал цвета, собирал породы дерева. Может, он был специалист по дереву? Но ведь электричеством он тоже интересовался, этот неугомонный старик. Скелеты, кости, чучела птиц. Чем только этот Гете ни занимался! Гансен, поэт, что приезжал к ним на праздник, слабак против Гете. Ему бы приехать сюда и поучиться у Гете уму-разуму.

Теперь Оле не скучно. Он открыл для себя второй мир. Он читает старые вывески, пробивается через древненемецкий язык пожелтевших документов. Много всякой всячины! Оле качает головой и прищелкивает пальцами. В отпуске-то и поучиться. Нет, сюда надо приехать с Мертке. Вот будет радость! Она начнет скакать, как коза. «Да ну, да неужели?» А он улыбнется, стоя подле нее с видом знатока. Они, конечно, почтят старого Гете.

Придя в гостиницу, Оле перерывает свой рюкзак. Игольник в виде туфельки — пустая безделушка. Для Мертке он не подходит. Такой подарок сгодится, пожалуй, для Эммы.

А Мертке он покупает пестрый платок и альбом с видами Веймара. Пусть посмотрит, что есть в этом Веймаре, пусть поахает и хоть немножко порадуется загодя.

Мотоцикл исправлен. Оле едет дальше. И вот на шестой день пути около полудня встречает в одной деревне железного великана.

— Он нужен мне для выемки твердого грунта. Это он умеет?

Да, умеет. Понадобится только небольшая переделка. Сменить челюсти великану — и все. Сейчас великан вынимает болотный ил. Его стальные челюсти лязгают. Оле даже вспотел от радости и волнения. Он уже видит, как его мергель извлечен на поверхность. Но радость свою тщательно прячет. Покупатель, который хвалит скотину, платит дороже.

Сделка запивается отменным тюрингским пивом.

— Ну, уступите, товарищи, хоть маленько. Мы ведь дети одной семьи.

Итак, через восемь дней он даст им окончательный ответ. Сперва ему надо посоветоваться со своими.

Оле мчится в Блюменау. Даже не останавливаясь перекусить по дороге. Припорашивает снежок. Поблескивает шоссе. «До-мой, до-мой»,— выстукивает мотор.

Полночь. Перед Блюменау Оле сворачивает на лесную дорогу. Снег бьет в лицо. Надо притормозить и протереть очки. Жалобное мычание доносится из леса, мешаясь с глухим шумом метели. Оле вслушивается, дрожа от холода. Какое-то время он идет пешком. Мычание несется с озера. Обвинением гудит лес...

Оле стоит перед открытым хлевом. Потеет, отдувается. Снежинки тают у него на бровях. Озеро серое и загадочное. Коровы ревут. Оле узнает шведских телок. Густой запах силоса. Шведки жалобно бухают копытами по смерзшимся кускам силоса. В углу лежит околевшая корова, Оле опускается возле нее на колени. Ощупывает ее. Бедняга околела во время отела. Еще пятеро лежат со вздутыми животами. Они дергаются и бьют копытами в агонии. Башня истошного рева громоздится над лесом.

— Уб-бью! — орет Оле. И, сбросив с плеч тяжелый рюкзак, что есть духу бежит к спящей деревне. Он стучит кулаком в двери Тимпе, стучит, стучит. Вот так однажды среди ночи он ломился к Аннгрет, просил впустить его. Он дергает за ручку. Дверь не заперта. Оле вбегает в кухню, ощупью находит выключатель. Квартира, слава богу, не чужая.

— А ну-ка, Тимпе, поди сюда!

Безмолвие. Оле идет по комнатам. Ни души. Только шкаф стоит раскрытым настежь. Да на полу возле печки валяется кукла. (А когда-то там валялась свадебная фотография). И еще на чердачной лестнице — детский чулок. А в сенях — куртка Тимпе.

Той же ночью Оле перегоняет шведок в теплый хлев.

53

Снег валил всю ночь. На улице выросли сугробы. Мать Фриды надевает валенки. Да, в лесу сегодня не сладко. Обувшись, старуха будит дочь и подает ей кофе в постель.

Фрида Симсон выпрастывает из-под одеяла жилистые руки. Как ныряльщик от дна морского, отталкивается она от подушек. На обесцвеченные волосы надета голубая сетка. Фрида потягивается и зевает.

— Ну, как погода?

— Самый раз не вылезать из постели.— Старушка опускает поднос.— Метет, прямо ужас.

Фрида отодвигает кофе.

— Дай мне лучше сигарету.

Мать подает ей пачку. Фрида жадно, глубоко затягиваясь, выкуривает сигарету.

— Значит, снег, говоришь?

— Пойду, мне некогда.— И старушка уходит.

Фрида сбрасывает пепел на поднос. Значит, на сегодняшний день мы имеем снег. Теперь наипервейшая задача сделать выводы из новых условий. Снег сам по себе для нее просто белый мусор. Его надо еще осветить с государственной точки зрения. Расчистить дороги! Проверить овощехранилища!

Старуха идет по заснеженной улице. Она глубоко вздыхает. Тяжкий крест — незамужняя дочь! Зато подкованная, как говорится, по всем статьям.

Фрида вылезает из постели и отхлебывает глоточек кофе. Опять старуха пожадничала. Никакой силы в напитке! Фрида натягивает трико и облачает грудь в соответствующие доспехи.

Топот в сенях, дверь хлопает, и Оле, промчавшись через кухню, врывается в комнату. Фрида прикрывает свой обнаженный стан.

— Оле? Чего тебе?

— Убить тебя как есть голую, чертова ведьма!

— Спасите! — орет Симсон, надеясь, что ее голос звучит вполне целомудренно, и швыряет нижнюю юбку в лицо нахалу.

Оле в ярости топает ногами. С его сапог стекает талый снег.

— Теперь все. За убытки будешь отвечать ты.

— Ах ты, облом деревенский, галантности в тебе ни на грош! Разве можно бить обнаженную женщину?

— Ты погоди у меня! Я тебе припомню твои шашни с Тимпе!

— Какие шашни? Я думала исключительно о высоких удоях! — Симсон простирает к нему руки.— Дорогой Оле, ты должен меня понять!

Ослепший от злости, Оле не видит ее женских прелестей. Он грохает кулаком по тумбочке.

— Хватит! — К чертям собачьим такого бургомистра! Уж он позаботится об этом! И Оле выскакивает вон, в метель.

А Фрида дрожит. Ее нижняя юбка заляпана мокрым снегом. Оле, этот медведь, наступил на нее своими сапожищами.

Занимается день. Утихает ветер. Солнечные лучи преломляются в льдинках. Блеск чистоты и невинности исходит от деревьев и крыш. Мампе Горемыка сам вывозил шесть павших коров. Настроение у него похоронное. Очень не мешало бы утешиться. Начистив сапоги, он берет курс на кооперативную лавку. Навстречу ему пыхтит бухгалтер Бойхлер.

— Мампе, срочно к Симсон.

То, что увидела Фрида в деревне, никак нельзя было назвать веселым зрелищем. Шесть павших коров! Импортный скот! Оплаченный валютой! А Тимпе и след простыл. Господи, что-то будет! Симсон скребет ладонь длинными ногтями. Курит, думает и не понимает, что к чему. Неужели Оле все-таки ее подловил? Неужели она как мышь в мышеловке? Ни одного наказуемого поступка она не совершила. Открытые коровники, силос, удои — все отражено в циркулярах, все продумано вышестоящими организациями. Вот мороз, конечно, не предусмотрен... Но разве это зависит от Симсон? Не она же председатель «Цветущего поля»!..

Мампе Горемыка успел малость подогреться в лавке. И в нем оттаял дух противоречия.

— Чего тебе от меня надо?

Симсон официальным тоном и вся зеленая от разлившейся желчи:

— Ну, голубчик, это тебе даром не пройдет.

— Ты чего мелешь языком, крашеная галка? — Можно подумать, что настали времена *феодального целибата*. Он, Мампе, что ли, убил этих коров? — I kill you!

Фрида:

— Ну, ну, без американских штучек! — Дело обстоит так: Мампе не справился со своими обязанностями по уходу...

— По уходу? — А он, Мампе, здесь не хозяин. Хозяин, старый козел, в это время где-то шлялся.

Фриду осеняет блистательная мысль:

— Ты все это сообщишь для протокола.

— Для протокола? — Мампе слышать не желает ни про какие протоколы...

Симсон достает из письменного стола бутылку. Хлюпает пробка. Благоухание сливянки наполняет кабинет...

Снова тает снег. Зима еще не устоялась. Аннгрет месит ногами снежную кашу. Она сидит по чадным крестьянским кухням, жадно втягивая ноздрями запах разваренной репы. «О, эти ароматы родины!»

Кумушки ощупывают ее сумочку, туфли, жакет. Да, товар что надо! Кумушки стрекочут и трещат. Мочат губы в черном кофе.

— Аннгрет, милочка, как ты можешь все это терпеть? Ты привыкла жить по-благородному, а сидишь в такой дыре!

Если хотите знать, Аннгрет своими глазами видела шахиню Сорейю. Бурные страсти, нейлон без шва, мыльный порошок, который сразу моет и сушит, мыло люкс, тысячи тысяч самых изысканных предметов — все это там, на Западе.

Аннгрет улыбается тонко и проницательно. Все так, но родина остается родиной. Березы вокруг озера, рыбки в прибрежном иле, холмы, поросшие вереском, воспоминания, окрашенные в фиолетовый цвет, дорога в церковь, новое платье к конфирмации, падение из рыбацкой лодки, борьба за жизнь... А кроме всего прочего, муж.

— Муж?

— Вот именно.— Аннгрет все обдумала и решила остаться в Блюменау. В конце концов, у нее есть свои права.

Толстый Серно бродит поблизости, слушая, как чихают подвальные мыши.

— Тебе, наверно, пора уезжать,— говорит он Аннгрет.

— Ради бога...

— Чего, чего?

Аннгрет ладошкой зажимает себе рот. Откровенно говоря, она надумала остаться.

— Хочешь вернуться к Бинкопу?

Хочет, оказывается. У нее есть права.

— Тогда поторапливайся. Пока дом никем не занят.

Каблучки Аннгрет уже слегка стоптались. Она идет по деревне, словно таща за собой свои корни. Она спешит к Симсон. Дело вот в чем: Фрида знает, что Аннгрет возвращенка. Что она во всем раскаивается. И что у нее имеются определенные права. Ведь не может же она до конца своих дней гостить у кого-то.

Симсон все понимает с полуслова. Да, Аннгрет имеет право на квартиру. Это точно.

— У нашего рассыльного пустует комната.

Нет, Аннгрет является совладелицей целого дома. И дом этот в данное время никем не занят... Ну есть там и еще кой-какое добро: стол, шкаф, кровать, зеркало и, само собой, пианино...

— А разводиться? — Разводиться-то Аннгрет намерена или нет?

— Ни за что! — Аннгрет топает ножкой. Каблук пополам. Ох уж эти товары по общедоступным ценам. «Стальной» стержень из заменителя!

54

Оле сидит на диване и думает свою думу. Диван остался от небезызвестного Тимпе, рвача, который заботился только о своей выгоде. Все хотел словить золотого тельца, а тем временем загубил здоровых телок. Будьте вы прокляты, стяжательство и бюрократизм!

Теперь Оле должен исправить случившееся. Он по целым суткам не снимает сапог, ночует в квартире Тимпе, чтобы не тратить время на

дорогу до Эмминой лачуги. Ему надо вставать среди ночи, убирать навоз, задавать корм и доить.

Мертке ему помогает. И заодно учится доить. Должно быть, ее маленькие руки болят от дойки. Но она не жалуется, она обхаживает кур, чистит коров и подбадривает своего беспокойного мужа.

Однажды она прибегает со всех ног.

— Оле, подумай только! Утки!

Музыкальные председателевы утки вернулись с дальних озер — белые, пестрые, с синим и черным, старые и молодые, четыре, пять сотен, целая стая.

Мертке тащит корм. Старых уток можно сразу узнать: они берут у нее корм из рук.

Оле еще не отдышался от бега. Глаза у него сияют. Он поднялся к звездам, он переиначил жизнь перелетных птиц. На что только не способен человек! Юношеские мечты не обманули его.

Мертке ахала, скакала, была счастлива, радовалась победе своего мужа и очень любила его.

Сладостны, но кратки мгновения победы. А борьба длительна. Прибегает Эмма. По дороге она скинула туфли и бежит прямо в чулках.

— Стоите тут как Адам и Ева в раю!

— А ты приползла как змей?

Эмма размахивает газетой:

— На, читай, дурень!

Оле прочел газету под утиный галдеж. Подбородок Мертке лежал у него на плече. Она тоже читала. В газете была статья. Статья была посвящена Оле: «Председатель безответственно уехал в отпуск... Падеж скота... не приняты необходимые меры... недосмотр... бездумное разбазаривание государственных средств и валюты... до каких пор районное руководство будет потворствовать... Сельский корреспондент. Подпись А. Ш.».

Мертке вне себя от возмущения, ее остренькие ушки так и пылают.

— Да как же так!

Эмма сплевывает прямо в столпотворение уток.

— Стыда нет у газетчиков. Антон в гробу перевернется.

Только Оле сохраняет спокойствие: этот ветер дует от Симсон. Ничего, все разъяснится. Не глупость же, в конце концов, правит миром.

Эмма, без туфель, яростно:

— Вот живучий чертополох, эта Фрида! Разве речь только о тебе, волосатый ты козел!

День кончается. Работа не оставляет времени для раздумий. Мертке присматривает за вернувшимися утками.

Это же подарок «Цветущему полю» от дальних озер.

Вечером Оле, как обычно, сидит на диване. В сенях шорох, шаги, женские голоса. Оле распахивает дверь в сени. Там стоят Симсон и Аннгрет. Аннгрет испугана. А Симсон, брызгая слюной, набрасывается на Оле:

— По какому праву ты сюда въехал? Официально дом еще занят. Это наказуемое деяние.

Оле с сухой усмешкой:

— Дом принадлежит мне.

— Это мы еще посмотрим! — И Симсон вталкивает Аннгрет в комнату.

Эмма оказалась права: глупость ширилась и росла. Уже на другой день явились Купке и Метке, два крестьянина, которых Оле и Крюгер завербовали в праздник урожая; они переминались с ноги на ногу и мямлили:

— Вот, в газете статья... А нам отвечать за павших коров? Мы хотим выйти из кооператива!

Оле посоветовался с Крюгером, Хольтеном, Эммой и Либшером. Решено было удержать Купке и Метке во что бы то ни стало. Для Оле речь шла прежде всего о мергельных участках возле озера.

Правление решило, со своей стороны, написать статью. Во имя правды! Крюгер набросал объяснение. Хольтен отвез его в город. И круто поговорил с главным редактором районной газеты.

— Брехню печатали, напечатайте теперь правду!

— Ну, ну, легче на поворотах! — Редактор ничего не знает о заметке, порочащей Оле. Заметку тиснули за его спиной.

Хольтен поехал в редакцию окружной газеты.

— Кто написал эту брехню?

— Насколько можно судить, кто-то из ваших.

Оле ворочает мозгами и так и эдак. Кто же написал всю эту брехню? А. Ш.! А. Ш.... Он перебирает имена всех жителей «Цветущего поля». Только Мампе — Артур Шливин — не приходит ему в голову.

Как он сидел на диване, так сидя и заснул. На дворе полнолуние. В печи дотлевает вечерний огонек.

Кто-то осторожно будит его. Оле выбирается из глубокого сна. Словно молитва детских лет, в его пробуждение вплетается старая присказка: «Что мне сделать, чтобы ты.. » Испуг пронизывает его. Вся в лунном свете стоит перед ним Аннгрет. Она с улыбочкой подсаживается к нему.

— Ты озяб, как я вижу...

Оле вскакивает, Оле мчится прочь с криком:

— Пошла вон!

Не круговращение ли вся наша жизнь?

Аннгрет ощупью движется по комнате. Дух ее сломлен. Куда подевалась гордая рыбацкая дочь? Кто она теперь? Чего она теперь хочет? Как и много лет назад, она сидит, залитая лунным светом, и обдумывает свое поражение.

Проходит час. Оле не возвращается. Торчит небось у своей. Аннгрет выбирается из пропасти. Вот стоит бутылка. Аннгрет выпила ее наполовину. Порох для крови и для души.

Аннгрет пишет письмо. Две строчки для Фриды Симсон. Две строчки за полчаса. При этом надо пить. Ишь дурища Симсон, до чего додумалась: Аннгрет Анкен будет у них коровницей!

Письмо окончено. Аннгрет безостановочно снует по комнате, как много лет назад. Она вспоминает, как разбила зеркало. Улыбается бессмысленно. Жгучее желание схватывает ее — желание хоть на миг сделаться прежней Аннгрет. Она подходит к пианино и опять бренчит одним пальцем. «Я мчусь к своей любимой сквозь стужу и снега...» — пронзительным, пьяным голосом поет Аннгрет. Под ногами взвизгивает забытая кошка.

Бывшая жена Оле, гордо подбоченясь, идет по селу. Месяц блестит. Ну, чего уставился, бледная немочь? Посвататься хочешь? Вот, полюбуйся: я — Аннгрет Анкен! Ну и всыплю же я тебе сейчас!

Над кооперативной лавкой сверкают огни рекламы. Аннгрет вдруг вся передергивается. Ведь сегодня днем она встретилась здесь с Рамшем: дети крутили обручи, купленные в магазине. Неужели Рамш уже побывал в Блюменау? Уже догнал ее? Сгинь, сатана!

Аннгрет бежит к церкви. Сегодня днем ей повстречался здесь Мампе. «А у Оле будет ребенок». Она ударила портняжку по лицу. Мерзость какая, ни от чего не отказчик!

Но на берег озера она является прежней гордой Аннгрет. Она кричит месяцу:

— Ну что, узнаешь теперь?

Аннгрет Анкен едет проверять верши. Надо, надо съездить. Еще ребенком Аннгрет мечтала поймать золотого угря. Время приспело. Сейчас я изловлю тебя, господин угорь!

Аннгрет гребет. Рыбацкая лодка вырывается из стены камышей. Льдинки похрустывают под ее днищем. Аннгрет мерзнет. И прикладывается к зеленой бутылке. Физиономия месяца зыбится в ледяной воде. Ты уже у моих ног, а, месяц? Что-то непохоже, что тебе под силу сладить со мной. А-а, ты замерз! Тогда выпей и согрейся.

Озеро заглатывает пузатую бутылку — последний запас пороха, вывезенного с Запада.

Падают капли с весла... а у Оле будет ребенок... ребенок... у Оле ребенок.

Круг на воде, поначалу маленький, не больше могильного венка. Но венок растет, волны устремляются к берегу и там перешептываются с камышами: хотела поймать золотого угря... золотого... золотого угря...

55

Предзимнее ненастье в провинциальном городке. Люди надели теплые пальто. В парках воробьи унизали края урн. В комнате Вуншгетрея зазимовали фикусы. В батареях свиристит вода. Картина с литьем и огнем ничуть не греет.

Стало быть, Вуншгетрей нежится в своем кресле и думать не думает о кормах. Нет, товарищи, не надо так говорить. Очень даже думает. Но никак не может свести воедино две линии: увеличение поголовья и недостаток кормов. Он переговорил об этом с товарищами из округа. «Будут корма, будут,— заверили те.— Вот в прошлом году были же, когда понадобилось. Больше доверия надо, больше доверия».

Но втайне Вуншгетрей усомнился. В конце концов, это не запрещено. Он пытался уяснить себе причину: может быть, они зря надеялись на импорт? Ведь писали же газеты о засухе за рубежом. Там, надо полагать, даже с хлебом туго. Могут ли братские страны равнодушно смотреть на это? Что, в конце концов, важней — хлеб или мясо?

Недели текли, кормов не прислали, а прислали вместо кормов руководящее указание: «Не рассчитывать на импортные корма!» Новость эта ошеломила Вуншгетрея, хотя он в общем-то был готов к ней.

— Вы что, шутите, что ли?

Ответ на высоких нотах:

— Проявляйте инициативу!

Спасибо за совет: проявляйте! Несколько недель назад говорилось: доверяйте.

Вуншгетрей почувствовал, что его предали. Как добывать корма? Волшебной палочкой? Он извелся в поисках выхода! Начал даже, против обыкновения, курить и выпивать.

Однажды ночью — уснуть он не мог — перед ним мелькнул выход. Он даже сам себя взял за воротник пижамы: районный секретарь и вдруг пессимист? Это не дозволено.

Наутро он вызвал к себе Краусхара и показал себя хозяином положения.

— Ну, как с кормами?

— Плохо. Сам, что ли, не знаешь?

— Нет, я имею в виду единоличников в районе.

— У них лучше. Они не докупали скот. Поди их заставь. Телят они всех зарезали на мясо и деньги за молоко драли дай боже!

И Вуншгетрей сказал уверенным тоном, словно получил указание свыше:

— Всех — в кооператив! — и вполголоса: — Хотя бы ради их кормов.

Запланировали для вербовки новых членов агитвоскресенье под лозунгом «Будущее — за кооперативами!» И это было правильно и не оставляло места для кривотолков, хотя и выглядело на данном этапе не более как персональный лозунг Вуншгетрея, с помощью которого тот надумал вылезти из чисто личных затруднений.

Фрида Симсон тоже приняла весьма деятельное участие в подготовке агитвоскресенья. Она предъявит миру собственное достижение. Пусть районный секретарь попробует и на этот раз не заметить ее.

«Возвращенка с Запада отвергает экономическое чудо. В кооперативе станет одним членом больше».

Фрида пошла к Аннгрет — показать ей сочиненную по этому поводу заметку в газету.

Но комната Аннгрет была пуста. Открытое пианино, как насмешливое чудовище, скалилось всеми своими клавишами. На столе лежало письмо Аннгрет. Взволнованно попыхивая сигаретой, Фрида вскрыла его.

«Сельскому бургомистру Фриде Симсон! Сообщаю, что обед Антона положил под ту сосну лесопильщик Рамш. А кто повинен в моей смерти, ты и сама можешь догадаться. С последним приветом

Аннгрет Ханзен».

Тревога в деревне. Аннгрет начали искать — и нашли. Сеть подозрений и слухов сплетается вокруг Оле.

Рыбак Анкен, брат покойной, обеспечивает необходимое сочувствие:

— Ах, бедная сестра! Она была такая добрая. Она засыпала подарками всю семью. Золотое сердце! Но такая печальная, такая задумчивая!

И толстый Серно может сказать о покойнице немало хорошего: Аннгрет Рамш была ангел, а не женщина. Воплощенная скромность в человеческом облике. Ей бы надо у Рамша и остаться. Но нет, она умерла во имя чести немецких женщин.

Оле вымученно улыбался:

— Да подите вы... все это кинотрюки.

Золотое время настало для кумушек. Продажа кофе значительно возросла.

Ах, эта Аннгрет, ох, эта Аннгрет! Она повидала лучшую жизнь, но все равно тосковала по мужу. А муж-то ее отверг и спутался с рыжей птичницей. Может ли такой ирод оставаться председателем?

Друзья Оле боролись со сплетнями.

— Пожалели бы вы свои глотки! Типун вам всем на язык! — Никто еще ни разу не видел Хольтена в такой ярости.

Герман Вейхельт тут-то и дал волю своему смирению.

— Чего вы хотите? Чтобы я осудил Оле? Я низко пал, а Оле возвысил меня, как сказано в писании. Аннгрет презрела работу в «Цветущем поле». Вы все ее видели: каблуки как ходули. Из ноздрей пышет дым и огонь. Она предалась блуду, как вавилонская блудница. Никто не уйдет от кары господней!

Толстый Серно убегался до седьмого пота.

— Вот увидите, еще будет продолжение, еще будет продолжение! У Аннгрет есть наследники — дети Анкена. Оле растранжирил ее долю. Все «Цветущее поле» пойдет под суд! А кому нечем платить, беги с корабля, пока не поздно!

Ложь, клевета, бредни. Чем глупей, тем лучше! Нет такого зернышка лжи, которое не сыскало бы для себя грязного уха и не проросло в нем.

Завербованные на празднике урожая крестьяне втроем заявились в правление.

— Оле нас больше не устраивает. Мы выходим из кооператива. Это не запрещено.

Фрида Симсон позвонила Краусхару и взмолилась:

— Ты ведь помнишь, чем мы связаны... Помоги, если ты настоящий мужчина!.. Как же мне агитировать в воскресенье, если на мне висит Оле?..

Вуншгетрей разъезжает по району. И повсюду контролирует, как ведется подготовка к агитвоскресенью. Он не жалеет себя и верит в успех. А в Блюменау — за леса, за озера — он так и не выбрался. По вечерам возвращался едва живой. Жена встречала его жалобами: сынок Ральф схватил двойку по математике. Вуншгетрей пропускал ее жалобы мимо ушей. Он не успевал даже прочесть газету.

Из округа на его имя пришла телеграмма: *«Товарищу Вуншгетрею. Просим разобраться»*. Далее шла ссылка на газетную статью, которой Вуншгетрей еще не читал, и прилагалась копия письма Карла Крюгера.

Вуншгетрей прочел, как Фрида Симсон анонимно критикует Оле, и прочел возражение Крюгера. Да, чтение было не из приятных. Крюгер называл вещи своими именами: обещали корма — и не дали. Обещали экскаватор — и не дали. Забили недоросших уток. Хитростью навязали «Цветущему полю» импортных коров. «Надо честней относиться к крестьянам. И не обманывать самих себя!»

Д-да, неприятно. А суть дела такова: Вуншгетрей не принял всерьез пожелания Оле. С чего это им вдруг дозарезу понадобился экскаватор? Все проекты с мергелем он счел очередной навязчивой идеей. Но подверг ли он проект Оле серьезному рассмотрению? Нет.

Вуншгетрей еще только обдумывал, какие из крюгеровских обвинений справедливы, а какие нет, как вдруг из округа пришла вторая телеграмма, и не просто телеграмма, а печатный циркуляр: *«Немедленно сообщите, какие меры приняты в связи с допущенным падежом шведского скота!»*

А что им сообщишь? Тут нужно расследование. Для расследования потребуется время. И без самокритики тут никак не обойтись. Пятно на репутации! Как раз когда Вуншгетрей так хотел вырваться вперед. Он уже втайне мечтал о жирных заголовках: *«Майбергский пример! Инициатива помогает устранить затруднения с кормами!»*

Может быть, он слишком многого захотел? Неужели ему так и не удастся на своем веку послужить блестящим примером? Очень уж мало солнечных лучей озаряло его жизненный путь.

Вуншгетрей и Крюгер расхаживают по тускло-красному половику. Секретарь бледен, непроизвольная усмешка кривит его лицо. Крюгер, поджарый и цепкий, ноги у него кривые, а широкие штанины схвачены зажимами.

— Ты ведь обещал корма.

— Нам их посулили. Потом не дали.

— А мы почему об этом не знаем? Разве в деревне коммунисты второго сорта?

Вуншгетрей молчит. С какого-то времени он начал справедливее расценивать своего предшественника Крюгера и ошибки, в которых того упрекали. А метод Крюгера советоваться со специалистами даже признал полезным. И откровенно сообщил ему об этом.

Крюгер не выказал ни малейшего злорадства, но и не впал в чувствительность.

— Хорошо, мой мальчик, лишь бы ты учился.

А теперь? Вымученная улыбка Вуншгетрея.

— Ты поставь себя на мое место!

— Оле и так все время этим занимается. Он из сил выбивается, чтобы одолеть затруднения с кормами.

В дверях секретарша:

— Вас срочно хочет видеть товарищ Краусхар.

Краусхар, не дожидаясь приглашения, входит в кабинет. Увидев Крюгера, с разбегу останавливается.

— Ну, чего?

Краусхар начинает что-то шептать на ухо секретарю. Последние сведения: в Блюменау три крестьянина подали заявление о выходе из кооператива.

— И как раз перед агитвоскресеньем. Никуда не годится.

У Вуншгетрея почва уходит из-под ног. Он гаркает на Крюгера:

— Вы что там вытворяете?

Крюгер сохраняет невозмутимое, почти железное спокойствие.

— Мы вытворяем? А не другой ли кто? Как нам, спрашивается, вербовать новых членов, когда коровы поют псалмы с голодухи?

Краусхар торопливо роется в бумагах.

— Оле как председатель нас больше не устраивает. Один вполне достойный крестьянин из Блюменау, член партии, готов вступить в «Цветущее поле» при условии, что Оле Бинкопа снимут с поста. По-моему, это все объясняет.

— Кто он такой?

— Буллерт, квалифицированный скотник, для вас просто находка.

От крюгеровского хохота дрожат стены.

Вуншгетрей растерянно:

— Кто дал эти сведения?

— Товарищ Симсон, государственная власть на селе.

Секретарь вспоминает черную тетрадь Фриды и внезапно чувствует себя одиноким. Беспредельно одиноким. На том месте, где стоял Карл Крюгер, стоит теперь его совесть.

Ты еще помнишь? — спрашивает совесть.

Вуншгетрей пристыженно опускает глаза в пол.

Отвечай! — настаивает совесть.

Вуншгетрей мямлит:

Это было в те времена... Я многому научился.

А ты уверен?

Вуншгетрей кивает и снова поднимает глаза: там стоит Карл Крюгер. Это спросил Карл Крюгер.

Молчание. Краусхар ждет решения. А секретарь подходит к окну, смотрит на улицу и вдруг так резко поворачивается лицом к своим собеседникам, что Краусхар вздрагивает.

— Я должен убедиться... Товарищ Симсон... Не знаю, не знаю... Я не уверен.

Итак, вместо твердых указаний Краусхар получает от секретаря смутное сомнение в пригодности Фриды Симсон. Нельзя сказать, что он огорчен таким исходом дела.

Фрида выслушала все, что мог ей сообщить Краусхар. Она была желта, как лимон, и высокомерно улыбалась. Ничего, секретарь райкома скоро поймет, чего стоит Фрида. Она пошла с козырей — выложила на стол копию письма Аннгрет. Рука ее при этом даже не дрогнула.

— Хватит с тебя?

Краусхар прочитал. Фрида заверила копию собственноручной подписью и скрепила печатью. Краусхар остолбенел от удивления. Значит,

Вуншгетрей был неправ, когда выразил сомнение по поводу Фриды Симсон. А жаль...

Фрида решает действовать на собственный страх и риск. Пробил великий час торжества ее бдительности и всех сопутствующих добродетелей. Представился *случай,* Фрида подсовывает Краусхару какую-то бумагу:

— Подпиши.

Краусхар мнется:

— А не надо ли сперва заслушать мнение членов кооператива?

— Да что ты от них услышишь, заячья душонка! Если агитвоскресенье провалится, отвечать тебе, а не им!

Краусхар подписывает решение об отставке председателя Оле.

Симсон отправилась в контору. Оле созвал там правление кооператива. На повестке дня вопрос о покупке экскаватора.

Бухгалтер Бойхлер покачивается, силясь высказать свое недоверие. Живот у него колышется. Речь как-никак идет о деньгах.

— А с этой землековырялкой ладно получится? — спрашивает Эмма.

Оле с ангельской убежденностью:

— Ладно, еще бы не ладно!

— А если не получится, у вас с Мертке тоже ничего не будет.

— Че... че... чего с Мертке? — заикается Оле.

— Ты думаешь, старый черт, мы слепые?

Получилось вроде помолвки. У Мертке уши так и пылают. Карандаш выскальзывает из рук. Мертке лезет за ним под стол и заодно пожимает жилистую руку Оле.

Те же и Фрида со своим желчным лицом. Она пытается выглядеть воплощением партийной совести.

— О чем беседуем, товарищи?

— О покупке землеройки. Надеюсь, это не противоречит партийному курсу?

— Оле больше не председатель.

Крюгер смеется:

— Это у тебя называется демократия?

Фрида достает из портфеля бумагу, подписанную Краусхаром.

Крюгер прочел и передал Оле. Оле прочел и задумался.

Симсон сурово, но с плохо скрытым торжеством:

— Ну, что скажешь?

— Некогда мне говорить! — Оле надевает свою кожаную фуражку и уходит.

Хлопает дверь. В комнате тишина. Ее нарушает вздох Бойхлера. Вздох означает, что с расходами на покупку экскаватора, слава богу, можно повременить.

Оле стоит посреди двора. Что они там снова затеяли? Не скрывается ли за этой белибердой, на разбор которой уйдет так много времени, сам секретарь? Впоследствии все выяснится, но думать о покупке экскаватора в ближайшее время нечего.

Пронизывая плотные осенние облака, летит к югу косяк диких гусей. «Га-га-га». Крик вожака манит Оле как в далекие дни пастушества. Мечты без дела подобны пустоцветам.

В конторе Крюгер пытается вразумительно поговорить с Фридой:

— Как это все получилось? Почему нас обошли?

— Ты всегда покрывал Оле. Наверно, не без причины. Не ты ли распродавал капиталистам наших лошадей?

Крюгер на мгновение лишается дара речи, но Франц Буммель уже тут как тут. Они говорят о его питомцах, которые были проданы в Данию. Он шипит:

— Глотку тебе перегрызть, что ли? Справься в бюро по продаже. Все оформлено. За этих лошадок наше государство получило датскую валюту.

Мертке предлагает Фриде сесть. Фрида отказывается. Мертке хватает ее за руку.

— Не будь такой непримиримой! Я ручаюсь за Оле.

Фрида отдергивает руку, словно от прикосновения какой-то нечисти.

— Не вам бы, милочка, говорить об этом.

Тогда вступает Эмма-малявка:

— А против меня тебе нечего сказать? Мои ноги соответствуют партийной мерке?

Фрида с улыбкой превосходства:

— Что я знаю, того никто не знает.— И удаляется.

Вуншгетрей не мог сообщить свою точку зрения по телефону, как того требовал окружной комитет, он не мог доложить о *допущенном*. От Крюгера он знал: не из упрямства или своеволия погубил Оле импортных коров. Оле вообще здесь ни при чем. А кто при чем? Сбежавший Тимпе? Вуншгетрею очень и очень не хотелось бы представлять случившееся как акт саботажа. Это, конечно, просто, но далеко от истины. Даже Тимпе не для собственного развлечения кормил шведок силосом. Да, он не выполнил распоряжения председателя, это точно, но и он берег дефицитные концентраты для продуктивного стада. Он заботился о молоке. А заботиться о молоке — не грех, поскольку это соответствует призыву государства.

Ах, как все запутано и противоречиво. О таком можно говорить только при личной встрече.

Вуншгетрей переночевал в окружном центре. А с утра пораньше — точь-в-точь как Оле неделю назад — отправился на поиски экскаватора для Блюменау. Может быть, затея с мергелем действительно поможет им преодолеть кормовые затруднения? Трезвый и рассудительный Крюгер навряд ли стал бы ратовать за воздушные замки.

Районному секретарю не пришлось, как Оле, открывать и, ничего не добившись, закрывать столько дверей. И ездить в Тюрингию тоже не понадобилось. Ему сразу же пообещали одноковшовый экскаватор, который можно будет смонтировать на плавучем основании — на понтоне, к примеру.

Садясь в машину, чтобы ехать домой, секретарь удовлетворенно улыбался. И только шрам был повинен в том, что эта улыбка могла кому-нибудь показаться презрительной усмешкой. Сейчас он убедит Оле, что он-то его понял. Может, ему даже удастся вызвать улыбку на лице этого упрямца, когда по деревне загрохочет экскаватор.

56

Зима отступает еще раз, словно готовясь к прыжку. Солнце тужится изо всех своих стариковских сил.

Люди в «Цветущем поле» встревожены: исчез Оле.

Наступает вечер. Оле не возвращается. Друзья и соратники собираются на птицеферме. Неужели Мертке ничего не знает?

— Не будь дурочкой, дитя и товарищ, не скрывай от нас ничего из любви!

Мертке не прерывает работы. Она знает только одно:

— Оле не может поступить несправедливо.

— Да не об этом речь! А что если с ним самим обошлись несправедливо?..

Оле до бедер ушел в рыбацкие сапоги. Укрывшись за ивняком, что между Коровьим и Телячьим озерами, он роет заболоченную землю. Оле копает, скребет, как гном, и пышет злостью, но все же он не подавлен и не придавлен. Он похож на первобытного человека, добывающего огонь.

Его освободили от занимаемой должности. Но освободить его может лишь тот, кто убьет его. Старинная песня вспоминается Оле, и он с вызовом запевает ее:

Шумела яблоня ветвями
В саду отцовском, у стены...
Светились красными плодами
Мои мальчишеские сны.

А с гор на море падал ветер,
Срывал на яблоньке он злость,
Он заломил ей руки-ветви,
Он изогнул их вкривь и вкось.

Но майской ночью величавой
В извечной тайне темноты
Из-под коры ее шершавой
Явились белые цветы...

Я уходил в дороги смело,
Я жил от яблони вдали,
А в сердце — все она шумела,
В глазах — цветы ее цвели.

Все было — беды и победы.
Она не встретила меня...
Но видел я — опять побеги
Из черного пробились пня.

Ты встанешь пред моей могилой,
Но не горюй — ведь из холма
Росток пробьется с новой силой,
Как жизнь сама, весна сама!..

Проходит день, и ночь, и еще день. Оле нет как нет. Мертке начинает тревожиться. И утешения матушки Нитнагель ей не помогают. В коровнике ее встречает Ян Буллерт.

— Вы свободны, барышня! Пришла смена.

Буллерт задерживает ее руку в своих: дойка — неподходящее занятие для таких ручек.

Шуточки Буллерта пугают Мертке. Ей не до смеха. Трудно ей смотреть, как хозяйничает Буллерт среди шведских коров. Повадки у него такие, словно это стадо изготовлено по его заказу.

Вечер. Подмораживает. Мертке надевает пальтецо, оставшееся от школьных времен. И, дрожа, выходит из дому.

Уже целый час ищет она Оле. Время от времени останавливается и окликает мужа. Ответа нет. Только дикий селезень отзывается с Ласточкина ручья: «Оле, ах, Оле!»

Мертке видит, как поблескивает сквозь редкий кустарник Коровье озеро. Только не туда! На что была похожа Аннгрет, когда ее нашли! Растекается ли человек после смерти? Должно быть, так. Лишь дела его остаются, как следы на земле.

Вот она стоит перед открытым коровником. Здесь расцветало ее великое лето: три тысячи уток! Это и есть ее дело?

Мертке вспоминает про Фриду Симсон. «Человек может ошибиться. Жизнь не ошибается. А партия следует за жизнью». Так однажды сказал Оле. Неужели Фрида — это и есть жизнь?

Исчезновение Оле тревожит Крюгера больше, чем он это показывает. Крюгер без устали, чердак за чердаком, обшаривает кооперативные строения, по вечерам — случайно разумеется — заглядывает в открытый коровник, потом ходит и ходит вокруг озера.

— Ты ведь не опозоришь меня, дружище!

Но тревога все-таки прорывается наружу. Он говорит с активом. По виду даже и не собрание — они просто, как бы невзначай, рассаживаются на телеге в кооперативном дворе.

— Мы должны его искать.

Эмме сама мысль, что Оле мог что-нибудь с собой сделать, кажется нелепой.

— Искать этого старого осла? Если он хоть чему-нибудь научился у Антона, то уже давно сидит у окружного секретаря.

Герман Вейхельт творит молитву:

— Отец наш небесный, что с нами будет без твоего заместителя!

С улицы доносится лязг и грохот, будто в село въехал тяжелый танк. Активистам приходится не высказывать, а выкрикивать свое мнение.

— Судьба часто преследует самых лучших! — орет Адам Нитнагель.

— Сам ты судьба! — орет в ответ Эмма.— Голова седая, а ума ни на грош! И когда только ты станешь коммунистом?

На улице все стихает. В воротах появляется Вуншгетрей. Уж не решил ли он сесть в танк и с бою взять Блюменау, неподатливую деревню между лесом и озерами. Нет, товарищи, что вы! На грузовике с негабаритным прицепом Вуншгетрей привез экскаватор.

— Где же ваш Оле?

Молчание.

Но Вуншгетрей продолжает улыбаться. Еще никто ни разу не видел на его лице столь широкой улыбки.

— Я вам экскаватор привез. Где Оле?

— Сняли его.

— Кто снял?

Крюгер устало вздыхает.

— А не ты ли, мой мальчик?

Через десять минут Вуншгетрей и Крюгер уже в правлении. Симсон изливает на секретаря все наличные запасы дружелюбия. На сей раз из его попытки не замечать ее ничего не выйдет. И она это знает. Можно начинать разговор на высшем уровне.

Вуншгетрей, задыхаясь от бега:

— Что ты делаешь?

Фрида частит свою молитву:

— Подготовительные работы к агитвоскресенью ведутся с необходимым размахом... трудности устранены... намечаются первые предвестники успеха... Буллерт уже подал заявление в кооператив...

Вуншгетрей грохает кулаком по столу. Звякает крышка чернильницы.

— Что ты делаешь с Оле?

Фрида невозмутимо:

— Снят с работы.

— Как это тебя угораздило?

— Морально неустойчив.

— А мне не доложили?

— Дело не терпело отлагательств. Товарищ Краусхар в курсе.

Секретаря трясет. Куда делась его неизменная усмешка? Симсон закуривает сигарету и вынимает из небольшого сейфа письмо Аннгрет.

Оба — Крюгер и Вуншгетрей — читают. Уголки губ у Крюгера подергиваются.

— Ты знала Аннгрет?

— Знала.

— И ты поверила этой писанине? Направленной против нашего товарища Оле...

— А откуда ты знаешь, что Оле до сих пор наш товарищ? Что он не махнул кой-куда подальше?

Крюгер ей не отвечает. В ней говорит злобное недоверие, мстительность, дурь и еще невесть что...

Молчание, долгое молчание. Фрида затягивается, выпускает дым. Кто этот Крюгер? Пенсионер! А Вуншгетрей сумеет оценить ее бдительность.

Но вдруг районный секретарь произносит фразу, которой она не ожидала, никогда, никоим образом. Он говорит печально:

— Ничему ты не научилась... абсолютно ничему.

Фрида бессильно опускается на стул. Товарищи, она виновата или мы все? Как это говорили про Антона Дюрра? Не по сердцу ему были дрессированные люди. Он воспринимал их как печальную деформацию высшего, что есть на земле.

Мертке добежала до мергельных лугов. В тумане перед ней встает черный холм. Свежая земля. Земля, пахнущая мохом и тиной. Чей-то хрип пробивается сквозь туман. Мертке вся дрожит. Ей страшно, она бросается на рыбацкую тропку. Теперь она может заглянуть за холм. Там на подстилке из камыша лежит человек.

— Оле!

Мертке хочет разбудить пышущего жаром Оле и тихонько дергает его за ухо. Он со стоном поворачивается.

— Уж не слепа ли ты, девушка? Видишь, как время посеребрило мои волосы.

Мертке мчится за помощью в село.

Отчего это все бегут на мергельные луга? Запрягают телеги, катят вагонетки. Музыка, крики «ура». Оле хочет к ним: это празднуют его победу. Но он не может сдвинуться с места. Он пустил корни. Он стал деревом.

Тракторы ползут по лугам. Люди рассыпают мергель. Исчезает кислица, исчезают камыши. Стеной встает клевер, люцерна, просянка. Тучные коровы, как пестрые холмы, по самое вымя стоят в высокой траве.

— Вот видите! — кричит Оле.

Но никто его не понимает. Голос его — шелест и шорох. И полный разочарования, падает он в камыши.

Оле копал, надрывался, потел, скреб. Но болотная вода проступала снова и снова. Сердце его стучало — нет, не стучало, а грохотало. Когда не хватало сил, он себя подбадривал. «Да это же ни одна лошадь не выдержит!» — стучало сердце.

«Я выдержу!» — говорил Оле.

На исходе второго дня сквозь заболоченную почву мелькнуло что-то серое — залежи мергеля. И тогда он вразумил свое сердце: «Успокойся! Продержись! Цель близка!»

Он очистил слой мергеля, величиною со стол. Зубы у него стучали — от радости конечно.

Была уже ночь. Оле съел ломоть хлеба, принес воды с озера, напился. Потом натаскал сухих камышей — целую охапку и устроил себе постель.

Потом он поворочался с боку на бок и заснул. Спал до тех пор, пока его не укусил ночной мороз. Тут он вскочил и снова начал копать. Холодные звезды висели над озером. А земля кружилась — звезда среди многих других.

Вечером третьего дня Оле расчистил мергельный участок размером с целый сад. Отец его Пауль и дедушка Иоганн не ошиблись: мергель есть.

Но у Оле уже нет сил сгонять в село и сказать: можете приходить за мергелем!

Руки и ноги у него словно отлиты из железа. Зубы лязгают, стучат, как трещотки.

Он мечется на своем камышовом ложе и все зябнет, зябнет. Вот отдохну немножко и пойду. Надо только подбавить камыша. Вот и Мертке бежит с одеялом. Теперь ему тепло... Начинается бред.

Время течет мимо. Вчера, сегодня, завтра сливаются воедино. Он не знает, сколько пролежал здесь, сколько времени метался в жару. Ему не раз казалось, что он вернулся домой и сидит у Эммы за печкой, в чане с горячей водой.

Потом его начинает мучить жажда. Ян Буллерт приносит земляничное вино. Оле пьет, пьет, пьет, а жажда не проходит. Язык становится как разбухшая подметка. А румяный Ян Буллерт насмешливо хохочет: «Я главный зоотехник, я, я, я!»

Пошел снег. Колючие иглы пронзают воздух. От них нельзя дышать. Иглы впиваются в легкие. А сердце кричит: «Иди домой! Иди! Иди!» Стук в черепе! Вот-вот он задохнется. И опять иглы! Колючие иглы!

Кто-то трясет его? Мертке. «Девочка моя, ты уже прошла через леса лжи? Согрей меня, Мертке, что мне сделать, чтобы ты...» Он называет ее именами трав — клевер, люцерна, просянка... Но и слова его не более как шелест. Он стал деревом.

Вуншгетрей глядит на него. С неизменной усмешкой. Ну и смейся, только пойми: земля прячет от нас то, что ей нужно. А мы ковыряемся на поверхности, скребем поверху.

Аннгрет шагает по мергельным карьерам. «Я ищу Оле».

Оле съеживается. Прежняя жизнь ищет его. Прежняя жизнь? Оле ее отталкивает.

Он чувствует, как раскалывается у него сердце. А дышать становится легче. Аннгрет гордо и надменно шагает мимо. Она не узнает Оле. Ведь он стал деревом. Его качает ветер. Страхи и боль падают в траву. А над ним плывут облака.

Земля кружится... Из леса долетает музыка:

Но майской ночью величавой
В извечной тайне темноты
Из-под коры ее шершавой
Явились белые цветы...

Вильм Хольтен выехал первым — с одеялами. Франц Буммель запрягает своих арабских чистокровок. Крюгер с фонарем в руках садится рядом на козлы, а на подводе за их спиной притулились Мертке и Эмма.

Они подъезжают вплотную к той яме, которую выкопал Оле. Перед ямой уже стоит Вильм. Ветер треплет его волосы. Вильм потеет от страха, а сам весь дрожит. Его огромные детские глаза устремлены на Мертке.

На ложе из камышей покоится мертвый Оле Бинкоп. Глаза у него открыты. Он никогда не закрывал их при виде опасности. Не звезды ли он считает?

Карл Крюгер прижимает к груди старую шляпу.

— Вот он лежит: не черт и не ангел, просто человек.

— Из-за своеволия и погиб,— сердится Эмма.—Антон никогда бы этого не допустил.

Карл Крюгер поглаживает камыши, на которых лежит его мертвый товарищ.

— Своеволие без своекорыстия — для этого в человеческом языке пока нет слов.

А Мертке стоит, стоит, будто и сама она умерла.

Эмма сжимает ее руку.

— Плачь!

Мертке не плачет.

57

Занимается утро. Солнце ослепительно сияет, будто уже повернуло на весну. Даже озера очистились от льда. Экскаватор на гусеничном ходу ползет в луга.

Молодая женщина поднимается на холм к птицеферме. Вид у нее горестный. До сих пор ее жизненный путь не был усыпан розами. Женщина открывает птичник, и стая уток высыпает оттуда.

Слышно, как хлопает множество крыльев. Шум и свист в воздухе. Радуясь свободе, птицы летят к озерам, тучей закрывают солнце и опускаются за лесом.

А женщина провожает глазами эту тучу — обрывок счастья, завещание. Робкая усмешка трогает ее губы, слабый, трепетный огонек.

Еще вчера была у этой женщины длинная коса. Сегодня она расчесала волосы на пробор и подколола их шпильками. А солнцу все равно. Оно знай себе золотит их. Земля кружится в мировом пространстве.

Так что же тогда деревня на этой земле? Глазок на кожуре подгнившей картофелины или красная точечка на освещенной солнцем стороне наливающегося яблока?

ЭЛЬВИО РОМЕРО

Перевод с испанского
ПАВЛА ГРУШКО

Парагвай

Эту землю не тронь, если кровь не способна твоя,
прикоснувшись к ее пепелищам, зажечься, как факел,
озарить, как оживший костер, горизонта края.

Обесцвеченной картой пейзаж опаленный простерт.
Этот край обмолочен цепами палящего солнца,
перепахан тоской, жерновами печали истерт.

Между Югом и Севером он недвижим, как и встарь.
Он — сплошной солнцепек, он, как бурая шкура, дымится.
Все вокруг пропитала густая прогорклая гарь.

Здесь безмолвствует Юг, как лишенный владений король,
он молчанье сжимает в морщинистой древней ладони,
лишь в стенаниях ветра его прорывается боль.

Запах листьев паленых окутал немые леса,
кровожадное лето крадется по зарослям ма́те...
На сожженной траве — человечьего пота роса.

Извивается Север: его полосует тесак,
отдирающий кожу коры с красностволых кебрачо,
он исходит танином в кричащих от боли лесах!

Похотливые полдни, как полчища алчущих змей,
выползают из трещин и жалят безводные дали,
в кровь людей проникают и жадно купаются в ней.

А вдали — там, где сердце иссушенной этой земли,
где трепещут дремучего края тяжелые пульсы,
маниок неподвижный купается в жаркой пыли.

Эти голые кручи и пади — приют бедноты.
Здесь рождаются дети с глазами, налитыми болью.
Полыхающим голодом вспороты их животы.

Эти дали издревле палимы безумным костром,
он вторгается в землю и гложет ее корневища,
он терзает просторы ее, он идет напролом!

Под палящими ветрами выстоял этот народ —
вековые деревья, покрытые грубой корою,
этот люд с сердцевиной из крепких древесных пород.

Здесь на людях одежды, как травы сухие, горят.
Удушающий зной раздирает усталые глотки,
отравляет дыханье, как медленный яростный яд.

Эту землю не тронь, если встретить не хочешь в ответ
ярость красного жала, когтистых корней одержимость,
жаркий обморок бездны, пожара бескрайнего бред.

Этот край молчалив... Но его понапрасну не тронь.
Под его пепелищами зреет незримый огонь.

Жива наша месть

1

В раскидистых кронах деревьев, готовых зацвесть, —
жива наша месть.

В осенних аллеях, роняющих желтую медь,—
жива наша месть.

В обугленных чащах, где остовов мертвых не счесть,—
жива наша месть!

2

Я, вместе с народом деливший и радость, и беды,
я, видевший день, на ночных перекрестках распятый,
я, знавший парней, умиравших во имя победы,—
я знаю, что колокол — это расплаты глашатай.

Я, видевший слезы росы на костях расщепленных
и профиль ощеренной пули, когда воровато
она подбирается к сердцу солдат утомленных,—
я знаю: в гудящем костре обитает расплата.

Я, сливший биение сердца с напевом народа,
я, в дрожи гитар утонувший, их страстью объятый,
трепещущий перед народом, как чистая нота,—
я знаю: топор — это символ грядущей расплаты.

Я, верящий правде, ладоням ее загрубелым,
деяньям ее, откровенным, как грохот гранаты,
я, знавший девушек, шагающих в рост под обстрелом,—
я знаю: под пеплом таятся побеги расплаты.

Я, колос, проросший случайно из зернышка песни,
я, гордый наречьем, вобравшим всю ярость набата,
я, выбравший сам этот путь через топи и бездны,—
я знаю: на площади выйти готова расплата!

3

Тех, кто смеялся над матерями простоволосыми,
кто сердца их испугом ранил на каждом шагу,
тех, кто заставил их плакать в измятые простыни,—
я простить не могу...

Тех, кто улыбку невест обезобразил рыданьями,
кто втаптывал девушек в грязь на пьяном торгу,
тех, кто кровью выпятнал их приданое,—
я простить не могу...

Вы скажете: все-таки люди... снисхожденье к врагу...
Но я простить не могу!

4

На пороге рассвета, над спящей округой суровой
наша кара вплелась в горизонт полосою багровой.

Затрещали оковы, растрескались черные своды —
и трепещут шакалы, измявшие чистые всходы.

Я хочу, чтобы знали: жива справедливость на свете,
как простейшие вещи, как хлеб, как деревья и ветер.

Горизонт обложили немые сполохи пожара...
Пусть шакалы сгорят! Пусть настигнет их алая кара!

Древний огонь

Смотреть на тебя, неподвижную и нагую,—
это видеть цепочку холмов, а за нею другую,
плечи белые дюн над обрывистыми откосами...
Обнаженная, ты белее, чем белые простыни.
Смотреть на тебя — это древние вспомнить истоки,
вспомнить корни и недра и ветер жестокий,
распыляющий горы в работе своей напряженной...
Все это — видеть тебя обнаженной.

Тело твое — косогоры, откосы, нагорья,
кожа твоя — словно чуткая территория
туманных предчувствий и жарких догадок,
ты дымишься, как дерево, и дымок этот сладок,
но ты недоступна в любви твоей насторожённой...
Все это — видеть тебя обнаженной.

На боках твоих синими ветрами-лезвиями
две лощины причудливые прорезаны...
Ты кажешься мне розоватою поймой,
залитой весенней водою спокойной,
поляной, огнями цветов подожженной...
Все это — видеть тебя обнаженной.

Смотреть на тебя — это видеть немые дожди,
сбегающие по твоей холмистой груди,
вторгаться в безбрежье волнистых просторов,
кровь твою выследить до самых истоков,
словно сталь, намагнититься о магнит
твоих кос и тревожного рта: он манит,
и уже невозможно сдержать эту боль,
не догнать, не напасть, не сразиться с тобой,
не сгореть в этой страсти, тобою зажженной...

Все это — видеть тебя обнаженной!

Эта гитара сурова

1

Сколько древнего пыла и пыли каленой —
на ее струне воспаленной!
Сколько мужества и молчаливой скорби —
в ее воинственном коробе!

2

Омытая однажды отважной кровью горной,
растекшейся по струнам трагическим аккордом,
на спекшихся гвоздиках, в ночи немой и черной —
суровая гитара замрет в молчанье скорбном...

Припомнив вереницу ночей, горячих, страстных,
и клевера смятенье, когда бушуют грозы,
припомнив униженье имен простых и ясных —
суровая гитара прольет скупые слезы...

Волнуясь, страстно вторя людской мятежной дрожи
и непокорным людям, через огонь бредущим,
чьи руки на магниты корявые похожи,—
суровая гитара споет о дне грядущем...

И в день, когда к жасминам их белизна вернется
и серый пепел в росах рассветных растворится,
когда красе весенней природа улыбнется —
суровая гитара вдруг запоет, как птица!

3

Когда не слезами, а шелком невеста платок окаймит,
суровая эта гитара, как ветер, в траве прошумит.

Когда к изумрудной равнине придет на свиданье гора,
суровая эта гитара их будет стеречь до утра.

Когда на оснастке гитары блеснет молодая луна,
суровая эта гитара очнется от страшного сна.

Когда наши пашни земные покроются всходами звезд,
суровая эта гитара, как пахарь, пройдет вдоль борозд.

Когда утвердится победа, сияньем людей озарив,
гитара суровая людям, как руку, протянет свой гриф!

Затмение луны

(ПО МОТИВАМ ПОЭЗИИ ИНДЕЙЦЕВ ГУАРАНИ)

Пружинистый прыжок!

На лбу небес испарина созвездий.
Мгновенье магии.
Рычанье.
На лунном теле — ягуара тень!
Оскалив белые клыки,
злой ягуар луну подкараулил:
с его клыков стекает сок луны,
с клыков жестоких ягуара ночи,
с клыков жестоких ягуара ливня;
он — синий ягуар,
клыки свои вонзивший в синий ветер.
Он — оскорбление луны,
чей сок стекает с яростных клыков,
которые до этого впивались
в полночный ветер,
а луна молчала.
Погоня в небе. Синий ягуар
луну околдовал.
Мгновенье магии.
Рычанье ягуара
гремит в горах,
перелетает к ветру,
от ветра — к воздуху,
от воздуха — обратно к ягуару,
а ягуар...

(Пружинистый прыжок!)

...а ягуар клыки в луну вонзает!

В ответ луна оскалила клыки:
клыки луны
перед клыками ягуара —
два белых перекошенных оскала,
оскал луны в оскале ягуара,
испуг луны, безумный бег от белых
клыков разгневанного ягуара,
летящего луне наперерез.

На лбу небес испарина созвездий...

Погоня в небе, ярость ягуара...

Охлопья шерсти ягуара —
над белыми охлопьями луны.
Охлопья белошёрстые луны
смешались с шерстью ягуара...
Луна —
в охлопьях шерсти ягуара?
В охлопьях лунной шерсти —
ягуар?

Луна — клыки вонзает в ягуара?
В луну клыки вонзает — ягуар?

Погоня в небе. Синий ягуар
луну околдовал.

В ответ луна оскалила клыки:
клыки луны
перед клыками ягуара —
два белых перекошенных оскала,
оскал луны в оскале ягуара,
испуг луны, безумный бег от белых
клыков разгневанного ягуара,
летящего луне наперерез.

Пружинистый прыжок!

Мгновенье магии.
Рычанье ягуара
гремит в горах,
перелетает к ветру,
от ветра — к воздуху,
от воздуха обратно к ягуару,
а ягуар...

А ягуар луну на небе съел!

РАССКАЗ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

(ФОРУМ НОВЕЛЛИСТОВ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ)

В зале заседаний.

В Москве в Центральном доме литераторов с 29 июня по 1 июля этого года проходил семинар писателей стран Азии и Африки, организованный редакциями четырех журналов — «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Советская литература», «Иностранная литература». Литераторы, представляющие 17 стран, съехались в столицу Советского Союза, чтобы обменяться опытом, поспорить, рассказать о своих странах, о своей литературе, о своих трудностях и успехах. Семинар был посвящен развитию жанра рассказа. В дружеском профессиональном разговоре приняли участие писатели из Ганы, Индии, Ирака, Камбоджи, Лаоса, Мали, Марокко, Монголии, Сенегала, Судана, Таиланда, Турции, Филиппин, Цейлона, Эфиопии, Японии, а также новеллисты, критики, переводчики из Москвы, Ленинграда, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Туркмении, Казахстана, Дагестана.

Открывая семинар, главный редактор журнала «Иностранная литература» Б. Рюриков говорил:

«Могут сказать — в мире происходят события огромной важности, треть человечества строит социализм, народы ведут борьбу против империалистов и колониалистов, во Вьетнаме рвутся американские бомбы, в Санто-Доминго хозяйничают американские войска — а писатели и литературоведы спокойно обсуждают узкие литературные и культурные проблемы.

Я думаю, что все мы единодушны в осуждении американского вмешательства во внутренние дела вьетнамского народа, в осуждении любого проявления империализма и колониализма. Все мы выступаем за свободное и самостоятельное развитие политической, экономической и культурной жизни любого народа мира.

Но я думаю, что проблемы культурного развития никогда не бывают «узкими», если их рассматривать в свете научных, революционных идей. Роль активности человека в борьбе за преобразование действительности, как никогда, возрастает в нашу эпоху. Именно острота и накаленность современной обстановки, напряженность борьбы освободившихся и освобождающихся народов против своих поработителей заставляет с особенной настойчивостью подчеркивать значение развития духовной жизни, укрепления культурных и нравственных сил народов, развития общественного и индивидуального сознания людей. Это вопросы, от решения которых во многом зависят судьбы народов,— развитие новой государственности, новых общественных отношений, короче говоря, будущее сотен миллионов людей».

Писатели азиатских и африканских стран собрались в Москве на подобный симпозиум не впервые. Летом 1964 года в том же самом зале, что и в этом году, проходил семинар по изучению и переводу литератур стран Азии и Африки. Участники семинара предложили тогда проводить такие встречи регулярно; высказывались пожелания, чтобы будущие семинары были посвящены уже не только общему рассмотрению литературного развития, но и конкретным проблемам современной литературы. Тогда и возникла мысль посвятить следующую встречу одному из таких конкретных вопросов — жанру рассказа в литературах стран Азии и Африки.

Короткий рассказ, новелла — этот жанр занимает большое место в современной литературе. Рассказ — сгусток жизни. «Если каждый из нас возьмет свою жизнь и вытянет ее в одну длинную линию, а потом разделит эту линию на короткие отрезки, получится огромное количество коротких рассказов и новелл, и каждый из них окажется интересным»,— сказал на семинаре таиландский новеллист Аччин Панджабан. Рассказ по самой жанровой сути своей ориентирует писателя на реальное жизненное содержание, раскрывающее сложную действительность, дающее яркие характеры, вскрывающее острые конфликты. Рассказ приучает писателя к экономии слова, к логически четкому размещению материала, к ясности сюжета, наглядности темы. Разумеется, литературный процесс — многоструйный поток, в нем взаимодействуют самые разные жанры, и нет нужды выдвигать на первый план какой-то один из них за счет принижения других. Но так уж сложился во многих странах современный этап литературного процесса, что рассказ, жанр мобильный и оперативный, занимает в нем все более заметное место.

В литературах стран Азии и Африки рассказ играет сегодня роль активную, действенную, боевую. С его страниц во весь рост встает наш современник и рассказывает о себе и своей родине, о том чистом и благородном, что есть в человеке, о том грязном и отвратительном в жизни, что мешает развитию человеческого характера. Рассказ приходит к читателю со свежим номером газеты, с новой книжкой журнала, он звучит в радиопередачах, в авторском чтении с эстрады, в исполнении артиста и чтеца. Рассказ дает моментальный снимок современной действительности — но он же и глубоко обобщает, анализирует, побуждает к серьезным раздумьям.

В разных странах по-разному сложились судьбы этого жизнестойкого и, при всем своем солидном, порой многовековом возрасте, молодого жанра. Как в капле воды, отражается в рассказе своеобразие национальной культуры, специфика национального характера. Если пристально и внимательно взглянуть на жанр рассказа, на его историю в разных уголках земного шара, на его сегодняшнюю жизнь, то окажется, что с коротким словом «рассказ» связан широчайший круг социальных, философских, эстетических, жанровых, языковых проблем, ожидающих своего изучения. И семинар, проходивший в Москве, этот своеобразный форум новеллистов, помог узнать много нового и интересного, многое прояснил и уточнил.

Семинар дал его участникам большой познавательный материал. Здесь и история новеллы в Судане (об этом рассказали Эль-Тейиб Заррук и Валид Ибрагим), и очерк развития жанра рассказа в индийской литературе (речь Саджада Захира), в частности, в индийской новелле на языке урду (речь Разии Захир) и на языке маратхи (речь Пурушоттама Шиварама Регги), здесь и основные этапы новеллистики Японии (о ней говорил Такуя Хара), Филиппин (выступление Мануэля Круса), Сенегала (Малик Фалл), Камбоджи (Сакхон Самон), Ирака (Суад Хедур), Марокко (Мухаммед Азиз Лахбаби), Мали (Гаусу Диавара), Ганы (речь Джона Окая).

Говорили участники семинара и о современном состоянии рассказа в их странах. Здесь тоже много интересного, поучительного, наводящего на размышления. Мануэль Крус рассказал, что на Филиппинах в ряды писателей, пишущих на тагальском языке, влилась в последние годы группа талантливой молодежи, стремящейся насытить свои рассказы социальным содержанием. В Судане большинство писателей, работающих в жанре рассказа, также принадлежат к молодому поколению (об этом говорил Валид Ибрагим). Стремятся беседовать с народом на его родном — амхарском — языке писатели сегодняшней Эфиопии (речь Менгисту Лемма). «Писатели Марокко вступили в период осознания своей ответственности. Метафизический протест без конкретного содержания — уже пройденный этап нашей литературы» (речь Мухаммеда Азиза Лахбаби). В японских газетах и журналах, рассказал Такуя Хара, публикуется множество рассказов; их авторы — молодые писатели, которые поднимают общественно-политические проблемы. И так — в каждой стране: вливаются в литературу свежие творческие силы; народ тянется к литературе, остро и смело отражающей сегодняшний день, зовущей к борьбе за счастливое завтра; писатели осознают свою ответственность за судьбы страны и человечества.

Ясно поэтому, какое большое значение имеют для писателей проблемы тематики рассказа, его социального содержания, его идейной направленности, его реалистического звучания. Здесь, на семинаре, обнаружилось принципиальное единство взглядов его участников. Писатели хотят каждой строкой быть с народом, вместе с ним строить новую жизнь, вместе с ним сметать с дороги преграды на пути к этой жизни. Идеи демократии и гуманизма, ненависть к колониализму во всех его старых и «новых» проявлениях вдохновляют мастеров рассказа во всех уголках Азии и

Африки. Народность искусства, связь литературы с жизнью родного народа, провозглашалась участниками семинара страстно и убежденно.

«Перед художником сейчас встает вопрос: как идти к народу, к жизненным корням! Я считаю, что идти к ним нельзя, надо жить ими, надо идти от них,— сказал турецкий писатель Яшар Кемаль.— ... В наш век есть только один источник новаторства. Этот источник поистине неисчерпаем. Имя ему — народ и природа».

В этих афористических строках заложено зерно многих тем, обсуждение которых развернулось на семинаре. Народность искусства, его национальная основа, его национальная специфика — в каких отношениях находятся эти категории с общечеловеческими проблемами, с идеями, волнующими другие народы! Здесь возникал разговор о единстве национального и интернационального начал в искусстве; сложную диалектику этих понятий прекрасно понимают создатели новой африканской и азиатской литературы. В этих же словах Я. Кемаля — и наметка другой важнейшей проблемы: что такое подлинное новаторство в искусстве, как оно сопрягается с традиционностью. Диалектический подход к этому вопросу был проявлен во многих выступлениях. Вот некоторые мысли участников семинара по этому поводу:

«Богатство анатолийской народной культуры исходит из ее взаимодействия с другими культурами. Я говорю о взаимодействии, я не говорю о подражании. Мы должны прежде всего дорожить своей культурой, а потом уже культурой других наций. От этого мир не разделится на тысячу частей. Просто он будет сочетать в себе тысячу оттенков. И человечество не только не разъединится, наоборот — оно составит единое целое, красочный многоцветный сад» (Яшар Кемаль, Турция).

«В наши дни задача писателей не ограничивается показом жизни одной страны. Сегодня наша задача — это всесторонний обмен общечеловеческим опытом, укрепление дружественных связей между народами всего мира. Наша задача сегодня — это неустанная работа во имя создания гуманистической культуры, преисполненной веры в человека, в его величие, в его безграничные творческие возможности» (Эль-Тейиб Заррук, Судан).

«Мы, молодое поколение малийских писателей, должны бороться за такое искусство, корни которого уходят в родную почву, за такое искусство, которое неотрывно от жизни общества» (Гаусу Диавара, Мали).

Борьба за искусство, неразрывно связанное с жизнью общества, диктует писателям необходимость овладения реалистическими художественными приемами. О своей неудовлетворенности модернистскими новациями, о тяге к реалистическому рассказу говорили многие выступавшие на семинаре. Экзистенциалистские концепции бытия, подмена художественного изучения человека мертвыми схемами «абсурдного»

В перерыве между заседаниями. Слева направо: Яшар Кемаль, Тахави Ахтанов, Азиз Несин, Берды Кербабаев, Чингиз Айтматов, Сарвар Азимов.

представления о жизни — все это встречает отпор в Индии и Японии, в Гане и Ираке, в Эфиопии и Турции.

«У Азиза Несина,— сказал Б. Рюриков,— есть талантливый рассказ «Счастливая кошка», философская аллегория на весьма современную тему. Писатель рисует страшный сон одной художницы. Повинуясь чьему-то приказу, люди во всем городе остановились; затем — новый приказ: каждый должен очертить вокруг себя круг. За пределы круга выйти нельзя. Это запрещает таинственный голос. Да и сами люди считают: раз они заключены неизвестной силой в круг, они должны подчиниться. Только бродячая кошка может свободно войти в круг, выйти из круга. Люди завидуют ей: «Вот бы стать кошкой». Мне кажется, что Азиз Несин этим рассказом включился в спор по весьма актуальным философским вопросам; в репликах людей, замкнутых в круг, слышатся отзвуки экзистенциализма, идей обреченности человека, бессмысленности его действий. Писатель показывает, как унизительны для человека подобные взгляды». Что касается метода, каким пользуется Несин в этом рассказе — рассказе сугубо условном,— это, конечно, метод реалистический; герой рассказа живет в реальной жизни, но эта реальность выражена в форме гротеска и аллегории.

Нынешняя литература стран Азии и Африки, нынешняя новеллистика этих стран широким фронтом повернута к жизни, она по духу своему реалистична.

Ибо, как отметил на семинаре В. Озеров, «если говорить о тех принципах, которые по-настоящему нас сплачивают, то это прежде всего понимание взаимоотношения искусства и общества. Сложен современный мир, в нем мы встречаем всякое, видим рост реалистического творчества, видим примеры декадентского искусства. Приятно и радостно слышать на нашем симпозиуме выступления, провозглашающие народное искусство, его тесную связь с обществом, необходимость бороться средствами искусства за свободу, прогресс, национальную культуру, против всякого национального угнетения, против колониализма и неоколониализма».

В этой борьбе писатели африканских и азиатских стран озабочены еще одной важной для них проблемой — проблемой языка. О языке национальной литературы много говорилось на прошлогоднем семинаре, немало суждений на этот счет высказывалось и в этом году. Большинство участников семинара ратовало за то, чтобы в странах, долгое время находившихся в колониальной зависимости, а теперь обретших свою национальную свободу, писатели как можно скорее переходили на родной язык, отказываясь от языка бывших своих хозяев — колонизаторов. «Одна из самых больших наших трудностей — это проблема языка,—сказал марокканец Мухаммед Азиз Лахбаби.— В Алжире большинство писателей — по крайней мере тех, кого знают в мире,— пишет на французском языке. В Марокко, наоборот, на французском пишет незначительное меньшинство марокканских писателей, и круг их читателей узок. А произведения, написанные по-арабски, имеют более широкую аудиторию и вносят свой вклад в революцию». М. Лахбаби сказал: «Мы считаем, что только родной язык может служить основой для выражения мысли. Писать на родном языке — значит выражать национальные мысли, эмоции. Родной язык выплескивается из жизни каждого человека. Он позволяет людям общаться друг с другом, позволяет человеку общаться с самим собой. Язык, полученный с колыбели, пронизывает все существо человека. На нем мы можем передать едва выразимые нюансы, самые сокровенные оттенки. Только родной язык может заставить нас искренне засмеяться или заплакать. Родное слово, которым мы дышим, как первым воздухом при рождении,— это целое наследство, это взгляд на мир. Колониалисты боролись против местных языков в колониях, лишали местное население собственной личности, личность раздваивалась. Разумеется, знать иностранный язык — это достижение, но на нем нельзя адекватно выразить то, что хочет выразить человек, мыслящий на родном языке».

Об этом и говорил советский писатель и литературовед В. Мачавариани (Тбилиси), который в своем выступлении развил мысль о том, что язык является не только логической, но и эмоциональной структурой мысли. Другую сторону этой проблемы затронула В. Ивашева (Москва); касаясь повести нигерийского писателя Окара, В. Ивашева сказала: «Он пишет по-английски, но, даже не зная языков Нигерии, заметишь, что ритм его родного языка в повести сохранен. Писатель пишет по-английски так, как он говорит на языке ибо, он считает себя вправе, используя английский язык как более широко известный, модифицировать его в духе родного языка. И стиль повести «Голос» пленяет своей метафоричностью, своим лиризмом и символикой».

Вопрос о языке был не единственным, по которому на семинаре возникла дискуссия. Различные, порой совершенно друг с другом несхожие точки зрения высказывались и по другим проблемам. Это касается, например, отношения к теории негритюда (выступления сенегальского писателя Малика Фалла, малийского поэта Гаусу Диавара, ганского поэта Джона Окая, суданского поэта Гили Абдель Рахмана, реплика эфиопского делегата Менгисту Лемма). Но все мнения и оценки были продиктованы искренней заботой о расцвете литературы, спор велся между друзьями, едиными в своей любви к человеку, в своей ненависти к расизму, колониализму, войне. Так, выступление делегата Лаоса, писателя и публициста Суванувонга Бонга было посвящено основным принципам буддизма; буддизм, как таковой, интересует далеко не всех участников семинара, однако всем собравшимся было дорого, что речь

Саджад Захир и Разия Захир (Индия) на выставке книг писателей Азии и Африки, изданных в СССР.

Суванувонга Бонга проникнута благородными гуманистическими устремлениями; различие в политических и религиозных взглядах не может заслонить единого стремления писателей всех стран сделать так, «чтобы наша жизнь стала полезной великому делу мира» (Суванувонг Бонг).

Говоря о традициях прошлого, о новеллистическом наследии разных народов, зарубежные писатели, участвовавшие в работе семинара, с особой теплотой и уважением говорили о русской классической и советской литературе. Филиппинский делегат Мануэль Крус говорил о толстовском призыве писать понятно для народа и привел слова Добролюбова о важности идейной направленности произведения. «Особенно большое влияние на японских писателей оказали переводы рассказов, написанных русскими писателями, представителями русского критического реализма — Гоголем, Тургеневым, Гончаровым, Чеховым»,— говорил Такуя Хара. О Толстом и Горьком, как о своих учителях, вспоминали Саджад Захир (Индия) и Эрдэнэ (Монголия). Писатель — «певец своего народа» (Я. Кемаль) вбирает в себя все лучшее, что создано другими народами. Воздействие великих мастеров новеллы на наших современников не только не исключает, но, напротив, предполагает национальную самобытность сегодняшнего творчества молодых мастеров.

Каждый, кто внимательно следил за работой семинара, заметил, что в речах участников, во всей атмосфере этого форума естественно сочеталось обсуждение вопросов конкретных, профессиональных, порой частных, «технологических» — и больших раздумий о путях искусства в наши дни. Эти две стороны писательских забот неотделимы друг от друга. Наших друзей из Судана тревожит застой издательского дела, почти полная невозможность публиковать свои рассказы на родине; это вопрос одновременно «узкопрофессиональный» и принципиальный в самом широком смысле, вопрос материального положения писателя и вопрос его отношений с читателем, с народом. Представители литературы Индии, Камбоджи, Таиланда, Эфиопии, Турции, других стран говорили о своих специфических условиях, об издательских трудностях, о тиражах, гонорарах — то был деловой разговор, необходимо дополнивший собою постановку идейно-творческих проблем. Такая тональность обсуждения и конкретный его характер при широком эстетическом кругозоре выступлений — отрадная черта состоявшейся встречи.

Внесли свою лепту в работу семинара и представители многонациональной советской литературы. О роли пейзажа в рассказе говорил молодой прозаик Глеб Горышин. Георгий Семенов поделился мыслями о национальной самобытности литературы, о воспитательной роли рассказа, о взаимовлиянии литератур. Чукотский прозаик Ю. Рытхэу говорил о гуманизме художественного творчества, о зарождении и развитии письменной литературы его маленького народа. Турецкий рассказ, его сила, его задачи и приметы, сатира в новеллистике Турции — такова тема выступлений Леонида Ленча,

Льва Никулина, Радия Фиша. С наблюдениями о прозе в странах Африки к югу от Сахары выступили В. Ивашева, В. Лаптухин. С большим вниманием слушали участники семинара выступления Чингиза Айтматова (Киргизия), Рахмата Файзи (Узбекистан), Тахави Ахтанова и Ануара Алимжанова (Казахстан), В. Мачавариани (Грузия), Абубакара (Дагестан), Н. Джумаева (Туркмения), Гылмана Мусаева (Азербайджан), Л. Аннинского и Г. Митина (Москва). Самый ход семинара, выступления зарубежных и советских его участников подтвердили верность мысли, высказанной Тахави Ахтановым: «Своеобразие национальной литературы не есть ее внутреннее однообразие. Любая хорошая литература многообразна... Народ — не некая одноликая масса, народ богат, разнообразен, и литература каждого народа порождает разных мастеров; нельзя сводить все качества национальной литературы к единому знаменателю». Богатство литератур Азии и Африки, богатство и многообразие каждой из них и всей демократической литературы этих континентов в целом — об этом еще раз напомнил семинар.

Турецкий писатель Азиз Несин обратился к участникам семинара со словами протеста против американской империалистической агрессии во Вьетнаме и Доминиканской Республике.

«Сегодня в разных концах земного шара,— сказал в своем выступлении Яшар Кемаль,— люди умирают от болезней, от нищеты. Они работают по двенадцать часов в сутки, в голоде, под палящим зноем. Работают не на себя, на эксплуататоров... Так неужели художник, знающий это, может остаться в стороне! Неужели он не скажет об этом! Неужели он сможет легко и просто говорить о тысячах пустяков!.. Я бы не назвал такого человека человеком, я бы назвал его дезертиром. Я смотрел бы на него как на больного». Яшар Кемаль выразил здесь чувства и мысли всех честных художников современности.

Ощущением нелегкой и почетной ответственности писателя за судьбы мира и человечества была проникнута вся атмосфера семинара. «Огромная ответственность лежит сейчас на нас,— говорил, закрывая работу семинара, главный редактор журнала «Вопросы литературы» В. Озеров.— Мы можем своим голосом остановить поднятые над человечеством окровавленные руки, можем сделать так, чтобы люди всего мира сплотились для борьбы с реакцией, с опасностью новой войны». Вернувшись к своим письменным столам, обогащенные новыми впечатлениями, обменом мнений, плодотворной полемикой, чувством единства со своими коллегами, участники международного форума будут с новой силой трудиться для своих читателей, для своих народов.

Из выступлений участников форума

МЕНГИСТУ ЛЕММА

(Эфиопия)

Народ мечтает на своем языке

Я выражаю благодарность председателю за то, что мне предоставлена возможность выступить первому на этом высоком собрании.

Я привез письмо, которое адресовано Союзу писателей СССР от Литературной ассоциации Эфиопии. Я зачитаю это письмо на амхарском языке, чтобы товарищи имели представление, что такое амхарский язык:

«Приветствую Вас от имени Эфиопской литературной ассоциации, от имени писателей Эфиопии и себя лично. Нам очень приятно, что один из членов нашей Литературной ассоциации, господин Менгисту Лемма, лично приглашен участвовать в международном симпозиуме афро-азиатских писателей, проходящем в Москве и посвященном проблеме рассказа. Мы уверены, что это приглашение распахнет двери на пути к более широким контактам между нашими двумя литературными организациями.

Мы выражаем надежду, что контакты между Союзом писателей СССР и Эфиопской литературной ассоциацией будут улучшаться и расширяться. От души желаем самых больших успехов вашей конференции деятелей литературы.

Главный секретарь Эфиопской литературной ассоциации Эрмияс Кэббэдэ. Аддис-Абеба, июнь 1965 г.».

Я не случайно прочел это письмо на амхарском языке, ибо мое выступление будет посвящено проблеме национального языка. Эта проблема занимает важное место в литературной жизни стран Африки.

Очень много людей на земле говорят на английском языке. Приезжая в Эфиопию, эти люди спрашивают наших писателей: «Почему бы вам не писать на английском языке? Ведь английский язык знают во

всем мире. Зачем же вам писать на своем национальном языке? Национальный язык сужает рамки читательской аудитории».

В ответ можно было бы спросить: «А почему бы английским и американским писателям не писать по-амхарски или по-зулусски?» Вопрос, очевидно, останется без ответа.

Мы в Эфиопии очень серьезно подходим к проблемам нашего национального языка. Мы понимаем, что язык — это нечто более важное, чем средство общения; это — выражение национального духа; язык питает собою формы искусства. Я бы сказал, что народ мечтает на своем национальном языке.

Если писать не на родном языке, то пропадают национальные особенности. Как бы правдиво, ярко, гибко ни писал эфиопский писатель на чужом языке, неизбежно гибнут нюансы, ритмика, музыка — все то, что звучит на родном языке. Эти писатели добровольно отказываются от тонкостей родного языка, и для них остается один путь — «экзотизация» их произведений. Некоторые наши писатели попадают под влияние людей, говорящих на английском языке, и пишут произведения на нем, но эти книги могут интересовать в конечном счете только туристов. Такие произведения на английском языке, как правило, представляют малый интерес для тех, для кого английский язык родной. По этому поводу у меня даже разгорелся спор с одним английским профессором на страницах прессы.

Конечно, знание иностранного языка поможет писателю ознакомиться с литературным наследием других стран, но писатель может стать великим только тогда, когда он пишет на языке своего народа.

Эфиопский писатель должен создавать произведения, отражающие нужды и чаяния эфиопского народа, и на темы, понятные народу. Те произведения, которые представляют собой определенную ценность, должны переводиться на английский язык. Это поможет укреплению контактов между нашими странами.

Я имею в виду все страны африканского континента. Ведь проблема африканской литературы на иностранных языках волнует не только меня, но и других африканских писателей. В частности, один из нигерийских писателей блестяще разоблачил бессмысленность создания книг на чужом языке. Он говорит, что категории и понятия английского языка или французского вводят в заблуждение африканских писателей, мешают им развивать африканскую культуру. Некоторые африканские писатели и их западные няньки думают, что именно английский язык поможет им создать глубокие произведения. Но это — заблуждение, которое приведет к тому, что их книги никто не будет читать и они потерпят полный провал.

Другая проблема, которая интересует меня, это социальная насыщенность произведений. Некоторые западные критики говорят, что социальные проблемы характерны лишь для сегодняшнего дня и впоследствии просто отомрут. Но это не так, и характеры, которые мы создаем в наших книгах, носят социальные черты.

Очень трудно создать значительное произведение, если в нем обрисовываются лишь частные события, а не берутся более широкие проблемы, волнующие человеческие души.

Один преподаватель колледжа в Эфиопии говорил мне, что силой только лишь чувств, сколь бы гуманными они ни были, великого произведения искусства не создать, нужна социальная основа.

Очень легко, однако, доказать, что одного реалистического понимания социальных проблем, осознания того, что человек есть животное общественное, недостаточно, чтобы сделать книгу произведением искусства. Можно привести как примеры и Толстого, и Ибсена, и Шоу, и Брехта.

В заключение моего выступления хочу сказать, что африканские писатели не могут строго следовать критериям искусства, принятым на Западе. Вклад африканских писателей в мировую литературу должен заключаться в их самобытности, в развитии национальных традиций (но не в слепом следовании им!). Они должны воспитываться на тех социальных традициях, которые сложились у них в стране, не подражая писателям других стран.

Африканский писатель живет на континенте, который находится в движении, и писатель не может не ставить проблемы, волнующие африканский народ. И я надеюсь, что со временем возникнет и утвердится целая школа африканской литературы.

АЗИЗ НЕСИН

(Турция)

Писатель, народ, власть

Свое выступление я начну с того, что расскажу четыре анекдота. Эти четыре совершенно различных по своему характеру анекдота принадлежат четырем разным народам. Каким — я пока не скажу, однако, выслушав их, вы сами сразу поймете, какой народ является их творцом.

Итак, первый анекдот:

Одна птичья семья пригласила другую птичью семью на воскресный обед. Настало воскресенье, пробило 12 часов, гостей нет, проходит час, два — гостей все нет. Лишь к вечеру гости соизволили пожаловать.

— Почему вы так запоздали? — поинтересовался хозяин дома.

— Да видите ли, погода была уж очень хорошей, и мы решили пройтись пешочком.

Второй анекдот:

Женщина в ультрамодной юбке пытается подняться в автобус. Но, увы, юбка с пуговицами сзади слишком узка, женщина не может сделать и шага. В момент, когда она пытается расстегнуть одну пуговку на юбке, стоящий сзади мужчина заключает ее в свои объятия и подымает на ступеньки. Женщина возмущенно восклицает:

— На каком основании вы меня обнимаете!

— А на каком основании вы пытались расстегнуть мои брюки? — спокойно отвечает пассажир.

Третий анекдот:

Последние годы второй мировой войны. Нацисты дотла спалили большой город. Напротив разрушенного дома сидит осиротевший ребенок. Его мучает голод и холод. Но это маленькое существо с запавшими глазами так исстрадалось, что лишилось чувства страха. Малыш смотрит на развалины и не может сдержать рыданий. Тут он вспоминает, как мать ему говорила, что человек может перестать плакать, если его сильно напугать. Мальчонка обращается к своему другу с просьбой:

— Пожалуйста, напугай меня!

Последний анекдот:

Жил-был один крестьянин. Был у него осел, который многие годы возил на мельницу пшеницу. Однажды утром, нагрузив на осла мешки с пшеницей, крестьянин наклонился к ослиному уху и сказал:

— Ты очень умный осел, ты давно ходишь на мельницу и теперь, наверно, уже лучше меня знаешь дорогу. Мне сегодня нездоровится, я хочу остаться дома, а ты пойди на мельницу, пойди один, мой умный осел.

И отправился осел в путь. Наступил вечер, ждет крестьянин осла, а его все нет. На следующее утро встревоженный крестьянин отправился на поиски своего умного осла. По дороге он всем рассказывал о том, как послал на мельницу умного осла, а тот не вернулся. Заканчивая свой рассказ, он обращался к людям с вопросом:

— Не видели ли вы моего умного осла?

Повстречался крестьянину шутник, который ответил ему:

— Видел я твоего осла, он шел в город.

«Вот что значит умный осел, не захотел оставаться в деревне, ушел в город»,— решил крестьянин и зашагал по направлению к городу. Там он снова расспрашивал всех, не видели ли они его умного осла.

И снова повстречался ему шутник, который сказал:

— Видел!

— Где?

— В правительственном здании.

— А что он там делает?

— Как, разве ты не знаешь? Придя в город, осел поразил всех своим необыкновенным умом, и его сделали губернатором!

Крестьянин вышел на лужок, нарвал охапку травы и пошел к правительственному зданию. Войдя в кабинет и увидев там губернатора, он подошел к нему, помахал перед ним свежей травой и, хитро улыбаясь, заговорил:

— А ну, давай, давай, ну, ну, кончай валять дурака. Меня ведь не проведешь. Поменял шкуру, стал похож на человека, навешал орденов, уселся за губернаторский стол — узнаю своего старого осла. Ну, давай подымайся, пошли домой. А про то, куда ты дел два мешка с пшеницей, я даже и не спрашиваю. Знаю, дал взятку, чтобы стать губернатором.

Губернатор оказался человеком, любящим пошутить. Он сразу все понял и, пользуясь доверчивостью крестьянина, сказал:

— Пожалуйста, но я нужен государству.

— Государство на эту должность найдет еще кого-нибудь, а мне такого умного осла не найти. Конечно, ты имеешь полное право быть губернатором. Если хочешь знать, для тебя этого даже мало. Если ты здесь останешься, ты сразу получишь повышение. Но нам-то что делать? Кто будет возить на мельницу пшеницу? Короче говоря, не тяни, давай шагай в деревню!

Губернатор решил избавиться от простодушного крестьянина.

— Возьми-ка три золотых,— сказал он, протягивая деньги,— пойди на базар, купи себе другого осла, а меня оставь государству!..

Крестьянин взял три золотых и, радостный, побежал на базар. Там он снова всем рассказывал о своем приключении. Снова нашелся шутник, который воскликнул:

— Боже мой, что ты наделал! Губернатор надул тебя... Такого умного осла тебе не сыскать во всем свете. Мой тебе совет, купи на базаре ослицу, отведи ее к губернатору, хоть потомство получишь!

Я рассказал эти шутки отнюдь не потому, что являюсь юмористом, а лишь потому, что они помогут раскрыть главную характерную черту турецкого рассказа. Совершенно очевидно, что эти четыре шутки сильно разнятся друг от друга как по форме, так и по содержанию. Ибо они родились в разных странах, принадлежат разным народам.

Первый анекдот — о птичьей семье — американская шутка. Эта прекрасная шутка вызывает улыбку, но отнюдь не наводит на размышление. В ней отсутствует социальное звучание. Это умная шутка тех благоденствующих людей, которые могут всласть посмеяться.

Второй анекдот — с пуговицей — прекрасная французская шутка; в какой-то мере она связана с критикой моды. Но такого рода шутка обречена на короткую жизнь.

Третий анекдот — рыдающий ребенок — польская шутка. На мой взгляд, это прекрасный пример «черного юмора», «смеха сквозь слезы». Это юмор людей, испытавших огромное горе. Шутка вызывает не только горькую улыбку, но и глубокое раздумье.

Четвертый анекдот — с ослом — турецкая шутка. Крестьянин, герой шутки, это Ходжа

Насреддин — гений тюркских народов. Эта шутка — жесткая, беспощадная социальная критика, опирающаяся на реалистическую основу. Смех — привилегия людей сытых, благополучных, уверенных в завтрашнем дне. Но и у людей, веками страдающих от гнета, испытывающих нужду и бедствия, тоже есть потребность смеяться.

Безусловно, на примере одного анекдота-шутки невозможно дать полную, обобщающую характеристику рассказа какого-либо народа.

Но в своем выступлении я решил рассказать анекдот об осле для того, чтобы на конкретном примере раскрыть наиболее характерную черту турецкого рассказа. Главная черта турецкой новеллистики — это социальная направленность; она характерна и для рассказанной мной шутки о Ходже Насреддине. С момента ее зарождения до наших дней турецкий рассказ всегда опирается на социальную основу, имеет разоблачающее критическое звучание, ясную цель и утилитарное назначение, он всегда стремится принести читателю пользу, и — самое главное — в конечном счете он всегда реалистичен. Элементы фантастики, аллегории и символики преследуют в нем цель раскрытия действительности. Даже в рассказах, где превалирует романтика или лирика, всегда присутствуют черты реализма, утилитаризма, стремление заставить думать. Все это порождено историческими и социально-экономическими условиями жизни Турции.

Для того чтобы правильно осмыслить явления, связанные не только с турецкой новеллистикой, но и с турецкой литературой, искусством и всей культурой в целом, нужно принять во внимание две важные особенности этой страны. Известная истина — народы не похожи друг на друга. Те две особенности, которые я сейчас назову, отличают нас от других народов, помогают выявить характерные черты нашей культуры и литературы.

Первая наша особенность заключается в том, что Турция, которая в прошлом была огромной империей, господствующей на трех континентах, в наши дни принадлежит к числу отсталых стран. Этот исторический факт существенно отличает Турцию и ее литературу от литератур других народов, также отставших в своем развитии.

Современная турецкая литература вообще и ее новеллистика, в частности, впитавшая в себя вековые традиции классической и народной литературы, испытавшая на себе влияние других литератур, обрела совершенно новую, оригинальную, бьющую фонтаном жизнь. Именно отсюда вытекает то обстоятельство, что в Турции наших дней, в Турции, не познавшей еще жизнь индустриального века, вся литература, и новеллистика в особенности, поражает своим многообразием и силой, высоким мастерством, стоящим на уровне литератур развитых стран.

И другая особенность нашей страны, достойная внимания при разговоре о турецкой литературе: Турция — страна, сорок пять лет назад поднявшаяся против империализма и победившая в своей национально-освободительной борьбе. Однако, несмотря на это, даже спустя сорок пять лет Турция не встала на путь социалистического развития. Это обстоятельство превратило всю турецкую литературу и новеллистику, в частности, в оружие социальной борьбы. Примерно после 1937 года наблюдаются большие изменения в том, как правящие власти относились к турецким писателям.

Это очень важное, говорящее о многом обстоятельство. Положение турецких писателей в период между 1923 годом, годом установления республики, и 1937 годом, годом смерти Ататюрка, резко отличается от положения турецких писателей в период после 1937 года и до наших дней. До 1937 года всех писателей, невзирая на ценность их произведений, власти буквально носили на руках, создавали условия благополучной жизни для них. Писатели сидели за одним столом с Ататюрком, принимали участие в его беседах. Писатели были послами, министрами, членами правлений в государственных учреждениях, состояли на других высокооплачиваемых должностях.

После 1937 года положение турецких писателей резко изменилось. Всех известных и значительных в Турции писателей начали заточать в тюрьмы, ссылать на каторгу, подвергать полицейским допросам. Дело дошло до того, что значимость, ценность писателя стали определять продолжительностью его заточения.

Именно эти писатели, познавшие в своей стране горе и унижение, представляют сегодня турецкую литературу на международной арене.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров, назову имена некоторых писателей. Поэт Яхья Кемаль в качестве полномочного посла Турции долгие годы жил в столицах европейских государств, был министром; последние годы жизни провел в фешенебельной обстановке, в тиши и покое. Поэт Абдулхак Хамид, романист Якуб Кадри, будучи послами и министрами, жили в полном достатке и благополучии. Высокие должности занимали литераторы Рушен Эшреф, Хамдуллах Субхи, Фалих Рыфкы Атай, Решад Нури Гюнтекин, Юсуф Зия Ортач, Орхан Сейфи Орхон, Энис Бехич и многие другие.

Теперь обратим внимание на положение турецких литераторов после 1937 года.

Всемирно известный турецкий поэт Назым Хикмет тринадцать лет находился в заточении и тринадцать лет провел вдали от родины. Наш прекрасный новеллист Сабахаттин Али долгие годы провел в тюрьме и погиб от руки фашистского убийцы. Известный наш романист Кемаль Тахир 13 лет томился в застенках. В тяжелых условиях, в постоянных поисках работы проходит жизнь талантливого новеллиста и романиста Орхана Кемаля, который также не миновал тюрьмы и находился в неволе четыре с половиной года. Саид Фаик, творец лучших турецких поэтических рассказов, на всем протя-

жении своей жизни не смог найти работу и вынужден был жить на средства своей матери. Известный наш поэт Орхан Вели испытывал большую нужду и умер от туберкулеза очень молодым. Поэт Рыфат Илгаз был отстранен от должности учителя и брошен в тюрьму, сейчас у него туберкулез в тяжелой форме, он живет в ужасной нужде. Находящийся здесь среди нас известный романист Яшар Кемаль также познал трудную жизнь, безработицу. Присутствующий здесь поэт Мелик Джевдет Андай, против которого не раз возбуждались судебные процессы, прошел через тяжелые испытания. Говорить о себе не буду. Не хочу отнимать ваше время для более полного перечисления столь горьких примеров.

Из сказанного вытекает следующий вопрос. Если до 1937 года власти буквально носили на руках турецких литераторов, то почему же после 1937 года турецкие литераторы оказались совсем в ином положении? Чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос, очевидно, надо знать личность каждого писателя в отдельности. Было бы несправедливым всех писателей, живших благополучно до 1937 года, обвинить в подхалимстве, двуличии, заигрывании с властями. Считать, что все писатели нашего поколения, пришедшиеся не по душе властям, являются нарушителями законов, было бы еще более неправильно.

По моему мнению, первая причина того, что после 1937 года власти находятся не в ладах с турецкими писателями, кроется в социальной природе самой власти. Столь часто упоминаемый мною 1937 год не был коротким историческим периодом. Дело в том, что в Турции, учредившей республику после национально-освободительной войны, власть с самого начала носила народный характер, вернее, пыталась быть народной. Затем местная буржуазия пошла на союз с империализмом и повернулась спиной к своему народу. В 1953—1960 годах пропасть, отделяющая власти от народа, стала еще глубже. Удаляясь от народа, власти неизбежно пришли в столкновение с интеллигенцией. Что же не нравится властям в писателях, которые вывели турецкую литературу на мировую арену — и подверглись всяческим гонениям, изведали пытки и тюрьмы? Властям не нравится лишь одно. Уж слишком любят турецкие писатели свой народ, слишком горячо выступают в его защиту.

Из сказанного мною о положении турецких писателей можно сделать следующее заключение.

В стране, где власть близка народу, прогрессивные писатели всегда на стороне власти. И наоборот, если власть перестает быть народной, писатели приходят в столкновение с этой властью. И если в какой-либо стране писатели подвергаются давлению со стороны власти, это первый признак того, что власть в этой стране далека от народа. Степень народности власти выражается и в степени близости прогрессивных писателей властям.

Заканчивая свое выступление, хочу передать от имени моей страны и моего народа горячий привет всем прогрессивным писателям стран Азии и Африки, присутствующим здесь и отсутствующим. Хочу пожелать, чтобы мы были по-братски солидарны в нашей борьбе против всех властей, удаляющихся от народа.

АМРИТ РАЙ

(Индия)

Неновое «новое»

Я очень рад, что мне предоставлена возможность участвовать в работе этого семинара. Рассказ является одним из самых важных, если не самым важным жанром литературы. Поэтому семинар такого рода очень полезен для нас, он поможет нам ознакомиться с развитием рассказа в литературах других стран Азии и Африки, стран, которые тоже длительное время находились под игом колониализма или полуколониализма, а теперь переживают бурный период национального возрождения.

Несмотря на то, что наши страны очень различны по своему социальному устройству и уровню развития, я не ошибусь, если скажу, что силы, которые способны развивать литературу в странах Азии и Африки, в основном одни и те же.

Прежде всего, мы ставим перед собой одну и ту же задачу. Мы стремимся создать в своих странах счастливое, свободное, процветающее общество, отвечающее нашей национальной самобытности. Во-вторых, враг, с которым мы должны бороться, один и тот же. Мы должны бороться, с одной стороны, против пережитков нашего феодального прошлого, а с другой — против колониализма, против мертвящего влияния капитализма, который старается прямыми и косвенными методами, прибегая к самым низким средствам, всячески помешать свободному движению стран Азии и Африки вперед к их заветным целям.

Культура — это одна из самых важных и сложных сторон человеческой деятельности; история свидетельствует, что именно культура нередко играла решающую роль в создании или в уродовании судеб народа.

Я утверждаю — и думаю, что все присутствующие согласятся со мной, — что борьба народов Азии и Африки за полное освобождение от империализма ведется в области культуры и политики в той же степени, что и в области экономики. Поэтому было бы только правильно, если бы мы, собравшись здесь и взаимно ознакомив друг друга с нашими литературами, постарались бы выработать общие методы борьбы про-

тив культурной агрессии империализма, против проникновения загнивающей идеологии капитализма, против заражения национального культурного наследия моралью капитализма. Мне кажется, что культура Азии и Африки, конечно различная в разных странах, своеобразная в каждой стране, связана одним общим фактором: это гуманизм, тот гуманизм, который может стать общим методом борьбы. Против гуманизма и направлены усилия империалистической культуры, которая пытается превратить его в антигуманизм. И вот именно в этом аспекте мы, писатели, не только как граждане своих стран, но и как деятели культуры должны объединить свои усилия для совместной борьбы. Мы должны вступить в эту борьбу именно как деятели культуры и провозгласить конечное торжество жизни над смертью, мира над войной, любви над ненавистью, национальной культуры над культурой космополитической.

В какие бы слова ни облечена была эта мысль, она повторяется раз от разу на протяжении многих наших дискуссий: зачем мы пишем? И, кстати, зачем мы читаем? И зачем читать то, что мы пишем? Для удовольствия, которое доставляет это чтение, или ради морали, которую несет в себе произведение искусства?

Только в середине XIX века, а точнее во второй его половине, великие мастера России и Франции — Толстой, Чехов, Тургенев, Горький, Мопассан, Бальзак, американец О'Генри (но не Эдгар По!) — сумели ответить на этот вопрос, создав произведения, которые не только сливали в себе оба эти аспекта литературы — удовольствие и мораль, но сделали это так органично и прекрасно, что невозможно было сказать, где кончается наслаждение от чтения и начинается дидактика.

Сегодня мы имеем в виду именно такой тип рассказа. Хотя этому рассказу едва ли более ста лет, но он успел в нынешней форме проникнуть в самые отдаленные уголки нашей планеты, прославив имена своих создателей.

Отдавая должное нашей собственной литературной традиции, надо помнить, что тот рассказ, который мы обсуждаем сегодня,— это рассказ, развившийся в Европе.

Нет никакого сомнения в том, что в течение последнего пятидесятилетия рассказ подвергся сильному влиянию западных мастеров этого жанра.

Принято считать, что образцом современного рассказа на языках хинди и урду является творчество Прем Чанда. Произведения, которые он создавал в течение 35 лет, написаны в разных жанрах.

По ранним рассказам Прем Чанда можно наблюдать влияние рассказа мистического и романтического, но по мере того, как зрело его мастерство, его проза становилась все проще и чище — и под влиянием собственного жизненного опыта художника, и под влиянием европейского рассказа. Чувствуется, как четче становится реалистическая тенденция, как кристаллизуется его рассказ.

Это особенно отчетливо проступает в таких суровых и сильных рассказах, как «Саван», «Зимняя ночь» или «Горсточка риса». Замысловатые сюжетные ходы рассказов раннего периода уступают место сюжетной простоте. Иногда сюжет предстает обнаженным. Это же относится к характерам героев. Все к более простым методам прибегает писатель и все отчетливее прочерчивает ход развития. Все строже и строже относится Прем Чанд к тем украшениям, которые встречались в его рассказах раннего периода. В рассказах остается только то, что абсолютно необходимо для сюжета и построения характеров героев.

Этой дисциплинированности нового жанра Прем Чанд научился не только на своем личном опыте, но и под влиянием таких мастеров рассказа, как Толстой, Чехов и Горький — пожалуй, больше всего Толстой.

До сих пор никто из индийских писателей не может сравниться с Прем Чандом в силе и красоте описания простых людей, особенно крестьян. И поэтому, когда мы говорим о наследии Прем Чанда, мы понимаем под этим продолжение реалистического течения в литературе, продолжение традиций критического реализма — творчества Чехова, Мопассана, Толстого и социалистического реализма Горького.

Эти традиции продолжают развиваться и сейчас в рассказах на хинди: и у даровитых писателей старшего поколения, таких, как Яшпал, Ашк, и в творчестве молодых писателей — Рену, Рангейя Рагхава, Камалешвара, Мохана Ракеша, Бхишама Сахни, Амарканта, Чандра Киран Сонрексы, Ману Бхандари и др. Эти писатели сделали реализм ведущим направлением в нашей литературе.

В то же время за последнее десятилетие в нашей стране совершался подъем и постепенный распад направления, которое у нас иногда называют течением «нового рассказа».

Сторонники «нового рассказа» выступают с огромным количеством пожеланий, заявлений и деклараций. Однако очень трудно сказать, зачем же нужен этот «новый рассказ», за что выступают его создатели. Дело в том, что основоположники этого течения и некоторые из тех писателей младшего поколения, которых я только что назвал, стоят, как мне кажется, в полном замешательстве и не знают, куда идти дальше. По крайней мере так явствует из их противоречивых заявлений. Впрочем, их произведения — а если быть более точным, часть их произведений — говорят о целях этой группы красноречивее, чем их декларации. В творчестве все сложнее, чем в декларациях, но все же нет сомнения в том, что так называемый «новый рассказ» представляет отступление от социального подхода к литературе. Многие из этих писателей с презрением отворачиваются от социальных проблем и делают своим философским кредо индивидуализм. Их подход к жизни — подход негативный и циничный. Это бесконечное смакование темы извеч-

ного одиночества и отчаяния, бессмысленности жизни человека, его усталости от жизни. Эти писатели все время толкутся вокруг одного и того же куста — вокруг половых проблем.

Они потеряли веру в конечное торжество человека, в осмысленность искусства. Не приходится отрицать того, что в индийском обществе сегодня имеется немало факторов, способствующих развитию этих настроений.

И неудивительно поэтому, что многие из наших молодых друзей становятся жертвами загнивающей капиталистической культуры Запада, которая распространяет среди них пораженческие настроения, выдавая их за последние открытия интеллекта. Но понять это — вовсе не значит примириться с этим. Ведь речь в конечном счете идет о необходимости взять под защиту нашу демократическую культуру, наш гуманизм — национальное наследие нашей культуры.

И здесь не играет роли то обстоятельство, что с «новым рассказом» знакома только незначительная часть народа, интеллектуальная элита страны.

Отрицательные явления в жизни страны — это только одна сторона действительности. Безусловно они интересуют нас, и мы черпаем из них материал для наших произведений. Но это отнюдь не значит, что мы должны воспринимать и чуждую нам мораль, что мы должны безоговорочно поверить в нее. Не может быть подлинного реализма без отражения самого главного — жизни народа.

Поэтому я беру на себя смелость утверждать: что бы ни говорили проповедники «нового рассказа» или «нового романа», рассуждая о «новом» и «обогащенном» реализме, они по сути дела отбрасывают реализм, они отбрасывают простой и страстный гуманизм народных масс, который воплощает в себе их борьбу и их надежды. Поэтому наш народ отверг это течение, и, несмотря на все старания монополистической печати, популярности оно не приобрело. Наши люди всегда способны на любовь, на самопожертвование. Что касается борьбы против несправедливости и угнетения, то бывали случаи, когда лидеры предавали народ, а наш народ никогда не подводил своих лидеров и всегда был готов подняться по первому призыву для борьбы за правое дело. Если сейчас наш народ в растерянности, то не он повинен в этом. Пусть только прозвучит клич — и народ покажет, на что он способен.

Авторы «новых рассказов» потеряли веру в народ, а затем, естественно, потеряли веру в те гуманные ценности, которые воодушевляют народ.

Если это не так, то позвольте спросить: почему стало немодным говорить о положительных качествах в человеке? Почему перестали замечаться мелкие повседневные проявления красоты человеческого духа, которые делают жизнь заслуживающей того, чтобы жить?

Человек — это сплетение хорошего и дурного. Почему же писатели, которые создают так называемые «новые рассказы», обнаруживают только дурное в человеческой натуре?

По-видимому, они смотрят на мир через затейливые импортные очки, через мертвящие очки, привезенные с Запада.

Но это — тупик. Единственно правильным путем развития искусства является путь гуманного реализма, а это путь добра, правды, красоты и свободы, справедливости, равенства, мира и братства между всеми людьми. Человечество пришло к нынешней ступени развития именно этим путем, и если ему суждено взлететь к Луне и звездам, то и туда его поведет этот же путь.

Народ живет и умирает с теми культурными и духовными ценностями, которые он создал.

Мы, представители поднимающихся стран Азии и Африки, должны отказаться от доктрины смерти, отчаяния, цинизма, насилия, ненависти, жадности и зверских инстинктов — от всего, что предлагает нам экзистенциализм, философия отчаяния.

Нам надо отказаться от всего этого потому, что именно так проникают в наши страны микробы того атомного ужаса, который навис сейчас над человечеством.

Мы, писатели, должны вести себя, как горьковский Данко, вырвать из груди сердце, сверкающую драгоценность любви и героизма, поднять его высоко над головой и этим факелом осветить людям путь через темный лес, который человечеству суждено пройти. Чтобы вновь обрести драгоценный эликсир бытия, который многие из нас утратили в суматохе жизни, нам надо вернуться к своему народу, к нашим великолепным легендам, и это будет самым важным вкладом стран Азии и Африки в сокровищницу мирового искусства!

МАЛИК ФАЛЛ

(Сенегал)

Единство — в многообразии

Уважаемые ораторы, выступавшие до меня, несколько вышли за рамки предложенной нам темы. Я поделюсь своими размышлениями относительно рассказа и его обогащения международным литературным опытом.

Рассказ, в широком пониманий этого слова, появился с рождения языка.

До появления письменности у одних народов или до введения ее в период колонизации у других устный рассказ вместе с песней и танцем был одной из самых ха-

рактерных форм художественного выражения.

До сих пор элементы устного творчества сохраняют исключительное место в наших литературных произведениях. Те из вас, кто побывал в Дакаре, поняли, какое место уделяется, например, в радиопередачах сказкам, басням, легендам и разного рода рассказам.

По всей стране в самой гуще народных масс сохраняется неизменное восхищение богатством, силой и глубиной художественных творений. Так было с незапамятных времен, так будет всегда, ибо подлинное искусство неиссякаемо, ибо заряд чувств, мысли и самобытности составляет оригинальную ценность произведения, а в нем должны отражаться наше прошлое, наше настоящее и будущее, если мы действительно хотим оставаться самими собой.

Вот как родился рассказ и другие жанры нашей литературы. Если не принимать малоудачные попытки писателей, появившиеся на заре грамотности, то можно считать, что в моей стране в этой области была осуществлена работа, достойная внимания.

Разумеется, некоторые наши книги не встречают единодушного одобрения советских писателей. Однако ряд других книг моих соотечественников был встречен у вас тепло. Я не удивляюсь, а, скорее, радуюсь широкому разнообразию нашей литературной продукции. И скажу чистосердечно: для нас это еще одно проявление единства в многообразии, как сказал бы Леопольд Седар Сенгор.

В конце концов источник творчества никогда не оскудевал. Происходит нечто вроде скрытого непрерывного процесса, который лежит в основе всей нашей литературы. И если есть в ней пробелы, то они лишь кажущиеся.

Песни, пробуждавшие патриотические чувства, были популярными среди борцов против французских завоевателей. Однако и сегодня голоса этих борцов не смолкли. Вопреки политике колонизаторов, творчество изменилось лишь внешне, но сущность его осталась прежней.

Настало время борьбы другими средствами, иначе говоря, нужно было восстановить наше попранное достоинство, объединить распавшиеся черты нашей личности, соединить их в один мстящий кулак и подняться против колонизатора. Вам знакома литература того времени, литература культурной реабилитации, призывавшая, как тамтам, пробудившуюся Африку признать своих сынов. Как только, говоря словами нашего гимна, «птенцы собрались, укрывшись от коршуна», воспрянув духом и преисполненные веры в собственные силы, цели борьбы изменились. Пришло время разрушений и требований, время протеста. Это было время самой неистовой, самой язвительной литературы, и это была еще одна страница в истории трехвековой борьбы.

От методичных поисков, от самоанализа и собирания ценностей нашей цивилизации мы решительно и резко перешли к штурму колониализма. В этих яростных атаках удар был сосредоточен прежде всего против всех форм подавления и угнетения человека. Этот период тоже был ознаменован рядом самобытных произведений, получивших всемирное признание.

Сегодня, когда эпоха, о которой я говорил, хоть и в муках, но близится к концу, мы, сенегальцы, едва оправились от первого опьянения независимости. Однако мы знаем, что независимость — всего лишь начало. Ее нужно защищать как от наших собственных слабостей, так и от внешних империалистических сил.

Отныне перед писателями «третьего мира» встает новая задача. Поэтому, внимательно наблюдая за событиями, потрясающими современный мир, мы должны быть бдительны и неумолимы к недостаткам, свойственным нашей собственной деятельности, так же как и любой человеческой деятельности.

Современная обстановка призывает писателей, стоящих на твердых социальных позициях, бороться вместе со своим народом за победу во вдохновенной битве за национальное обновление. К старшему поколению примыкает уже новая когорта молодых писателей. Все они, отличаясь друг от друга по темпераменту и стилю, объединены единым чувством доброй воли. С усердием и искренностью людей, вышедших из народа, они изучают жизнь и уверенно предлагают необходимые изменения.

Небесполезно отметить, что наша литература изобилует самыми разнообразными темами, изложить которые мне не представляется возможным — это заняло бы много времени, — однако все, что касается человека, нас живо интересует.

Родившаяся в народе, отражающая его надежды и чаяния сенегальская литература во всех своих жанрах как боевой авангард выполняла свой долг и будет продолжать его выполнять. В этом ее призвание и судьба.

Какого же обогащения ждем мы от международного литературного опыта?

Среди прочих положительных факторов я мог бы отметить следующие: личные контакты; огромное творческое богатство, образцы которого демонстрируются в соседнем зале; индивидуальный опыт, приобретаемый в необычных условиях.

Я отметил бы зарубежный опыт в области стилистики, а также в области этической и эстетической.

Я хотел бы выразить пожелание, чтобы образ и ритм получили право гражданства в произведениях наших коллег. Тем самым наиболее значительные ваши произведения стали бы доступнее нам, африканцам.

Я хочу закончить свое выступление словами одного известного критика: рассказ — это жанр, который должен сразу захватывать читателя, быстро вести его к концу повествования, оставлять его чуточку голодным, чтобы он не хотел расставаться с миром художественной фантазии.

Гаусу Диавара (Мали) и Малик Фалл (Сенегал) в перерыве между заседаниями.

Азиз Несин (Турция) в зале заседаний.

Суванувонг Бонг (Лаос) и профессор Интойо (Индонезия).

Тадж эль-Сирр Хасан, Валид Ибрагим (Судан), Салах Халес и Суад Хедур (Иран) в перерыве между заседаниями.

АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ

ПОЭЗИЯ БОРЬБЫ И ОТКРЫТИЙ

(О романе Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкоп»)

Эрвин Штриттматтер — писатель остросовременный и остросоциальный. Его книги никогда не оставляли безучастными читателей и критику. Но ни одно из его произведений не вызывало на родине писателя — в ГДР — такого бурного обмена мнений, такого шквала споров и разноречий, как роман «Оле Бинкоп».

Где только не обсуждали этот роман! На заводах и в деревнях, в научных институтах и среди студенчества, на собраниях литераторов и на страницах печати. Можно с уверенностью сказать, что книга Штриттматтера взволновала все слои немецкого общества.

Три дня работал в декабре 1963 года в городе Галле пленум Союза немецких писателей. Я был на этом пленуме и мог воочию убедиться, что основные творческие вопросы, дебатировавшиеся в докладах и выступлениях, были так или иначе связаны с новым романом Штриттматтера.

Долго бурлили страсти вокруг «Оле Бинкопа» и на страницах немецкой печати. Более полугода обсуждался этот роман в бесчисленных статьях и рецензиях, появлявшихся в газетах и журналах. Если собрать все написанное об «Оле Бинкопе», то окажется, что этот «критический свод» раз в пять (а то и более) превышает объем самого романа.

В споре об «Оле Бинкопе» не было равнодушных. Дискуссия шла горячо, страстно. Роману и автору предъявлялись критические требования — в выступлениях литераторов Эдуарда Цака, Вернера Ильберга и других, в письмах читателей. Роман и автора безоговорочно поддерживали многочисленные писатели, критики, читатели — сошлюсь на выступления Гельмута Гольцгауэра, Аликс Веддинг и многих, многих других. В ходе полемики все чаще раздавались голоса тех, кто подвергал роман Штриттматтера трезвому, обстоятельному анализу. На писательском пленуме в Галле об «Оле Бинкопе» подробно говорилось в докладе Ганса Коха, в речи Отто Готше, в выступлениях многих ораторов. Все отчетливее и яснее становился конечный вывод дискуссии, все отчетливее и яснее вырисовывалось признание большой творческой победы, одержанной писателем в его новом романе.

Критика произвела проверку романа жизнью. И роман выдержал эту проверку. Оказалось, что изображенные в нем обстоятельства отвечают жизненной правде. Оказалось, что показанные в нем характеры (и прежде всего характер его героя) также жизненны и правдивы. Вдумчивый, к тому же коллективный, критический анализ книги Эрвина Штриттматтера установил типичность, народность ее героя. «Уже самая мысль показать путь оригинально думающего человека — человека с большими творческими потенциями, со всеми его конфликтами, показать его от той поры, когда в капиталистическом обществе он мог только стоять в стороне, до времени завоевания им значительного места в нашем социалистическом обществе,— уже самая эта мысль содержит большую человеческую и политическую тему»,— так говорил об «Оле Бинкопе» Александр Абуш в речи на пленарном заседании Немецкой академии искусств. Ганс Кох в статье «Образ современника в литературе ГДР», помещенной в апреле

1964 года в газете «Нейес Дейчланд», подчеркнул, что в фигуре героя нового романа Штриттматтера воплотилась «идея социалистической творческой силы освобожденного народа».

Весьма интересен и автокомментарий Эрвина Штриттматтера к роману «Оле Бинкоп». Он дан в беседе писателя с радиокорреспондентом Вальтером Новойским, опубликованной в одном из недавних номеров «Нейе дейче литератур». В интервью отчетливо вырисовывается партийная позиция Штриттматтера, писателя, берущего жизненно важную проблему с целью активного воздействия на действительность. «Задача состоит вот в чем: помочь новатору найти свое место в жизни и воспрепятствовать, с одной стороны, зажиму новаторской инициативы, а с другой, новаторской анархии».

Штриттматтер — писатель, отлично знающий немецкое крестьянство. Недаром его жизнь проходит в крестьянской среде, в деревне. Годами находясь среди крестьян, он сумел накопить бесценные социально-психологические и бытовые наблюдения. Но Штриттматтер отнюдь не только и не просто бытописатель современной немецкой деревни. Он — художник, который через сочный бытовой материал и тонкие психологические наблюдения добирается до глубин жизни, до самых важных и самых острых ее проблем.

«Оле Бинкоп» — роман о деревне. И главный герой этого романа Оле Ханзен, прозванный Бинкопом (Пчелиной Башкой),— крестьянин села Блюменау, представляющего одну из тех мекленбургских деревушек, где еще немногим более двадцати лет назад хозяйничал помещик и хищничали кулаки-гроссбауэры. Но вот прошла по полям Европы *большая война*, и пришла она обратно, на немецкую землю. Конец *большой войны* означал освобождение Европы от гитлеровского гнета. Он принес свободу и крестьянам села Блюменау. Впервые обретает свободу Оле Ханзен, крестьянский сын и сам крестьянин, 1905 года рождения, в детстве подпасок, затем — пчеловод, во время второй мировой войны угнанный на фронт в вагоне «для скота» и там, на фронте, стихийно восставший против несправедливостей и наказанный фашистской военной «юстицией». Бывшего гитлеровского солдата, ставшего гитлеровским арестантом, спасают солдаты Советской Армии — он идет им навстречу с красным флагом. И вот освобожденный Оле возвращается в родное село Блюменау, чтобы вместе со своими односельчанами вступить в ту новую пору немецкой истории, которую некогда один журналист назвал «нулевым годом». «Все начинают жить сызнова». Сызнова начинает жизнь и Оле.

Год, иронически названный нулевым, оказался на деле годом Первым для освобожденной немецкой демократии. Он оказался годом начала великой социальной перестройки. Бежал из деревни барон-помещик, присмирели и затаились богатые хозяева — владелец лесопильни Рамш и крепкий мужик Серно. Нахлынули в Блюменау новоселы, переселенцы. Пришла в Блюменау справедливая земельная реформа: шесть га каждому крестьянину и раздел угодий беглого помещика. «Земля барона резалась на куски совсем как свадебный пирог». По-новому развернулась деятельность разгромленных Гитлером демократических партий. И — как всюду — в Блюменау во главе новой жизни встали люди социалистического образа мысли и действий. Старый товарищ Оле, коммунист-подпольщик Антон Дюрр, бывший батрак, лесоруб, вечный трудяга, возродил в селе партийную организацию.

Так началась и для Оле новая жизнь — та, в которой он уже не оставался более в стороне, та, которая открыла ему пути борьбы и творчества. В сорок лет началась для Оле Бинкопа эта новая жизнь. Нелегкий опыт остался у него за плечами. Но и впереди дорога не была устлана розами — он познал и горечь в борьбе, и радость побед. Новая жизнь принесла с собой и новые отношения с людьми; свободный труд и открытая социальная борьба выработали у Оле новые нравственные принципы. Шаг за шагом пришел Оле к постижению партийности, к пониманию того, что партийный билет сулит ему не райские кущи в стране Шлараффии — в этаком воображаемом крае кисельных берегов,— а обязанности и обязанности, что партийность — это прежде всего ответственность.

Проникновенным взором умного психолога следит Штриттматтер за эволюцией представлений своего героя. Он далек от какой бы то ни было его идеализации, он трезвый и «жестокий» реалист. И в новом Оле он видит некоторые пережитки прежнего Оле — видит пережитки стихийности, остатки упрямого, своевольно-

го характера. Он кристально честен, этот Оле Пчелиная Башка, он неподкупен, принципиален, он рыцарски благороден в своем отношении к людям. Но иногда, на суровых поворотах, там, где нужна особая выдержка, вдруг пробуждаются в нем эмоции былого Оле, и он совершает поступки безрассудные, опрометчивые. И тогда вместо упорства проявляется в нем упрямство, и тогда уже не Оле владеет своими страстями, а страсти овладевают им. Такова уж диалектика этого характера, этой поистине рельефной и пластичной фигуры, выписанной любовно и тщательно.

И все же главное, важнейшее в характере Оле — это все то, что открылось ему в новом мире, ведущем к социализму, в новых идеалах, которые стали его идеалами, в новых отношениях между людьми, горячим поборником которых он выступил на селе. Главное и определяющее в Оле — это не его трагические срывы (из которых последний стоил ему жизни), главное — это Оле — воитель нового, Оле — председатель Крестьянской взаимопомощи, борец за коллективное сельское хозяйствование и за коллективный труд, человек смелой, партийной мысли, создатель нового крестьянского содружества, председатель сельскохозяйственного кооператива «Цветущее поле». Штриттматтер не конструирует из своего героя некую отвлеченно-схематическую идеальную фигуру — он творит характер живой и реальный, в котором новое борется со старым и доминирует над ним. Оле — реальный герой, характер противоречивый и вместе с тем цельный. В какой-то мере Оле — «переходник»; перейдя от старого к новому самым убежденным и решительным образом, он не сумел еще полностью избавиться от некоторых эмоциональных навыков, которые в условиях старого мира выражали разлад с действительностью и стихийное бунтарство, но в мире новых, созидательных дел становились ему поперек дороги.

Какую огромную, важную психологическую проблему затронул Штриттматтер, нарисовав таким образом внутреннюю диалектику своего героя! Надо ли объяснять, что в условиях ГДР,— где революционные процессы набирали и набирают силы, увлекая тысячи и тысячи людей, убежденно и честно совершивших переход из старого мира в новый, но далеко не сразу избавившихся от психологических и эмоциональных пережитков прошлого,— этот образ имеет совершенно особое идейно-воспитательное значение? Конечно, Оле Бинкоп — насквозь крестьянин, и мир его бытия, и мир его представлений всецело крестьянский. Конечно, он — один из представителей той крестьянской массы в ГДР, которая решительно повернула на путь участия в социалистическом строительстве, став одним из оплотов социализма, одним из его резервов. Но разве диалектика духовного мира Оле характерна только для крестьянина Бинкопа или вообще для какой-то определенной части крестьянства, и разве нельзя себе представить Оле-горожанина, Оле-интеллигента, отмеченного таким же или сходным противоречием? Конечно, подобный герой, подобный персонаж уже будет иным, не таким, каким мы знаем штриттматтеровского Оле, написанного по всем законам реализма, как «он», как «тот», как индивидуально неповторимый Бинкоп. Но он будет как бы его духовным братом, по-другому индивидуальным, но отмеченным той же или сходственной духовной драмой, которая во многом определяет внутренний драматизм этого характера.

Я сказал, что тот диалектически-сложный характер, который увидел и воплотил писатель в своем Оле, имеет большое идейно-воспитательное значение для немецких читателей-демократов. Скажу и того более: характер этот «поучителен» не только в условиях ГДР, но везде и всюду, где на обломках старого мира созидается мир новый. Образ Оле жизненно правдив и написан он «для жизни» — для того, чтобы воздействовать на жизнь.

Образ Оле вмещает в себя множество общественно-психологических проблем. Об одной из них, на мой взгляд, особенно важной, я уже сказал. Думаю также, что Оле Бинкоп интересен для познания общественной психологии многих людей в Германской Демократической Республике тем, что он — тип народный. Он один из многих и многих, в ком отобразился процесс формирования и развития нового, социалистического сознания в молодой республике, вышедшей на путь строительства социализма.

Общество, основанное на принципах социальной справедливости, открыло тысячам и тысячам таких, как Оле, все возможности для сознательной, созидательной творческой жизни. Для Оле право творить — это не только право на исполнение творческих планов, разработанных другими. Он и исполнитель больших госу-

дарственных планов, выражающих интересы народа, нации, но он и новатор, стремящийся влить в общее творчество свою инициативу, свои искания и дерзания. Оле многому учился у тех, кто раньше его пришел к правде социализма,— ему дороги и близки мысли покойного друга Антона Дюрра, человека, для которого великим примером был Ленин, он дорожит делами и советами Карла Крюгера. Для Оле Антон Дюрр — один из тех, кто и после смерти живет на земле, настоящий революционер, его отношение к жизни основано на истинно революционных принципах — он не хочет повторять зады, он стремится открывать новое. Для него поэзия новой жизни — это поэзия борьбы и открытий.

Эрвин Штриттматтер рисует широкую картину жизни послевоенной немецкой деревни. Он показывает эту жизнь в ее поступательном развитии, дает ее, так сказать, по этапам. На разных ступенях этого развития по-новому ложатся отрезки кривой, по которой движется судьба героя, по-новому складываются его отношения с окружающими. Оле все время в борьбе — он решительный противник владельца лесопильни Юлиана Рамша, этого «американлайка», этого пошлого развратника, ловкого торгаша и коварного преступника; Оле — враг Серно, старого, прожженного мошенника, в недалеком прошлом измывавшегося над военнопленными, работавшими на его кулацком хуторе. Оле не по пути и с «робким» бургомистром Нитнагелем, призывающим его «сделать перерыв в классовой борьбе». Много и других людей, с которыми Оле вступает в борьбу,— в этом легко убедиться, читая роман. Но при этом Бинкоп не одинок — все шире растет вокруг него стан друзей и единомышленников. Еще в самом начале его новой деятельности к нему, больному, приходят молодые друзья, юные тельмановцы. А чем дальше идет он дорогой сельского активиста-руководителя, тем больше сердец открывается ему.

Не в столкновениях Оле с людьми, цепко держащимися за прошлое, с субъектами типа Рамша или Серно выступает та новая и важная проблема социальной борьбы, которая впервые поставлена и освещена в литературе ГДР романом Эрвина Штриттматтера. Такие столкновения — хотя и по-иному — уже были показаны до Штриттматтера. Нет новой идейной проблематики и в прекрасно разработанной теме разрыва Оле с его первой женой Ангрет, кулацкая психология которой непримиримо разошлась с миром благородных идеалов Оле. (И тема отношений Оле с Ангрет, и самый образ этой деревенской хищницы воплощены Штриттматтером мастерски, с той психологической глубиной, которая составляет неотъемлемое свойство его письма. Прекрасно написана и другая женская фигура, Мертке,— новая, возвышенная любовь Оле.)

Новая и новаторская общественная проблема возникает в романе об Оле Бинкопе там, где автор входит в сферу его взаимоотношений с миной коммунисткой, сельским бургомистром Фридой Симсон и неудачливым районным партийным руководителем, носящим символическую фамилию Вуншгетрей — покорный желаниям. Именно здесь, в этой сфере, лежит один из «нервов» социальной проблематики романа Штриттматтера.

Преступник Рамш, «подыгравший случаю» и убивший Антона Дюрра, бил Оле насмерть. Но не ему, а Фриде Симсон удалось затравить Оле Бинкопа. Клеветник и провокатор Рамш организовал через западногерманское радио передачу, шельмующую Бинкопа и новаторские дела на селе. И на крючок Рамша попался не кто иной, как именно Вуншгетрей, испугавшийся вражеской клеветы и провокации, отступивший перед грязной акцией западногерманского радио. Эти параллели позволяют понять мысль автора, как бы говорящего нам: нет ничего страшнее, чем старое, выступающее под личиной нового.

Фрида Симсон — фигура поистине страшная. Ханжа, чинуша, отгородившаяся от жизни частоколом цитат, начетчица, искусно овладевшая политической терминологией и фразеологией, всегда готовая опутать любую живую мысль системой мертвых фраз, виртуозно пользующаяся «искусством черной тетради», ловко подменяющая бдительность подозрительностью, Фрида Симсон опасна в борьбе, как змея. Она не останавливается ни перед чем — ни перед доносом, ни перед клеветой, ни перед шантажом. И при этом Фрида Симсон вошла в роль «непогрешимого члена партии». Типичный догматик, она глушит живую мысль и живое чувство цитатами, превращенными в мертвые прописи. Все самобытное, все творческое ей ненавистно и подозрительно.

АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ
ПОЭЗИЯ БОРЬБЫ И ОТКРЫТИЙ

Именно поэтому ей подозрителен и ненавистен прямодушный человек, вечный труженик и искатель Оле Бинкоп. Поэтому она сражается с ним не на жизнь, а на смерть.

У некоторых читателей романа Штриттматтера создалось впечатление, что Фрида Симсон написана так, словно автор не захотел увидеть в ней никаких светлых черточек и что это не соответствует жизненной правде. Но писатель в самом деле убежден, что в характере Фриды Симсон нет никаких «просветов». Ему, а вместе с ним и нам, его читателям, Фрида Симсон глубоко ненавистна — она воплощение того типа, с которым и в жизни, и в искусстве, служащем делу жизни, нет и не может быть компромисса. Тип этот по-своему законченный — он во всем, даже и в сфере интимных отношений (Штриттматтер хорошо показал это на истории отношений Фриды с Краусхаром), проникнут ложью, фальшью, деланной сентиментальностью. Симсон — это пример того, как старое пытается вжиться в новые условия, овладеть его внешними формами, влить в эти «новые меха» свое отравленное вино. Недаром Штриттматтер мимоходом замечает, что духовное рождение Фриды произошло в ту пору, когда она служила машинисткой в казарме и млела перед военной формой. Именно тогда она усвоила солдафонские повадки, которые она сохраняет с «поправками» на новые условия.

Такова Фрида Симсон. Иное дело Вуншгетрей. Неустойчивый, колеблющийся, неуверенный в себе, он приходит к постижению своих ошибок, хотя и слишком поздно. И он вынес с военной службы то старосолдатское преклонение перед начальством, которое лишило его самостоятельности мысли. Он ведь только «вунш гетрей» — угодливый исполнитель чужой воли, чужого желания. Этому робкому догматику страшно подумать, что кто-то может что-то «подсказывать» жизни, предлагать что-то «снизу» раньше, чем о том распорядились «сверху».

«Разве,— говорит он Оле,— партия бы давно не протрубила сигнал «в поход», если бы считала желательным то, что ты делаешь?»

И милый, скромный, неуклюжий Оле, человек дела, но никак не оратор, отвечает ему словами пусть неточными и все же такими, в которых живет его чистая душа: «Партия — не самодовольное божество. Я тоже партия».

В этом обмене репликами таится глубокое содержание. Речь идет о том, как жить. Речь идет о том, кем быть. Бездумным исполнителем, чиновником, буквоедом, догматиком или творческим марксистом-ленинцем, видящим свой партийный долг не в повторении пройденного, а в отважном поиске, основанном на опыте и мудрости революции, ее теории и практике. Насколько выше, сильнее, честнее оказывается самоучка Оле по сравнению с этим мнимым партийным руководителем, лишенным партийности, отваги и честности социалиста.

Многие читатели романа «Оле Бинкоп» справедливо отмечали партийную непримиримость и страстность писателя, выступившего с обличением догматиков и чинуш, которым не должно быть места на руководящих постах. Но некоторые усмотрели в фигурах Симсон и Вуншгетрея нарушения правды жизни, отступления от принципов социалистического реализма. Было даже высказано мнение, будто Штриттматтер забыл, что «Оле и те, кто облечен высокими функциями, несмотря на все противоречия, все-таки являются союзниками в борьбе против врагов...» Но из романа явствует, что Рамш и иже с ним теряют в молодой республике свою экономическую почву, что Оле и его товарищи, закладывая фундамент социалистического сельского хозяйства, вытесняют из села противников социалистической нови. И можно ли всерьез говорить о каком-то союзе между Бинкопом и Фридой Симсон? Ведь партия в романе отнюдь не представлена Симсон и Вуншгетреем — мы видим на его страницах таких партийных работников, как Дюрр и Крюгер, мы узнаем из романа о силе партийной конференции, решения которой так неожиданны для неудачливого руководителя Вуншгетрея. Всей логикой образов и событий своего романа Штриттматтер утверждает сознание могучей силы партии. Ничто, даже самая гибель героя, ни на йоту не снимает в этом романе ощущения всемогущества новой жизни, которой живут немцы в ГДР,— новой жизни, движущей и вдохновляющей силой которой является Социалистическая единая партия Германии. Вся атмосфера романа пропитана духом исторического оптимизма, в атмосфере новой жизни нечем дышать и Рамшу, и Аннгрет, и Серно, в этой атмосфере недолго продержится Фрида Симсон, а Вуншгетрею придется основательно «переучиваться».

Роман Штриттматтера заставляет нас вспомнить о том, что социалистический реализм — это искусство, в котором пафос утверждения неотделим от пафоса критики.

Да, социалистический реализм — это прежде всего искусство утверждения нового. Но новое утверждается в борьбе, для которой критика является надежным и испытанным оружием. В романе Эрвина Штриттматтера утверждается вера в партию, завоевавшую души многих тружеников, и при этом разоблачаются черствые догматики и карьеристы, не имеющие никакого права выступать от имени партии. И это правдивая критика, честная и реальная. В романе высоко поднят народный герой Оле Бинкоп, но это нисколько не мешает автору видеть в характере Оле и такие недостатки, которые сложились в определенных исторических условиях и которые лишь частично им изживаются. С легкой иронией пишет Штриттматтер о том, как Оле поначалу вносил в свои «проповеди» о коллективном хозяйствовании элементы уравнительных представлений (древняя крестьянская иллюзия). С болью и грустью показывает он в характере Бинкопа черты стихийного своеволия. И то, и другое — критика. Но критика правдивая, реальная. Такая критика, которая не ослабляет, а укрепляет искусство социалистического реализма.

Людям, привыкшим к поэтике «хэппи энда», трудно принять то, что Оле Бинкоп гибнет в конце романа. Такая концовка, по их мнению, «пессимистична». Между тем смерть героя передана Штриттматтером с такой сдержанной силой, так эпично и вместе с тем так выразительно подчеркивает несломленность характера Оле, что ни о каком «пессимизме» тут и речи быть не может. Очень хорошо написал о философском содержании финала романа литературовед и критик Альфред Клейн в статье «Счастье и повседневность», опубликованной в ноябре 1964 года в газете «Нейес Дейчланд». «Оле Бинкоп,— заметил Клейн,— оставил после себя не только укрепившийся сельскохозяйственный кооператив, не только открытое им месторождение мергеля и не только свой метод разведения уток. Он оставил требование быть бескорыстным, требование отказаться от эгоистических (но отнюдь не от личных) интересов».

Нет, роман Штриттматтера завершается вовсе не пессимистической нотой. Этот роман о деревне, преображаемой на социалистический лад, кончается словами, в которых громко звучит мужественное утверждение новой жизни немецких крестьян. Конечно, и в пределах Блюменау можно было заметить некоторые явления, которые ускользнули от взгляда писателя. Каждый, кто был на востоке Германии в то время, которое сами немецкие демократы назвали «первым часом» новой жизни, запомнил, что проведение земельной реформы в 1945 году открывало пути к союзу крестьянства с рабочим классом. Помнится, что в ту пору крестьяне-новоселы получили поддержку Немецкого переселенческого управления. Помнится, что студенческая молодежь из больших городов земли Мекленбург стремилась помочь крестьянам. Наконец, в те же первые послевоенные годы солдаты Советской Армии также оказывали помощь населению. Эти явления на карте обыденной жизни немецкого села того времени не отразились в романе Штриттматтера. Но не будем упрекать его за то, что он избрал для своего романа такое село, в котором все было именно так, как и написано в «Оле Бинкопе».

В конце романа писатель снова задает тот же вопрос, что и в самом начале своего повествования. «Так что же такое тогда деревня на этой земле? Глазок на кожуре подгнившей картофелины или красная точечка на освещенной солнцем стороне наливающегося яблока?» В начале романа было нелегко ответить на этот вопрос. Жизнь немецкой деревни подгнила и развалилась в годы войны, и — кто знает? — может, эта деревня и была похожа на глазок на кожуре подгнившей картофелины. Но вот роман окончен, и снова звучит этот вопрос, но теперь это вопрос риторический, в нем самом уже содержится ответ. Да, эту солнечную жизнь добыли для родной деревни такие труженики, такие социалисты, как Оле Бинкоп, который погиб в борьбе, но до последнего вздоха работал как первооткрыватель.

Для советских читателей Эрвин Штриттматтер — писатель, и в переводах, и в оригинале уже давно известный. У нас знают и любят его книги — «Погонщик волов», «Тинко», «Чудодей». Знают и ценят Штриттматтера-драматурга — его пьесы «Кацграбен» и «Невеста голландца». Роман об Оле Бинкопе как бы синтезирует в своем стиле три художественные «ипостаси» Штриттматтера — мастера эпической прозы, поэта и драматурга.

АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ
ПОЭЗИЯ БОРЬБЫ И ОТКРЫТИЙ

Всей своей сутью новый роман Штриттматтера резко противостоит широко распространенной некогда в реакционных кругах Германии (и ныне все еще процветающей в ФРГ) так называемой литературе «крови и почвы». Ее герою-кулаку, крепкому хозяину, ее «поэтике», пропитанной грубо натуралистическими картинами и образами, Штриттматтер противопоставляет героя-труженика, человека высоких нравственных идеалов,-- свой роман он пишет красками суровыми, но поэтичными. Все те, кто в его повествовании развенчивается самым беспощадным образом — и бывший врач Рамш, который, «перестав пилить кости и начав пилить деревья», превратился в хозяина лесопильни, и по-кошачьи гибкая и по-кошачьи злая Аннгрет, охваченная жаждой стяжательства,— все они в романе «крови и почвы» стали бы главными, «программными» героями.

Эпичность, лиризм и драматичность сливаются воедино в «Оле Бинкопе». Сильные духом, стойкие люди выступают на первый план в этом романе — и прежде всего это фигура самого героя. Повествование неоднократно приобретает манеру сказа, оно насыщено метафорами, сравнениями, афористическими сентенциями.

У романа широкое, свободное течение. Нет в нем того искусственного «пружинистого» сюжета, который мог бы подавить и сковать богатство жизненного материала. По мысли самого Штриттматтера, строение его романа чем-то близко к киномонтажу. В уже цитированной выше беседе с корреспондентом радио писатель отмечает киноприемы в своем «Оле Бинкопе»: «наплывы, затемнения, передачу мыслей героя через символику пейзажа или бытовых деталей...» Автор легко и свободно отходит от развивающегося действия и удаляется в ретроспекции, которые только невзыскательному читателю могут показаться ненужными, «внесюжетными». Эти внезапные уходы в прошлое героев многое объясняют и в современном их облике, многое поясняют нам в их социальной психологии. Какой же в самом деле «разной» была война для Оле и Вуншгетрея, какими разными были жизненные пути двух женщин — Аннгрет и Мертке. Нам нужно знать их прошлое, без него труднее познать людей, о которых рассказывает Штриттматтер.

Удивителен язык романа. Сочный, отборный, живой язык деревни, образный, нередко диалектальный и поэтому поддающийся переводу лишь приблизительно. Думаю, что с этим романом вливаются новые языковые богатства в современную немецкую литературу. Эти богатства, как и многочисленные детали и штрихи, характеризующие героев и события, почерпнуты писателем из самой жизни. «Я,— рассказывает писатель,— не расстаюсь с записной книжкой и часто записываю в нее отдельные эпизоды. Записываю и образные выражения, какие удается услышать. Впрочем, я это делал еще в годы моих странствий по Германии, когда был подмастерьем и еще не помышлял о стезе писателя».

В чем-то могучий писательский характер Эрвина Штриттматтера подобен характеру его героя. Писатель не довольствуется сделанным до него, он ищет нового. Он черпает новое — и в отношениях между людьми, и в их быту, и в их языке, и во многом другом — из самых глубин жизни. Он не иллюстрирует и не копирует действительность, он как бы открывает ее для нас заново, заставляя нас увидеть жизнь глубже, чем мы видели и знали ее до его открытий.

Очень верно написал об этой особенности Штриттматтера-художника Ганс Кох в уже цитированной выше статье. «Штриттматтеру,— заметил он,— удается нечто, чего нет в большинстве наших произведений, посвященных повседневной жизни (из-за чего они становятся попросту скучными), а именно: ему удается придать историческую значимость повседневным событиям, повседневной работе...» Ощутить за повседневным историческое, услышать, как роет землю крот истории,— это же не в пример труднее, чем услышать, как растет трава. И открытие это не в пример посложнее.

Чтобы так работать, нужна очень активная, страстная, партийная позиция художника. Об этом отлично сказал сам Эрвин Штриттматтер, выступая на Четвертом съезде немецких писателей: «Художник еще не стоит на уровне своего времени, если он только воспроизводит его черты; художник должен что-то прибавить к своему времени, доказать этим, что он прошел сквозь время и время прошло сквозь него». Романом «Оле Бинкоп» Эрвин Штриттматтер доказал активность своего отношения к времени и обогатил свое время как политический мыслитель и политический художник.

во Франции

АНДРЕ МОРУА

НОВАЯ КНИГА АРАГОНА

Арагон — один из двух-трех самых больших французских писателей нашего времени. С одной стороны, он умеет писать на разговорном языке; лучше, чем кто-нибудь другой, он уловил музыку живой французской речи: эти прерывистые фразы, вторящие ритму дыхания и мысли, не безупречно правильный, но очень ясный синтаксис — особенности, характерные для французского народа. А с другой стороны, он обладает огромной культурой, он прочитал все, что читают все, и все, чего никто не читает; он любит «бродить по закоулкам» древнего говора средневековья, ему доставляет физическое наслаждение расталкивать слова во фразе, чтобы поставить причастие прошедшего времени или глагол неопределенной формы на такое место, которое было бы естественным у поэта XVI века, но поражает нас сегодня. Это создает чудесные диссонансы. Они будоражат и захватывают читателя. Лучшей французской прозы не существует.

Известно, что во времена юности Арагон прошел ученичество в движении Дада и в сюрреалистской группировке. Здесь он научился восставать против установленных порядков — как в области идей, так и в области слов — и пользоваться «современной системой образов, в которой сознательно разорваны все связи». От этого простейшего бунта он, примерно в 1927 году, перешел к бунту социальному, политическому и вступил в коммунистическую партию; но он сохранил приобретенную в период сюрреализма свободу композиции, которая впоследствии составила одну из наиболее привлекательных и сильных сторон его творчества. «Надо,— говорит он,— внушать людям мысль, что писатель не придерживается общепринятого порядка». Приверженный отныне одной партии, одной любви, одной родине, Арагон стал крупным писателем, традиционным, но сохранившим (к счастью) своеволие своих первых шагов. Как романист, он стал применять и отстаивать метод социалистического реализма. Но не надо путать! Под реализмом он подразумевает отнюдь не натурализм. Натурализм — это робкое фотографирование явлений, лежащих на поверхности действительности. Реализм Арагона — это реализм поэтический, преобразующий действительность.

Очень интересно проследить, каких авторов, безусловно оказавших на него влияние, он упоминает чаще всего. В поэзии — Гюго, Верлена, Аполлинера, а также поэтов более отдаленных эпох, Возрождения и средневековья. Но в связи с его новым романом «Гибель всерьез» следует назвать некоторых англичан: Роберта Льюиса Стивенсона (Арагон попросту называет его Робертом Льюисом или же Р. Л. С.), странного Льюиса Кэррола, автора «Алисы в стране

К книгам, вызвавшим за последнее время наибольший интерес во Франции, принадлежит недавно вышедший в свет роман Арагона «Гибель всерьез». В качестве первого отклика на это произведение мы печатаем письмо, присланное нам Андре Моруа.

чудес», в коем глупцы видят лишь детского писателя, а люди, умеющие читать,— очень смелого философа и сатирика; потом Чарльза Лэмба и одного русского — Достоевского. Только от Арагона я узнал, что мысль написать книгу «Странная история д-ра Джекиля и мистера Хайда» пришла Стивенсону после чтения Достоевского. Я чуть не позабыл еще и Шекспира — глухое рычание «Отелло» и «Бури» слышится на протяжении всего долгого повествования.

Наметив этот фон, спросим: что же представляет собою «Гибель всерьез»? Роман? Да, может быть и роман, и даже роман в духе современного реализма. «Со своими трудностями, своими противоречиями, своими проблемами». Ибо если главным становится с о в р е м е н н ы й характер реализма, то разве и роман, и его персонажи не рискуют через полгода оказаться нереалистическими? Ведь его герои могут быть поставлены под сомнение ходом истории. Арагон задает себе этот вопрос. А я отвечаю: «Этого нечего бояться». Если данная сцена описана поэтически, талантливо, она не утратит своей современности. Возьмите «То, что я видел» Виктора Гюго. Это не устарело. Точно так же не устареют исторические эпизоды «Гибели всерьез»: живой рассказ о похоронах Горького, рассказ об отступлении к Ангулему в 1940 году, о вступлении в Эльзас в 1918 году. Если рассматривать эту книгу под определенным углом зрения, она представляет собою кусок современной истории.

Но это также (и по преимуществу) роман в духе Пиранделло, роман о двойном или тройном человеке, каковым является романист. Ибо в каждой творческой личности сосуществуют трое: человек, который живет в реальном мире, любит реальную женщину; ясновидец, движущийся во вселенной, им же самим построенной из кусков действительности; и, наконец, поскольку живой человек и ясновидец представляют собою одно и то же существо, поскольку автор «Человеческой комедии» и господин Оноре де Бальзак — одно лицо, возникает потребность еще и в третьем человеке, посреднике, который служит мостом между первыми двумя. Отсюда идея помещать время от времени своих персонажей перед трехстворчатым зеркалом, где они видят три различных своих изображения, верных и в то же время неверных. В современных сказочных сюжетах зеркала играют большую роль. Алиса в стране чудес прошла сквозь зеркало, Орфей у Кокто бросился за зеркало, в царство Смерти, у Арагона главы романа называются «Венецианское зеркало», «Вертящееся зеркало», «Разбитое зеркало».

Теперь мы уже достаточно знаем об этом романе, и я могу представить вам его персонажей. В центре — писатель, то есть сам Арагон, но не только Арагон. Часто он пишет от первого лица, но его «Я» охватывает сразу романиста Антуана Знаменитого, человека по имени Альфред и Луи Арагона — посредника, в коем и совершается синтез. Рядом с ним женщина, которую он любит. Это Эльза — и не Эльза. В романе это великая певица и Ингеборг д'Ушер, которые любят Антуана и Альфреда; «Я» называет ее то Шепот, то Папоротник. В один прекрасный день, слушая, как поет Папоротник, Антуан потерял свое отражение. Теперь, поглядев в зеркало, он видит только пустое стекло. «Я не могу избавиться от мысли, что я потерял свое изображение, пока пела Папоротник... Не все ли равно, что она пела? «Im wunderschönen Monat Mai...»*. Когда она поет, всегда зацветает чудесный май ее голоса. И я всегда дохожу до самозабвения». Человек, забывший себя, больше не может себя видеть. Это миф, и, как все прекрасные мифы, он содержательнее, чем полагает его автор.

Альфред и «Я» ревнуют к Антуану, что может показаться удивительным, потому что все трое существуют в единой плоти. Поразмыслив, мы понимаем, что страстно влюбленный писатель страдает оттого, что он любим главным образом как писатель и что как человек он от этого испытывает ревность. В конце концов у Альфреда созревает мысль убить Антуана, иными словами, возникает желание побудить свое второе «Я» написать историю убийцы. «Нужно было, чтобы именно Антуан узаконил раздвоение человека, вследствие которого человек видит, как в нем рождается убийца». Это совсем не похоже на случай с Джекилем и Хайдом. В игре между Альфредом и Антуаном ставка — любовь Папоротника. Чтобы остаться с ней наедине, Альфред под конец убивает Антуана. А это можно сделать, лишь разбив зеркало, в котором Антуан только что снова поймал свое отражение.

* Начало известного стихотворения Г. Гейне «В прекрасном месяце мае...».

Вот, значит, какова одна из тем романа: отношения между творцом и человеческой марионеткой, служащей ему опорой. Чтобы сделать процесс творчества понятнее для нас, нам дается возможность ознакомиться с тремя отрывками из произведений Антуана. В первом, который озаглавлен «Шепот», прекрасном и очень волнующем, действие происходит параллельно и в Дании, где выведен министр Сруэнзе, любовник королевы Каролины-Матильды, знающий, что придется платить за преступную страсть, за упоение и восторг («О, королева Дании, послушай в моих объятиях, как бьется это сердце,— оно вот-вот разорвется»), и в спальне Шепота, она же Папоротник, она же королева Каролина-Матильда, и она же, конечно, Эльза. «О, Шепот, что бы мы с тобой делали в те времена, когда люди еще не любили друг друга?»

Странное восхищение вызывает во мне второй отрывок — «Карнавал». Здесь мы ближе к личным воспоминаниям лейтенанта медицинской службы Арагона, мужественного солдата, участника двух войн. «Я» победителем вступает в Эльзас; и там он обретает вновь язык «Lieder» *, язык Гете, Гейне, Рильке; он обретает вновь воспоминания о Жан-Кристофе и о Ромене Роллане и видит деревушку Сезенгейм, где Гете встретился с Фредерикой Брион. В дни победы жизнь — это карнавал, где бродят заблудившиеся маски. По пути из Бишвиллера в Хагенау подпоручик Пьер Удри, еще одна маска автора, полюбил молодую эльзаску. Ее зовут Беттиной, как госпожу фон Арним, которая юной девушкой преклонила колена у ног старого Гете. Беттина (или Бетти) Пьера Удри обручена с неким американцем, и любовь его не заходит далеко, но она получает продолжение в непотускневших воспоминаниях, всплывших в один прекрасный вечер, через много лет, у другого человека, у «Я» на концерте, когда он слушает «Карнавал» Шумана в исполнении Рихтера.

Так что же такое «Гибель всерьез», поэтическая и фантастическая автобиография? Да, и это тоже, как и многие произведения Арагона. Роман часто становится для него тайным свиданием с прошлым! Но скорее можно сказать, что это не автобиография, даже поэтическая, а длинное любовное послание к Эльзе, которая и есть Папоротник, и она же Ингеборг д'Ушер. Эта любовь стоит в центре мысли Арагона. И все виды верности — верность человека не только своей любви, но и своей партии и Франции — противостоят здесь «беспутству сердца и ума». Эта любовь, безумная, всеохватывающая, позволяет ему уловить реальность. «Я говорю о ней, как пьяный, для моих слов нет достаточно широкой улицы, небо надо мной кружится, и на каждом шагу мне кажется, что я упаду, потому что вижу ее».

Так что такое, наконец, «Гибель всерьез»? Любовное письмо на четыреста страниц? Письмо на веки вечные влюбленного мужчины к женщене всей его жизни? «Не все ли равно, Альфред я или Антуан? Пишу тебе, Папоротник, чего же боле,— это значит сказать все и не сказать ничего, когда слов так много, они становятся прозрачной водой... Пишу тебе, что я могу еще сказать? Ничем другим не может быть все, что пишу я, как только письмом, бесконечным письмом к тебе: я играю твоим именем, я придаю себе различный возраст, иное прошлое, меняющуюся судьбу... Я надеваю маску, выражающую такое сильное чувство, что оно было бы непереносимо для ничем не защищенного лица; это бесстыдство, за которым прячется любовь. Чего же боле?..» Видите, сам автор говорит, что перед нами — замаскированное любовное письмо. Конечно, это так, но перед нами и нечто другое, гораздо большее. Скажем, что это скрещение различных сюжетов с громкой песнью любви, и даже когда кажется, что она смолкла, ее приглушенная мелодия возникает в басах.

Любовное письмо... Поэма на прекраснейшем французском языке... Роман о ревности... Но также очень глубокое эссе о природе романа — тема, постоянно тревожащая и искушавшая Арагона. «Let us pretend» — сделаем вид,— говорит Алиса в стране чудес. Романист — это человек, который играет роль. Сделаем вид, что нас двое, Альфред и Антуан. Он прекрасно знает, что это неправда, но это — замаскированный способ говорить правду. «I want to write about a fellow who was two fellows»,— пишет Р. Л. С. «Я хочу писать о человеке, который был двумя людьми». Арагон же говорит: «Я хочу писать о человеке, который не отражается в зеркале, который не видит сам себя». Значит ли это

* Имеется в виду «Книга песен» Г. Гейне.

лгать? Нет, множество людей перестали видеть себя такими, каковы они есть. Вместо того чтобы плоско высказать эту мысль, миф или роман показывают пустое зеркало. А вот и другой миф: очевидно, можно рассматривать одни и те же факты с точки зрения ревности, жизненной правды и деперсонализации. Тройное зеркало включает эту абстракцию в общее созвучие.

Можно быть романистом в реальной жизни. Сделаем вид, говорит Папоротник, что вас двое, Антуан и ты. Обратите внимание: Папоротник начала создавать роман. И обратное явление: жизнь может проникать в роман. Когда Бальзак писал «Утраченные иллюзии», то первые шаги Люсьена де Рюбампре как писателя и журналиста оказались близкими к первым шагам самого Бальзака. Близкими, но не тождественными. Когда Арагон описывает вступление французских войск в Эльзас, то рассказывает он — и не он. В сумраке повествования мы различаем какого-то притаившегося человека в военной фуражке с красным бархатным околышем, человека, которого Пьер Удри, герой романа, называет Арагоном; а позднее мы видим и другого, седовласого Арагона: он слушает, как Рихтер играет «Карнавал» Шумана. Кто же из них настоящий? Кто подложный? Одно верно с точки зрения действительности, другое — с точки зрения поэта. «Правдивая ложь». Поэзия и правда, как говорил Гете. Роман — это возвышенная форма лжи. Существует зона неопределенности, где трудно отличить автора от марионетки; невозможно говорить действительную правду, не примешав к ней немного поэтической лжи.

А как же построен этот роман? Очень искусно, так, чтобы казалось, будто он вообще никак не построен. «Let us pretend» — сделаем вид. Напоминаю многозначительную фразу: «Надо внушать людям мысль, что писатель не придерживается общепринятого порядка». По видимости «Гибель всерьез» — это ожерелье, сверкающее отдельными эпизодами и отступлениями; по видимости это «монтаж» вроде тех, какие любил компоновать Пикассо, монтаж житейских и литературных воспоминаний, случайно найденных и случайно подобранных. На самом деле это роман, который твердой поступью продвигается к развязке, каковой служит убийство Антуана. Многообразие зеркал намечает ось действия. «Венецианское зеркало», «Зеркало Брот», «Вертящееся зеркало», «Разбитое зеркало» — таковы названия глав, образующих каркас книги. Между ними проскальзывают отступления: отступление о романе как зеркале, отступление о зеркале как романе, письма к Папоротнику о том, что такое ревность, и наконец три прекрасных рассказа, извлеченных из красного портфеля Антуана: «Шепот», «Карнавал» и «Эдип».

Золотое правило соблюдено. События изложены в заданном порядке, но это совершенно не заметно. Читатель перескакивает от Шекспира к Гете, с Кипра в Сезенгейм, от Струэнзе к Малибран. Автор бросает его то в Москву, то в Вену, то в Страсбург, то в Ангулем, где он встречает тень Бальзака среди более чем реальных интервентов. Все это фантастично, человечно, возвышенно. Роман? Поэма? Эссе? Любовное послание? Не все ли равно, раз это прекрасно.

г. Париж.

Перевод с французского
С. БРАХМАН

Дневники, Воспоминания

ПИСЬМА НА ВОЛЮ

Фаиз Ахмад Фаиз — жене

Перевод с английского
М. САЛГАНИК

9 марта 1951 года в городе Равальпинди была арестована группа офицеров пакистанской армии во главе с генералом Акбар Ханом. Их обвиняли в подготовке государственного переворота, ходили слухи, что офицеры вступили в контакт с американцами, чтобы избавить наконец страну от англичан.

Англия и США проявили редкостное чувство солидарности, объединившись в усилиях представить этот «заговор в Равальпинди» делом рук коммунистов и прогрессивных сил. Правительство Пакистана охотно поддержало эту версию в надежде, что она поможет ускорить разгром демократического движения в Пакистане. Поспешно были сфабрикованы документы. Суду были преданы Саджад Захир — генеральный секретарь компартии Пакистана, Мухаммед Хусейн Ата — один из лидеров пакистанских профсоюзов и Фаиз Ахмад Фаиз, генеральный секретарь пакистанского комитета защиты мира, к этому времени признанный лучшим поэтом страны.

В четырех тоненьких книжках стихов Фаиза уместилась история целого поколения: тех, кто родился «под незаходящим солнцем Британской империи», окреп и возмужал в борьбе против нее, в борьбе за свободу и независимость своей родины, кто познал горькое разочарование «утра свободы» и продолжает борьбу за настоящее счастье для всех живущих на этой земле.

Дело о «заговоре в Равальпинди» рассматривал особый трибунал, процесс проходил при закрытых дверях, вплоть до заявления, что любой член трибунала или свидетель, предавший гласности материалы следствия, будет отдан под суд как военный преступник.

Несколько месяцев провел Фаиз в одиночной камере под угрозой смертной казни, затем, к началу так называемого «судебного процесса», его перевели в общую камеру. Без малого два года тянулась комедия «суда». Потом был вынесен приговор — заключение в тюрьме строгого режима. О том, что поэт пережил в те годы — в разлуке с близкими, не зная, какая судьба его ждет, мучительно тоскуя по действию и все же твердо веря в конечное торжество дела, которому служил,— он рассказал в своих письмах к жене. Они, как и стихи, сложенные в тюрьме, окрашены ярким поэтическим дарованием поэта, энергией и волей борца.

В одной из своих автобиографических заметок Фаиз писал о том, что в середине тридцатых годов он сблизился с прогрессивными деятелями страны и начал участвовать в рабочем движении: «Это был новый период в моей духовной и эмоциональной жизни... Мне казалось, что я снова учусь, и не в одной школе, а в нескольких сразу...» И далее: «Первый же урок, усвоенный мною в новой школе, заключался в том, что нельзя рассматривать собственную персону в отрыве от мира... Окажись это возможным, это было бы нелепо. Ведь человек, взятый в отдельности, может быть и мелок, и ограничен, и незначителен... Широта и глубина личности — в ее духовной и эмоциональной связи с внешним миром, особенно в ощущении того, что боль всего человечества и твоя боль — одно целое, а потому тоска по любимой и тоска по счастью всех людей — две грани одного переживания...»

Нестареющую мысль эту заново утверждают строки писем, которые мы публикуем в отрывках в том виде, как они отобраны и присланы в Москву, по просьбе нашего журнала, женой поэта, журналисткой Элис Фаиз. Мысль эта выражена в них с силой и страстью. Она облечена в слова и краски столь самобытные и свежие, что нет нужды приводить иные доводы, чтобы объяснить факт появления этих документов на страницах «Иностранной литературы».

Центральная тюрьма, Хайдарабад

7 июня 1951 г.

...Только теперь я могу сказать тебе: из времени, проведенного за решеткой, тяжелей всего мне дались те три-четыре дня в Лахоре. Тогда я впервые осознал, как несправедливо причинять боль тем, кто тебя любит, во имя дела, которое много значит для тебя, но ничего не значит для них. Даже вера в идею превращается в неосознанный эгоизм, а эгоизм заставляет забыть о том, что дорого для других и доставляет им страдания. Но выход из положения не в том, чтобы оставить борьбу — в ней и только в ней смысл жизни,— а в том, чтобы научить близких понимать это.

Я открыл много неожиданного в себе и в других — слабости, которых я даже не подозревал в себе, подлость и благородство в окружающих, не замеченные мною раньше. Как это ни парадоксально, но я благодарен судьбе за новое испытание, и я уверен, что, выйдя отсюда, я буду гораздо более цельным человеком. Более цельным потому, что я понял здесь, что всего правильней стараться как можно лучше использовать то, что в тебе есть, а не растрачиваться по мелочам, пытаясь представить себя кем-то иным, не тем, кто ты есть на самом деле. Это неизбежно приводит к тяжелым ошибкам и самообману. Я уже писал тебе раньше — я потерял в тюрьме всякое ощущение риска или опасности (впрочем, меня оно и прежде не слишком угнетало), потому что я твердо знаю, что не только не совершил преступления, но не нарушил даже условности!

24 июня 1951 г.

...Как странно устроен человеческий ум! В последние три месяца я непрерывно думал о судебном процессе, который должен был вот-вот начаться, а сейчас, когда он идет, я с удивлением обнаруживаю, что это меня ничуть, нисколько не занимает. Я пытаюсь убедить себя в том, что все это очень серьезно, что тут не до шуток, но мой ум отказывается воспринимать и реагировать. Мне все кажется, что разыгрывается какой-то фантастический бурлеск и что он оборвется так же неожиданно, как начался, и в его завершении будет не больше логики и смысла, чем в моем аресте.

30 октября 1951 г.

Сегодня десятая годовщина нашей свадьбы. Поэтому позволь мне пожелать тебе — или давай пожелаем друг другу — много-много лет семейного счастья, моя дорогая. Мы знали много счастья за эти десять лет, мы познали и боль, но мы были честными, а это — единственное, ради чего стоит жить. Эти десять лет навсегда останутся нашими, у нас их никто не может отнять.

Ты пишешь о том, как тебе одиноко дома. Я понимаю тебя. Я знаю, как тяжела разлука, когда о ней думаешь. Невозможно перестать думать о настоящем, но можно воспринимать в нем не все. Для этого нужно сосредоточиться на воспоминаниях прошлого — оно было счастливым — и на мыслях о будущем — оно будет еще лучше. Я так и делаю. С тех самых пор, как меня забросило сюда, я все время стараюсь заново пережить прошлое; я дроблю его на минуты и собираю по-своему. Я уже

прожил часть будущего, всякий раз по-новому строя его. Я понимаю, что это довольно пустое занятие — требования реальности плохо сочетаются с полетом мечты,— но по крайней мере это дает мне возможность убежать от настоящего. Конечно же, попытка убежать от действительности вещь малопохвальная, но когда ты связан по рукам и по ногам, то это единственный путь к свободе, а свобода — всегда замечательно! Во всяком случае, я сумел превратить этим способом тюремные решетки в нечто совершенно нереальное и нематериальное и почти забыл о них.

Однако звучит все это страшно высокопарно, поэтому давай поговорим о чем-нибудь другом.

9 ноября 1951 г.

...Воспоминания о том, что было, обо всем хорошем, что дала мне жизнь, о дружбе стольких мужчин и доброте стольких женщин, обо всех зимних днях и летних ночах, о дождях, восходах и закатах, о юной луне, о прелести слов, звуков, запахов и цветов, мысль о неисчислимости земных радостей иногда наполняет мое сердце здесь, в тюремной бесцветности, таким безудержным ликованием, какого я раньше не знал. Ну чего стоят немногие друзья, предавшие нас, нечастые приступы тоски, уродливые тени, какими жизнь иной раз пугает нас? Ровно ничего. Вот только нужно оказаться в тюрьме, чтобы до конца понять это. Видишь ли, тюрьма — это совсем особый, почти загробный мир — окружающее вдруг становится страшно далеким, и с недосягаемых тюремных высот перед тобою вдруг открывается небывало широкая панорама мира, и ты отрешенно размышляешь о земном. Если, конечно, оно тебе еще не опротивело.

Надеюсь, тебя не испугает вся эта чепуха, наполняющая мои письма,— нам разрешается писать в основном о погоде (о процессе писать нельзя). Но это не значит, что я стал думать только о своих переживаниях. Наоборот. Мне кажется, я сейчас лучше, чем когда-либо, представляю себе что происходит в мире,— здесь у меня намного больше времени на чтение и раздумья.

28 ноября 1951 г.

...Я так рад, что ты прислала мне Чехова и с таким наслаждением читаю его. Все, что он пишет, проникнуто великой и глубокой нежностью. Мне он кажется несколько мягким, чувствительным, чтобы писать о трагическом, и он слишком много пишет о несчастных, но таким сочувствием и надеждой наполнены даже несчастливые судьбы его героев, что они поражают своей красотой.

15 января 1952 г.

Любимая!

Сегодня чудесный, ясный день, насквозь продутый ветром. Ветер не поднимает пыль и не заставляет вздрагивать от неожиданного озноба... Ветер и солнце плещутся о решетку моей камеры, полоска ярчайшей синевы обрамляет окно и бросает отсвет на эти строчки. Где-то далеко включили радио, и я слышу обрывки песенок из кинофильмов, которые сливаются с выкриками и смехом мальчишек за тюремной стеной. Все это так прекрасно, проникнуто таким покоем, что хочется и плакать, и смеяться. Я непременно хочу дочитать роман, который мне достали. Он называется «Дипломат», а автора зовут Джеймс Олдридж. Я давно, очень давно не читал таких хороших книг. Постарайся достать ее — мне так хочется разделить с тобой удовольствие. Собственно говоря, в романе рассказывается о происках англичан в Иране, но не в теме дело. Книга посвящена проблемам, возникающим из отношения человека к социальным и моральным конфликтам, в какие нас неизбежно втягивает жизнь; она рассказывает о том, как несет свой крест каждый из нас. Мне кажется, что «Дипломат» объясняет то ощущение безнадежности и тщеты, какое охватывает нас временами — борьба за человеческое счастье кажется такой тяжелой и бесконечной, а мы сами выглядим беспомощными, жалкими и ненужными в сравнении с ее размахом. И все-таки ощущение это возникает, только если рассматривать борьбу с точки зрения личности (а мы так и делаем). В этом и заключается нелепость положения — борьба не является чем-то личным, как влюбленность в женщину или болезнь ребенка. Ее нужно рассматривать только с точки зрения коллектива, и тогда понимаешь, как полнокровна эта борьба, как целенаправленна и как много в ней надежд на победу. Трудно, конечно, встать на эту точку зрения: мы все слишком тщеславны, чтобы четко сказать себе, что как личности мы не очень много значим в мире.

Мне всегда думалось, что тщеславие — преувеличенное внимание к собственной персоне и связанным с нею проблемам — есть корень всех людских несчастий. Это оно порождает чувство неверия в себя, жалости к себе — все кажется, что вселенная устроена не так, как тебе нужно.

Для таких, как мы с тобой, людей, которые не могут похвастаться цельностью и не в состоянии слить свое «я» с чем-то большим, для нас ощущение неполноты лич-

ного счастья, бесплодности нашей работы и жалости к себе — вещь естественная и неизбежная. Я, пожалуй, в этом отношении грешен куда больше, чем ты, что, впрочем, тоже есть проявление тщеславия — другого рода и, наверное, низшего порядка...

22 января 1952 г.

...Трудно описать ощущение возраста. Мы так медленно и незаметно стареем, что невероятно трудно представить себе, что выглядишь не так, как двадцать лет назад. Наше внутреннее представление о том, каковы мы, изменяется так медлительно, что нам подчас кажется, что мы остаемся теми же, какими были для окружающих, забывая при этом, что возраст глубоко прорисовал каждую черточку наших лиц ясными признаками умирания...

Особых новостей нет. Сейчас еще трудно сказать, когда кончится процесс, и я вынужден принести извинения за то, что не смогу сдержать слово и провести остаток зимы с тобой. Не согласишься ли ты перенести нашу встречу на весну? Я должен в конце концов поддержать свою репутацию человека, который всегда опаздывает, так что ты можешь причислить эту задержку к числу моих обычных опозданий. Благодарить за это нужно все ту же публику, а полагаться можно только на конечное торжество правды и справедливости.

2 февраля 1952 г.

Моя любимая!

Прошел еще один месяц. Снова изменилась погода. Теперь небо в облаках, ветрено, но не холодно. Полуденное солнце какое-то невещественное и расплывается в дымке. В такую погоду все вокруг выглядит нереальным, предметы отступают в туман, и начинает казаться, что ходишь во сне,— печальная погода, которая делает меня сентиментальным, но не волнует по-настоящему.

...кстати, кто пишет заметки о радиопередачах для «Пакистан таймс»? Очень неглупо! До того, как я сюда попал, я никогда не слушал наши радиопередачи и представить себе не мог, что это так плохо, хотя в общем можно было догадаться, что это не бог весть что. То, что я слышу теперь, превосходит самые мрачные мои ожидания. Может быть, стоит поручить кому-нибудь из критиков заняться этим всерьез? Я в жизни своей ничего подобного не слышал! Практически три четверти последних известий посвящено тому, что министр такой-то «заявил» или «отметил» то, что он уже миллион раз заявлял и отмечал. Боюсь, что наше радио просто не знает разницы между последними известиями и официальными коммюнике.

3 марта 1952 г.

...По-моему, я уже писал тебе, что тюремная жизнь выталкивает на поверхность и подчеркивает наши мелкие эгоистические слабости. Я никогда раньше не понимал так хорошо психологии женщин — гаремных затворниц. У них мировоззрение заключенных. Я понимаю теперь их мелочность, их вечные переживания из-за чепуховых обид, заполняющие весь их мирок и вытесняющие из него все большое и настоящее; я понимаю их эгоизм и жалость к себе, их недоброжелательность и раздражительность, их мятежность и рабскую покорность, их приступы безделья и лихорадочной беготни — все эти явления, обычно сопровождающие жизнь в рабстве и заточении. Свободным людям это не просто понять. И все-таки даже здесь жизнь полна неожиданностей. Как-то на днях я включил радио — хотел послушать индийскую музыку из Дели... и что бы ты думала я услышал? Ни за что не угадаешь! Иегуди Менухин — величайший, как мне кажется, скрипач всех времен — играл Баха и Паганини.

...Потом, когда это кончилось, я задумался, и мне стало горько, печально и завидно. Наша страна существует уже пять лет, а мы ни разу не показали своему народу, что такое настоящее искусство, красота, культура, возвышенное наслаждение. Зато у нас нет недостатка во всякого рода «увеселениях». Единственное, на что мы способны, это собрать дюжину старых дураков со всего света для обсуждения проблем, до каких никому нет дела, кормить и поить их, кричать до хрипоты, а потом совершенно забыть обо всем. Индия больше, чем Пакистан, но уровень культуры определяется не масштабами, а образом жизни и мышления. Если уж мы не в состоянии дать культуру своему народу, почему хоть не показать ему, что это такое?! А в общем, так оно и будет рано или поздно.

Я написал, что жизнь полна неожиданностей. На прошлой неделе один из наших молодых ребят, которого мы изводили разговорами о том, что он потихоньку ест сладкое в своей камере, назло нам написал домой в деревню и попросил, чтобы прислали морковной халвы. Ему и прислали телегу халвы, и это не преувеличение. Три громадных бака — горы халвы. Можешь себе представить? Сколько же гор моркови, сахару и масла ушло на это? Мы пытались нарисовать себе сценку приготовления халвы в деревне — разгрузку телег моркови, кипящие котлы масла, горные хребты дров и волнение по всей округе. Это событие может стать легендой и будет передаваться из поколения в поколение, о нем сложат песни и сказки, потому что история человечества не знает другого случая изготовления халвяных гор. Мы едим халву на завтрак, на обед и на ужин.

25 марта 1952 г.

...твое письмо звучало очень нерадостно, и мне было больно читать его. Я знаю, что у тебя достаточно причин чувствовать себя подавленной, как ты пишешь, но с этим настроением необходимо бороться хотя бы потому, что этого требует инстинкт самосохранения. Нельзя позволить себе устать в неравном бою; хорошо уставать, когда все в порядке. Тебе мои мысли могут показаться нелепым парадоксом, но это факт: мало просто драться, драться надо с задором и не жалея себя — очень важно уметь это, иначе борьба будет тяжелой и меньше надежды победить. Я понимаю, что все зависит от характера человека и не всегда хватает сил поступать, как должно, но стремиться к этому, во всяком случае, необходимо. Сидя тут, в тюрьме, я мало чем могу помочь тебе, вот разве что добрыми и непрактичными советами. Я решаюсь на это потому, что верю в тебя, и еще потому, что сейчас я ничего не могу тебе дать — только свою любовь.

22 апреля 1952 г.

...кроме страданий народа, которым может положить конец только революция, в жизни так много мелких горестей и так немного любви, доброты, понимания. Вокруг одни только жаждущие доброты и очень мало добрых. И сердце все болит и болит, а сдаваться нельзя. Как ты говоришь, хорошо быть добрым к ближним своим (если только не ждешь изъявлений благодарности взамен — иначе готовься к неизбежным разочарованиям). Тот, кто ждет добра за добро, тем самым требует создания доброго и высокоморального строя вещей, а это уже противоречие — при таком строе не нужно будет стараться быть добрым.

...у нас большое событие — идет дождь! Честное слово! Он не похож, конечно, на великолепные чувственные ливни Пенджаба, это брызжет жалкое, прохудившееся, проржавевшее облачко, но все-таки это дождь. Он заливает наши камеры. С неделю назад по тюрьме прошел невероятный слух — в потолках камер собираются установить вентиляторы. Вскоре появились какие-то ребята и насверлили уйму дыр в стенах и потолках. За этим, естественно, ничего не последовало, но дырки остались, и дождь каскадами хлещет в них. Тюремщики и заключенные носятся с лестницами, ведрами, тазами с глиной, пытаются заткнуть дыры, вытереть полы, укрыть свои пожитки, и все это напоминает веселую предсвадебную неразбериху.

Я туго скатал свою постель, накрыл книги тряпкой и соответственно чувствую себя умнее и сообразительнее всех остальных.

11 мая 1952 г.

...я уже как-то излагал тебе свои соображения относительно рубрики «Для женщин и для молодежи». Мне кажется, что в этой рубрике, как, впрочем, во всей газете, мало фактов и документированных материалов. Что ни говори, а в этом смысле янки отлично работают, и мы могли бы многому поучиться у них. Нет доводов более убедительных, чем факты; самая блестящая аргументация звучит напыщенной чепухой, если нет фактов, подтверждающих ее. И вот что я хочу тебе предложить. Возьми любую сторону общественной жизни женщин — здравоохранение, если хочешь. Сначала — об общем его состоянии. Сколько женщин живет в данной провинции?.. Сколько коек для женщин есть во всех наших больницах, сколько женщин — врачей, ассистенток, акушерок, медсестер? Цифры можно раздобыть в соответствующем министерстве. Дальше совсем просто рассчитать, сколько пациенток приходится на это число коек и врачей, и я уверен, что одна койка придется на тысяч двадцать женщин, а уж один врач... Потом нужно дать проблему в другом освещении. От чего больше всего страдают женщины? По-моему, от туберкулеза, женских болезней, ну и от частых родов. Пусть будет туберкулез — ты знаешь уже, сколько коек отводится туберкулезным больным, сколько врачей и т. д., легко узнать, сколько больных-туберкулезниц поступает ежемесячно в больницы. Дальше ты берешь среднюю стоимость курса лечения туберкулеза и сравниваешь ее с бюджетом семьи того класса, где туберкулез распространен всего сильнее. Таким же образом, узнав, сколько детей рождается ежедневно, можно легко рассчитать, сколько женщин вынуждено обходиться без медицинской помощи.

Нужно написать и о народном образовании. Особенно важно отметить, что каждое вновь подрастающее поколение обречено на неграмотность из-за отсутствия школ. Возьми для сравнения две цифры — количество подростков и количество мест в женских школах. По моим подсчетам, могут надеяться стать грамотными около десяти процентов девочек. Очень нелишне рассказать о государственных школах, ну, допустим, в Лахоре, где девочки в июне сидят на солнцепеке, а учительница восседает на стопке кирпичей. Кстати, если в классе больше учениц, чем предусмотрено нормой, то учительница получает за это дополнительно царскую сумму — восемь ан в месяц!

В университете можно узнать, сколько девушек-студенток и какой они составляют процент от числа выпускниц средних школ и колледжей. Выясни, сколько девушек кончает университет ежегодно и какой процент находит себе работу — процентов пять-десять, не больше! Я уж не говорю о тех, кто окончил просто школу!..

...Большие новости — наша кошка опять окотилась. У нее тройняшки — два белых и один пятнистый. Очень досадно, что я не люблю котов (никаких) — все мои товарищи с ума сходят по кошачьей семейке...

29 мая 1952 г.

День тянется нескончаемым кошмаром. Жара, как гашиш, разрывает связь между телом и разумом и заставляет их пускаться в нескончаемый, безнадежный, издевательский спор между собой... И все-таки жара не убивает ни чувства утраты, обиды и ощущения бесплодности усилий в общем строе вещей, ни стремления надеяться, верить. Иногда тоска наваливается душной водяной стеной, но мысль о том, что жизнь еще может быть прекрасной, разбивает стену на миллионы радуг.

Дурное настроение есть дурное настроение, где бы ты ни был! Изменяются только сравнительные достоинства того, что приобретаешь и теряешь,— трагедия мира всегда есть часть твоего горя, она неизмеримо больше тебя, и ты всю жизнь сознаешь это. Но на свободе ты можешь бороться и радоваться жизни, а радость бытия прибавляет сил в борьбе.

2 июня 1952 г.

...Вот уже несколько дней дует крепкий ветер, доказывая нам, что в этой проклятой дыре куда больше пыли и песка, чем нам раньше казалось.

...Я с ужасом читаю в газетах сводки погоды в Лахоре. Я представляю себе, как ты изнемогаешь в душной редакции, как девочки медленно бредут домой из школы под палящим солнцем, как долго тянутся знойные вечера. Тебе приходится нести непосильную ношу, без отдыха, без передышки трудиться, трудиться, понимая, что ничего не получаешь взамен. Я знаю все это, но мне нечем утешить тебя, кроме известной истины о том, что всякому пути приходит конец и что, пока мы живы, для нас существует завтрашний день.

6 июня 1952 г.

...Жара спала, и вот уже четвертый день стоит отличная погода. По ночам лунный свет растворяет тюремные стены, легкие тени скользят по полу моей камеры, и шорох листвы под ветром смутно напоминает журчанье далекой горной речки. Прошлой ночью я долго не мог заснуть и все вспоминал Кашмир и вечера в Симле, и не верилось, что молодость прошла, а я в тюрьме. Должно быть, Акбар Хан думал о том же, потому что он подошел к моей койке и сказал:

— Жизнь — какая замечательная штука!

— Да,— ответил я.

Мы долго курили в молчании.

Красота, иной раз открывающаяся в жизни, непостоянна и неожиданна, как встреча в грязном переулке с девушкой под покрывалом, которая вдруг откидывает его, когда этого меньше всего ждешь. Может быть, она поэтому и кажется такой прекрасной.

21 июня 1952 г.

...Я говорю сейчас не о физических трудностях, хотя их тоже нелегко вынести. Страшно, что физическая усталость подтачивает веру в жизнь и свежесть ее восприятия, иссушая душу, лишая человека возможности наслаждаться красотой жизни. А красота живет в самом тяжком из существований...

Конечно, становится горько, когда видишь, как несправедливо устроен мир, но нельзя позволить горечи затопить «счастье и восторг» бытия, полного пока еще скрытых сокровищ добра и красоты.

30 июня 1952 г.

...И Банне *, и меня несколько нервирует мысль о том, что к тому времени, как мы отсюда выберемся, наши жены далеко обгонят нас. Хорошо, хоть вы сами еще не понимаете этого! Я получил письмо от Разии, которое звучит почти стихами:

«Когда-нибудь, в будущем, потомки будут воспевать вас. Хотелось бы знать, вспомнят ли они о ваших женах, о тех, кто прошел с вами весь этот путь. Вы шли впереди, а мы — на шаг отступя. Вы искали нашего сдобрения, вы оглядывались на нас, и мы вам всегда отвечали улыбками. Мы улыбались и тогда, когда наши сердца кричали от боли». У меня сжалось сердце, когда я читал это...

16 июля 1952 г.

...Я писал всю прошлую ночь. Я уже знаю, что, если разорвать стихотворение пополам, потом бывает трудно соединить концы. Я пишу об египетских и иранских студентах, расстрелянных на улицах. Кажется, впервые с тех пор, как я в тюрьме, я доволен своим рукоделием — мне кажется, я нашел и правильную форму, и тональность. Форма довольно необычна, и я представляю себе негодование седобородых теоретиков...

---

* Банне — Саджад Захир. Разия — его жена.

17 июля 1952 г.

Любимая!

Я писал тебе вчера ночью и думаю, что письмо еще не успело уйти. Я ожидал увидеть брата утром, а вместо этого услышал о его смерти *. Все были очень добры ко мне. Они даже вывели меня во двор, чтобы я увидел одного из самых близких мне людей уже не человеком, а трупом. Потом его увезли.

Горе заставило меня быть гордым. Я старался высоко держать голову, и мне было тяжело. Так тяжело мне было! Теперь я снова в своей камере, один на один с горем, и мне незачем высоко держать голову, мне не стыдно теперь склониться под страшным ударом.

Я стараюсь не думать о матери, о жене и детях брата. Это тоже очень тяжело. Я напишу матери, но не сейчас. Что я могу ей написать? Что отнял жизнь ее первенца? Потому что это я погубил его.

Мне сейчас слишком плохо, чтобы писать. Но все-таки не беспокойтесь обо мне. У меня хватит сил и на это. Только одного хотел бы я — быть сейчас на свободе и помочь тем, чьи страдания нельзя сравнить с моими.

9 августа 1952 г.

...Не остается времени на действительно творческие и сосредоточенные размышления. Когда у меня случается хоть минутка отрешенности от окружающего, я отдаю ее стихам. В конце концов мое настоящее призвание — поэзия. Беда только в том, что я устал от вечных попреков в стремлении достичь совершенства и перестал отделывать свои стихи тщательно, как раньше. Не знаю — лучше ли получается или хуже. Здесь нет никого, кто высказался бы со знанием дела и критически...

...Я прочитал вчера, что Рашида ** умерла в Москве. Если бы я был на свободе, я бы не удержался от слез. Но здесь у меня нет больше слез, и ее смерть оставила меня странно равнодушным. Может быть, потому, что в этот раз смерть не подкрадывалась, как вор в ночи, и ее разящий удар не был неожиданностью. А может быть, это было ощущение того, что героическое сердце Рашиды ненавидело бесплодную трусость горя. Когда я впервые узнал, что она смертельно больна, я отчаянно надеялся, что выйду на свободу и успею увидеть ее еще хотя бы раз... Но ее долгая битва со смертью кончилась слишком рано... С ее уходом полуостров Индостан много потерял в человечности и доброте. Еще больше потеряли ее друзья, которым она так щедро раздавала свою жизнь.

28 августа 1952 г.

...Сегодня получил твое письмо с фотографиями. Чудесно! У нас с тобой отличные дочки! Они уже начинают казаться взрослыми; особенно Мизи. Меня всего больше огорчает, что, сидя тут, я пропускаю самое замечательное время их повзросления.

...Если бы я мог воспитывать их сам, я бы научил их одному — быть счастливыми и, конечно, избаловал бы. Они не должны расти эгоистками, жадными и скупыми душонками, и я твердо верю, что такими они никогда не будут — мы должны научить их отличать прекрасное от уродливого и тянуться к красоте и благородству, а уж как они решат прожить свою жизнь, это их дело. Я теперь знаю, что можно вынести все несчастья, приходящие извне,— разлуку, потерю близких людей, лишения,— если они не связаны с внутренним ощущением собственной вины. Ощущение вины, сознание совершенной несправедливости, мысль о том, что не сумел остаться верным себе,— вот с чем невозможно бороться, потому что сознание это вечно живет в тебе. Если же знаешь, что ты прав — как мы с тобой знаем это сейчас,— незаслуженные страдания даже как-то ободряют.

...опять получаю «Пакистан таймс» и чувствую, будто вновь обрел потерянное чадо. Теперь, когда газета больше не сосет мою кровь, я начал понимать, что это, в общем-то, неплохой листок, вот только клише!.. Уши надрать за это!

17 сентября 1952 г.

...Твое письмо меня очень обрадовало — уж давно я не получал таких веселых писем, и единственное, что пугает меня теперь,— это мысль о матери. Я написал ей, но что толку? Очень жестоко, что после долгих и трудных лет, когда она в одиночку старалась поставить нас всех на ноги, теперь, на склоне жизни, она опять борется с нуждой и лишениями, к которым прибавилось немало печалей. И я так хорошо знаю, что бессилен помочь ей.

...фотография прелестна! О той, на которой Салима *** снята с дочкой служанки, Банне сказал, что это — символ единения пролетариата и интеллигенции. Я часто смотрю на нее, пытаясь прочитать в детском личике будущее человека. О многом уже

---

* Старший брат Фаиза приехал повидать его в тюрьме и скоропостижно скончался от разрыва сердца.

** Речь идет о Рашиде Джехан, индийской революционной писательнице.

*** Старшая дочь Фаиза.

можно догадаться. Лицо у Салимы как открытая книга. Я знаю, что она вырастет честной, доверчивой, веселой и ласковой, но ничего не понимающей в теневых сторонах жизни. Это доставит ей много тяжелых минут, она будет часто страдать от навязчивых людей, но она навсегда сохранит свою счастливую улыбку и по-настоящему несчастной не будет. Я знаю, что страдать и быть несчастным — не одно и то же. Можно переживать тягчайшие испытания, не чувствуя себя несчастным. Страдания — это нечто, приходящее извне, снаружи, эфемерная случайность, как физическое недомогание, как наша разлука, как смерть моего брата. Быть же несчастным — это значит носить в себе чувство, рожденное страданием, которое будет расти, развиваться и обволакивать тебя всего, если не помешать этому вовремя. Не в наших силах избежать страдания, а вот чувство того, что ты несчастен, можно одолеть, если знаешь, что есть на свете вещи, ради которых стоит жить...

2 октября 1952 г.

...Прости, что долго не слал писем. Объяснение ты найдешь в конверте. Все эти дни я был целиком поглощен писанием — или попытками писать... Мне самому очень нравится это стихотворение — я его назвал «Утро в тюрьме»,— и могу тебе сообщить, что никто не пишет так, как я, и еще долго никто не будет так писать. Не подумай, что это тщеславие таланта,— талант у меня скромный, и я знаю многих гораздо талантливей меня. Секрет в усердии, особенно при описаниях, где так сильно искушение пойти по пути наименьшего сопротивления и согласиться на первый попавшийся штамп, хоть сколько-нибудь подходящий, и отделаться. Читатель никогда не узнает, как много затратил поэт на поиски слова, того окончательного слова, ради которого он отверг сотню других!

8 октября 1952 г.

Любимая!

Я проснулся оттого, что в лицо мне ярко светила луна. Тюремный колокол пробил половину пятого. Я приподнялся, потом сел. На соседней койке зашевелился и приподнялся Арбаб. Улыбнулся мне и сразу заснул опять. Я повернулся лицом к окну и начал смотреть, как рассветает. Я слышал, как сменялись часовые, как открылась, а потом захлопнулась дверь. Зазвенели невидимые связки ключей и цепи, железные ворота лязгнули, как челюсти, дожевавшие последний кусок звездной ночи. Потянул слабый ветерок, вялый, как полусонная женщина. Небо постепенно бледнело и затягивало звезды в жемчужный омут. Я сидел, смотрел. Может быть, в такой же предрассветный час луна кивнула одинокому путнику неподалеку от места, где я сейчас сижу, и увела его в незнакомое, и этим путником был мой брат. Может быть, эта луна в эту вот минуту мягким светом освещает запрокинутые лица узников лагерей для военнопленных в Корее, которых смерть уже избавила от мук. Мертвецы в Корее тоже были моими братьями. Я их не видел живыми, они жили далеко от меня, в чужих странах, но они жили и во мне, были кровинками моей крови, и те, кто убил их, убили и часть меня самого и пролили мою кровь. И все-таки они мертвы, как мертв мой брат. Только те, кто умер, могут достойно оплакать мертвецов. Живые могут только радоваться жизни, и пусть будет так.

25 октября 1952 г.

...Я снова отравлен тюремной летаргией, муза покинула меня, дни и ночи отяжелели от осенней печали. Все жду, когда она пройдет. Легкий тумач стоит по утрам, вечерами рано темнеет. Вечернее небо светится странным серебряным светом, потом серебро розовеет и гаснет. Я перестал работать по вечерам — у нас плохой свет, и у меня болят глаза,— и вечера тянутся долгие и пустые. Писать я не могу, а оставаться наедине со своими мыслями — не хочу. Они приносят с собой печальные и нежные воспоминания. Я стараюсь ни о чем не думать и заснуть в десять. Около пяти сменяется стража. Я просыпаюсь и лежу, прислушиваясь к петушиным крикам где-то за тюремной стеной и к призывам на утреннюю молитву. Написал несколько строчек стихотворения об утре и бросил. Посылаю тебе даже не стихи, а упражнения в рифмоплетстве: чтобы не тупилось оружие...

...Все за поющий завтрашний день — боль, слезы, лишения, страдания. Завтра будет неизбежно приходить, пока существует сегодня, а вчерашнему дню не повториться вовек. Каждый тяжкий день несет с собой утешение — он прожит, ему не воскреснуть, другие дни будут другими и, может быть, лучшими. Давай смотреть вперед, а вчерашний день пусть хоронит своих мертвецов.

Я здоров, и все в порядке. Поцелуй девочек. Я думаю о вас и очень вас люблю.

1 ноября 1952 г.

...Ты уже, должно быть, знаешь, что чрезмерно затянувшееся представление окончено и занавес опущен. Теперь все в руках божьих... *(вычеркнуто цензором)*... еще несколько недель. И хотя я не сомневаюсь, что это будет именно так, если нас ждет новый тернистый путь и новая разлука, то еще меньше я сомневаюсь в том, что надежда и упорство помогут нам и тут. Главное, оставаться в живых. Жизнь — вот высшее счастье, вот конечная цель всех надежд, и я верю, что они сбудутся.

10 ноября 1952 г.

...и у нас наступила любимая пора детей и влюбленных, чисто метафорическая для нас: ни тем, ни другим здесь не место. А все-таки хорошо, и я чувствую себя отлично. Посылаю тебе пустячок, написанный в честь наступления нового времени года. Я рад, потому что постепенно овладеваю умением выражать свои мысли языком улицы. Я понимаю, что пишу пока чепуху — это, скорее, эксперимент в области стиля, нежели поэзия,— но в то же время я прокладываю путь к тому, что, надеюсь, будет куда серьезней по теме.

26 ноября 1952 г.

Я задержал ответ на это письмо в надежде послать тебе два стихотворения сразу и сдержать свое слово, но муза исчезла необъяснимо и невозвратимо, и стихи, что ты прочтешь, это, скорее, доказательство ловкости рук, чем плод вдохновения. Мне думается, что я вычерпал досуха свои тюремные впечатления и теперь мне почти нечего сказать. Ум и сердце живут связью с жизнью, новыми впечатлениями, встречами с людьми, а в обстановке полной изоляции, в которой сейчас находимся мы, когда ум и сердце отдают накопленные впечатления, не получая новых, они постепенно высыхают и становятся бесплодными. Но даже если я больше ничего не напишу, я все равно имею право быть довольным собой, читая то, что пишется сейчас за тюремными стенами: наконец-то появилась яркая, богатая чувствами литература. Я могу гордиться этим, потому что написанное мною сейчас и раньше в какой-то, пусть очень незначительной степени, повлияло на наших поэтов и помогло им найти выход из тупика, в который мы зашли два года назад. Мне до отчаяния хочется иметь побольше таланта и уметь увлекать за собой, потому что, к большому моему огорчению, никто пока не пошел дальше меня. Кажется, я расхвастался? Но ведь перед женой можно хвастать сколько угодно, и она все равно останется равнодушна!

28 ноября 1952 г.

Дело не в том, чтобы решить, стоит ли игра свеч... Просто, пока дышишь, пока можешь высоко нести голову и чувствовать себя порядочным человеком, что бы ни дала тебе жизнь — счастье ли, слезы ли,— это стоит того. Больше ничего и не надо.

5 января 1953 г.

Любовь моя единственная!

До тебя уже дошла, конечно, печальная новость. Умоляю тебя, не расстраивайся, моя храбрая жена. Мы переживем и это, как пережили многое другое в последние два года. Неприятности страшны только на первый взгляд, когда они проходят, нам всегда странно, что мы боялись их. Наша теперешняя неприятность может, в худшем случае, означать еще два с лишним года разлуки. Оглянись по сторонам и ты убедишься, что вряд ли найдется во всем Пакистане и во всей Индии хоть один порядочный человек, который бы не отсидел столько же (если не больше) при англичанах, и ничего с ними не случилось. К сожалению, путь к свободе и справедливости устлан отнюдь не розами, и я не думаю, что мы платим больше других за избранный нами путь.

6 января 1953 г.

Прости, что от волнения не дописал это письмо вчера. Уже сегодня события вчерашнего дня кажутся незначительными, бессмысленными и страшно далекими. Единственное, что важно,— я не совершил преступления, никому не причинил зла, и совесть у меня чиста. Ребята даже рассердились на меня — они сидели в моей камере до девяти часов, а сегодня утром заявили, что ровно через десять минут после их ухода я захрапел так, что не давал им уснуть. Охотно верю — я проснулся, когда солнце стояло уже высоко в небе, не сразу вспомнил, что случилось вчера, а вспомнив, рассмеялся над глупостью всей этой истории.

Потом я расфилософствовался. Если человек жив и здоров, сказал я себе, ему лучше, чем тому, кто болен. Тому, кто болен, но надеется поправиться, лучше, чем тому, кто, болен неизлечимо. Тому, кто неизлечимо болен, все же лучше, чем покойнику. Ну а покойника обеспокоить трудно, поэтому ему все равно. Смысл всего этого вот в чем—если ты жив, значит, тебе лучше, чем многим другим, и, значит, тебе не на что обижаться. Ход моих рассуждений напомнил мне древний анекдот о двух выходах, и мне опять стало смешно.

Извини меня — тебе, должно быть, кажется, что я чересчур легкомысленно отношусь к серьезным вещам, но пойми — вся эта история так дьявольски нелепа! Тебе, конечно, не до смеха — ведь это значит, что тебе еще нести и нести непосильное бремя на своих и без того натруженных плечах...

Я просто не могу думать о бедной маме... как вымолить у нее прощение за все страдания, что я ей причинил. Мама — перед ней я чувствую себя виноватым, и это лежит у меня на сердце и так тревожит меня...

12 января 1953 г.

Любимая!

Сегодня утром я послал телеграмму — в ответ на твою — и тут же получил шесть экземпляров «Руки ветра». Было очень приятно увидеть свое тюремное детище — плод страданий и надежд...

...Я боялся, что за первыми часами возбуждения наступит реакция при мысли о длинной череде пустых дней, которые ждут меня, но ничего подобного. Наоборот, теперь мне кажется, что с каждым уходящим днем я становлюсь спокойней, тверже, я меньше тревожусь. Это, должно быть, оттого, что я теперь знаю, что ждет меня завтра, и знаю, что с каждым днем становится короче расстояние до станции конечного назначения. Например, послезавтра — уже неделя, как я сижу по новому приговору. Еще три недели — и месяц прошел. Я все это рассчитал. Если даже меня не освободят досрочно и мне придется отсидеть полный срок — это 30 месяцев, или 120 недель. Уже послезавтра останется всего 119 недель, а ведь я сижу сравнительно недолго...

16 января 1953 г.

...я читаю сейчас жуткую книгу — «Джунгли» Эптона Синклера. В ней описана жизнь рабочих, обитателей чикагских трущоб. Читаю, и мне кажется, что мы здесь просто понятия не имеем о настоящей нищете. По сравнению с этим все наши беды и несчастья — детские игрушки.

Я много работаю и, кажется, работаю неплохо. Опять взялся за французский...

19 января 1953 г.

...прошли уже две недели (значит, осталось 118), и дни текут хоть и не быстро, но неотвратимо. Ты знаешь знаменитое правило альпинистов: когда они преодолевают длинный и крутой подъем — надо смотреть не больше, чем на шаг вперед и никогда нельзя поднимать глаза к вершине: вершина, пока на нее не взберешься, кажется очень далекой, а это снижает бодрость духа. Иди упорно шаг за шагом, и не заметишь, как ты уже на вершине. Думай только о следующем шаге — это спасет тебя от страха и подавленности. Я знаю, что у тебя хватит сил, и сознание этого укрепляет меня. А какой ценой мы платим за это? — спросишь ты. Ценой молодости, ценой жизненных радостей, ценой красоты? Ты знаешь, в тюрьме я открыл для себя великую истину: наш возраст и внешность имеют значение только для посторонних, но к тому времени, как начинаешь завоевывать интерес посторонних, они перестают интересовать тебя. Мир связей с посторонними становится все ограниченней, зато полней и богаче становится наш собственный мир и друзья, ставшие его составной частью.

Чистейший инстинкт самосохранения застазляет человека сближаться с небольшим кружком дорогих ему людей, которые становятся единственным источником любви и тепла по мере того, как мир холодных приличий делается ему чужим. Так природа возмещает человеку недолговечность физического совершенства юных лет — только с возрастом приобретает человек подлинное понимание того, что ушло с его юными днями. Мне начинает казаться, что только зрелые люди могут по-настоящему любить друг друга, люди, уже изжившие буйные увлечения юности и больше не гоняющиеся за химерами. Любовь же в юности — это всегда майя — иллюзия, прекрасная, как все иллюзии, и потому благотворная...

28 января 1953 г.

...Позазчера, проснувшись, я почувствовал что-то новое в мягком прикосновении ветерка — знакомое касание весны... Это была уже весна, потому что утро было не таким, как день назад. Изменилась не температура воздуха, а цвет, освещение и фактура всего вокруг.

В воздухе ощущается трепет и волнение, всегда предшествующие новому времени года, когда погода, теплая ли, холодная ли, еще не установилась и неизвестно, что несет с собой завтрашний день. Перемена времени года всегда волнует и тревожит, но до тюрьмы я никогда не испытывал такого острого и глубокого волнения, как сейчас. Наверное, просто некогда было замечать, какое время года на дворе.

Я не писал ни строчки с тех пор, как нам объявили приговор. Можно больше не тревожиться, не волноваться ни о чем, и мой разум погрузился в состояние какого-то полусна, из которого никак не может выйти. Но вот пришла весна, и муза, кажется, шезельнулась. Я мечтаю написать гимн весне, извечному обновлению жизни, надежд, любви, гимн сердцам, очистившимся через страдания, гимн тому пренебрежению к смерти, которое весной воплощено в каждом цветке.

Я хотел написать о студентах Карачи, но потом раздумал, чувствуя, что не в силах найти слов для этого. Если я напишу, то это окажется повторением уже написанного об иранских студентах. Это — лучшее, что я написал в жизни, и я не хотел бы, чтобы детям моей земли досталось что-то похуже. Может быть, когда-нибудь потом я найду слова и напишу о Карачи тоже...

И вообще надоело писать пустячки! Когда наконец уверюсь в том, что я поэт, я хотел бы написать большую поэму о героических днях, в которые мы живем, а мы живем в самую героическую эпоху, какую знала история человечества. Не знаю, сделаю ли я это когда-нибудь, но хотелось бы...

8 февраля 1953 г.

...Прошла еще одна неделя. Воздух сгустился, солнце начало припекать — во всем чувствуется близость лета. «Лето» звучит очень глупо в применении к нашей жаре, так же глупо, как «осень» при обозначении конца жаркой поры. «Лето» и «осень» — сентиментальные символы, имеющие очень мало связи с дождями и жарой. Эти слова — начало страдания и его конец, время тосковать и время любить, время стиснутых зубов и время вздоха облегчения. У нас не бывает лета, только жаркая пора. Ты ждешь ее наступления со страхом, а я — с нетерпеливой радостью. Нас радуют любые перемены погоды, потому что только это меняется здесь. Новое время года несет с собой много нового: по-иному выглядят земля, небо, деревья, меняется уклад жизни и мыслей. Если сохраняешь способность удивляться и радоваться, все это так страшно и так хорошо...

...Ты насмешила меня своим письмом с упоминанием о том, что кто-то назвал меня героем. Ты прекрасно знаешь, что я и героизм — вещи несовместимые. Вспоминая прошлое, я не только не вижу в нем ни одного героического поступка, я даже не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь пытался совершить его. Нынешнее мое величие — никак не моя вина, оно просто свалилось на меня, и уж, конечно, не к этому я стремился. Единственное — я всегда старался быть последовательным, цельным (хоть в какой-то степени) и никогда не торговал своей совестью. Что касается этой последней положительной черты, то ею обладают неисчислимые миллионы людей — мне кажется, что человечество состоит в массе своей из людей порядочных, так что трудно усмотреть в этом мою особую заслугу. Ты имеешь куда больше прав считать себя героиней, хотя, может быть, узнают об этом не скоро.

3 марта 1953 г.

...Ты говоришь, что слабое место моей философии заключается в том, что подлецам легко использовать ее в своих целях, а это принесет только разочарование и боль. Совершенно справедливо. Но ведь если бы подлецы могли воспринимать действительность такой, как она есть, и подходить к ней с точки зрения здравого смысла, они перестали бы быть подлецами и тогда вряд ли возникла бы необходимость в филантропии. А поэтому — пусть подлецы идут ко всем чертям... Есть маленькая группка людей, которым надо больше всех и которые во все вмешиваются, потому что им кажется, что это кому-то на пользу, хотя чаще всего они ошибаются. Зачем они это делают? Я лично считаю, что на свете очень мало порочных людей (я говорю о людях, не об организациях или системах), в большинстве из нас присутствует и доброе, и злое начало, но в разных пропорциях. В юные годы пропорцию легко изменить, с возрастом это становится труднее. И все же на человека можно воздействовать, хотя бы временно. Я не верю в то, что воздействовать надо пинком, изредка — да. И всегда соблазнительно попробовать сделать человека лучше, чем он есть,— не оттого, что мы добры, а, скорее, потому, что тщеславны...

...Значит, нашлась моя туберкулезная больная? Должен сознаться, что я почти ничего не знаю о ней, кроме того, что она бежала из Восточного Пенджаба. Она написала мне письмо из санатория Дадар, просила помочь, и я исхлопотал ей немного денег... Если она поправится, будет очень приятно, значит, и я сделал что-то для спасения человеческой жизни — это так редко удается...

18 марта 1953 г.

Тюрьма — это клочок иной вселенной, не знающей счастья, не ведающей страдания. Здесь нет ни жизни, ни смерти. Люди, которые смеются, любят, плачут, сердятся и ссорятся, стали персонажами какой-то гигантской, ненаписанной книги, и нужно обладать большим воображением, чтобы почувствовать, что ты — один из них и вы принадлежите к единому братству живых. И в то же время это не совсем правда, потому что в тюрьме все немного смещается. Длинные серые полосы времени, когда, кажется, попадешь в бестелесное преддверие ада, в нечто среднее между жизнью и смертью, перемежаются моментами острейшего ощущения слияния с жизнью — с тоской и героизмом, с благородством и муками миллионоглавой, миллионотелой человеческой массы, которой так хочется, чтоб вечно жили любовь, свет и смех. Бывают минуты, когда вид грязно-коричневых стен, пыли, решеток, лиц, тюремной одежды и всей этой гнусной дряни вокруг вызывает непреодолимую тошноту. А иной раз крохотный зеленый росток, еле поднимающийся над комьями земли, придавившими его, упрямо отбрасывающий их в сторону, заставляет сердце неудержимо колотиться от счастья.

30 марта 1953 г.

...Вечером в нашей камере погас свет. Было уже поздно, и тюремный электрик ушел домой. Я всегда побаивался электричества, а после того, как мне пришлось писать жалобы за рабочих гидростанции, обвинявших администрацию в отсутствии защитных средств (чаще всего перчаток), что вело к бесчисленным несчастным случаям, я стал по-настоящему бояться его. Когда я теперь вижу рабочих, которые возятся с проводами, я сразу смотрю на их инструменты. Свет обычно чинят днем,

и рабочие являются со всякими там лестницами и черт знает с чем. Да, так о нашем случае. Выясняется, что перегорели не пробки, а что-то на столбе. Мы ожидаем увидеть аварийную команду бравых электриков, вооруженных лестницами, кошками и т. д. А явился один малый замученного вида с промасленным мешком каких-то железок. «Это не пробки,— начали объяснять мы,— это что-то на столбе. Сбегай за кошками и позови кого-нибудь на подмогу». Тот проворчал что-то себе под нос, и не успели мы ахнуть, как он уже сидел на верхушке столба — как в цирке! Снизу мы кричали, чтоб он там поосторожней с проводами, предлагали выключить рубильник, достать ему перчатки... Он опять проворчал что-то очень похожее на «заткнитесь вы там!», а еще через мгновение малый стоял на земле, а лампочка светила под потолком. Я почувствовал прилив странной гордости — какие же у нас отличные ребята! Если б только они могли найти применение своим силам — а пока они прозябают, гниют на корню, и горькие мысли подтачивают их...

29 апреля 1953 г.

...Я, да и все мы уже породнились с тюрьмой — ведь это наша третья весна здесь! Кажется, что прошло не три весны, а тридцать, что прошла целая жизнь с тех пор, как я в последний раз чувствовал летний дождь на щеке и видел сочную зеленую траву. Но воспоминания не причиняют больше боли — они отодвинулись куда-то далеко, и надежда больше не теснит сердце мелкими иллюзиями. Всему свое время, а пока надо довольствоваться малым, не надо тосковать, не надо тревожиться (ох, если бы).

12 мая 1953 г.

По утрам и вечерам дует устойчивый прохладный ветер. Он шелестит редкой листвой наших жалких тюремных деревьев, ветки качаются и пляшут в лад его порывам. Ветер, треплющий листья, приносит с собой самые неожиданные воспоминания — я снова вижу себя ребенком в пенджабской деревне, где-то за домами раздается громкое мычание стада, с реки доносится скрип водяного колеса, а под развесистым деревом в центре деревни булькают трубки стариков... А то вдруг я оказываюсь на холмах Симлы или Кашмира, продутых ветром, я слышу глухое постукивание дождевых капель по лиственницам и миндальным деревьям. Я вижу, как плакучие ивы напряженно вслушиваются в бормотание далекого ручья... А потом я стою на морском берегу, охваченный ревом и стоном могучих вод, безмерных, порывистых, зеленых... И вдруг оказывается, что я забился в угол своей камеры и что, пока эти образы возникали и гасли в моем сознании, не было ни тюремных стен, ни решеток...

19 мая 1953 г.

...Ты пишешь о «благородстве» и об его отсутствии. Благородство не в самой борьбе, а в тех, кто борется, в том, как борются и как верят в конечную победу доброго начала. Нет никакого благородства в тоске, в страданиях, в борьбе, в непосильном труде. Вера и отвага, нежность и любовь к людям облагораживают все. Если же люди не несут в себе этих качеств, если озлобление, корыстолюбие, мелочность или страх берут над ними верх, тогда неприличной становится тоска и унизительной — борьба. Поэтому важно только оставаться добрым, смелым, не разучиться любить, все остальное не имеет значения.

19 июня 1953 г.

...В счастье, как и во всем остальном, лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе, хотя нужно стараться заполучить и журавля тоже. Большая часть человечества не согласится с этим утверждением, потому что она одержима страхом и неуверенностью в завтрашнем дне — порождением той экономической и социальной системы, в которой мы живем. Эта система постоянно омрачает сегодняшний день страхом перед завтрашним и не дает нам наслаждаться настоящим с подлинным самозабвением и легким сердцем. Наши предки, жившие в своих надежных феодальных гнездах, не знали этих страхов, как, я надеюсь, их не будут знать наши дети — к тому времени родовые муки мира закончатся и родится более счастливый общественный строй.

Наше поколение — это поколение сынов человеческих, которым суждено быть распятыми, чтобы кровью нашей искупить грехи и несчастья планеты. Нет большей цены за кровь человеческую, и нет цели в жизни, которой можно гордиться больше.

Центральная тюрьма, Карачи

25 июня 1953 г.

Любимая!

Наконец-то я здесь, и пока это меня забавляет. Когда переезжаешь в новую тюрьму, проходит порядочно времени, прежде чем осознаешь заново, что ты все-таки в тюрьме. Сначала это похоже на поездку в дальнюю страну, я чувствую себя чужестранцем в эту минуту. Резиденция моя выглядит довольно живописно. Это маленький коттедж, крытый красной черепицей, окруженный прелестными деревьями с пышной листвой, с воротами, на которых не видно решеток (их скрывает собою разрос-

шаяся лиана, горящая красными и оранжевыми цветами). Когда поднимается луна, наш двор выглядит парком для любовных прогулок и чувствуешь себя не в крошечном тюремном мирке, а в огромном настоящем мире.

27 августа 1953 г.

...Стоят лунные ночи, мягкие и загадочные, прекрасные. Небо полускрыто скользящими облаками. Это так прекрасно, что мне иногда становится больно. По вечерам я стою у окна, которое выходит на лужайку нашей больницы. За забором я вижу кусочек улицы, несколько хибарок беженцев, а подальше, на рыжем холмике, маленькие домики под красными крышами. С другой стороны возвышается башенка, должно быть, водокачка. Уличный фонарь на углу освещает зеленую листву ветвистого дерева, а другой фонарь образует лужицу света, и это очень привлекательно, потому что иногда в лужицу попадает то машина, то прохожий — свет держит их и через мгновение снова отпускает в темноту. Надо мной наливаются и тают облака. Кажется, что ночь меняет настроение — то ослепительно улыбается, то туманится тоской. А я все стою и смотрю, я то сливаюсь с ночью, то расстаюсь с ней и нахожу в этом и огромное утешение, и невыносимую боль, но в сердце своем я благодарен ночи, потому что она заставляет меня чувствовать, что жизнь все-таки хороша.

21 февраля 1954 г.

...Цветы, конечно, не могут заменить собой живых людей, что бы там о них ни писали поэты, но все-таки они очень красивы. Но, поверишь ли, бывают минуты, когда мне тошно на них смотреть. Тошно видеть бессмысленную красоту. Красота становится счастьем, только если она плодоносит, если она производит на свет что-то доброе, в мыслях, в чувствах или в поведении тех, кто способен ее разглядеть. Греческая ваза, о которой не написана ода, это все-таки кусок глины, как бы красива она ни была. Все, это, конечно, не так просто. Но в принципе, мне кажется, это именно так.

Тюрьма Монгомери

30 марта 1954 г.

...вот мы и снова дома. Честное слово, я чувствую себя дома. Все проникнуто ощущением возвращения к родным пенатам. Тюремный повар, надсмотрщик и даже солдаты у ворот так обрадовались, увидев меня, и так любовно кивали мне; койка, чашка, стены и рисунок листьев и ветвей за решетками так знакомы мне, что хочется сесть в уголок, откинуться и повторить вместе с Галибом: «Стрела не трепещет на тетиве, и охотники не прячутся в засаде. Только в своей клетке могу обрести я покой».

22 мая 1954 г.

...Я читаю меньше, чем хотелось бы. Тюрьма испортила мне зрение, и я вынужден часами сидеть перед раскрытой книгой, не читая. Тем не менее я залпом прочел письма Этель и Юлиуса Розенбергов. Залпом — это не то слово. Через каждые несколько страниц я отрывался от книги, чтобы перевести дыхание и проглотить комок, который застревал в горле. Нет писателя, который мог бы превзойти в своих книгах смятение и благородство их слов, если только, конечно, он не превзойдет их трагедию собственной трагической смертью. Когда я думаю о них и об их детях, мои собственные неприятности представляются мне нелепыми, а говорить о них кажется тщеславием.

27 июля 1954 г.

...До того, как меня посадили, тюрьма казалась мне чем-то героическим. Вот теперь я в тюрьме. Это совсем не героизм. Это невыразимо печально. Я осознал, насколько это печально, потому что теперь у нас тоже появился пленник: сокол — охотничья птица. Он влетел в нашу камеру несколько дней назад, и один из заключенных поймал его. Он хотел приручить птицу: привязал сокола за ногу и накрыл его корзиной. Вечером сокол выкарабкался из-под корзины и вылетел в окно, но веревка, привязанная к его ноге, держала его. Мы всю ночь слышали, как сокол метался и коротко хрипло вскрикивал. Наутро мы втащили его обратно в камеру. Нога птицы была безнадежно изуродована. Он больше не будет ни летать, ни охотиться. Он сидит теперь на дереве в тюремном дворе, и крикливые скворцы, которые еще вчера вечером в ужасе разлетались от его крика, сегодня собрались вокруг него насмешливой толпой. Я не могу видеть, как гордые, яркие глаза сокола темнеют от боли, унижения и беспомощности. Мы кормим его, но я боюсь, что долго ему не прожить. Я подумал сейчас, что, может быть, именно таким образом природа вознаграждает птиц и зверей за беспомощность — если им очень больно, она умерщвляет их. Только человек — изболевшийся, исстрадавшийся — живет и живет. Год за годом, поколение за поколением, век за веком, потому что не смерть может избавить его от страданий, а только жизнь. Ему дано верить и надеяться в это. Эта вера сильнее самого человека и сильнее времени, в которое он живет. Человек живет, страдает и надеется, хотя, может быть, на-

деждам его не суждено сбыться. Человеку понадобились бесчисленные столетия, чтобы научиться пользоваться руками и ногами, чтобы научиться говорить и мыслить. И, может быть, уже подходит время, когда мы научимся быть счастливыми. Видишь, получилась целая лекция, никак не могу забыть, что был когда-то преподавателем.

25 августа 1954 г.

Сегодня у нас холодный ветреный день, и я наслаждаюсь. В воздухе пахнет весной. Ты, конечно, скажешь, что это осень, но ведь если говорить серьезно, у нас не бывает осени, впрочем, как и весны. Это все представления холодных стран, и даже те слова, которыми мы их называем, это чужеродное заимствование в нашем языке. Они попали к нам из Афганистана и Средней Азии. До Великих Моголов наши поэты воспевали только дожди, птиц, поющих под дождем о любви, молнии, сверкающие над манговыми рощами. В наших стихах не было упоминания о розах, нарциссах, соловьях, персиках, яблоках или гранатах. Поэты воспевали птицу коиль, тулси и сандал. Если продолжить эту традицию, нам сейчас бы следовало воспевать гвоздики, духи «шанель» и кока-колу. Но поэты — бедняги — больше не пользуются привилегиями старых времен и едва ли знают толк во всей этой новомодной роскоши.

...Я опять начал работать. Почти закончил перевод ибсеновских «Столпов общества», но черт бы побрал язык урду, я застрял на первом же слове: общество. Я имею в виду группу людей, живущих в одном городе или округе. Я не хочу переводить это высокопарным арабским или персидским словом, а разговорного не могу найти.

24 сентября 1954 г.

Пишу под мелодию проливного дождя — вот чем кончилось великолепное утро. С самого рассвета сине-черные, серые и багровые облака громоздились на горизонте. Наша лужайка вдруг оказалась густо заселенной: на ней появились элегантные визитеры в серых костюмчиках с черными, красными и желтыми точками на хвостах, затем к ним присоединились господа в золотисто-зеленых одеяниях, пышнохвостые и с глазами, аккуратно обведенными черной каймой, придававшей им нагловато-изысканный вид. Прилетела стайка попугаев, которые уселись над моим окном и затрещали, как сумасшедшие. Задул холодный ветерок, и все замерло в ожидании, потом — дождь, который пошел сначала мягко, неуверенно, осторожно касаясь ветвей и травы, а потом с размаху, хлеща серебряными струями. Дождь собирался уже несколько дней, и уже несколько дней краски дня выглядели размытыми. По вечерам небо было похоже на палитру художника. Когда-то давно такие дни заставляли сердце биться в непонятном раскаянии и сожалеть о чем-то, но это было давно. Теперь вся эта красота кажется никому не нужной. Может быть, потому, что природа прекрасна, только если она связана с человеком физически, эмоционально или материально, а в тюрьме, кроме существования, не остается ничего. Ничто не влечет за собой действия, намерение не приводит к цели, импульс — к свершению, и постепенно заключенные начинают терять интерес к далеким проявлениям реального мира и думают лишь о мелочах вокруг себя. Я не очень понимаю, что я тебе написал, но сказать я хотел, что сегодня хорошая погода.

15 октября 1954 г.

Я получил несколько журналов на урду и отдыхаю над ними, хотя впечатление они производят довольно тяжелое. Дело не в том, что наши писатели плохо пишут. Большинство наших молодых писателей кажутся мне очень способными, хотя иногда их произведения грешат надуманностью. Но как печально все то, о чем они пишут! Почти все посвящено ушедшим надеждам, разбитым жизням и описаниям того, как чертовски нескладно все устроено. Ради бога, если уж так хочется кричать, почему не покричать о чем-нибудь веселеньком — хотя бы для разнообразия. Я чувствую себя отчасти виноватым в этом, многие из них подражают мне. Но я в тюрьме, а они на свободе, они молоды, а я стар, и они пишут по готовой канве надежды и веры, которые мы для себя открывали ценой немалых испытаний и многих ошибок. Почему все, что они пишут, так беспросветно? Я знаю, что жизнь, которой они живут, нерадостна, но ведь она — настоящая. В ней сплетены прошлое и будущее, вокруг нас бушуют бури целой планеты. Писатель, и в первую очередь молодой, должен уметь писать не только о собственных огорчениях. Наша молодежь всегда готова поразглагольствовать на эту тему, но никогда об этом не пишет. Правда, я тоже не знаю, как об этом написать, я бы хотел, чтобы меня научили. А они, наверное, смотрят на меня и думают, что я их буду учить. Довольно скучно!

11 ноября 1954 г.

...Пять часов вечера. День гаснет, и через несколько минут глиняные заборы и верхушки деревьев поглотят последние бронзовые и медные лучи. Птицы умолкнут, и время замрет в ожидании ночи на земле и звезд в небе. Это тягостный час. При дневном свете уже нельзя читать, а включать свет еще рано (кстати, я все равно не мог бы этого сделать — свет во всех камерах включается одним рубильником и намного позже). Можно разобрать буквы, но мозг отказывается воспринимать содержание. Самое

неразумное — пытаться размышлять в эти часы, пытаться сосредоточиться на мыслях, болезненных от печали распадающегося и гибнущего дня. Мне кажется, я стал лучше понимать значение, которое народ придает этому часу, называя его «час встречи двух времен» или «колдовской час». В это время молодые женщины не смеют обнажать головы, выходить на открытые места; в это время не следует приниматься за новую работу, нельзя хоронить усопших, нельзя возносить молитвы и даже читать коран. Поверья эти уходят в глубь веков, когда солнце было живым богом, а ночь — живым демоном. И боги, и демоны давно мертвы, а печаль по умирающему дню сохраняется, пока не наступит ночь, мирящая нас со смертью дня надеждой на новое утро.

...Создание литературы для детей — проблема настолько важная, что я подумываю о том, чтобы заняться ею. Впрочем, я вполне серьезно собирался стать преподавателем, художником, поваром, садовником, кинорежиссером, фермером, фабричным рабочим... так что вряд ли следует опасаться, что я стану не тем, кто я сейчас. А сейчас я... Кстати, а что я такое? Занятно бы узнать.

1 декабря 1954 г.

...я с девяти часов утра наблюдаю, как два попугая дразнят белку. Белка выскочила погреться на солнышке, а попугаи орут на нее с дерева, требуя, чтоб она убралась вон. Белка предпочитает не понимать намеков и продолжает прыгать, изредка бросая задиристые взгляды в сторону неприятеля. Обе стороны боятся начать настоящую драку и с самого утра боксируют с собственными тенями. А вчера под моим окном вдруг поднялся неистовый птичий гам. Я выглянул и увидел, что это орут выступающие объединенным фронтом попугаи, воробьи и вороны, а в кусты застенчиво удаляется здоровенный кот. Кот выглядел смущенным и виноватым. «Будешь знать, что такое сила общественного мнения!» — назидательно сказал я ему.

31 декабря 1954 г.

Любовь моя единственная!

Пройдет совсем немного часов, и этот год покроется пылью прошлого. Я ничего не чувствую сегодня — ни того, что прошел год, ни того, что начинается другой. Просто еще один день в тюрьме, еще одна бесцветная отметка, показывающая, как убегает в никуда пустота. Может быть, попозже, когда через дзор протянутся тени, этот день запомнится, как последний день последнего года последнего испытания. (Всякое испытание, как всякое наслаждение, последнее в своем роде, когда оно позади. Только память может воспроизвести его потом, но от этого оно не станет испытанием, как воспоминание о пережитом счастье не дает нам счастья.)

Завтра — вот что важно. Не вчера. Давай же пожелаем друг другу, и нашим детям, и всем людям на земле счастья и мира в наступающем году и на много-много лет вперед. Поблагодарим прошлый год за то, что он нам дал, простим ему то, чего он нас лишил,— ведь нам же хватило сил вынести это!

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ

В поисках Биско

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с английского Э. МЕДНИКОВОЙ

Советский читатель хорошо знаком с Эрскином Колдуэллом, автором многих романов, повестей и рассказов, в которых нашла отражение современная Америка. Меньше известен советскому читателю Колдуэлл-публицист, хотя перу его принадлежит немало художественных очерков, написанных с глубоким пониманием сложных проблем американской действительности. Книга «В поисках Биско», по существу, представляет собой сборник очерков, внутреннее единство которых определяется не только идейной целеустремленностью, но и сюжетной завязкой: автору неизвестна дальнейшая судьба негритянского мальчика Биско, друга его детства; в поисках Биско автор встречается и беседует с разными людьми, населяющими Юг Америки: с неграми и белыми, с бедняками и богачами.

В новой книге, как и в предыдущих, Колдуэлл клеймит позором тех для кого расовая дискриминация негров — норма мышления и поведения. Его книга — призыв к справедливости.

О том, что между людьми существует разница в цвете кожи, я впервые узнал на уединенной ферме, затерявшейся в поросших сосновым лесом красноватых глинистых холмах графства Кауита в центральной части Джорджии, где я родился. Мое знакомство с реальностью границы между людьми белой и черной кожи произошло неожиданно.

По времени события, о которых я вспоминаю, относятся к первому десятилетию нашего века, когда мне шел шестой год. Единственным товарищем моих игр был негритянский мальчик по имени Биско, сын высокого худого издольщика с близлежащей хлопковой плантации, владельца одного-единственного мула, и огромной толстой негритянки, которая часто сажала нас обоих к себе на колени и пела заунывные песни.

Может быть, моему товарищу при крещении дали имя Набиско, или Фриско, или Бриско, но для меня он был Биско, а я для него — Эск. Мы были одного возраста, с разницей всего в несколько недель, и больше нам не с кем было играть, потому что ни у меня, ни у него не было братьев или сестер.

У Биско были курчавые, коротко остриженные черные волосы, светло-шоколадная кожа, круглая полнощекая мордашка и широкая улыбка; весь год он бегал босиком. Когда мы играли в «кучу-малу» и боролись, валяясь по зем-

ле, в его волосы набивались колючки, опилки и пух. У него была привычка вдруг прекращать игру и, быстро работая руками, выколачивать из волос колючки и соломинки. После этого Биско снова валился на землю, и мы опять начинали возню.

В тот, теперь такой далекий, осенний день, после целого утра возни и борьбы, Биско и я пускали самодельные деревянные кораблики по волнам гладкого белого песка под окнами высокого с колоннами четырехкомнатного дома моих родителей. Поздней осенью вечер в центральных районах Джорджии наступает рано, и порывы ветра приносят с собой пронизывающую сырость.

Как только скрылось солнце, Биско начал дрожать всем телом. Выколотив из волос песок и опилки, он сказал, что пойдет домой. Я умолял его не уходить и хоть еще немного поиграть, но он ответил, что ему холодно и хочется домой к теплому очагу. Он и его родители жили в однокомнатной хибарке с пристроенной кухонькой посреди хлопкового поля в четверти мили от нас. Мне было видно, как над бревенчатой хижиной, каждая щелочка в которой была промазана глиной, вился голубоватый дымок, а смолистый запах горящей сосны доносился до самого нашего дома.

Стуча зубами от холода, Биско собрал свои кораблики и в наступивших сумерках пошел по тропинке к высоким зарослям черной смородины. Он несколько раз молча обернулся и уже вот-вот должен был скрыться в кустарнике, когда я бросился за ним.

Я часто ходил играть с Биско во дворе его домика, но только днем, а не вечером, однако на этот раз мне так хотелось еще поиграть, что я совершенно забыл спросить у родителей, можно ли мне пойти туда.

Мы оба тряслись от холода, и, когда вошли в дом, мать Биско велела нам встать на выложенный кирпичом пол перед пылающим сосновыми поленьями очагом. Биско пора было ужинать, и его мать принесла нам по тарелке жареной свинины, пирога с требухой и горячий овощной бульон в больших жестяных кружках. Мы уселись, положили тарелки на колени и стали есть тут же у жаркого огня.

Когда мы покончили с едой, мать раздела Биско, уложила его на большую высокую кровать и укрыла стеганым одеялом, сшитым из разных ярких лоскутков. Пока она его там устраивала, я тоже стащил с себя рубашку и штанишки и попытался забраться к нему.

Крепко держа мою руку, его мать спокойно заставила меня вернуться к очагу и стоять там, пока она меня не оденет. Я упрашивал ее позволить мне остаться с Биско в его постели, но она качала головой и говорила, что моя мама хочет, чтобы я вернулся домой и спал в своей собственной кроватке. На нее не действовали ни мольбы, ни уговоры, ни слезы, и она взяла меня за руку своей теплой рукой и повела в темноте по тропинке через хлопковое поле к кустам черной смородины, за которыми был мой дом.

Только мы свернули на дорожку через кустарник, как навстречу нам вышел мой отец с фонарем в руке. Когда он в темноте протянул руки, чтобы взять меня и отнести домой, казалось, что он ничуть не удивлен и не рассержен, но я видел в тусклом свете фонаря, как он покачал головой, когда я начал умолять его позволить мне вернуться и провести ночь у Биско под толстым теплым стеганым одеялом.

Мне пришлось отпустить теплую руку негритянки, и я расплакался, но отец поднял меня и, держа фонарь в другой руке, понес по дорожке к нашему дому. Тогда я перестал плакать и обнял его за шею, чтобы было теплее. Пока мы шли домой по дорожке, освещенной фонарем, отец говорил, что мама хочет, чтоб я спал у себя, в своей кровати, потому что она должна знать, где я, а мама Биско хочет, чтобы он спал у себя, потому что тогда она может охранять его сон и не беспокоиться, что его нет дома, когда наступает ночь.

В освещенных дверях я увидел свою мать, и отец спустил меня с рук, и я побежал к крыльцу. Когда я попросил ее позволить мне переночевать завтра у Биско, она сказала, что пора со всем этим кончать и что мне больше нельзя ходить к ним в дом. Я спросил почему, и она сказала: потому, что я белый, а он негр, и я уже достаточно большой, чтобы понимать, что мы должны жить в разных домах.

Думая в тот момент только о горящих ярким пламенем сосновых поленьях и большой, покрытой стеганым одеялом кровати в доме Биско, я все еще продолжал горевать, что меня увели оттуда. Но моя мать не уступила, даже когда я рассказал ей, что Биско на ужин всегда дают жирные свиные котлеты, и пирог с требухой, и овощной бульон. Правда, она сказала, что если я пообещаю никогда больше не ходить к ним, мне тоже будут иногда готовить такой ужин. Я не сразу согласился дать обещание, потому что Биско был моим другом, и мне все равно было грустно, даже когда она добавила, что я смогу ужинать на приступке у очага, как это делает Биско.

Все это случилось много лет назад, однако до сих пор не изгладилось в моей памяти, и для меня по-прежнему ясен и значителен смысл того, что произошло.

Следующее сохранившееся в моей памяти событие, связанное с жизнью негров в Соединенных Штатах, произошло

неподалеку от реки Миссисипи, на дороге, пролегающей по мягкой, черной, пропитанной дождем земле графства Типтон в западном Теннесси. Было мне тогда лет четырнадцать, и я учился в восьмом классе.

Однажды сентябрьским днем я брел из школы по размытой дождем дороге и на полпути, когда мне оставалось еще полторы мили до дома, увидел человек двенадцать белых фермеров и лесорубов. Они толпились около бакалейной лавчонки на развилке и о чем-то возбужденно говорили. Было четыре часа, и земля еще дышала летним зноем. Как и в любой другой рабочий день, на мужчинах были вымазанные грязью комбинезоны с подвернутыми штанами и выгоревшие на солнце соломенные шляпы. Мне очень хотелось узнать, о чем так горячо спорят громкоголосые, размахивающие руками и жующие табак люди, и я уселся по другую сторону дороги на краю заросшей сорняками канавы.

Будь это суббота, в зрелище белых фермеров и лесорубов, собравшихся во второй половине дня на развилке у лавчонки, не было бы ничего необычного; там отдельной группкой стояли бы и негры, разговаривая между собой. Но ведь была середина недели, и ни одного негра поблизости не было.

Минут пятнадцать просидел я на обочине, слишком далеко, чтобы расслышать, о чем разговор, и к этому времени меня разобрало любопытство — очень хотелось узнать, что же, в конце концов, стряслось. Обычно, когда собирается компания фермеров и лесорубов, раздается смех или вдруг все сразу замолкают. А тут несколько человек говорили одновременно, и никто не смеялся. Я перешел через дорогу и подошел к ним поближе, чтобы услышать, о чем они говорят.

В те годы мальчишки знали, что взрослым нельзя докучать своим любопытством или прерывать их беседу у сельской лавчонки, если они сами тебя не позовут. За такой промах и по уху могли залепить и табачным соком в глаза плюнуть.

Но тут говорили все разом и, вопреки обыкновению, без недомолвок, поэтому я сразу же уловил достаточно, чтобы сообразить, что молодого негра по имени Санни Браун обвинили в изнасиловании двадцатилетней белой девушки, живущей неподалеку, на ферме. В этот день, как я понял из разговоров, Санни, вместо того чтобы спрятаться или удрать, рано утром пошел как ни в чем не бывало на лесопилку, где он работал уборщиком опилок. Отец этой девушки, ее брат и еще несколько человек отправились на лесопилку и вздернули Санни на дерево, а потом разрядили в него свои ружья.

Я никогда не видел девчонку, о которой они говорили, но в школе ребята постарше рассказывали, что любой может купить мешочек леденцов в сахарной пудре или шоколадных карамелек и пойти с ней гулять в лес, и смотреть, как она раздевается. Старшие мальчики говорили, что она сама всегда упрашивала, чтобы с ней легли, после того как она разденется голой и съест все конфеты. Санни я встречал почти каждую субботу у лавчонки на развилке, и мы в то лето два раза ходили вместе на рыбалку на Блю Крик.

Пока я слушал, спор между мужчинами разгорался все жарче, а голоса становились громче. Некоторые говорили, что они уверены, что девчонка, которая уже несколько лет была известна как проститутка, сама все выдумала про изнасилование и что Санни не следовало линчевать. Другие утверждали, что ни одного негра, который имел связь с белой женщиной, будь она даже шлюхой, нельзя оставить в живых. Раздавались злые угрозы, и кое-кто готов был вступить в драку.

Я понимал, что в такое время мальчишке там не место, потому что в любой момент кто-нибудь может вытащить револьвер и открыть стрельбу. Я выбрался из толпы и поплелся домой. В жаркие летние и осенние месяцы такие происшествия бывали нередко — по Миссисипи часто ходили слухи о судах Линча, да и в газетах иногда попадались сообщения о них.

Долго еще думал я: бывало ли когда-нибудь, чтоб негритянскому парню до того, как его линчуют, давали возможность доказать, что он не насиловал белую девчонку,— она сама заманивала подростков любого цвета кожи и готова была лечь с ними за горсть карамелек?

Западный район Теннесси находится далеко от центральной Джорджии, но я не мог не думать о том, не произойдет ли когда-нибудь с Биско то, что случилось с Санни.

Еще одно яркое воспоминание о жизни негров в южных штатах переносит меня на песчано-глинистые равнины у подножия Пьедмонтского плато в графстве Джефферсон, на востоке Джорджии. Тогда мне было лет шестнадцать, и я по воскресным дням ходил в каторжную тюрьму, где за частоколом держали человек сорок негров, закованных в кандалы с цепями и ядрами на ногах.

Шесть дней в неделю, с рассвета до заката, каторжники, одинаково одетые в полосатые — черные с белым — штаны и куртки, ремонтировали дорогу. Три раза в день им давали по миске какого-то варева и по ломтю кукурузной лепешки, а на ночь, все так же закованных в ножные кандалы с ядрами, их запирали в передвижные железные клетки шести футов длиной. И хотя цепей с них не снимали никогда, в воскресенье, в свой единственный нерабочий день, они пользовались относительной свободой.

Женам, детям и другим неграм ни при каких обстоятельствах не разрешали проходить за частокол. Однако стражники ничего не имели против того, чтобы по воскресеньям за ограду проходили белые, которые могли там оставаться до самого захода солнца, пока заключенных не запирали в клетки: как будто каторжная тюрьма — зверинец, и каторжники пользуются привилегией быть выставленными напоказ.

Я начал ходить в тюрьму по воскресеньям не из любопытства, а потому, что я знал одного из негров. Его звали Рой, и он с пятнадцати лет работал дворником у наших соседей. Когда ему было шестнадцать, его обвинили в том, что он украл тяжелый железный бак для мытья, валявшийся на заднем дворе дома, где он работал. Хотя одному человеку было явно не под силу поднять этот бак, и к тому же выяснилось, что никто не продавал его сборщику лома, Роя все же судили за воровство и приговорили к двум годам каторжных работ.

Я был уверен, что Рой не брал железный бак, не только потому, что он слишком тяжел для одного человека, но и потому, что Рой сам мне сказал, что не брал его. К тому времени, как его приговорили к каторжным работам, я знал его уже больше года и был твердо убежден, что он говорит правду.

Тем не менее Роя заковали в кандалы, и не было никакой надежды, что его выпустят раньше, чем он отбудет свой срок. Я стал ходить к нему за частокол по воскресеньям, и пока он чистил мне ботинки, я спрашивал его, что ему принести. С того самого раза, как я впервые увидел Роя, он напоминал мне Биско. Я не имел ни малейшего представления, как в действительности мог выглядеть Биско в шестнадцать лет, но мы все трое были одного возраста, и я помнил, что у Биско, как и у мулата Роя, светло-коричневая кожа, и у них обоих широкая улыбка и ласковый прищур глаз. Когда я ходил на свидание к Рою, мне казалось, что я снова с Биско.

За частоколом чистка ботинок стоила пять центов. Это были единственные деньги, которые каторжнику разрешалось зарабатывать, и за ваксу он должен был платить из своего заработка. Поскольку в команде заключенных было более сорока негров, а воскресных посетителей бывало не больше дюжины, заключенным не часто удавалось заработать даже и эти пять центов.

Сначала каждый раз, когда я давал Рою пятицентовую монетку, он возвращал ее мне и просил принести бумаги и табаку. Я вскоре привык прихватывать с собой табак и бумагу и отдавать их Рою, как только приходил. Никогда не забывая поблагодарить меня, он сразу же сворачивал сигаретку и медленно затягивался, удовлетворенно щуря глаза. После этого он целый час чистил и полировал мои ботинки, и мы разговаривали обо всем, что приходило нам в голову.

Иногда мы с Роем говорили о бейсболе и об охоте или рыбной ловле, в другие дни об убийствах, или про пожар, или о несчастном случае, который произошел с кем-нибудь в городе. Каторжники всегда придумывали что-нибудь смешное, и Рой рассказывал мне все новые анекдоты, которые он за это время слыхал. Неподалеку от нас каторжники играли в «дюжинку», то есть устраивали нескончаемый импровизированный концерт и по очереди пели придуманные ими песни, основной темой которых были половые вожделения и извращения. Рой всегда говорил, что это очень грубые песни, и он с этим не хочет иметь ничего общего. Когда день подходил к концу, он неизменно спрашивал, не знаю ли я о здоровье его матери и не встречал ли я кого-нибудь из его братьев или сестер. А потом, перед самым моим уходом, я спрашивал Роя, что еще, кроме пачки табаку и бумаги, принести ему, когда я приду в следующий раз.

Таким тоном, будто это слишком большая просьба, он отвечал, что, если ему в какой-нибудь воскресный день удалось бы заработать десять центов, он смог бы заплатить за две пачки табаку и бумаги, и ему хватило бы курева на всю неделю. Вскоре я стал приносить ему по две пачки и, когда нужно, баночку ваксы.

К концу лета, за неделю с небольшим до того, как каторжную команду должны были перевести в другое место, в пятнадцати милях от нас, я спросил Роя, чего бы ему хотелось больше всего. Ни минуты не колеблясь, как будто он уже давно все это обдумал, Рой сказал, что, кроме табака, ему больше всего хотелось бы парочку жареных свиных отбивных, самых больших, какие только можно выкроить из свиньи.

Охрана не разрешала проносить за частокол никакие свертки, за исключением табака и гуталина, и по воскресеньям всех входящих обыскивали у ворот, чтобы в лагерь не попали напильники или револьверы. Я, однако, был уверен, что мне удастся пронести для Роя свиные отбивные, если я засуну их под рубашку и крепко прижму руками. Я зажарил их дома в воскресенье утром, завернул каждую в кусок газеты и засунул под рубашку.

В тот день знакомый мне тюремщик не дежурил, и молодой охранник, которого я прежде никогда не видел, остановил меня у ворот и велел держать руки над головой, чтобы проверить, не несу ли я ножовку или пистолет.

Когда я поднял руки, он нащупал от-

бивные и посмотрел на меня с понимающей улыбкой. Сначала он сказал, что в следующий раз надо завернуть свиные котлеты в другую бумагу, чтобы сало не протекало на рубашку. А потом, когда я уже был в воротах, он добавил, что, если я еще раз это сделаю, в городе обо мне пойдет слава как о друге черномазых.

Когда Рой ел котлеты, я спросил у него, не знал ли он когда-нибудь цветного мальчика по имени Биско. Покачав головой, он сказал, что это имя ему незнакомо, но звучит оно приятно и располагающе. Я рассказал ему, как мы с Биско играли вместе, и добавил, что он похож на Биско, как родной брат.

Тут Рой взглянул на меня и сказал, что цветной мальчик с таким именем не может быть плохим парнем, и он надеется, что на долю Биско никогда не выпадет несправедливое обвинение в нарушении закона, что его не приговорят к каторжным работам и не застрелят. Вспоминая, что случилось с Санни в Теннесси, я, глядя на цепи с ядром на ногах Роя, ответил, что тоже на это надеюсь.

Неискушенный человек, впервые попавший в страну Биско, сплошь да рядом ловит себя на том, что начинает сочувствовать убеждениям родившегося здесь, на Юге, белого, со всей видимостью искренности утверждающего, будто у американского негра нет в мире лучшего друга, чем он. Убедив самого себя, он хочет убедить и других в том, будто негры видят единственную возможность обрести счастье и уверенность в завтрашнем дне в социальной, политической и экономической изоляции, обусловленной сегрегацией.

Независимо от того, нравятся ли приезжему эти убеждения или нет, он вскоре начинает понимать, что точка зрения расистски настроенных белых южан традиционна для «глубокого» Юга. Это — состояние ума и души, которое уже на протяжении многих поколений определяет жизнь Юга.

Поддерживаемое запугиванием рабство сохранилось на сельскохозяйственном Юге, особенно там, где выращивают хлопок, и через сто лет после гражданской войны. Оно определило образ жизни негров. Вынужденный работать за гроши, негр может обеспечить себя лишь минимумом питания, одежды и жилья. Таким образом столетие физической зависимости сменилось столетием экономической кабалы.

Все это время на негров смотрели как на пасынков фортуны, как на людей низшей расы, обреченных на сиротство божественным предопределением и обязанных испытывать чувство вечной благодарности за то, что их защищают от враждебности внешнего мира. В уплату за это самозванные благодетели требовали рабской угодливости и безропотного служения. Если негр отказывался платить, его можно было лишить пищи, одежды или наказать кнутом. Если он от этого не становился податливее, можно было обратиться к ночным всадникам ку-клукс-клана, которые умели угрозами внушать повиновение.

В шестидесятые годы достигло совершеннолетия новое поколение негров, образованных, знающих о своих человеческих правах, и оно восстало против искусственно поддерживаемой изоляции и дискриминации. Пробуждение в прошлом покорной расы смущает привычный образ мышления белых джентльменов из Луизианы и Южной Каролины. Вековые традиции расшатываются.

Некоторые из белых южан избирают путь негроненавистничества и проповедуют превосходство белой расы; другие, политически более проницательные, придерживаются расчетливой умеренности в расовом вопросе: третьи — таких, быть может, больше всего — громогласно заявляют, что они лучше знают, что нужно не вышедшим из состояния инфантильности неграм, и клянутся защищать их от опасной агитации чужаков, не способных понять местные условия Юга. Однако на «глубоком» Юге имеются и разумные, дальновидные люди,— хотя в настоящее время их меньшинство,— которые стремятся помочь американцам негритянского происхождения добиться заслуженного положения полноправных граждан.

Через центральный район Южной Каролины, между песчаными холмами на севере и береговой равниной на юге, проходит по диагонали широкий пояс так называемого «мулатозема». Впервые эту плодородную землю начали обрабатывать в восемнадцатом веке рабы либерийского племени гулла, трудившиеся на территории между реками Пи Ди и Саванна, и не один десяток плантаторов был обязан им своим состоянием.

«Мулатозем», смесь песка, жирной глины и органического перегноя, названный так на Юге за оливковый, отливающий бронзой цвет, представляет собой идеальную почву для выращивания табака, хлопка и зерновых. За долгие годы рабского труда плантаторы выкачали из этой земли колоссальное богатство, но даже это не смогло истощить ее плодородия. В наши дни, через сто лет после гражданской войны, механизированное сельское хозяйство, опирающееся на научные достижения, получает здесь более высокие урожаи, чем когда-либо в прошлом.

Современная обработка земли основана на прогрессивной замене ручного труда химией и машинами, и потомки рабов из племени гулла постепенно лишаются крова и работы. С уменьшением заработка резко падает уровень жизни сельско-

хозяйственного рабочего, который становится еще одной жертвой обычного для нашего времени обнищания в стране изобилия.

Когда на смену ему приходят химия и машины, а бульдозеры сносят его хижину, расчищая дополнительные площади под посевы и выгоны, у негра не остается выбора. Приходится отправляться со всей своей семьей в ближайший город в поисках жилья и работы. Там он, вероятно, поселится в полуразрушенном маленьком домишке в южной, негритянской части. Если ему повезет, он найдет сезонную полевую работу на несколько месяцев в году, или, быть может, ему удастся время от времени подрабатывать, подстригая лужайки или собирая мусор. И в то время как он и его семья влачат нищенское существование, раскинувшийся вокруг плодородный «мулатозем» в избытке родит новое богатство.

Он коренной южанин, этот благочестивый белый протестант лет пятидесяти с лишним. Образование его — восемь классов. Взгромоздившись за прилавок принадлежащей ему бакалейной лавчонки, он глубокомысленно рассуждает:

— Уж я-то знаю, о чем толкую, пора и всем остальным узнать правду,— говорит он.— О наших цветных мы заботимся хорошо. Если вы услышите, что они чем-нибудь недовольны, так это их чужие надоумили жаловаться, им самим это и в голову не пришло бы.

Вот почему мы и не желаем, чтоб сюда переселялись всякие там негры из Джорджии, в которых есть белая кровь. По имени я их не знаю, да и знать не хочу. Может, кого из них и звали Биско, а может, их всех так зовут. Кое-кто из них болтает, что они проповедники, другие хвастаются высшим образованием, а по-моему, все они смутьяны. Совсем как эти янки со своими мистерами ниггерами на телевидении. Вы понимаете, что я хочу сказать. Это я про телепередачи с Севера, там белые выступают с мистерами черномазыми, руки им пожимают — мистер Сэмми Дэйвис, мистер Гарри Белафонте, мистер Луи Армстронг, мистер Нат Кинг Коул. Вот от этого-то у наших цветных и заводятся всякие завиральные идеи.

Я вам расскажу, как хорошо мы относимся к цветным. Вот только в прошлом году мы отвели один из лучших городских участков под парк для них, чтобы у них был свой собственный парк, как у белых. И это еще не все. Мы им на наши кровные денежки школы новые выстроили, почище той старой рухляди, куда бегают белые ребятишки.

Теперь вы понимаете, почему цветным нечего жаловаться на то, как мы к ним относимся Если уж у кого и есть право жаловаться, так это у белых детишек, они-то ходят учиться в свои развалюхи мимо прекрасных современных школ для цветных. Между прочим, цветные великолепно обошлись бы своими старыми школами, если бы не вся эта агитация, затеянная правительством в Вашингтоне. Мол, у цветных должны быть новые школы, не хуже наших. И это после того, как мы всю жизнь работали, чтобы иметь то, что у нас есть, а они и пальцем не пошевельнули. Несправедливо это, скажу я вам, что парни из Вашингтона заставили понастроить школ на наши деньги. Похоже, что в последнее время голоса наши на выборах каким-то образом достаются не тем, кому надо.

В лавку вошел пожилой рабочий-негр в рваном комбинезоне и стоптанных расползающихся башмаках. Он купил фунт свиного сала и пакет овсянки. Пряча деньги в ящик кассы, хозяин сказал, чтобы он обязательно приходил еще, как только у него заведутся деньги на покупки. Когда негр вышел из лавки, хозяин заметил, что деньги цветных ничем не хуже денег белых людей и что он всегда рад заполучить их, чем больше, тем лучше.

— Я не знаю, почему на нас, южан, так взъелись,— продолжал он.— Это наверняка от невежества или подлости. В газетах теперь все время пишут, как на Севере то один, то другой поднимает крик: у нас дискриминация цветных. Вы вот только что видели, как я брал у цветного деньги. Я продаю цветным, как и всяким другим. Я бы и месяц не продержался, если бы не имел с ними дела. Дураком бы я был, вот что. Моя торговля наполовину зависит от цветных.

Никак не могу понять, черт побери, что там с ними делается на Севере. Всякие горлодеры без конца орут, что мы заставляем цветных жить, где мы хотим, а не там, где они хотят. Ничего подобного! Просто-напросто цветные привыкли жить среди своих, и порядочные негры не хотят ничего менять. Нет такого закона, чтоб им нельзя было переехать в какой-нибудь дом в нашей части города. И такого закона, что они должны жить в южной части, тоже нет. Вообще, когда есть хорошие обычаи, вроде как у нас, государству нечего лезть со своими законами.

Да и не бывает такого, чтоб у цветного завелось достаточно денег на покупку дома в нашей части города или на оплату хорошей квартиры. Они для этого слишком бедны. Им и несколько долларов в месяц, которые они платят за жилье в своем районе, нелегко наскрести. У меня есть дома в южной части, и я знаю, как трудно в конце месяца заставить негров платить то, что положено. Вечно они ноют, то им водопровод подавай, то уборные, чтоб не на улице и со спуском, или, видите ли, крыша течет, когда льет дождь, или крыльцо вот-вот

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ
В ПОИСКАХ БИСКО

провалится. Но это они только так, чтоб оттянуть плату за квартиру, когда срок подходит. Я на такие жалобы внимания не обращаю.

Нет, мы не боимся, что какой-нибудь цветной доктор, или учительница, или кто-нибудь в этом роде разбогатеет настолько, чтобы купить или снять дом в белой части города. Об этом беспокоиться нечего, и я вам скажу почему. Вся недвижимость в нашей части города принадлежит белым, и уж вряд ли вам доведется когда-нибудь увидеть, чтобы белый сдавал или продавал ее цветным. Никто из нас такого не сделает. Уж это я знаю точно.

И вот откуда я это знаю. Мы тут както недавно собрались вечерком вместе с агентами по продаже недвижимости и потолковали об этом. Они все честью поклялись, что к такой сделке не притронутся, сколько бы комиссионных им ни посулили.

Кто-то спросил: а что, если какой-нибудь участок земли в нашей части города будет продаваться с торгов после смерти владельца и по условиям завещания должен будет отойти к тому, кто даст за него наивысшую цену? Это законовыристый вопрос, ведь если в завещании есть такой пункт, то хочешь не хочешь, а закон соблюдай. Но нам не пришлось долго волноваться. Кое-кто из адвокатов — а они там тоже были — надоумили, как этот закон обойти.

Они объяснили, что, если такой шуткой заняться с умом, аккуратно, по-деловому, никаких неприятностей не будет. Я сейчас расскажу вам, как юристы велели нам поступить.

Если какой-нибудь цветной предложит более высокую цену, чем все другие, и добьется законного права на дом в нашей части города, мы должны будем поговорить с ним и убедить его, что лучше ему послушаться нас и быстренько перепродать дом.

На это, конечно, может потребоваться немало времени, и разговор будет серьезный, чего доброго, его поддержат какие-нибудь смутьяны, но уж мы поднажмем, и дело кончится тем, что он продаст дом, будьте уверены. Мы напомним ему, как хорошо мы относились к его народу в прошлом, и скажем, что это будет продолжаться, пока негры будут идти нам навстречу. Уж мы не дадим ему забыть о парке, отведенном специально для них, и о том, какую большую, новую школу мы построили им на наши деньги. И мы скажем, что нам будет неприятно, если все это придется отобрать.

Еще мы напомним ему, что в кино на открытом воздухе, на восточном шоссе, выделили один вечер в неделю для цветных, чтоб они могли подъезжать туда на своих машинах и смотреть картины, как все люди. Даже если ничто другое его не убедит, тут уж он наверняка навострит уши. Что-что, а уж это кино цветные потерять не захотят. Для них это теперь самый главный вечер во всей неделе.

Порядочные цветные знают, что мы для них сделали, и они не захотят вернуться к тому, чтобы у них опять ничего не было, как раньше. Конечно, водятся и такие среди них, которые подзуживают, науськивают, все чего-то требуют. Знаете, есть такие люди, они никогда не бывают довольны тем, что имеют. Только получат одно что-нибудь, парк там или новую школу, подавай им еще.

Но вообще-то порядочных цветных убедить можно, когда им объяснишь, что к чему. Они как маленькие дети, надо просто знать, как с ними обращаться, ну вот как со своими детьми — хочешь, чтоб они чего-нибудь сделали, даешь им конфет. Говорю вам, если б мы не знали, как с ними обращаться, цветные в наших краях одичали бы, как свиньи. Это уж как пить дать.

Мы бы и горя не знали, если б правительство в Вашингтоне перестало издавать законы в пользу цветных. Сколько я себя помню, по соседству в кафе висела на двери табличка: «Цветных не обслуживают». Раз правительство говорит, чтоб табличку снять, и цветных туда пускают, меня вы там не найдете.

Конечно, мне приходится иметь с ними дело здесь, в лавке, но они разговаривают со мной стоя, а не рассаживаются тут. Как только заплатят за покупки, так и убираются подобру-поздорову. А в соседнее кафе я не пойду, сидеть с ними рядом и есть вместе — еще чего не хватало! Вот тут-то я провожу цветной барьер, и ни один черт не заставит меня, чтоб я пошел против своих убеждений,— для этого у них в армии и солдат-то не хватит.

А насчет того, чтоб жить с неграми в соседнем доме, у меня такие же твердые принципы, как и насчет того, чтоб есть с ними за одним столом. На этом нашем собрании, о котором я вам говорил, кто-то сказал, что надо как следует подумать, что мы будем делать, если сюда и в самом деле пришлют солдат, чтоб помочь цветным вселяться в дома в белой части города. Вдруг случится, что им каким-нибудь путем удастся этого добиться, а с нами они не посчитаются.

Не знаю, что будет, даже если закон окажется на их стороне и солдаты тоже, но что-то произойдет. Не хотелось бы мне дожить до такого времени. Потому что я верю, что с цветными можно ладить, пока они живут отдельно. Но если кто из них все равно надумает въехать в дом, хоть его и предупреждали, а потом не захочет выехать,— ну, в городе слишком много таких людей, как я, которые этого не потерпят, дай только солнышку зайти.

Теперь я ничего об этом не хочу говорить. Но вы помните то место в библии, где сказано, что кто-то сидит на куче

пепла. Так вот как раз об этом я сейчас и думаю. Вы, наверно, понимаете, что я имею в виду.

На «глубоком» Юге между Мемфисом и Новым Орлеаном на площади в пятьдесят с лишним миль шириной и около четырехсот миль длиной раскинулась затопляемая паводками долина нижнего течения Миссисипи, покрытая глубоким влажным слоем наносных почв.

Ливни и талые воды с полей и из лесов одной трети Соединенных Штатов, от Монтаны до Теннесси, столетиями намывали в край Биско плодородные отложения перегноя, жирной глины, ила, верхнего слоя чернозема и «мулатозема», превратившие земли по обе стороны постоянно выходящей из берегов реки Миссисипи в сельскохозяйственный рай. Но без рабочих рук негров в этом раю ничего не уродилось бы, и поэтому сначала было официально узаконенное рабство, а потом незаконно навязанное рабство.

Этот обширный равнинный район отложенных текучими водами земель, обогреваемый субтропическим солнцем и омываемый обильными дождями, всегда назывался Дельтой, хотя настоящая дельта Миссисипи лежит намного южнее.

Никто не оспаривает права природы снимать пенки плодородия с широких просторов Америки и откладывать их в районе Дельты. Спорным является преимущественное право плантаторов наживаться на этой земле, безжалостно обрекая на нищету обрабатывающих ее людей.

Бассейн Язу — равнинная местность, созданная природой на востоке от могучей реки,— весь лежит в штате Миссисипи, и возделываемые здесь земли теперь надежно защищены от паводковых вод дамбами и плотинами. Сама Язу, как и Биг-Блэк или Бейю Пьер, является одним из многочисленных илистых притоков Миссисипи.

Большую половину населения бассейна Язу составляют потомки вывезенных из Анголы и Гвинеи рабов, несколько месяцев в году занятые на посеве, уборке и упаковке хлопка. Однако как бы густо ни был заселен неграми бассейн Язу, они — лишь небольшая часть живущего по обе стороны Миссисипи между Мемфисом и Новым Орлеаном негритянского населения Дельты, по сравнению с крайним обнищанием которого обыкновенная американская нищета в других районах может служить предметом зависти.

В городских трущобах или в ущелье Аппалачей безработный любого цвета кожи, нуждающийся в средствах к существованию, может встать в очередь и получить талончик на питание или пособие по безработице. Но сельскохозяйственных рабочих Дельты несправедливое законодательство исключило из программ государственной помощи.

Безработный, обнищавший негр Дельты может только надеяться, что сбудутся изредка доходящие до него слухи и он окажется тем счастливчиком, который получит вспомоществование в виде пищи и одежды от каких-то неизвестных лиц, обеспокоенных его несчастьем и знающих, как его найти. Этих продуктов питания и одежды, собранных какой-нибудь церковной, профсоюзной или другой общественной организацией, хватает лишь для того, чтобы в районах Дельты распространялись вселяющие надежду слухи, а не для того, чтобы обеспечить всех, до кого эти слухи дошли.

Молодой сельскохозяйственный рабочий-негр, его жена и трое детей в течение нескольких лет жили на хлопковой плантации в бассейне Язу, в четырех милях от ближайшего города. Дом, за который с них брали десять долларов в месяц арендной платы, представлял собой грубо сколоченную из покоробившихся от непогоды досок, покосившуюся двухкомнатную лачугу, построенную еще двадцать лет назад. В двух из четырех окон уже давно не было стекол, их заколотили листами проржавевшей жести, сорванной ветром с крыши.

Белый, которому принадлежали и дом и земля, не давал материалов для ремонта, и съемщик с женой решили смириться с протекающей крышей, но зато защитить себя от ветра и дождя, закрыв выбитые окна кровельной жестью. Ни размером, ни своим видом эта лачуга не отличалась от нескольких других, сданных в наем хижин, расположенных вдоль грязной размытой проселочной дороги в ряд, на расстоянии семи метров друг от друга. В пристройке позади каждой хижины помещалась уборная, завешенная куском мешковины вместо двери. Один насосный колодец обеспечивал водой всех жителей поселка.

Не в пример более осторожным и подозрительным старым поселковым неграм, которые боялись своими жалобами вызвать гнев и месть белого хозяина, молодой негр смело и свободно рассказывал о своей жизни.

— Уже семь месяцев, как я не работаю, с прошлого сентября. И за дом задолжал за пять месяцев. А еще хуже насчет еды. Нам почти все время нечего есть. Пустобрюхие, вот мы кто.

Белый хозяин обещал мне в этом году два месяца работы на рубке леса и два месяца сбора хлопка, вот я до тех пор и побуду здесь. Потом уж я точно уеду. Это я решил твердо. За эти четыре месяца я заработаю долларов по пять в день, заплачу ему свой долг за эту хижину и еще то, что полагается, раз я буду жить здесь, пока уборка не кончится.

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ
В ПОИСКАХ БИСКО

Я и моя жена, мы больше так не хотим — работать все лето, чтоб заплатить белому хозяину арендную плату за год, а потом сидеть в этом старом сарае всю зиму с пустым брюхом. В этом нет смысла. А в город переехать — тоже никакого толку. Платить надо столько же, а работы там не больше, чем здесь.

Я вам скажу, что я сделаю. Я поеду в Нью-Джерси. Обязательно. Вот увидите. А там уж я не буду больше работать на белого хозяина только четыре месяца в году, а платить за этот сарай двенадцать долларов, а вторую половину времени класть зубы на полку. Поеду в Нью-Джерси насовсем. Там теперь буду на жизнь зарабатывать, а не здесь.

Я уже был там один раз. Два года назад. Пришлось вернуться, отец захворал, меня вызвали, когда он помирал. У меня хорошее место было в Нью-Джерси, я работал на фабрике, где делают застежки «молнии». Мне два доллара в час платили все время, пока я там был, а здесь у белого хозяина и половины не получишь, да еще и работаешь-то только четыре месяца в году.

У меня там брат есть в Нью-Джерси, он-то и достал мне работу. Он живет там. Сюда совсем не приезжает. Говорит, что он теперь северный человек и не хочет вмешиваться в наши дела тут, на Миссисипи. Я на него не обижаюсь. Его тут однажды чуть не убили, когда один белый рассердился на него ни за что, ни про что и два раза выстрелил в него из дробовика. Он провалялся в канаве с водой всю ночь и следующий день. Белый его там оставил, думал, что он убит. Но он выле? и дотащился до какого-то дома, там ему помогли. Вот ему и неохота приезжать сюда, на Миссисипи.

Когда я отработаю свои четыре месяца на белого хозяина и выплачу долг за лачугу, брат пришлет мне деньги, чтоб мы всей семьей могли добраться до Нью-Джерси и жить там, как он. Это будет большой день. У моего брата там хорошее жилье с ванной и водопроводом, и тепла хватает в холодную погоду. Он на такой сарай, как вот этот, и не посмотрел бы! И я больше не хочу. Вот только разделаюсь на этот раз с работой и выплачу белому хозяину долг.

Белый хозяин сказал, что если я до отъезда не выплачу весь свой долг, он на меня найдет управу у шерифа. Зря он беспокоится. Я все выплачу до отъезда. Им меня не поймать в ловушку и не засадить в тюрьму, чтоб я не мог уехать в Нью-Джерси. Уж сколько я об этом думаю!

Я бы еще в прошлом году уехал в Нью-Джерси, когда мы уборку закончили, и я вернул белому хозяину весь свой прошлогодний долг, да вот моя мать болеет, мне сначала о ней позаботиться надо. За гроб она уже всю страховку выплатила, а вот за могилу еще нет. Мать живет в городе, у сестры, зарабатывать она больше не в состоянии.

Потому-то я еще здесь, а не в Нью-Джерси. Но как только я устрою матери эту похоронную страховку, сразу уеду. Уж на этот раз меня ничто не остановит. Я уеду и буду жить там, и брат раздобудет мне хорошую работу, и я буду получать столько, что мне хватит на еду и одежду для семьи.

Против белого хозяина я ничего не имею, только вот разве что он не желает починить этот старый дом да еще не дал мне выкопать могилу на его земле, чтоб похоронить отца, когда он умер без похоронной страховки.

Я сказал белому хозяину, что я сам весь ремонт сделаю и ему это ничего не будет стоить, только бы он дал немного кровельного материала, досок и гвоздей. Но он ответил, что не может тратить деньги на такой старый дом, который все равно вот-вот развалится. Тогда я попросил, чтоб он позволил мне снять старую крышу и доски с другого развалившегося дома, в котором и жить-то уж нельзя. А он не согласился и на это.

Не знаю, просто ли он жадный и злой или ему все равно, что будет с его цветными работниками. Но что-то такое здесь есть, потому что он к нам несправедлив. Я ему сказал как-то, что раз цветные на него работают и платят ему за жилье, то и жить им надо так, чтоб крыша не текла, когда дождь, и чтоб окна были целые, а то ночами полевые крысы так и ползают по тебе.

Но толку от моих слов никакого не было. Он просто разозлился. Да еще как! Крикнул мне, чтоб я заткнулся, если не хочу нажить неприятностей. Получается, что от разговора с белыми нам никогда никакой пользы не бывает. Есть, конечно, в стране хорошие белые люди, но он-то не такой.

Мой отец жил вон там по дороге, в четвертом доме. Он всю жизнь гнул спину здесь на плантации у белого хозяина, а раньше у его отца. Ему больше повезло, чем другим цветным, которые здесь померли, ведь он гробовщику-то выплатил страховку. А за могилу не успел заплатить ни гроша.

Вот я и спросил белого хозяина, не даст ли он мне двадцать пять долларов, чтоб было чем заплатить на кладбище за местечко для моего отца. Старый хозяин позволял хоронить цветных где-нибудь на усадьбе, когда они помирали, а молодой хозяин не разрешает.

Я обещал ему, что все отработаю, как только хлопок будет готов, пусть он не беспокоится, что не получит своих денег. Но он не позволил, и все тут. Писать брату в Нью-Джерси, чтоб тот выслал денег на могилу, смысла не было. Отец уже два дня как помер, а гробовщик предупредил, что по закону полагается забрать его и похоронить где-нибудь до конца третьего дня.

Вот тогда-то хозяин и сказал мне, что не даст ни цента. Я ему объяснил, что

мне нужно гроб с отцом куда-нибудь деть до захода солнца, а то гробовщик выставит его на улицу, позади своей конторы, и оставит там. Белый хозяин ответил, что это не его дело — хоронить моего отца

Может быть, другим людям этого не понять, но тогда-то я и понял, что беднее нельзя быть, чем тогда, когда ты хочешь кого-нибудь похоронить и не можешь достать денег на местечко в сырой земле. Вы думаете, для таких людей, как мой отец, устроено бесплатное кладбище? Ничего подобного, такого нет. Мне сказали, что в городе есть кладбище, где бедных людей хоронят бесплатно. Но это для городских, а не для деревенских, которые помирают нищими.

Соседи здесь, вдоль дороги, хотели помочь мне, но они не могли собрать таких денег. А дело уже шло к вечеру, солнце вот-вот зайдет. Тогда я еще раз пошел к белому хозяину и спросил: можно, я вырою могилу и похороню отца прямо здесь, во дворе за домом?

Вы, наверно, догадываетесь, что он сказал. Белый хозяин сказал, что, если я вырою яму где-нибудь на его земле и похороню в ней отца, он тут же трактором по этому месту пройдется, и уж никто никогда не узнает, где могила. Я пробовал ему доказать, что могила моего отца нисколечко его земли не займет, если он позволит мне вырыть ее под крыльцом или под домом, но он и слышать ничего не хотел. Он сказал, что ему ни к чему, чтоб в его земле гнили черномазые.

После этого нужно было что-нибудь быстро придумать. Времени-то оставалось в обрез. Солнце уже над самыми деревьями было. Я и трое соседей пошли на шоссе, где у одного из наших была лавчонка и грузовичок. Он нам дал его, чтоб съездить в город и забрать ящик, в который гробовщик положил моего отца.

Пока мы приехали в город, солнце уже зашло и ящик в самом деле лежал на улице, как гробовщик и говорил. Мы погрузили его на грузовик и поехали обратно. Мы вчетвером посоветовались, как быть, и решили, что остается только одно.

Уже совсем стемнело, только луна немножко светила, и похоже было, что скоро все затянет облаками и пойдет дождь. Мы съехали с шоссе, где обочина была пошире, и нашли самое высокое место, над канавой со стоячей водой, чтобы было сухо. Там мы и начали копать — лопаты-то мы прихватили с собой. Вырыли мы могилу по размеру, чтобы ящик поместился.

Никто из нас не был проповедником, мы просто постояли там, и шляпы сняли, и немного попели. Мы не громко пели, только так, чтоб песни были на песни похожи, ведь неподалеку жили белые люди, и им, чего доброго, захотелось бы узнать, что это происходит на шоссе, да еще ночью. Потом мы землю обратно побросали, ящик покрыли, немножко ее утрамбовали и дерном обложили сверху, чтоб никто ничего не заметил.

Сверху мы положили старый ржавый рекламный щит, который сорвало со столба,— чтоб не забыть, где это место.

Когда поедете обратно по мощеной дороге и свернете к городу, через полмили или около того увидите это место. Вы только на правую сторону смотрите, где проволочный забор, еще дерево такое корявое там стоит, вот вы и увидите прямо на земле рекламный щит хлебной компании, а рядом маленькая такая баночка из-под варенья с цветами.

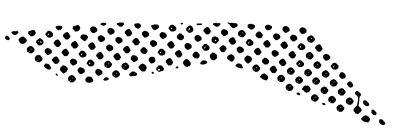
Это моя жена ходит туда каждое воскресенье и свежие цветы в банку ставит, ведь мать-то с постели не встает и пойти туда не может. А я сейчас выплачиваю двадцать пять центов в неделю страховки за могилу матери, чтобы было место, где ее похоронить, когда она умрет. А за гроб она уже все выплатила.

Я просто не могу навсегда уехать в Нью-Джерси и оставить здесь мать, пока не заплачено за место на кладбище. Нехорошо это будет, если ее зароют на шоссе ночью, чтоб никто не видел.

За шоссе присматривают, там по обочинам трава, и сорняки выпалывают и всякие бутылки из-под пива подбирают, что люди выбрасывают, но я все-таки решил, чтоб мать похоронили по-хорошему, раз отца не удалось. Я хочу, чтобы мать хоронили днем, со священником и чтоб пели громко, чтоб все было как у людей, когда приходит час умирать и ложиться в могилу.

Я не слыхал, чтоб какой-нибудь цветной приезжал сюда, в наш район Миссисипи из Джорджии или Алабамы. Если б он знал то, что я знаю, он бы остался там у себя или дальше поехал бы, в Арканзас. Может быть, там цветным и не лучше, но уж хуже, чем здесь, быть не может. Это точно.

Если б этот парень Биско меня спросил, то я посоветовал бы ему отправиться в Нью-Джерси, как я собираюсь. Я ничего не имею против того, что родился на Юге, но совсем не хочу, чтоб меня здесь в гроб вогнали.



НАШИ ГОСТИ

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ:

Я СМОТРЮ НА БУДУЩЕЕ РОМАНА ОПТИМИСТИЧНО

Макс Вальтер Шульц был в Москве в те дни, когда его роман «Мы не пыль на ветру» вышел на русском языке вторым изданием двухмиллионным тиражом. Он имел возможность видеть, как быстро исчезают с книжных прилавков два выпуска «Роман-газеты» с его портретом на обложке и какой интерес вызывает у нашего читателя это большое, эпического размаха произведение о «немецкой судьбе» — о днях суровой ломки всех жизненных устоев старой Германии, ломки, которая высвободила первые ростки социалистического настоящего Германской Демократической Республики.

Биография Макса Вальтера Шульца очень похожа на биографию многих его сверстников и соратников в Республике, и первую четверть века его жизни читатель легко может представить себе по судьбе главного героя романа «Мы не пыль на ветру», Руди Хагедорна. Сам Макс Вальтер Шульц говорит об этом так: «Мой роман автобиографичен примерно на пятьдесят процентов, хотя вообще об этом трудно говорить. С одной стороны, он автобиографичен, с другой стороны, в нем нет ничего автобиографического». Но о литературной судьбе Макса Вальтера Шульца нельзя сказать: «Биография писателя — это его книги». Он вошел в литературу необычно — уже в зрелом возрасте, сразу, своим большим романом «Мы не пыль на ветру», над которым работал многие годы, не боясь, что время его обгонит, и который пока остается (если не считать мелких публикаций) его единственным произведением. Творческая смелость здесь несомненна; несомненна и сильная писательская индивидуальность, не подверженная капризам моды, не гоняющаяся за легковесным успехом. («Сейчас очень часто бывает, что ценность литературы определяют не по ее действительному качеству, а по тому, модно это или нет. Я держусь другого мнения»,— говорит Макс Вальтер Шульц.)

Редакцию журнала «Иностранная литература» Макс Вальтер Шульц посетил вместе с Клаусом Штейнхаузеном, молодым писателем и преподавателем Литературного института им. И. Бехера в Лейпциге, директором которого Макс Вальтер Шульц в настоящее время является. Разговор быстро перешел на споры вокруг проблем романа.

Развивая свою точку зрения, уже высказанную на страницах нашего журнала,* Макс Вальтер Шульц говорит:

— Я считаю роман наиболее эффективным жанром, поскольку он дает писателю возможность наиболее полно выразить то, что ему хочется сказать. Роман многообразен и предоставляет возможность показать многообразие и сложность жизни. Роман уже не раз хоронили, вернее, пытались хоронить, но из этого ничего не выходило.

Что же касается «нового романа», который вернее было бы назвать «антироманом», то явление это сегодня уже не только французское. В Западной Германии несколько лет назад вышла книга Вальтера Йенса «Мастер» («Herr Meister»). Она содержит то, что должно было бы стать романом, то есть материал для будущего романа, не более того. Но автор считает, что это и есть роман. Однако в Западной Германии уже раздаются голоса, трезво оценивающие

* См. М. В. Шульц. О некоторых творческих проблемах романа. «Иностранная литература» № 6, 1964.

положение и считающие, что «новый роман» потерпел неудачу. Я согласен с теми, кто предсказывает скорый конец этому направлению. Это был эксперимент. Но за пределами литературных кругов он не получил никакого признания. Мне кажется интересным посмотреть с этой точки зрения на высказывания Бютора. Он сам называет себя эссеистом. В одной из своих статей он характеризует развитие повествовательного жанра литературы от эпоса до романа. Если у Гомера, по его мнению, в наибольшей степени выражена гармония личности и общества, то буржуазный роман доходит до высшей точки индивидуализма, при котором человек в сущности отделен от общества. Согласно Бютору, социалистический роман стремится утвердить общность между человеком и обществом, но попытки эти, по его, Бютора, мнению, тщетны. Поэтому Бютор утверждает, что социалистическая литература — это упадок эпоса. На самом деле в социалистическом реализме таятся возможности расцвета эпического творчества. Я считаю, что задача социалистического романиста заключается в том, чтобы показать человеческую индивидуальность в тысячах ее общественных связей, сохраняя конкретность и точность изображения. Без диалектического понимания единства противоречий здесь и шагу ступить нельзя. Личность и общество — вот суть романа. Без этого роман будет пресен, как суп без соли.

Лично я — оптимист и смотрю на будущее романа также оптимистично. Пусть на него нападают! Он слишком много вбирает в себя из жизни и слишком нужен жизни, чтобы люди могли обойтись без него. Кстати, у нас, в ГДР, толстые романы покупают и читают охотнее, чем тонкие брошюры.

Сегодняшняя литература Германской Демократической Республики — веский аргумент в пользу утверждения жизненности романа, его большой общественной роли. Наши гости называют новые имена и новые книги, которые привлекли внимание в самое последнее время,— «След камней» Эриха Нейча, «Актовый зал» Германа Канта, «Братья по оружию» Вернера Бройнинга, новую книгу Иоганнеса Бобровского «Левинская мельница». Характерно, что интерес читателей Западной Германии к книгам писателей ГДР настолько возрос, что издатели ФРГ стали выпускать их, а журналы — обсуждать. И хотя здесь нередко полупризнания смешаны с клеветой, факт остается фактом — заговор молчания вокруг литературы ГДР сломлен, ее уже нельзя игнорировать. Нельзя не видеть, что молодые, талантливые писатели социалистической Германии ставят в своих книгах большие проблемы общенационального развития.

Наши гости говорят по этому поводу:

— Прежнее укоренившееся мнение о нашей литературе в Западной Германии сейчас постепенно разрушается. Писатели ГДР регулярно выступают в Западном Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, в Гамбурге, и их выступления вызывают живейший интерес. Это, конечно, нас радует, мы рады за наших молодых писателей.

Жизнь молодежи и ее будущее — острый вопрос для современной Германии, совершенно по-разному стоящий в двух немецких государствах.

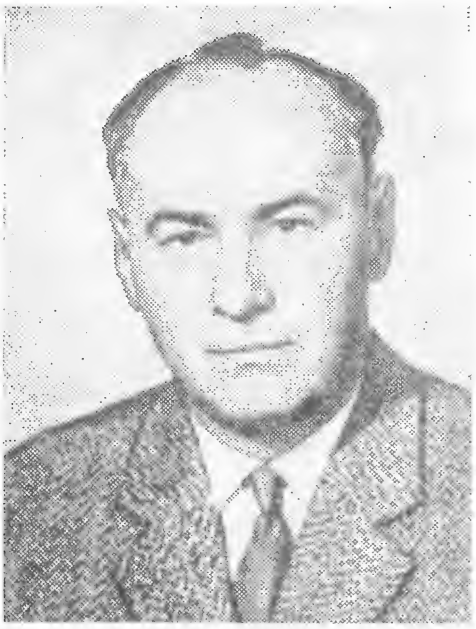
— Я думаю,— говорит Макс Вальтер Шульц,— что молодежи нужно внушить мысль Гете: то, что вам досталось в наследство от отцов, завоюйте сами. Молодежь ничего не принимает на веру, и так было всегда, это явление самое обычное и естественное. Как правило, молодежь до всего хочет дойти сама, и поэтому часто демонстративно отказывается от опыта и традиций. Так обстоит дело во всем — как в личных отношениях, так и в общественной жизни. И мы оказали бы нашим молодым дурную услугу, если бы требовали, чтоб они ходили по струнке. Все дело в том, чтобы у молодых здоровый критицизм не становился игрой в оппозиционность, не превращался в самоцель. Наш опыт показывает (и вы можете прочесть об этом во многих книгах наших писателей), что подчас самые противоречивые характеры оказываются наиболее стойкими, наиболее надежными. Критерий — наличие жизненной цели. Если человек ставит перед собой определенную цель, его можно воодушевить идеалом, соответствующим этой цели. И вот именно это — наличие настоящего идеала, возможность воодушевить им молодежь — большое преимущество нашего общества, нашего социалистического строя. Западный мир сегодня не имеет идеалов, которые привлекали бы молодежь.

Проблемы молодежи интересуют Макса Вальтера Шульца не только как воспитателя, но и как писателя. Во второй книге его романа «Мы не пыль на ветру» действие будет происходить не сразу же после окончания первой (как можно было бы предположить), а почти два десятилетия спустя, в наши дни, когда детям героев первой книги будет столько же лет, сколько им самим было в 1945—1946 гг. Скоро ли мы прочтем эту книгу? Вопрос, судя по всему, не очень легкий для Макса Вальтера Шульца.

— Я должен сказать, что у меня очень солидная должность, отнимающая слишком много времени. К величайшему моему сожалению, мне сейчас трудно работать над толстым романом. Мне даже трудно закончить повесть, которую я начал, тем более что она тоже из современной жизни. Если бы я писал не о современности, может быть, у меня и не было бы столько забот и хлопот.

Знакомство с романом «Мы не пыль на ветру» позволяет нам надеяться, что в тиши писательского кабинета Макса Вальтера Шульца зреют новые значительные книги о нашей современности.

П. Топер



ИМРЕ ДОБОЗИ:

БУДИТЬ МЫСЛЬ

У нас в гостях генеральный секретарь Союза писателей ВНР Имре Добози. Имя Добози хорошо знакомо венгерским читателям и зрителям. Он не только крупный романист, но и один из ведущих драматургов страны, известный киносценарист и публицист.

Театр переполнен. Действие развивается спокойно и неторопливо, без бурного взрыва страстей. Но люди в зрительном зале, кажется, накрепко срослись с тем, что происходит на сцене. А там два человека ведут между собой серьезный, даже суровый разговор. И в этом разговоре — сама жизнь с ее трудными, сложными и все же разрешаемыми вопросами. Пьеса глубоко гуманистична, ее смысл — в необходимости доверия к человеку, в том, что о человеке надо судить не по его вчерашним ошибкам, а по его сегодняшним делам.

Разговор не кончается. «Завтра продолжим» — так называется драма. И зритель уходит, размышляя над тем, что видел и слышал, додумывая недосказанное. Так бывает всякий раз, когда на сцене театра или на экране кино оживают произведения Имре Добози.

Естественно, что в беседе с Имре Добози основное место заняли вопросы, так или иначе связанные с тем, что происходит в венгерской литературе сегодня. По словам Имре Добози, в Венгрии сегодня — в отличие от Венгрии 1957—1958 гг.— нет писателей, которые молчат. В литературе, как утверждает Добози, происходит «консолидация творческих сил». И это явно способствует ее успеху.

— За последние семь-восемь лет,— говорит Имре Добози,— было создано немало выдающихся произведений почти во всех литературных жанрах. Появление произведений, пользующихся поистине широким успехом, свидетельствует о том, что литература теперь гораздо теснее связана с общественной жизнью страны, чем когда-либо после освобождения. Можно с уверенностью сказать,— продолжает наш собеседник,—что по такому вопросу, как строительство социализма в нашей стране, в венгерской литературе существует полное единство взглядов. Конечно, это политическое единство не исключает расхождений во взглядах на ту или другую сторону жизни. То обстоятельство, что наше общество, строящее социализм, отстоявшее его в борьбе с контрреволюцией, переживает переходную эпоху, накладывает свой отпечаток и на литературу.

Стремясь познакомить нас со своеобразием венгерской литературной жизни, Имре Добози обращает внимание на двойственность литературных традиций Венгрии. Самая значительная и постоянная традиция — реалистическая, идущая от одного из основоположников современной венгерской поэзии, Шандора Петёфи. Другую, более позднюю, традицию авангардистского толка представляют литераторы конца XIX — начала XX века: Бабич, Костоланьи и другие. Эти две традиции и по сей день живут и, по выражению нашего гостя, «сосуществуют» в современной венгерской литературе. Имре Добози не склонен отвергать ни одну из них. В настоящее время, по его мнению, постепенно происходит процесс преобразования авангардистской традиции, сближения ее с реалистической, совершающийся на основе общих принципов социалистического развития венгерской литературы.

Хотя большинство венгерских писателей признает эти общие принципы, кое-кто из них иногда еще отдает дань предрассудкам, оставшимся в наследство от прошлого или благоприобретенным под влиянием той западноевропейской литературы, которая верна этим предрассудкам. Иногда еще создаются и издаются книги, согласно которым будто бы существует неразрешимое противоречие между какой бы то ни было властью и моралью, между политикой и искусством. Оспаривая эту ошибочную точку зрения, коммунисты отстаивают свои взгляды, свою позицию.

— Мы не можем делать уступок в области идеологии,— говорит Добози, подчеркивая тут же, что борьба ведется не против людей, придерживающихся ошибочных взглядов, а против самих взглядов.— Мы не так богаты, чтобы разбрасываться талантами,— замечает Добози,— мы делаем все возможное, чтобы сберечь для страны и для социализма всех без исключения талантливых писателей.

Наш гость с удовлетворением говорит об «оживленной духовной жизни» своей стра-

ны. Все чаще возникают дискуссии, их предметом все больше становятся конкретные вопросы и конкретные произведения, а не отвлеченные проблемы, как бывало нередко прежде. Добози полагает, что настала пора теоретических обобщений, вытекающих из осмысления конкретных фактов литературной жизни, из того нового, что уже существует в литературе сегодня.

Рассказывая о дискуссиях, посвященных проблемам реализма, Добози вспоминает слова венгерского поэта Дьюлы Ийеша: писателю незачем выдумывать конфликты, их полным-полно в жизни; события совершаются не в мозгу писателя, а в реальной действительности; продуманные и прочувствованные писателем, они перевоплощаются в искусстве. По мнению Добози, это наиболее убедительный и самый простой ответ на вопрос о реализме в искусстве.

— Суть проблемы,— говорит далее Добози,— заключена в актуальной, современной трактовке вопросов реализма. Что значит реализм с точки зрения полноты, цельности изображения? Значит ли это, что общественное развитие необходимо отображать в художественном произведении во всей его полноте, всесторонности, глубине, с широким охватом событий — словом, так, как это сделано в «Войне и мире»? Или, отображая бурные общественные движения наших дней, следует отбирать немногое, но значительное, то, что свидетельствует об отмирании старого и рождении нового?

У меня лично складывается такое мнение, что в наши дни следует отдать предпочтение второй точке зрения. Человеческая жизнь становится все более сложной, все более многообразной. Охватить ее во всей полноте — задача, трудно осуществимая. То понятие полноты, которое осталось нам в наследство от критического реализма, сейчас уже несовременно. Продолжать писать в строгом соответствии с этим пониманием сейчас уже невозможно, это пошло бы в ущерб глубине изображения, в ущерб замыслу самого писателя и тем идеям, которые он хочет вложить в свое произведение. Главная задача реализма нашего времени— будить мысль.

Как известно, лейтмотивом западноевропейской литературы стала мысль о том, что человек не в силах оказать воздействие на ход истории, что его судьба от него не зависит, что ему остается только одно: замкнуться в самом себе. Наше социалистическое общество, люди которого связаны общностью целей и интересов, дает возможность иного взгляда на человеческую судьбу. И этим в нашей литературе определяется многое.

Вопрос жизни и смерти нашей литературы заключается именно в том, будет ли она помогать людям жить или будет оставаться в стороне от их жизни.

В этой связи Имре Добози касается творчества довольно большой группы молодых венгерских литераторов. Он отмечает, что творчество этих молодых авторов характеризуется как раз стремлением помогать людям жить, бороться за устранение всего отжившего, мешающего движению вперед. Гнев литературной молодежи направлен против стяжательства, карьеризма, угодничества, боязни ответственности, равнодушия к общественной жизни.

Говоря о молодежи, Имре Добози отмечает прежде всего творчество Эндре Фейеша и Ференца Шанты. Роман Фейеша «Кладбище ржавчины» и роман Шанты «20 часов» — самые популярные книги последних двух лет. По первому произведению написана пьеса, имевшая огромный успех в театральном сезоне 1963—1964 гг., а по второму произведению режиссером Золтаном Фабри снят одноименный фильм, прошедший с успехом по экранам Венгрии и получивший Большой приз Московского кинофестиваля в нынешнем году. Из других талантливых молодых литераторов Имре Добози называет Лайоша Галамбоша, Кароя Сакони, Лайоша Барата, Ференца Бараня и др. Он, в частности, упоминает драму Сакони «Жизнь моя, Жока», которая, по его словам, оказала большое влияние на театральную жизнь Венгрии.

Успешное развитие венгерской литературы, говорит Добози, способствует повышению интереса к ней за рубежом. У Союза писателей ВНР устанавливаются все более тесные международные связи, в первую очередь с литераторами социалистических стран. Растет интерес к современной венгерской литературе и на Западе. Из года в год увеличивается количество венгерских книг, издаваемых во Франции, Англии, Западной Германии. Однако, отмечает Добози, интерес к венгерской литературе носит двойственный характер. С одной стороны, кое-кто в западных странах пытается доказать, будто венгерская литература не имеет ничего общего с социалистическим реализмом, будто она по духу ничем не отличается от западноевропейской. С этой целью выискивают такие венгерские книги, которые дают повод для подобного суждения. К счастью, замечает Добози, таких книг мало. Иного рода интерес, причем значительно более живой, проявляется общественностью Западной Европы к подлинно оригинальным произведениям современной венгерской литературы. Издание таких книг в западных странах способствует распространению правды о строительстве социалистического общества в Венгрии.

В конце беседы речь заходит о творчестве самого Имре Добози. Как-то в одном из своих интервью он сказал, что не мыслит своего творчества без современной темы, причем прежде всего и больше всего его интересуют вопросы социалистической морали. Именно эти вопросы и поднимаются в новой драме Добози, над которой он сейчас работает. Эта драма — о долге человека перед обществом. Ее смысл заключается в следующем: если человек, находясь на каком-то посту, не выполняет своих обязанностей перед обществом, то это с неизбежностью порождает вокруг него гнилую атмосферу беспринципности.

Одновременно с работой над драмой Имре Добози продолжает работу над рома-

ном, которую намеревается завершить к концу года.

— В романе говорится о 1944—1945 гг.,— рассказывает он.— Об этом периоде написано много книг, но те, что я знаю, чем-то меня не удовлетворяют. В каждой чего-то не хватает, и всякий раз я, замечая те или иные пробелы, испытываю чувство досады. В конце концов,— улыбается наш собеседник,— я восстал против самого себя: «Почему бы и мне не попытаться написать об этом? Ведь я все это пережил».

С 1944 года Имре Добози был командиром отряда венгерских партизан, боровшихся против фашизма.

— Сам не знаю, как я взялся за это дело,— шутит он,— ведь по природе своей я не герой, а на фронте бывали случаи, что даже трусил, но не мог все бросить и убежать, потому что был командиром.

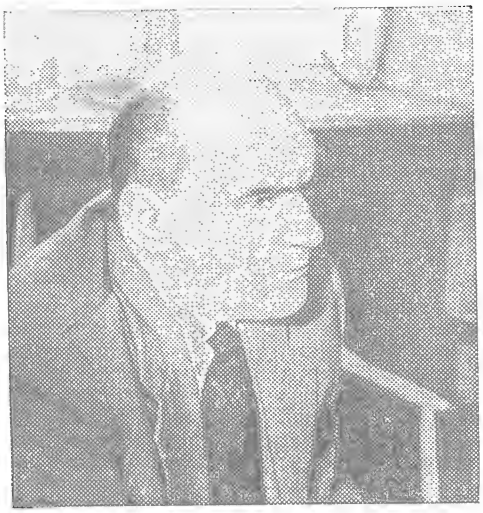
В новом романе Добози, который будет называться «Мост», говорится о боевой дружбе венгерских партизан о советскими солдатами.

— Мы тогда узнавали друг друга в суровых условиях,— вспоминает Имре Добози,— и не просто узнавали, а познавали друг друга — как люди и как коммунисты. Война не веселая прогулка в хорошей компании, и наши отношения бывали не только дружескими. Общаясь с советскими людьми, я обнаруживал в них такие качества, которые привлекали меня все больше и больше. Я знакомился с ними ближе, замечал в их характерах хорошие и плохие черты. И в конце концов понял: было в них что-то такое, благодаря чему они победили. И дело тут не только и не столько в силе оружия, сколько в человеческом поведении, в выдержке убежденных коммунистов.

Беседа окончена. Мы прощаемся с Имре Добози, надеясь в скором будущем продолжить наш разговор в Москве или в Будапеште.

— Я думаю, что правильнее было бы сказать не «или», а «и»,— поправляет Добози.— Встретимся еще раз и здесь, и в Венгрии!

И. Никитин



ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ:

ЖИЗНЬ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ

Роман, эссе, рассказ, биографическая повесть, мемуары и, конечно, поэзия — с каждым из этих жанров связано для нас имя Ярослава Ивашкевича, в произведениях которого отразился целый мир — пять десятилетий жизни современной Польши.

Отмечая семидесятилетие Ярослава Ивашкевича, журнал «Иностранная литература» познакомил читателей с главой из его книги «Хвала и слава» и с кратким очерком его творчества, написанным польским критиком Рышардом Матушевским.

И вот Ярослав Ивашкевич у нас в редакции. Мягкое «Здравствуйте» по-русски, первые шутки — уж никак нельзя поверить, что он и в самом деле «распечатал» восьмой десяток. Ивашкевич любознателен и неутомим. За короткий срок своего пребывания в Москве он успел посетить музей Рублева, посмотреть в театре на Таганке «Десять дней, которые потрясли мир», в Музее изобразительного искусства — в который раз — вернуться к нашему собранию импрессионистов. И все это — кроме поездки в Киев, где снова встречи с писателями, беседы с друзьями.

Многое связано с Украиной в жизни Ивашкевича. Здесь он родился, учился в киевской гимназии, здесь прошла его ранняя юность, первые размышления о жизни, о своем призвании. В раздумьях и спорах его героев часто присутствует Россия, Советский Союз — преломленная в судьбах этих людей, в памяти вновь и вновь возникает сложная история взаимоотношений Польши и России, общее в стремлении создать культуру, отвечающую духовным нуждам времени.

Обмениваемся последними новостями о литературной жизни наших стран. Член Всемирного Совета Мира, председатель Союза польских писателей, Ивашкевич участвует во многих международных встречах и не устает подчеркивать, сколь важно и ценно общение писателей разных стран — оно создает возможность взаимного обмена суждениями, мнениями, взглядами на задачи творчества, на роль литературы в современном мире.

Вопрос об отношениях между личностью и миром Ивашкевич считает своей главной темой. Активное действие или пассивное созерцание, стремление повлиять на ход событий или самоуглубление, поиски «внутренней свободы» — предоставляя своим героям выбрать тот или иной путь, Ивашкевич воссоздает жизнь во всей ее, порой трагической, сложности. Его книги — особенно «Хвала и слава» — несут в себе философское осмысление современности. Отвечая тем критикам, которые упрекают его в пессимизме, поскольку многие его герои терпят поражение, Ивашкевич недавно так определил характер своего творчества.

— Жизнь всегда побеждает. Возьмем, например, «Икара», которого я написал сразу после войны. Этот мальчик погиб, но дело ведь победило. Януш Мышинский в «Хвале и славе» тоже погибает, но его оранжерея остается. Я не люблю символов в искусстве, но это, несомненно, своеобразный символ. Я думаю, что в решающем его звучании мое творчество не следует считать пессимистическим. Мне кажется, что оно не вселяет недоверия, не таит в себе безнадежности... Я — человек без комплексов, они для меня не существуют. Поэтому фон моих книг следует считать скорее светлым. Меня не мучают запутанные проблемы, которые мне хотелось бы распутать, которые наполняли бы меня — как это теперь принято говорить — чувством отчуждения.

Поэт, новеллист, романист, драматург — Ивашкевич неизменно требователен к себе:

— Удовлетворение? Его не бывает. Ни одному писателю не дано его испытать. Когда он доволен собой, он перестает быть писателем, ведь всякое произведение всегда в конце концов оказывается лишь частью того, что писатель хотел сказать. Когда пишешь, веришь, что высказываешься со всей полнотой, а когда произведение окончено, испытываешь неудовлетворенность,— признавался он в интервью, опубликованном в этом году в газете «Жице Варшавы».

Ярослав Ивашкевич — главный редактор журнала «Твурчость», и, естественно, разговор завязался по поводу того, чем «болеет» всякий литературный журнал,— о тиражах, о том, как объять необъятное: «втиснуть» в каждый номер журнала все произведения, которые того заслуживают.

Мы расспрашиваем Ивашкевича о польских писателях, которые хорошо известны у нас,— Ежи Стефане Ставинском, Станиславе Леме, Зофье Посмыш, Марии Руткевич,— и о тех, с которыми нам следует познакомить наших читателей.

В течение шести лет возглавляя Союз польских писателей, Ивашкевич, кажется, не пропускает ни одной книги своих собратьев — так детально выписана им картина польской литературы наших дней. Есть, конечно, произведения серые, слабые, где правит дурной вкус, но как только речь заходит о книге талантливой — пусть даже стиль и манера ее автора далеки Ивашкевичу,— он оживляется, увлеченно доказывает нам, в чем ее достоинства, почему ее надо бы перевести, немногословно, но выразительно «лепит» творческий портрет автора.

— А где сейчас Бреза?

— В Париже. Работает в нашем посольстве, жалуется, что очень занят.

— Очевидно, надо ждать романа о Париже?

— Бреза любит писать о католицизме, и после книг о Ватикане следует, наверно, ждать «Парижскую богоматерь»! — шутит наш гость.

Будущее литературы и искусства? В отличие от некоторых своих коллег, Ярослав Ивашкевич не испытывает по этому поводу серьезных опасений. Разумеется, кино и телевидение оказывают на литературу и на читателя свое влияние, они даже могут сделать книгу более популярной — так бывает, когда режиссер обращается к экранизации произведения писателя,— но «убить» литературу они не могут. Конечно, и проза претерпевает изменения, многие ее новшества преходящи, но «от каждой моды что-то остается в литературе». Хотя Ивашкевич много лет отдал своему трехтомному эпическому роману «Хвала и слава», он считает, что сейчас больше всего надо ждать от повести и эссе.

— Как ни популярны кино и телевидение, мы живем в век книги,— говорит наш гость,— но не следует забывать, что современная техника позволяет уже реально думать о синтезе искусств.— Одной из таких попыток Ивашкевич считает пражскую «Латерна магика». Мысли о связи разных сфер искусства столь важны для Ивашкевича, что по его инициативе, рассказывали нам польские друзья, был организован в Варшаве в Союзе писателей цикл лекций о взаимодействии литературы с музыкой, кино, театром, изобразительным искусством.— Современный литературный процесс,— подчеркивает Ивашкевич,— невозможно понять вне контекста всей современной культуры.

В разговоре о своих планах Ивашкевич очень сдержан: завершена работа над «Гейденрайхом» — маленькой повестью о восстании 1863 года. Это, настаивает автор, литературное произведение, а не исторический труд. Закончен новый рассказ для журнала «Твурчость». Написано несколько стихотворений.

Когда же его настигает неизбежный при всякой подобной беседе вопрос: «Над чем вы работаете сейчас?» — он откровенно лукавит:

— Ни над чем. Пора и отдохнуть!

И смеется.

Кто знает, может быть, и это путешествие добавит какие-то штрихи в его новую книгу?

Е. Сергеева

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

В ПУТИ

Дорога. Рассказы и повести ангольских писателей. Переводы с португальского под редакцией Р. Похлебкина. Составление Кастро Сороменьо и Л. Некрасовой. Предисловие Ю. Оганисьяна. Москва, «Художественная литература», 1964. 198 стр.

Составители этого сборника ангольской прозы нашли для него очень удачное название — «Дорога». Ибо дорога, по которой идет народ Анголы, тянется из глубины веков, и герои рассказов, собранных в этой книге, как бы отмечают этапы пройденного пути.

Раскрыв книгу, читатель ступает на мало известную ему землю, землю очень древнюю и вместе с тем очень новую,— он открывает Анголу для себя.

У этой страны нет писаной истории. Португальские конкистадоры всячески стремились изгладить из памяти народа все, относящееся к его древней культуре и цивилизации. Но историю заменила легенда — достоверная недостоверность.

Старинная легенда, пересказанная известным ангольским писателем и литературоведом Кастро Сороменьо* и помещенная в начале сборника «Дорога», как бы заменяет собой исторический очерк. Это легенда о любви Лусежи и Илунги, повествующая о возникновении Земли дружбы — государства Лунды, которое существовало на землях нынешней Анголы и достигло к XVII столетию — эпохе насильственной колонизации — своего расцвета.

Кастро Сороменьо поэтично передает старинное сказанье. Неторопливо развертывается перед читателем жизнь патриархальной ангольской общины: старые и мудрые вожди племен, сидящие у порога своих хижин, женщины, работающие в поле от зари до зари, храбрецы охотники, терпеливо ждущие ветра, чтобы начать охоту огнем... Но вот задул ветер—и читатель словно видит перед собой бушующее пламя, бегущее по саванне, обезумевших от страха зверей, несущихся прямо на охотников, слышит их торжествующие крики.

Вслед за ветром герой легенды Илунга с отрядом охотников уходит все дальше и дальше от родных земель. Он попадает во владенья юной царицы Лусежи, подданные которой охотятся с помощью пращей, еще не зная железных стрел. Илунга обучает их стрельбе из лука. Полюбив Лусежи, он отстаивает перед вождями племен свое право стать ее мужем. Вожди скрепляют договор о вечной дружбе, и тогда возникает государство Лунда — Земля дружбы.

Кастро Сороменьо не грешит излишней поэтизацией старины. Он пересказывает услышанное преданье, уснащая его многочисленными деталями реальной жизни и быта ангольцев. И в пересказе как бы возрождается исчезнувшая история народа.

Вьется и вьется дорога из века в век и переносит читателя в XIX столетье: португальцы уже укрепились в Анголе, торговля черными рабами идет вовсю: оторванные от родного селенья, от семьи, они гибнут и гибнут на плантациях, в рудниках, в незнакомых городах, где властвуют белые. Гибнут, но сохраняют истинное благородство и душевную красоту. Об этом пишет Лилия де Фонсека в рассказе «Черная кормилица».

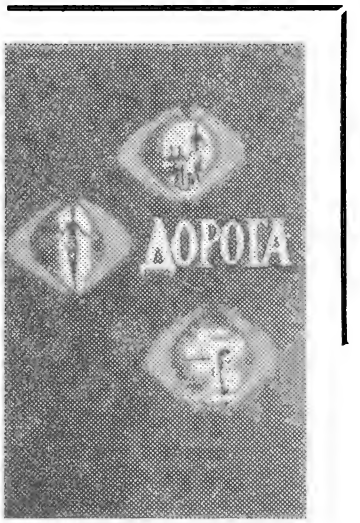
Богатый португалец покупает анголезку, чтобы та кормила его новорожденную дочь: у жены нет молока, девочка при смерти. Тоскуя по мужу, по родной деревне, корми-

* Рецензия на роман Кастро Сороменьо «Мертвая земля», вышедший в русском переводе, была опубликована в «Иностранной литературе» № 5, 1963 г.

лица, со своим маленьким сыном за спиной, ночью бежит от белого хозяина. В пути мальчик погибает, кормилицу силой возвращают обратно. Величайшее горе, ненависть к тем, кто погубил ее сына, не могут лишить человечности эту простую ангольскую женщину: услышав голодный плач малютки, черная кормилица прикладывает ее к груди.

Большинство рассказов сборника посвящены Анголе XX века. Вот они, современные ангольцы: измученные голодом и тяжким трудом, неграмотные, не обладающие и самыми малыми правами. Белые колонизаторы отняли у них все. Ангольцы хотят, чтобы люди с различным цветом кожи были равны,— колонизаторы воздвигают между ними невидимый, но непроходимый барьер (рассказ «Асфальтовая граница» Луандино Виейры); ангольцы хотят, чтобы их дети учились,—колонизаторы лишают их последних средств к существованию («Фаустино» Л. Виейры); ангольцы хотят найти приличную работу — колонизаторы отнимают у них и то нищенское жалованье, которое они получают («Неудачник» Марио Антонио); ангольцы хотят, чтобы их дочери вели достойную жизнь,— колонизаторы толкают их к проституции («Марселина» Л. Виейры); ангольцы хотят сами воспитывать подрастающую молодежь — колонизаторы сманивают юношей и развращают их лживыми посулами («Дорога» Коста Андраде).

Подбор рассказов в сборнике «Дорога», выполненный Кастро Сороменьо и Л. Некрасовой, создает у читателя рельефную картину судеб народа Анголы в разные эпохи. И эта картина ярко освещена солнцем грядущего. Ибо уже и в сборнике «Дорога» читатель встречается с теми, кто приближает будущее страны. Это ангольцы-рабочие, осмелившиеся высказать свой протест; они выступают против гнета белых колонизаторов, они стойко держатся на допросах и пытках, они стремятся к знаньям, к работе на благо своего народа. Таковы герои рассказа Л. Виейры «Кинзиньо» и



повести Мунделе диа Кванзы «Путь Домингуша Шавиера» *.

Появление этой повести характерно для нового этапа развития литературы Анголы. В стране растет освободительное движение — и оно дает литературе новых героев. Простой рабочий Домингуш Шавиер, в начале повести лишь инстинктивно тянущийся к правде, к концу произведения становится сознательным борцом, мужественно и стойко переносящим изощренные пытки, но свято хранящим «тайну своего народа». И хотя Домингуш погибает, смерть его и других, подобных ему, героев означает лишь, что они начали «свой новый путь, свою новую истинную жизнь в сердце ангольского народа».

Л. ФЕЙГИНА

* Опубликована в «Иностранной литературе» № 9, 1963 г.

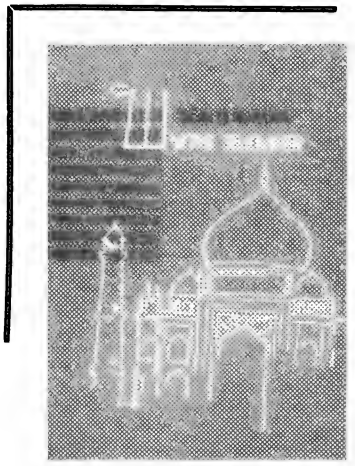
ШУМ ВОЛН ГНЕВА НАРОДНОГО

Калькн. Шум волн. Роман. Перевод с тамильского и примечания А. Ибрагимова. Предисловие А. Ибрагимова и В. Павлова. Москва, «Художественная литература», 1964. 495 стр.

«Перевод с тамильского...» — в последнее время эти слова все чаще встречаются советскому читателю. В конце 50-х годов мы познакомились с первыми переводами рассказов Пудумейпиттана, Джанагирамана, Рахунадана, Джеяхандана и некоторых других тамильских писателей Индии и Цейлона, опубликованных на страницах различных журналов и сборников. За этими отдельными рассказами последовали сборники — рассказы Пудумейпиттана «Свет любви», подготовленные А. Ибрагимовым (1961), «Тамильские народные пословицы и поговорки» в переводе Н. Волкова и К. Афанасьева (1962), всемирно знаменитый «Курал» Тируваллувара, переведенный Ю. Глазовым и А. Кришнамурти (1963), самая почитаемая книга в Южной Индии, написанная 1500 лет назад. Совсем недавно впервые прочитали мы и стихотворения Субраманьи Баради — основоположника новой тамильской поэзии, переведенные на русский язык группой ленинградских поэтов (1963) *.

Теперь перед нами один из образцов современного тамильского романа. В двухты-

* Рецензия на сборник Субраманьи Баради была опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1964 г.



сячелетней тамильской литературе, которая почти на всем протяжении своей истории была поэтической, жанр романа едва ли насчитывает сто лет. Кальки (псевдоним писателя Р. Кирушнамурти) сегодня признанный его мастер.

Как и большинство тамилов-брахманов, Кальки (1899—1954) начал с религиозной поэзии. Но его детство и юность совпали со временем возрождения индийской культуры, временем стремительного роста национального самосознания, началом активной антиколониальной борьбы индийцев. И это не могло не отразиться на его формировании как гражданина и как художника.

Работа в журнале «Нава сакти» («Новая сила») в 20-х годах, страстная публицистика, переводы речей М. Ганди на тамильский язык, рассказы, стихи, критические статьи, исторические романы и повести (его перу принадлежит около сорока книг), редактирование созданного им в 1941 году и пользующегося ныне большой популярностью журнала «Кальки» — таков вкратце путь этого виднейшего современного тамильского прозаика, первого председателя Ассоциации тамильских писателей.

«Шум волн», последний роман Кальки, был любимым детищем романиста. Отдельной книгой он появился в 1953 году. Сахитья Академи (Литературная академия Индии) в 1956 году посмертно присудила автору свою премию. Эта книга — широкое историческое полотно; здесь правдиво, объемно и зримо отражена жизнь Индии начала 30-х — конца 40-х годов: от сессии Национального конгресса 1931 года, выработавшей основы гражданских прав, до 1947 года, когда Индия стала независимой.

На страницах романа мы встречаемся не только с вымышленными персонажами, но и с реальными историческими личностями, среди которых Раджендра Прасад, Джавахарлал Неру, Махатма Ганди и многие другие участники событий тех дней. Стихи Баради, Тулсидаса и Таюманасвами, литературные аналогии, народные песни, мифологические герои, персонажи известных каждому индийцу «Рамаяны» и «Махабхараты», искусно вплетенные в текст романа, придают ему неповторимую образность.

На широком фоне воссоздает Кальки историю нескольких поколений тамильских брахманов, делая их свидетелями и участниками национально-освободительного движения. Героиня романа Сита и ее муж Рахаван — два полюса в этой битве. Она, однажды прозревшая, беззаветно отдается делу освобождения народа; он — прислужник колонизаторов, убежденный реакционер-шовинист, для которого собственная карьера дороже всего. В краткой рецензии трудно даже назвать всех действующих лиц, с которыми так или иначе связаны основные герои Кальки. Здесь и сознательные участники национально-освободительного движения Тарини, сестра Ситы, и Сурья — деятели Индийского Национального конгресса, осуждающие кастово-сословную систему и религиозные предрассудки, протестующие против национальной розни, отстаивающие эмансипацию женщин. Здесь и представители старшего поколения, которые сомневаются в возможности каких-либо перемен. Это райбахадур Падмалосана Састири, бывший помощник судьи, отец Рахавана, и Дамодарам Пиллей — корыстолюбивые приспособленцы, ожидающие, «чья возьмет»; почтенный Киттавайяр, дядя Ситы, которого уже ни в чем не переубедить, и отец Ситы Туреисами Аййар, скромный железнодорожный служащий.

Символичны названия частей романа — «Землетрясение», «Буря», «Извержение», «Потоп»: активизация сил народа, нарастание революционного движения как бы сравниваются с разбушевавшимися силами природы. В этой великой битве принимали участие самые разные силы индийского общества. И почти все эти силы представлены в романе Кальки. Несомненно, что симпатии самого автора на стороне Конгресса. Вместе с тем верный исторической правде тамильский романист показал деятельность и других политических партий, в том числе Коммунистической партии Индии. Среди множества конгрессистов в романе достойное место занимают и те, кто, отойдя от Конгресса, примкнул к коммунистам.

Герои Кальки — живые люди, борющиеся и страдающие, любящие и ненавидящие, честные или подлые, люди разных характеров и судеб. В романе многие из них мужают, умнеют, меняют свои взгляды на жизнь. Особенно показательна моральная эволюция Ситы, знаменующая рост сознательности рядовой индианки, постепенно подходящей к пониманию своей общественной значимости. На ее примере показано, как отражалось в индивидуальном сознании то время бурного общественного развития, как шум волн закипающего народного гнева будил и звал на борьбу.

«Можно убить тело, но нельзя убить душу»,— говорится в древнеиндийском эпосе «Махабхарате». Слова эти могли бы стать эпиграфом к роману Кальки. Вся жизнь

его любимой героини Ситы подтверждает слова горьковской матери: «Душу воскресшую не убить!» И воскресшие для новой жизни люди, вырвавшиеся из-под власти иноземных угнетателей, берутся за перестройку жизни в стране.

Роман «Шум волн», затронувший столь разные стороны индийской жизни и показавший индийцев в один из самых ответственных периодов их истории, во многом поможет советским людям понять и сегодняшнюю Индию.

Было бы неверным утверждать, что в этой книге нет недостатков. Они, конечно, есть, и читатель их, вероятно, заметит. Но нельзя не учитывать молодость этого жанра в тамильской литературе, и следует также иметь в виду определенную специфику тамильской и индийской вообще литературы, которая подчас еще непривычна нам.

В заключение хочется отметить хорошее в целом качество перевода столь сложного произведения.

В. МАКАРЕНКО

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ПЕСНЬ О НЕЗАВИСИМОСТИ

***Ahmed Sekou Toure.* Poèmes militants. Parti Démocratique de Guinée, 1964.**

В середине нашего века произошло новое открытие Африки. На этот раз не упрямый Ливингстон и не бойкий Стенли открыли удивительный мир черного континента — Африка, вставшая на путь борьбы за свободу и независимость, сама раскрывает свое сердце друзьям, а врагам показывает свою энергию и запасы ненависти и силы.

Своеобразие Африки для нас ново, но не неожиданно. Однако реальность всегда более ярка, чем умозрительные предположения,— она богаче событиями, свершениями и противоречиями.

Поэтична творимая сегодня история народов, познающих и утверждающих себя, строящих новую жизнь в очень сложных и трудных условиях. Не потому ли новая страница в судьбе Африки часто оказывается исписанной стихами?

Патрис Лумумба, чей мученический образ — на знамени освободительной борьбы, оставил миру стихи, ярко и полно представляющие его высокий и благородный облик.

Совсем не случайно среди видных деятелей новых независимых государств оказались поэты, и творчество их неотрывно от их государственной и общественной деятельности.

Несколько лет назад мне посчастливилось увидеть Гвинейскую Республику, делавшую тогда первые шаги по новому, небывалому пути. Я встречался с молодыми ее лидерами, которые принимали меня в кондиционированной прохладе кабинетов, только что оставленных французской администрацией. В бурный разговор о строительстве школ и фабрик, о выпуске первой газеты, о проблеме вождей племен и о том, что делать с колдунами, непременно врывались мотивы, свойственные беседам поэтов: свободный стих или рифма? Устное творчество гриотов или поэзия на языке, принесенном сюда колонизаторами? Ну, и конечно, приходилось слышать сетования: писать некогда... опять надо организовывать колледж или ехать в командировку в далекий район джунглей, выбирать место для консервной фабрики...

Наблюдая за стремительным, но внешне очень спокойным, порою резким, порою сдержанным генеральным секретарем Демократической партии Гвинеи и президентом страны Ахмедом Секу Туре, я не мог отделаться от ощущения: наверно, этот человек пишет стихи! Так бывает, угадываешь в человеке стихотворца и поэта по каким-то едва уловимым чертам и признакам.

И я заговорил об этом с одним из видных деятелей Гвинеи. Он ответил уклончиво: «Что вы! Мне стихи писать недосуг, а когда же ему склоняться над заветной тетрадкой?»

Но вот передо мною скромно изданный сборник, сброшюрованный как тетрадь. «Стихи в борьбе» — стихи, принадлежащие перу Ахмеда Секу Туре. Эта книга, изданная Демократической партией Гвинеи, открывается поэмой о партии — программой, изложенной в стихах.

Влюбленно и восторженно говоря о своем народе, Секу Туре не скрывает от него всей сложности обстановки, создавшейся в результате долгого колониального гнета, всех трудностей, возникающих на пути нового, независимого государства.

Не только внешний противник есть у борцов, вставших к кормилу власти Гвинейской Республики. И президент призывает молодых и старых граждан разрушить в своих сердцах «яд бесплодного регионализма», ликвидировать касты, бороться за равенство. Он призывает к раскрепощению женщин, выступает против фанатиков, против мистики, не считает зазорным сказать в стихах и о борьбе с алкоголизмом (спаивать было одним из самых примитивных, но действенных приемов, которыми пользовались колонизаторы, чтобы отобрать у народа его силу).

Поэма «Демократическая партия Гвинеи» и другие произведения, опубликованные в этом сборнике, написаны по-французски, но обращены к гвинейцам, говорящим на многих языках Африки — малинке, сусу, фула, герзе, киссй, тома... Секу Туре вспоминает погибших в борьбе героев национально-освободительной борьбы, призывает народ всегда помнить их имена — Камара М'Балья, Драме Умар, Камара Каман, Барри Гассиму. «Новые поколенья продолжают их нелегкий труд!» — восклицает он.

Многие строки этой поэмы продиктованы насущными делами и нуждами, проблемами и вопросами, которыми живет и волнуется сегодня Гвинейская Республика. Быть может, не всегда они будут понятны тем, кто не соприкасается с жизнью современной Африки, потребуют комментариев. Но мне хотелось познакомить читателя с характером этой поэмы-речи, и я перевел с французского ее начальные строфы:

Демократическая партия Гвинеи!
У нас ты называешься слоном,
А в этом имени на языке сусу
Неразделимы — честность, справедливость
И постоянство в каждом деле.
С грядущим неразрывна жизнь твоя.
День нынешний и завтрашний сольются
В истории гвинейского народа.
Я в час рождения тебя узнал,
Под пулями жестоких колонистов,
Под острыми ударами кнута
Начальников районов и кантонов.
Ты твердой, гордою и непреклонной
В глухую пору дикости была
И свой народ учила терпеливо,
Готовила к сраженью...
По призыву
Поднялся он и вышел на борьбу
Уверенным, широким шагом,
И обретая силу на пути,
Шагал он все быстрее и быстрее,
И вырастали крылья у народа,
И он взлетел,
Бесстрашный, как орел.
Демократическая партия Гвинеи!
У нас ты называешься слоном,
И это имя разрушает зло,
Добро во всяком деле укрепляя.
Во времена бесстыдного пиратства,
От голода и жажды изнывая,
Томились в тюрьмах воины твои.
Несправедливостью и униженьем
Был вызван ненависти ураган,
Создавший лидеров неустрашимых.
Сюда колонизатор хищный нес
Презренье к цвету кожи и к народу,
Он силился сдавить в своих когтях
Весь наш народ — и молодых и старых.
Но выбрали борьбу
И предпочли мы честь
Подачкам жалким,
И сказали громко
Коррупции, пособничеству — нет!
В борьбе за справедливость и прогресс
Определила партия свой выбор,
Любя трудолюбивый свой народ,
Не признавая чужеземной власти,
Ни доводов владычества и силы,
Ни слабости покорного смиренья,
Ни косности печальной вековой...

Вторая поэма Ахмеда Секу Туре называется «Гвинейская Революция». Справедливость, равенство, демократия и мир — вот идеи, которыми пронизана вся поэма:

Прогрессивная Революция!
Ты возьмешь наследие прошлого,
Реальность настоящего,
Мечту о будущем
И преобразуешь историю,
Не страшась высоких задач,
Приводя наше общество
К высшему уровню.
Ты обрекаешь
Феодализм,
Колониализм,
Империализм
На презренье, на презренье!
Ты сражаешься без устали
Против гнета эксплуататоров,
Чтобы не было несправедливости,
Чтоб народ стал судьбы хозяином!

Дидактика и риторика неизбежны в таком произведении, но я бы сказал, что они и уместны.

Это вольный стих, дисциплинированный повторяющимися запевами строф. Эти поэмы можно рассматривать и как речи политического деятеля. Автор использует поэтическую форму для того, чтобы четче и отточенней сформулировать мысли о времени и народе, о партии, о задачах, стоящих перед новым государством, о его месте в масштабах Африки и в масштабах всей земли.

Вот он как руководитель государства занимается проблемой воспитания молодежи и создания школ в Гвинее. На востоке Республики в городе Канкан собирается конференция по вопросам образования и культуры (27—28 февраля 1964 года). Президент выступает с двумя поэмами: «Учитель и гвинейская школа» (речь идет об учителе начальной школы) и «Юность и гвинейская школа». Это речи в стихах, возвышенно толкующие деловые вопросы, поднятые на конференции. Быть может, это правильнее всего охарактеризовать как трактат в стихах. История литературы знает подобные опыты, бывшие особенно распространенным явлением на древнем Востоке. Но речи-трактаты гвинейского президента — это деловое слово современного человека, использующего стих для того, чтобы придать значимость и крылья своим мыслям: «Солнце поднимается, чтобы светить всем и каждому».

Автор этих стихов — не профессиональный поэт. Тут другой случай, очень интересный и характерный для нашего времени, не побоюсь сказать громче — для нашей эпохи: в Африке поэзия — часть политической деятельности.

В сборнике есть очень взволнованная поэма «Плач африканской женщины». Быть может, я не совсем точно перевожу так название «La Complainte de la Femme Africaine». Во всяком случае, по содержанию это не относится к традиционным стихам, называемым в литературоведении «плачами». Женщина издавна играет большую роль в жизни африканского общества — это наследие древнего матриархата. И в то же время не было более бесправных существ, чем африканские женщины, к тому же вся тяжесть труда ложилась на их плечи... Это парадокс, но Африка полна парадоксов.

Поэма написана как речь африканки, обращенная к мужчине и утверждающая новые законы, рождаемые независимостью

страны, прогрессом, на путь которого стал народ Гвинеи.

Борьба за человеческое достоинство, за равноправие — вот пафос этой поэмы, написанной как речь к семинару женщин, проводившемуся в апреле 1964 года в Киндии.

Не будем проявлять торопливости — она всегда мешает развитию литературы — и определять сейчас, какое место займет эта брошюра на полке новой, развивающейся гвинейской поэзии. Да и не в этом сейчас дело. Я обращаю внимание на эти остропо-литические стихи, как на интересную страницу сегодняшней истории новой Африки, ее борьбы и возрождения.

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ

ПОЭТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ НЭФЗАТА УСТЮНА

Nevzat Üstün. Cüceler Çarşısı. Istanbul, Yeditepe yayınları, 1955.
Nevzat Üstün. Yitikler kapısı. Istanbul, Düsün yayinevi, 1960.
Şiir sergileri, 1956—1964.

Началось это так: сняли небольшое помещение на одном из проспектов Стамбула. Развесили фотографии — моря, тополей, гор, улиц, деревень, фабрик, рабочих рук. Большие — в полстены и маленькие — чуть побольше открытки. А подписи заменяли стихи. Скажем, деревня на Востоке Турции, где вместо домов — ямы в земле. И стихотворение — о чудесах двадцатого века, спутниках, реакторах, вертолетах. Или стихи о вольном горном ветре. А фотография — вцепившиеся в решетки руки узника.

Многие стихи, представленные на первой стамбульской выставке поэзии, принадлежали перу Нэфзата Устюна.

Пятидесятые годы были глухим для Турции временем. В стране долгие годы свирепствовал фашистский режим Мендереса. Власть его казалась безграничной и незыблемой. Трудно было вообразить, что через четыре года Мендерес будет повешен по приговору военного трибунала, а его сообщники по правительству осуждены на долгие сроки за беззакония и казнокрадство, за разворованный золотой запас и американские займы, по которым стране придется расплачиваться и в двадцать первом веке.

Правда в те годы была объявлена государственной тайной. Каждого, кто был заподозрен в том, что он хочет приоткрыть завесу, ждала тюрьма, пытки, каторга. И первыми жертвами стали писатели. В почетном списке поэтов, отданных при Мендересе под суд за свои стихи, фигурирует около двух десятков фамилий. По авторитетному свидетельству поэта Шюкрана Курдакула — его фамилия упоминается в списке дважды,— «писателям были предоставлены три возможности: замолчать, бороться или продаться». К чести турецкой литературы, огромное большинство писателей не воспользовалось последней возможностью. В это время возникает так называемое «второе новое» направление в турецкой поэзии. «Первое новое» или просто «новое» направление заявило о себе во время второй мировой войны манифестом «Треножника» — трех крупнейших поэтов Турции: Орхана Вели, Мелиха Джевдета Андая и Октая Рифата. Они выступили против высокопарности, против оторванности поэзии от народной жизни и народного языка, сделали предметом высокой поэзии каждодневные факты быта рядового человека.

Основатели «второго нового» направления провозгласили себя куда более решительными новаторами — они сделали предметом своей поэзии абстракцию и освободили ее от... смысла. Поэты этого направления отнюдь не поддерживали фашистский режим. Но каковы бы ни были их субъективные намерения, они сыграли свою роль в наступлении реакции на турецкую национальную культуру. И все больше компрометировали современную турецкую поэзию в глазах демократического читателя.

Вот тут-то и выступили в защиту принципов поэзии для народа Нэфзат Устюн и его товарищи. Их первая выставка стихов имела большой общественный смысл.

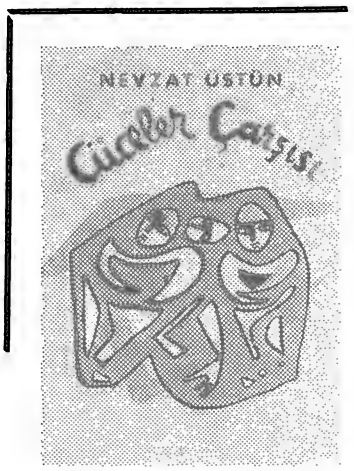
С той поры прошло почти десять лет. Выставки поэзии стали в Стамбуле традицией. Затем они были дополнены «стихотворными мастерскими». Известный поэт Фазыл Хюсню Дагларджа открыл в Стамбуле контору. Контора как контора — стол, стулья, диван. А в витрине — плакатными буквами последнее стихотворение поэта. В определенные дни и часы поэт приходит в мастерскую и садится работать. Любой прохожий может зайти, купить книжку стихов поэта, выяснить непонятные ему места в стихотворении, побеседовать.

Новые формы общения поэтов с читателями не прошли бесследно. Фазыл Хюсню Дагларджа, придерживающийся отнюдь не радикальных взглядов, выставил в витрине своей мастерской стихи о рабском труде турецких рабочих, десятки тысяч которых «экспортируются» в Западную Германию, гневные стихотворные призывы «вывольчь страну из нищеты». Эти стихи вызвали широкий отклик в стране.

Нэфзат Устюн выпустил пять поэтических книг. Некоторые из его стихов вошли в антологии.

В первой мировой войне
ногу оторвало мне.
В мировой войне второй
я пожертвовал рукой.
Если грянет новая...
Ох, голова моя бедовая!

(*«По правде говоря, жить прекрасно»*)



После свержения Мендереса Н. Устюн был избран секретарем Союза турецких литераторов. И вот недавно, когда впервые после смерти первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка наметилась оттепель в турецко-советских отношениях, Союз советских писателей получил две его последние книжки: «Рынок карликов» и «Двери пропавших».

В лучших своих стихах Нэфзат Устюн верен заветам «Треножника» — «писать языком народа и для народа». Он пишет просто, без лишних украшений. Белым, свободным стихом. Но если Орхан Вели, Мелих Джевдет и Октай Рифат сделали своим героем человека города — ремесленника, мелкого чиновника, рабочего,— то у Нэфзата Устюна герой иной.

Нэфзат Устюн родился в провинции, провел детство и юность в долинах и нагорьях Центральной Анатолии. Сюда, в Анатолию, он вернулся из Европы, где завершал образование. В годы правления Мендереса Нэфзат Устюн какое-то время работал в деревне агитатором Народно-республиканской партии, находившейся в оппозиции к режиму. Но вскоре вышел из нее, очевидно разочаровавшись в ее робкой оппозиционности.

Турецкий крестьянин наших дней стал героем поэзии Нэфзата Устюна. Он видит мир его глазами. С его точки зрения судит о добре и зле, о правде и человечности. Многие стихи поэта построены на реальных фактах быта турецкой деревни. Но он не просто рассказывает в стихах случаи и истории, а стремится выразить их смысл на языке крестьянина. В этом плане характерна маленькая поэма Н. Устюна «Вор Хасан».

Крестьянин Хасан из деревни Кюньс понял, что жизни здесь нет. Раз подумал, подумал два и, когда зацвели абрикосы, отправился в дальний путь. Шел и сам себя вопрошал: «Который сейчас час?» И сам себе ответить не мог. Увидел город. Решил: вот она, Жизнь. Протяни только руку, сама подойдет, как наш рыжий бык. Протянул — а Жизнь отбежала чуть-чуть. Вошел в город — а Жизнь постучалась в чужие ворота и скрылась за чужими стенами. Посидел в кофейне Хасан. Раз подумал, подумал два и, когда стемнело, пошел к дому, где пряталась Жизнь. Позвал — ни звука в ответ. Замерз Хасан. На стену полез. Забрался на чердак. Пробрался в комнаты. Вот она, Жизнь! Только руки она ему протянула. Что было дальше, не помнит Хасан. На руки ему нацепили наручники. Разве жалость есть у жандармов? Посадили Хасана в тюрьму. Глянул Хасан в окно — Жизнь за тюремной стеной. Бросился к решетке, а Жизнь отбежала чуть-чуть.

Нэфзат Устюн — поэт и нежный, и язвительный, и гневный. В его стихах слышен вольный ветер гор. Даже самые интимные строки о природе, о любви звучат в лучших стихах поэта гражданственно. Он ненавидит холодную риторику, так называемую восточную цветистость. Размышляя о судьбах мира, он каждый раз находит для своих размышлений неожиданный поворот, и за простотой интонации его стиха скрывается настоящая поэтичность, чувствуется боль за свою страну и неистребимая, но боящаяся громких слов вера в ее будущее. Н. Устюн заставляет читателя взглянуть на человеческие отношения под таким поэтическим углом, который мгновенно делает нестерпимым привычное и понятным странное.

Н. Устюн по-прежнему ненавидит угнетение и войну. Многие строки в этой книге дышат братской любовью к пробуждающимся народам Азии.

В твоих глазах явилась новая надежда.
В Алжире.
В Конго.
Но не в Анатолии пока.

(«Рыбий век»)

В предисловии к книге Н. Устюн утверждает: «Внесоциальный поэт, не сознающий своего места в борьбе классов, походит на ребенка, который, сидя в игрушечном авто-

мобиле, полагает, что управляет грузовиком».

На этом хотелось бы поставить точку. Но из уважения к поэту нужно сказать, что на его последней книге «Двери пропавших», к сожалению, сказалось постоянное облучение той самой бессмыслицей и абстракцией, с которой поэт мужественно сражался долгие годы. Взгляды и чувства поэта бывают выражены порой в такой ложно многозначительной форме, с такими произвольными ассоциациями, что лишаются реального содержания.

Я твердо убежден, что живая кровь его народа, которая бьется в лучших стихах Н. Устюна, поможет поэту исцелиться от ядовитой радиации модернизма.

Р. ФИШ

В МУКАХ РОЖДЕННАЯ

Władysław Machejek. Wypięknialaś w lesie. Warszawa, Wydawnictwo ministerstwa obrony narodowej, 1964.

Много книг написано о войне, но снова и снова эта тема возникает в литературе. Книга рассказов Владислава Махеека «В лесу рожденная» тоже о войне.

Польша оккупирована немцами, Польша борется. Перед глазами читателя — самые трагические страницы в истории польского народа. Сложна и запутанна обстановка в стране, каждый честный поляк мечтает о Польше свободной и независимой. Но чем дальше развиваются события, тем глубже национальная трагедия, потому что лозунг «За Польшу!» взят на вооружение самыми разными силами. Их много, этих военных подпольных организаций. Трудно было порой рядовому поляку разобраться, с кем же идти.

В одной деревне на сеновале скрывается отряд Армии Крайовой — подпольной военной организации, которая ведет партизанскую борьбу с гитлеровцами и действия, которой направляет лондонское эмиграционное правительство (рассказ «Калейдоскоп»). Здесь судьба соединила самых разных людей: крестьян, рабочих, гимназиста. Они ждут инспектора из штаба Армии, который должен определить их судьбу. Наконец появляется инспектор. Он брезгливо оглядывает небритых, кое-как одетых парней. Они для него быдло, но в данный момент инспектор вынужден заигрывать с ними, изображая этакого «отца-командира», готового все делить со своими солдатами. Он говорит о священной борьбе за Польшу: «Мы собрались здесь, чтобы бить немца, а потом большевика, если бы он вздумал прийти сюда... Вы знаете, кто нам будет мешать в борьбе за настоящую Польшу? Коммунисты, так называемая ППР*... Они уже зашевелились, призывают к мятежу... Патриотизм и дисциплина будут вознаграждены».

Молодой парень, герой рассказа, слушает, голос инспектора ему мучительно знаком. И вдруг слова «Я из вас сделаю людей» как молния освещают память. 1931—1939 годы. Кельцы. Тюрьма. Инспектор тюрьмы, по прозвищу Конь, отобрав у заключенных карандаши и бумагу — даже в тюрьме простые ребята тянулись к знаниям,— кричит: «Зачем вам наука в могиле? Я из вас сделаю людей!» «Я уже видел его Польшу,— с горечью думает герой,— тогда в тюрьме, добрую и уютную для таких, как он, но не для нас». И перед глазами читателя возникает мрачная тюремная стена, как призрак буржуазной Польши.

На фоне речи инспектора вспыхивают воспоминания героя, и одно, перемежаясь с другим, придает повествованию особую напряженность. Отряд должен существовать, но не такие, как Конь, будут направлять борьбу, он — тоже враг, и об этом должны знать члены отряда.

Капля по капле собирается Лесная Армия, знаменитая «партызантка», из которой впоследствии возникнет Армия Людова. Все чаще и чаще в народе будет звучать слово «пэпээровец», как символ освобождения, как символ справедливости.

В рассказе «Кто следующий?» весь этот клубок противоречий польской действительности тех лет отражен еще более драматично. Действие происходит в отрядах НСЗ (Народовы силы збройны) — организации польских фашистов, которая после освобождения Польши будет бороться против народной власти. Но в этих отрядах есть и честные, но запутавшиеся люди, измученные войной и непониманием происходящего, они дошли до предела усталости. Глубоко трагична сцена похорон рядовых энэзетовцев, погибших в братоубийственной стычке с бойцами Армии Людовой. При внешней торжественности, которую пытаются сохранить офицеры, чувствуется страшная опустошенность рядовых бойцов. «Кто-то запел «Хорал». Безумие охватило кладбище, три тысячи людей голосами, полными слез, жаловались на что-то, что-то проклинали, три тысячи голосов плыли в бездонное небо, плыли над землей, наполненные печалью и все растущей усталостью».

Труден и мучителен путь бывшего учителя, ныне аковского офицера Сочувки к коммунистам («Аковец»). Сначала он воюет в отрядах АК. Но когда на кресте распинают двух поляков-партизан из Армии Людовой, он понимает, что борьба пошла по иному руслу, что для аковского руководства главным становится не борьба с оккупантами, а расправа с собственным народом.

* Польская рабочая партия.

Человек, достойный этого высокого звания, говорит Махеек, существует на земле для созидания, он никогда не привыкнет убивать, только необходимость заставит его взять в руки оружие, необходимость, которая никогда не станет потребностью. Этой благородной мыслью проникнут рассказ Махеека «Смерть генерала».

Показывая сложность обстановки, В. Махеек очень точно обозначает классовую сущность происходящего. И читателю ясно — как бы ни были запутаны события, польским фашистам и аковскому руководству все труднее скрыть свою истинную цель — восстановление буржуазной Польши.

Суровая и мужественная проза Махеека точно воспроизводит атмосферу того жестокого времени. Перед глазами читателя проходит вереница образов, здесь и герои и предатели, фашисты пришлые и фашисты отечественные. Характеры встают во всей своей сложности, но в зависимости от того, какой путь выбирают герои Махеека, какой идее служат, определяются их поступки.

На первый взгляд, ситуации, в которые попадают герои Махеека, слишком усложнены, а колорит рассказов чересчур мрачен. Но это обусловливается самим замыслом автора — смотрите, люди, что такое война, что она несет с собой.

Через тяжелые испытания прошли герои книги Владислава Махеека, но они нашли верный путь, потому что цель их была высокой. Писатель показывает истоки истинного героизма, не того картинного, безрассудного, который считался польской национальной чертой, а трагически выстраданного в многолетней и смертельной схватке с врагом, в борьбе за новую социалистическую Польшу.

Н. СОКОЛОВСКАЯ

РЫЦАРЬ ИСПАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ignacio Hidalgo de Cisneros. Cambio de rumbo. Bucarest, Primera parte, 1961. Segunda parte, 1964.

Высоко в небе, скрываясь в лучах утреннего солнца, к аэродрому Алкала-де-Энарес, недалеко от Мадрида, подбирался очередной бомбардировщик, чтобы сбросить бомбы и на предельной скорости уйти за близкую линию фронта. Так весной 1937 года германский авиационный легион «Кондор», присланный Гитлером в помощь испанским мятежникам, пытался мстить за сокрушительные удары республиканской авиации по итальянскому экспедиционному корпусу, разгромленному под Гвадалахарой.

Соревнуясь друг с другом в выдержке, мы продолжали сидеть недалеко от командного пункта, наблюдая за приближающимся самолетом. Но как только бомбардировщик лег на боевой курс, не сговариваясь, бросились к бомбоубежищу. В этот момент на площадке перед разрушенным ангаром, заскрежетав тормозами, остановился автомобиль. Три человека вышли из него, двое устремились к убежищу, третий — высокий, худощавый, в форме испанской военной авиации — шел неторопливо, хотя первые бомбы уже рвались на краю аэродрома. Этот человек с седеющей головой был генерал Игнасио Идальго де Сиснерос, командующий военно-воздушными силами испанской республиканской армии. Там, в убежище, меня и познакомили с Сиснеросом, автором недавно вышедшей в свет книги воспоминаний «Меняю курс».

История его жизни в то время особенно поражала нас, молодых советских людей, впервые оказавшихся за пределами своей страны. Член Центрального Комитета Коммунистической партии Испании Игнасио Идальго де Сиснерос происходит из старинной аристократической семьи. В роду Сиснеросов было много генералов и адмиралов, а его отец, ближайший сподвижник Карлоса VII, претендента на испанский престол, участвовал в последней карлистской войне.

В книге «Меняю курс» Игнасио Идальго де Сиснерос ничего не приукрашивает и ничего не скрывает, будучи безжалостным прежде всего к самому себе. Описывая свою среду, реакционность ее взглядов, сумасбродство, чудачества и несомненные признаки вырождения некоторых ее представителей, он сумел избежать огульного осуждения людей и отдать должное тем из них, кто этого заслуживал. Коротко и выразительно он говорит о себе: «В то время я еще на все реагировал с позиций этого странного экземпляра человеческой породы, носившего название «сеньорито»,— сложного, тщеславного, самолюбивого, мыслящего о каком-то особом достоинстве...» И все же одна черта выделяет сеньорито Игнасио де Сиснероса из среды офицеров-аристократов королевской армии. С детских лет общаясь в поместьях родителей с простыми людьми, он проникается уважением к ним. Полуголодные испанские крестьяне, проявляющие высокое чувство человеческого достоинства, заставляют Сиснероса гордиться своим народом, и он начинает испытывать перед ними смутную неловкость. Став офицером, он внимательно относится к солдатам, видя в них прежде всего людей, и стремится всеми средствами облегчить их тяжелую жизнь. Но он еще не осознает причин, порождающих социальное неравенство.

Игнасио де Сиснерос прошел через суровые испытания колониальной войны в Марокко — ее вела монархическая Испания более пятнадцати лет. В 1930 году в известной мере случайно он был втянут в антимонархический путч и после его провала бежал во Францию. Там он сходится с испанской политической эмиграцией.

Вернувшись на родину после падения монархии, Сиснерос получает назначение на пост авиационного атташе Испании в фашистской Италии и Германии. Он не раз встречается с Муссолини и видными гитлеровскими военачальниками, принимавшими его за представителя испанской реакционной военщины. Это открыло ему истинное лицо фашизма, в Германии же ему становится известным и тайный сговор Франко с Гитлером, и он в полной мере осознает его угрозу Испанской Республике.

Народный фронт побеждает на выборах в кортесы в феврале 1936 года. Став военным адъютантом премьер-министра Кироги, Сиснерос с нарастающей тревогой наблюдает подготовку силами реакции фашистского переворота. Вопреки президенту Асанье и премьеру Кироге, которые не верят в возможность мятежа, Сиснерос сплачивает вокруг себя преданных республике людей.

В это время в кортесах он впервые слышит выступление Долорес Ибаррури. Оно производит на него глубокое впечатление. «Я почувствовал энтузиазм и счастье. Она во всеуслышание сказала то, о чем я думал!» — пишет он в своей книге. Ибаррури призывала правительство решительно подавить фашистских заговорщиков, помешать им захватить власть.

Фашисты переходят к террору, убивая наиболее активных противников. Сиснерос стоит четвертым в тайном списке подлежащих уничтожению. Вскоре он становится вторым — первые два уже убиты.

Сомнения, шатания, разброд в рядах республиканского правительства, вражда и соперничество среди деятелей мелкобуржуазных партий убеждают Сиснероса, что интересы народа отражает только Коммунистическая партия, только она способна повести его на борьбу.

В июле 1936 года вспыхнул фашистский мятеж, вскоре переросший в германо-итальянскую интервенцию. Благодаря усилиям Сиснероса восемьдесят процентов самолетов осталось в авиационных частях, сохранивших верность Республике. На посту командующего авиацией он день за днем, как рядовой летчик, сражается в воздухе.

Когда многочисленные марокканские войска и Иностранный легион Франко вплотную подошли к Мадриду, когда на карту была поставлена судьба испанской революции, решается и судьба Игнасио де Сиснероса — он вступает в ряды Коммунистической партии. Одновременно с ним в партию вступает

и его жена, Констанция де ла Мора, также решительно порвавшая со своей богатой аристократической семьей (Ее автобиографическая книга «Вместо роскоши» знакома советским читателям.) Для бывших сеньоров уже не было жизни вне революционной борьбы. И в долгие годы эмиграции Игнасио де Сиснерос продолжает сражаться в рядах Коммунистической партии Испании, отдавая все силы сплочению своего народа,— в этом он видит залог успеха борьбы против кровавой диктатуры Франко.

Война в Испании окончилась более двадцати пяти лет назад. За это время я не раз виделся с Игнасио де Сиснеросом. В его волосах прибавилось серебра, у рта — горьких складок, но глаза по-прежнему светятся молодо. Он взялся за перо и написал книгу о своей поучительной жизни, книгу, особенно нужную тем, кто задумывается над судьбами своего угнетенного народа, хочет бороться за его свободу и независимость. Ведь в Испании даже дети тех, кто когда-то помог Франко прийти к власти,— об этом мне совсем недавно много рассказывал Сиснерос в Москве — теперь настроены против него.

У Сиснероса необыкновенная судьба, жизнь, овеянная романтикой революционной борьбы. Его книга «Меняю курс» читается как увлекательный роман. В ней еще раз правдиво и убедительно показана неотразимая сила коммунистических идей.

ЛЕВ ВАСИЛЕВСКИЙ

ИЗ РАБОТ ЮГОСЛАВСКИХ МАСТЕРОВ

Антун Аугустинчич — Памятник воинам Советской Армии (фрагмент).

Борко Лазески — Фреска на темы народно-освободительной борьбы (фрагмент).

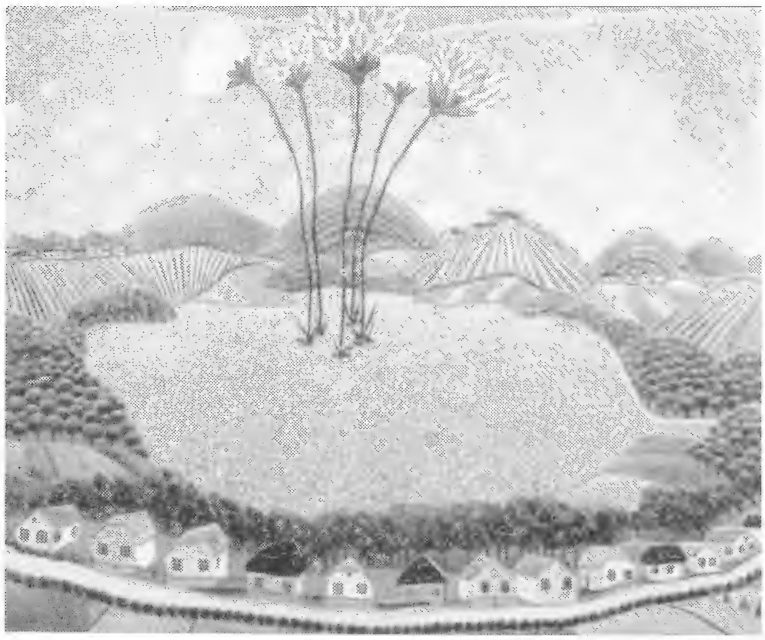
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО *За рубежом*

Те, кому довелось побывать в социалистической Югославии, увозят с собой воспоминание о гостеприимстве доброго, свободолюбивого народа, о суровой красоте гор и ласковой прелести побережья. Зная, как тяжело пострадала страна от нашествия фашистов, особенно радуешься размаху современного мирного строительства, расцвету культуры, искусства в СФРЮ.

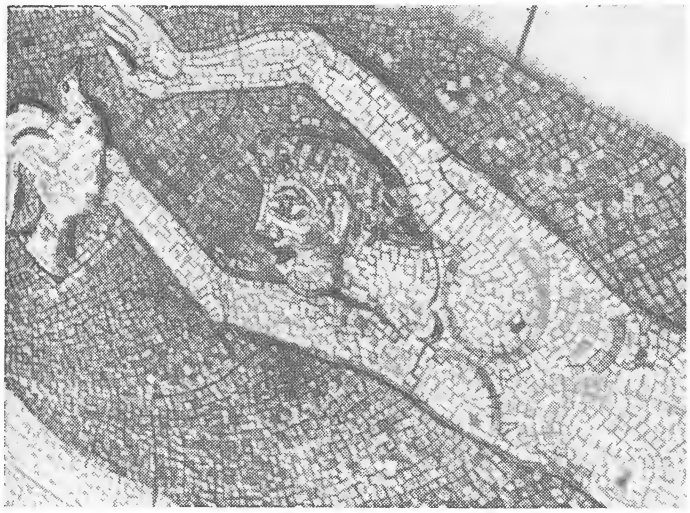
Страна, в тяжелых боях отстоявшая свою независимость, строящая социализм, свято чтит память своих национальных героев, тех, кто отдал жизнь за свободу, кто сражался с фашистами в 1941—1945 гг., память советских друзей — воинов, пришедших на помощь в час испытаний.

На местах боев и там, где родная земля приняла прах героев народно-освободительной борьбы, воздвигнуты монументы, выполненные лучшими художниками страны. Но есть и другие, по внешности скромные, приметы былого. Так, в самом сердце республики среди горных круч и когда-то трудно проходимых троп, где партизаны сражались с захватчиками, а теперь проложено великолепное шоссе, прямо на скалах начертаны надписи, которые волнуют не меньше монументов. В них говорится, что именно здесь два десятилетия назад смело велись бои с превосходящими силами противника. Надписи лаконичны и горды, как боевые плакаты: «Здесь 58 партизан уничтожили моторизованный батальон итальянских фашистов» или совсем коротко: «Смерть фашизму, свободу народу!»

Музеи Югославии бережно хранят нетленные реликвии



Иван Рабузин — Мой край.



Марий Прегель — Деталь мозаики «Мир».

Франё Мраз — В концлагерь.

героического прошлого. Среди них и художественные произведения, создававшиеся в передышке между боями, в партизанских землянках, в подполье, в тюремных камерах. Интересная выставка рисунков и гравюр, выполненных югославскими художниками-фронтовиками в 1941—1945 гг., была показана недавно в Музее революции СССР. Не может не взволновать история создания этих произведений. Часто для гравюр не было краски, употребляли штемпельную, не было линолеума — рисунок резался из резиновой подошвы, не было инструментов — их мастерили сами художники, в дело шли даже обломки сбитых фашистских самолетов. Война!

Из художников-воинов далеко не все остались в живых. Многие погибли в боях, многих фашисты расстреляли. И сейчас у входа в выставочные залы Белграда и других городов мы читаем их выгравированные золотом имена.

Произведения, созданные художниками Югославии в годы войны и после нее, многочисленны и многообразны. Тут и зарисовки, сделанные фронтовиками по горячим следам событий, и большие полотна, в которых переплетаются мотивы героики и трагедии войны. В произведениях одного из старейших мастеров Джордже Андреевича-Кун покоряет темперамент борца, непреклонная вера в победу. Не один раз видела художница-партизанка Аленка Герлович колонны раненых, развалины, обожженные войной деревья. И она, и многие другие художники включают «в строй» и пейзаж: на войне нет равнодушной природы. Некоторые художники вновь и вновь обращаются к судьбам детей, обездоленных войной (Доре Клеменчич, Петр Шимага, Николай Пирнат).

После победы над фашизмом в искусстве Югославии все более заметным становится стремление к созданию работ обобщающего значения, к монументальным формам. Эти новые тенденции сказываются не только в скульптуре, призванной увековечить подвиг народа в крупных формах, но и в графике, охотно обращающейся теперь к развернутым циклам рисунков, и в живописи. Примеров можно было бы привести немало. Вспомним широко известную картину Мило Милуновича «Оккупанты уходят», фреску Борко Лазески, посвященную национально - освободительной борьбе 1941—1945 гг...

Немалых успехов добились за эти годы талантливые югославские скульпторы. Создается впечатление, что скульптура пользуется в стране особой любовью. Многие из скульпторов опираются в своих искани-

Мариан Детони — Партизаны форсируют реку.

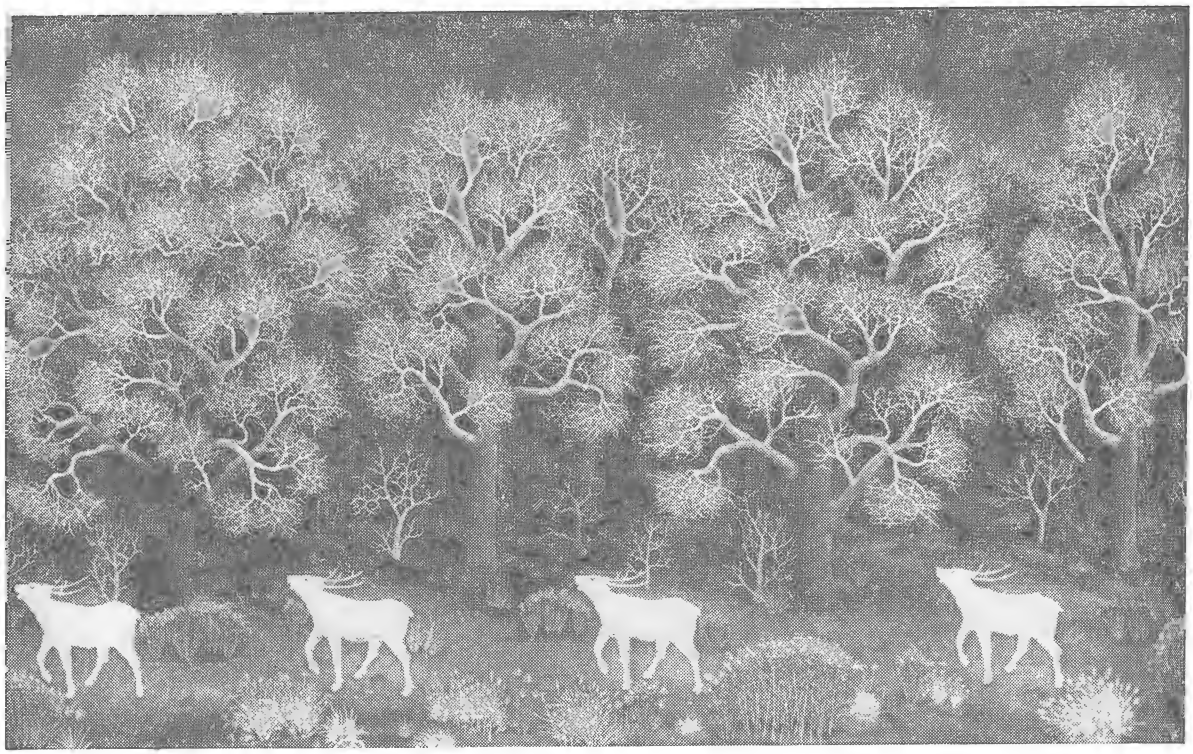
Доре Клеменчич — Конец войны.

Тинед Стегович — Дождь.

ях на богатые национальные традиции ваяния. Горы их родины предоставляют им прекрасный материал, разные породы камня, мрамора.

Каждая из республик, входящая в состав СФРЮ, позаботилась о том, чтобы на ее земле была запечатлена в образах искусства история народа, героическая эпопея 1941—1945 гг. На Дунае, где югославские воины вышли навстречу своим освободителям — воинам Советской Армии, установлен монумент. Антун Аугустинчич, автор памятника, выполненного в бронзе и граните, запечатлел в величественных формах один из решающих эпи-

Джордже Андреевич-Кун — На марше.

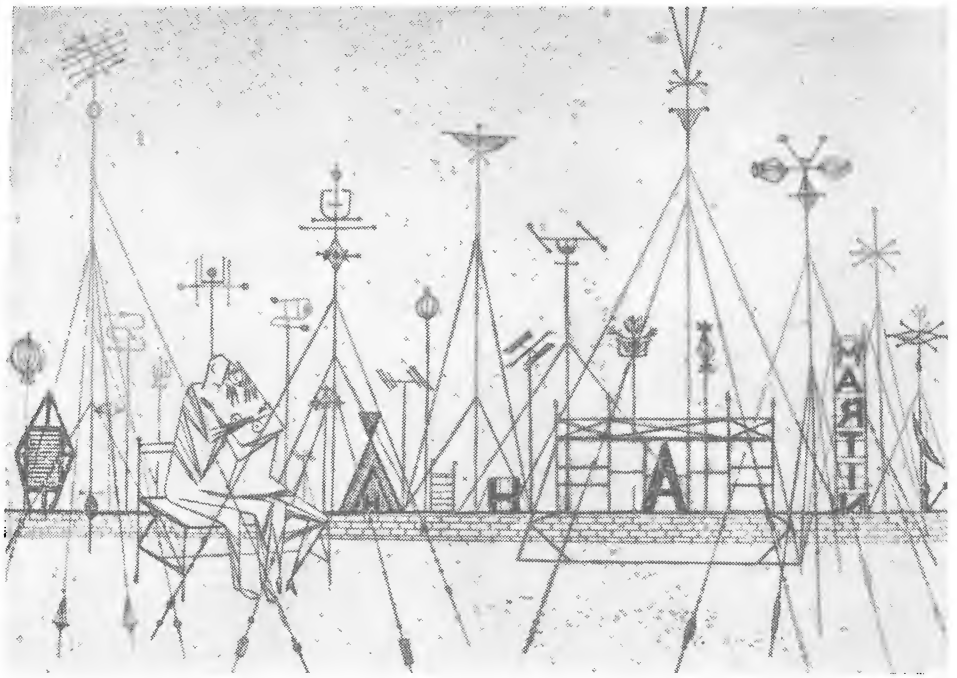


Иван Генералич — Олени идут на свадьбу.

зодов войны. «Павшим борцам, жертвам фашистского террора» — такова надпись на саркофаге с рельефом работы скульптора Ивана Саболича.

В монументальной мозаике Мария Прегеля иные мотивы, иное решение. Работу эту отличает повышенная экспрессия, что характерно

Александр Лукович — Шумный день.

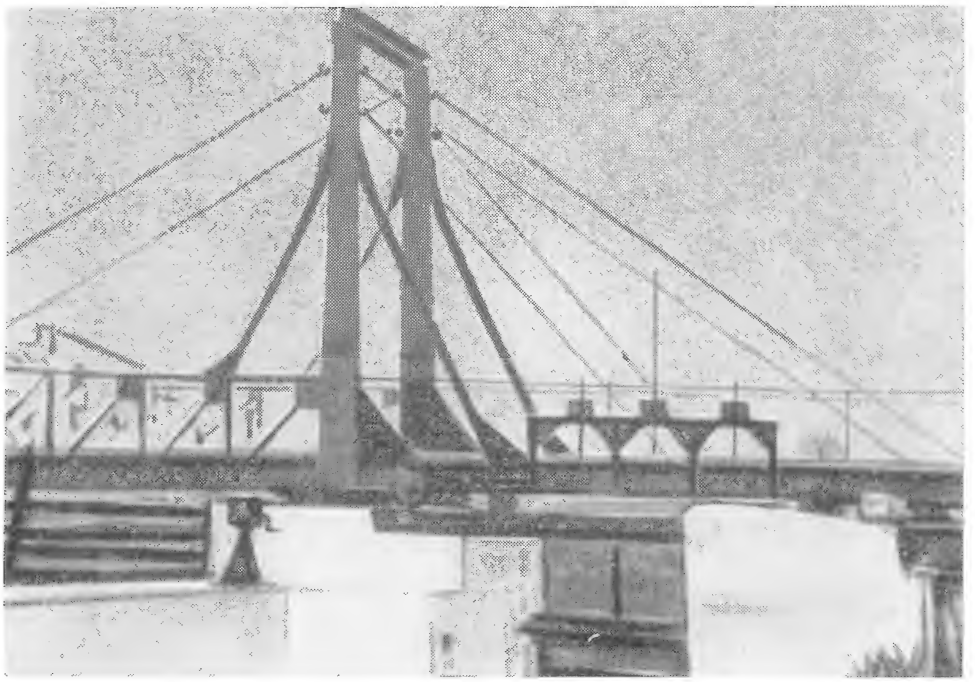


Карел Заленко — Любовь.

также и для ряда других авторов. Поиск остроэкспрессивных изобразительных решений — проблема, достаточно актуальная в наши дни. Суть ее мне представляется в том, отвечает ли художник на вопрос: «Во имя чего?»

Волнующая экспрессия свойственна лучшим работам скульптора Вани Радауша. Ею отмечены движения фигур, выражения лиц, она служит замыслу мастера: потрясти зрителя силою подвига. Вида Иоцич, в юности пережившая трагедию фашистского концлагеря, не может позабыть того, что было и что не должно

Иван Табакович — Пейзаж с мостом.



Аленка Герлович — Колонна.

Ваня Радауш — Похороны партизана.

повториться. И в автопортрете, и в ряде образов бывших заключенных, воссозданных ею, чувствуешь заряд страстной ненависти к виновникам страданий людей.

Сильные стороны югославских мастеров искусств ярко проявились в оформлении интерьеров Союзного исполнительного вече. Стоит вам войти внутрь здания и вас захватит поразительное ощущение гармонии разных видов искусств.

Сейчас, в канун всенародного праздника XX-летия со дня провозглашения Социалистической Федеративной Республики Югославии, нельзя не вспомнить этого интересного и значительного произведения, созданного содружеством югославских художников всех республик. Ими решена трудная задача воссоздания в искусстве облика каждой из республик, входящих в федерацию, и целостного образа многонациональной страны. Искусство интерьеров, каждого в отдельности и всех вместе, поистине изумительно! Каждое «слагаемое» — будь то живописное панно, или скульптура, или ковер, или предмет утвари, прикладного искусства — выражает национальный характер той или иной республики. А все интерьеры вместе представляют собой единый ансамбль. Вероятно, в интерьере «дирижировал» архитектор, однако это не помешало каждому из искусств, каждому из авторов высказаться полно и своеобразно.

Посещая выставки и мастерские разных художников, далеко не всегда соглашаешься с создателями тех или иных произведений. И в немногих иллюстрациях, представленных в данной подборке, чувствуется известная «разноголосица» исканий. Но и в тех мастерских, где испытываешь глубокое удовлетворение, знакомясь с произведениями одаренных мастеров, и в тех, где многое кажется чуждым, тебя не покидает ощущение энергии поиска: творческая жизнь бьет ключом.

Югославские художники исполнены веры в торжество человека — строителя социалистического общества. Они борются за мир, за счастливое будущее. Они дружески вспоминают советских людей, плечом к плечу с которыми сражались за то, чтоб это будущее стало возможным.

Наталья СОКОЛОВА

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Пьеса Владимира Маяковского «Баня» поставлена в Болгарии Толбухинским театром. «Эта постановка еще раз напомнила нам о притягательной силе и очаровании творчества поэта,— писал рецензент еженедельника «Литературен фронт».— Сатира пьесы — масштабна, гнев Маяковского — громогласен, комедийная гипербола — остра. Спектаклю в целом присуща живость, молодой энтузиазм».

Роман Б. Полевого «На диком бреге» выпущен болгарским издательством «Народна култура» в серии «Избранные романы».

В том же издательстве в библиотеке «Мировые образы» вышла книга Н. Муравьевой «Гюго».

Болгарское военное издательство специально для международной книжной выставки в Лейпциге выпустило отдельной книгой рассказ М. Шолохова «Судьба человека». Книга иллюстрирована народным художником Б. Ангелушевым.

Французская труппа, руководимая Жаном Тассо, показала на сцене театра Рекамье пьесу М. Горького «Варвары».

Повесть А. Кузнецова «У себя дома» выпущена во Франции издательством «Эдитер франсэ реюни».

В Венгрии вышла книга стихов Л. Мартынова под названием «Высказать все». «Тематика книги разнообразна,— пишет рецензент книжного бюллетеня «Тайекоштато»,— в нее вошли лучшие произведения Мартынова — от гражданской лирики до стихов, в которых поэт ломает каноны поэтических форм, от любовной лирики до поэм глубокого философского содержания...»

Издательство «Магвете» выпустило роман К. Паустовского «Дым отечества» в переводе известного венгерского литератора Имре Макаи.

К ежегодному празднику «Неделя книги» в Венгрии приурочен выход романа М. Шолохова «Тихий Дон», повести Ю. Нагибина «Павлик» и сборника очерков К. Симонова под общим заглавием «Заметки специального корреспондента» в издании для любителей книг.

«Сергей больше не один» — в рецензии под таким названием литературное приложение к римской газете «Паэзесера» сообщает о выходе в итальянском издательстве Мондадори повести В. Пановой «Сережа».

Почти одновременно в Италии выпущены сборники переводов стихов трех советских поэтов — А. Ахматовой, Э. Багрицкого и О. Мандельштама.

Стихи Ахматовой переведены Б. Карневали, который является и составителем этого объемистого сборника (354 страницы), охватывающего различные периоды творчества поэтессы. Это уже третий по счету выходящий в Италии сборник стихов Ахматовой, поэтессы, пользующейся популярностью у итальянских любителей поэзии и недавно удостоенной литературной премии «Этна-Таормина». Сборник выпущен издательством Гуанда.

Стихи Багрицкого вышли в издательстве Эйнауди в переводе В. Страды. Он же и составитель сборника, озаглавленного по названию открывающей его поэмы «Последняя ночь».

«Петербургские строфы» — так называется сборник переводов из раннего Мандельштама, выполненных К. Дж. Де Микелисом и выпущенных издательством Ческина.

Повесть Л. Леонова «Evgenia Ivanovna» выпущена загребским издательством «Зора» (Югославия).

Как сообщает газета «Политика», белградский Современный театр осуществил постановку по роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» под руководством режиссера Александра Главацкого.

Роман В. Аксенова «Звездный билет» выпущен в Финляндии.

Однотомник произведений Велемира Хлебникова под названием «Каракули по небу» вышел в Государственном издательстве художественной литературы и искусства (Чехословакия). В него включены лирические стихотворения, поэмы, рассказы, стихотворения в прозе, статьи, отрывки из дневников. Переводы осуществлены Иржи Тауфером. Он же — автор обширного предисловия, рассказывающего о жизненном и творческом пути В. Хлебникова.

Чехословацкое издательство «Свет Совету» выпустило «Новогоднюю сказку» В. Дудинцева.

Роман Л. Леонова «Соть» выпущен издательством «Культур унд форшритт» (ГДР).

Рассказ Л. Шейнина «Герр Иван» опубликован в приложении к газете «Нейес Дейчланд».

Повесть А. Бека «Резерв генерала Панфилова» вышла в ГДР в издательстве «Милитерферлаг».

В специальном выпуске «Лирише хефте» (Гейдельберг, ФРГ) напечатаны стихи Е. Евтушенко под общим названием «27 стихотворений».

Однотомник произведений Алексея Толстого под названием «Голубые города и другие рассказы» выпущен варшавским издательством «Чительник» в серии «Ника».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

РАССКАЗЫ ГЕНРИ ЛОУСОНА

Наследие Генри Лоусона до сих пор не собрано полностью. Нет научно выверенного, исчерпывающего собрания сочинений этого классика австралийской литературы, поэта и новеллиста. Три тома рассказов, опубликованные недавно под редакцией и с комментариями Сесила Манна,— новый шаг в решении этой важной задачи.

В первые два тома вошли хорошо известные читателям произведения из сборников «Пока закипит котелок», «По дорогам и за изгородями», «Джо Вильсон и его товарищи», «Дети буша», «Суд выносит приговор», а также «Фрагмент из автобиографии». Третий том содержит рассказы и очерки, которые в большинстве своем впервые публикуются в книжном издании,— они пребывали в забвении, затерянные в старых журналах и газетах. Кроме того, в третьем томе напечатаны шесть биографических и критических эссе, принадлежащих перу современников Лоусона.

Сообщая о выходе в свет «Рассказов Генри Лоусона», рецензент журнала «Микджин» помещает обширную статью видного критика, исследователя австралийской литературы Артура Фаллипса «Новая встреча с Лоусоном».

АВСТРИЯ

Helft Vietnam!

«Помоги Вьетнаму!» — еще один плакат под таким названием выпущен в Австрии (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 9, 1965). Его автор — известный художник-график Аксель Лескошек. Сборы от продажи плакатов этой серии идут в фонд помощи вьетнамским патриотам, борющимся против империалистических агрессоров.

(Газета «Фольксштимме»)

АНГЛИЯ

АНТИВОЕННАЯ ПОСТАНОВКА «ЮНИТИ-ТИЭТР»

«Юнити-тиэтр» начал нынешний сезон, как об этом сообщает театральный критик газеты «Дейли уоркер» Джек Сазерленд, постановкой пьесы Стюарта Дугласа «В моей гостиной на полу есть мегатонная кнопка». Это — сатирическое произведение, разоблачающее тех, кто толкает мир к атомной катастрофе.

Итак, кто же нажмет пресловутую кнопку? Пьеса начинается с того, что президент США, не желая брать на себя ответственность за термоядерный конфликт, решает выйти из положения «демократическим способом». Он предлагает избрать какого-нибудь никому не известного человека в любой стране так называемого «свободного мира», в доме которого будет установлена роковая кнопка. Не случайно жертвой заговора избирают простого англичанина Гарри Фримэна, скромно живущего с женой, сыном и 84-летним отцом.

Такое решение глубоко символично: Англии уготована роль ядерного «авианосца» и козла отпущения. Нежданно-негаданно к дому Гарри Фримэна подкатывают американские военные, которым поручена данная операция — американцы намерены (по обыкновению не посоветовавшись со своим союзником — Англией) напасть на Советский Союз. Пресловутая термоядерная кнопка установлена так, что, по планам Пентагона, должна сработать в 6 часов утра. Но, поскольку она сработает в жилище Гарри Фримэна, официально никто не будет нести ответственности за последующую гибель значительной части человечества...

«Средний» англичанин Гарри Фримэн в ужасе: что предпринять, как предотвратить катастрофу?.. Основная мысль автора, по словам Сазерленда, — подчеркнуть роль каждого человека в отдельности и всех народов в целом в борьбе против империализма и агрессии, против глобального уничтожения.

«РОМАН, КОТОРЫЙ СТОИТ ПРОЧЕСТЬ ВСЕМ...»

Роберт Маллер — английский писатель, драматург и в прошлом театральный критик газеты «Дейли мейл» — неоднократно обращался в своих произведениях к проблемам, связанным со злодеяниями фашизма и угрозой неофашизма. Недавно вышедшая его пьеса «Ночные заговорщики» представляет собой сатиру на современную Западную Германию; в основе интриги — фантастическое воскрешение Гитлера. Ныне Маллер написал книгу «Утерянные дневники Альберта Смита», в которой проводит мысль, что и в Великобритании к власти может прийти фашизм.. Этот фантастический роман — предостережение всем, кто терпимо относится к проискам доморощенных фашистов.

Маллер описывает в романе, как постепенно в Англии объединились разрозненные фашистские группировки. Повествование ведется от лица робкого обывателя, владельца бакалейной лавчонки, Альберта Смита. Он аккуратно ведет дневник, в котором записывает все свои наблюдения. Основное действие романа происходит в Англии будущего — дневник случайно найден уже тогда, когда угроза фашизма ликвидирована, поэтому он представляет лишь исторический интерес.

Нарисованная писателем картина довольно поучительна, пишет рецензент газеты «Дейли уоркер». Читая дневник бакалейщика Смита, читатель видит, как мало-помалу фашистское движение начинает влиять на людей, как им прививают идеи о расовом превосходстве, псевдопатриотизм, шовинизм. Постепенно фашистское движение подчиняет себе консервативную партию, отстраняет от власти лейбористское правительство, покрывает всю Англию сетью концлагерей, начинает воплощать в жизнь идеи Гитлера и его подручных.

Смит выведен в романе беспринципным и трусливым обывателем. Автор изобразил его моральным уродом, жертвой мелких, низменных страстей. По мнению рецензента, автору не хватило при этом чувства меры. «Несмотря на этот недостаток, — заключает рецензент,— «Утерянные дневники Альберта Смита» — блестяще написанный, захватывающий роман, который стоит прочесть всем».

БОЛГАРИЯ

ВСТРЕЧА ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ

— Я считаю, что приключенческий жанр имеет у нас полное право на существование. Более того, его нужно всячески приветствовать...— сказал в интервью корреспонденту еженедельника «Литературен фронт» известный болгарский писатель Андрей Гуляшки, в числе книг которого есть и приключенческие романы.

— Над чем вы сейчас работаете? — поинтересовался корреспондент.

— Я пишу историческую повесть из эпохи царя Крума, которая будет называться «Золотая чаша». (Царь Крум правил Болгарией в IX в. н. э. и сделал многое для укрепления болгарского государства.— *Прим. ред.)*

Андрей Гуляшки рассказал корреспонденту и о других своих планах. У него возникла идея создать повесть, в которой главными действующими лицами будут: герой прежних произведений писателя Аввакум Захов и «супермен» Джеймс Бонд, герой нашумевших на Западе детективных фильмов и комиксов. Они встретятся, разумеется, как противники.

— Я считаю,— продолжал писатель,— что Джеймсу Бонду, этому вульгарному воплощению ницшеанского идеала, должен быть противопоставлен наш современник. Основное столкновение между представителями двух различных миров произойдет в Болгарии.

Журнал «Изкуство» познакомил своих читателей с творчеством самобытной художницы Невы Петровой-Тузсузовой, которая иллюстрирует литературные произведения, работает над эскизами к театральным постановкам, создает художественную керамику. Здесь воспроизводится стенная роспись работы Тузсузовой — «Орфей и Эвридика».

(Журнал «Изкуство»)

Затем действие будет развиваться за ее пределами.

Гуляшки с увлечением говорит об этой своей идее. Его привлекают в необычном замысле открывающиеся перед автором творческие возможности.

ВЕНГРИЯ

ИНТЕРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ

В издательстве «Магвете» вышла антология антифашистской поэзии «В потоке истории». Эта книга, по словам рецензента журнала «Критика»,— памятник погибшим во имя спасения мира от фашизма в самой опустошительной и бесчеловечной из войн.

Диапазон антологии необычайно широк — и по авторскому составу, и по тематике. В книгу включены стихи 94 поэтов, среди них гордость венгерской поэзии Аттила Йожеф и Миклош Радноти, значительные поэты современности Дюла Ийеш, Ласло Беньямин, Йожеф Фодор и многие другие.

Книга необычна по композиции: она разбита на главы, каждая из которых связана с определенным временем в истории Венгрии: период фашизации страны и разнузданного террора, когда, чтобы написать о Советском Союзе, о Ленине, о венгерских коммунистах, поэтам приходилось прибегать к аллегории; рождение венгерского Сопротивления и нападение фашистской Германии на Советский Союз; участие хортистской Венгрии на стороне Гитлера в войне против СССР.

Каждый из этих периодов представлен в антологии стихами — горькими и полными раздумья, страстными и свободолюбивыми.

Антология иллюстрирована работами известных венгерских художников: Дюлы Дерковича, Иштвана Дейи-Хубера, Имре Амоча.

По мнению венгерских критиков, поэтов, читателей, антология «В потоке истории» войдет в золотой фонд венгерской литературы.

ГДР

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЛЕЙПЦИГСКОЙ ВЫСТАВКИ

Международная книжная выставка в Лейпциге, на которой было представлено 42 страны, привлекла внимание широкой мировой общественности. Во время работы выставки проводилось несколько конкурсов, наиболее интересным из них был конкурс работ художников-графиков на тему «Дружба между народами», а также конкурс на лучшую иллюстрацию к произведениям Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» и Шолохова «Судьба человека».

Золотая медаль за иллюстрацию к «Мамаше Кураж» была присуждена Цандеру (ГДР). Высокую оценку международного жюри получила работа советской художницы Иваницкой. О том, какой популярностью пользуется творчество Брехта за пределами Германии, можно судить по работам Кулисевича (Польша) и Одона (Монгольская Народная Республика).

Победителем конкурса на лучшую иллюстрацию к книге Шолохова «Судьба человека» стал советский художник С. Адамович; жюри отметило работы Й. Червинского (Польша).

Международная выставка книги в Лейпциге, по словам обозревателя газеты «Берлинер цейтунг», еще раз показала пользу международных культурных связей и явилась свидетельством плодотворного творческого обмена между деятелями культуры социалистических стран.

«КУВШИН ИДЕТ ПО ВОДУ»

Так называется новый фильм студии ДЕФА, к съемкам которого недавно приступил коллектив студии. Фильм снимается по известному роману Эрика Нейча «След камней», вызвавшему оживленные дискуссии в ГДР (см. сообщение в «Иностранной литературе»

№ 8, 1964). Действие книги развертывается в наши дни на одной из крупных строек республики. Сценарий написан Карлом Георгом Эгелем и Франком Бейером, который является одновременно и режиссером фильма. Исполнитель главной роли — известный актер Манфред Круг. Как отмечает обозреватель журнала «Фильмшпигель», Круг хорошо подготовился к своей новой роли. Вместе со своими товарищами — исполнителями других ролей — он изучал жизнь рабочих, изучал людей типа Ганнеса Балла — главного героя фильма.

«Основная задача создателей этого фильма — передать на экране многочисленные конфликты этого романа и эволюцию Ганнеса Балла и сохранить при этом те юмористические детали, которые так характерны для романа Эрика Нейча»,— пишет обозреватель.

Один из эпизодов фильма «Кувшин идет по воду». *(Журнал «Фильмшпигель»)*

ФРГ

НА СЦЕНЕ — ТРИБУНАЛ ИСТОРИИ

«Немецкие драматурги начали фронтальное наступление на непреодоленное прошлое и сегодняшнюю действительность,— заявляет обозреватель западногерманского журнала «Шпигель».— Автор драмы «Наместник» Рольф Хохгут пишет антимилитаристскую пьесу о зверской бомбардировке Дрездена американской авиацией. Гейнар Кипхард, инсценировавший «Дело Оппенгеймера», работает над пьесой о «деяниях» нацистского палача Эйхмана. Ожидается премьера «Заговорщиков» — драмы Вольфганга Гретца о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года. Сцена становится трибуналом истории... Эта новая волна в немецкой драматургии,— продолжает обозреватель,— пожалуй, достигнет наивысшей точки в октябре нынешнего года, когда состоится премьера новой пьесы Петера Вейса «Дознание»...»

Петер Вейс.

Автор пьесы «Марат» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 8, 1965) присутствовал в прошлом году на судебном процессе над палачами Освенцима во Франкфурте-на-Майне и в качестве наблюдателя выезжал на место бывшего концлагеря.

По материалам этого процесса Вейс и написал новую драму. Сообщая о предстоящей публикации «Дознания», издательство «Зуркамп» объявило, что, «...учитывая значительность темы и возможное эффективное воздействие пьесы на аудиторию, автор и издательство предоставляют право постановки всем театрам, ставящим пьесы на немецком языке, без каких-либо приоритетных договоров... Доходы от публикации пьесы за вычетом издержек будут переданы в фонд помощи жертвам фашизма».

Берлинский еженедельник «Зонntаг» печатает отрывки из «Дознания». У пьесы, написанной, как и «Марат», стихами, есть подзаголовок: «Оратория в одиннадцати песнях». Названия отдельных песен — «Качалка», «Возможность выжить», «Циклон Б», «Крематорий» и др. «Небезынтересно отметить в связи с этим,— пишет обозреватель «Шпигеля», — что в первоначальном варианте Вейс намеревался объединить тему Освенцима с задуманной им инсценировкой дантовского «Ада»...»

«Среди действующих лиц в пьесе «Дознание» — восемнадцать обвиняемых и только девять свидетелей,— пишет рецензент еженедельника «Зонntаг» Бригитта Турм.— Обвиняемые носят фамилии подлинных нацистских преступников — Богера, Кадука, Мульки и других, но образы их шире. Заключенные же все безымянны». По мнению автора, то, что люди, прошедшие через освенцимский ад, потеряли свои имена и лица и остались лишь собственной тенью, произведет более сильное впечатление. К тому же свидетели выступают от имени тысяч таких, как они...

Один из обвиняемых, бывший «хозяин» газовых камер и «циклона Б», а ныне преуспевающий владелец аптеки и «салона красоты», пытается подкупить свидетелей; когда же те с возмущением отвергают его предложение, он угрожает им физической расправой.

Пьеса разоблачает концерн «ИГ-Фарбениндустри» и другие крупные предприятия, как вдохновителей создания концлагерей. Выступающий на процессе в качестве «свидетеля» бывший начальник сельскохозяйственных участков при концлагере, принадлежавших немецким промышленникам, где на работах использовали заключенных, получает ныне от боннского правительства за свои «заслуги» пенсию в сумме 300 000 марок в год. К началу процесса он живет в собственном замке и занимается коллекционированием фарфора, картин и предметов крестьянского обихода.

Устами одного из подлинных свидетелей Вейс дает определение концлагерю, как «последней стадии капиталистической эксплуатации»: одетого в лохмотья, голодного заключенного заставляют работать по двенадцать и более часов в сутки. Когда же он теряет последние силы — а это случается на 3—5-й месяц его пребывания в лагере,— его отправляют в газовую камеру, а труп используется в качестве «промышленного сырья».

Судьи и прокурор, по мнению рецензента, показаны в пьесе объективными и заинтересованными в установлении истины. Однако они наталкиваются на циничное поведение и самоуверенность обвиняемых, которые с пренебрежительным видом выслушивают бывших заключенных и нагло смеются в ответ на обвинения.

К постановке «Дознания» уже готовятся пять западногерманских театров, а также некоторые радио- и телестудии. Заинтересовались пьесой в Австрии и Швейцарии. Режиссер западноберлинского театра «Фрейе фолькcбюне» Эрвин Пискатор в связи с постановкой «Дознания», которой он наметил открыть юбилейный сезон, заявил: «Конечно, все это чрезвычайно сложно... Фактически это не пьеса, а документ. Но ведь она дает величайшую возможность донести освенцимский процесс до широкой общественности...»

Осуществятся ли надежды этих театров, покажет ближайшее будущее. А тем временем реваншистские газеты обрушились на Вейса с нападками. «В моей новой пьесе,— заявил по этому поводу драматург корреспонденту шведской газеты «Стокгольмс тиднинген»,— много говорится также о роли, которую сыграли крупные немецкие промышленники в массовом истреблении евреев. Я хочу заклеймить капитализм, породивший дельцов, для которых даже постройка газовых камер была не более, чем обычным заказом...» На вопрос, не думает ли он, что постановка его новой пьесы в ФРГ натолкнется на серьезные трудности, Петер Вейс ответил: «Конечно, трудности будут. Было бы странно, если бы оказалось иначе в такой стране, как Западная Германия, где еще столько остатков нацизма».

ДАНИЯ

ЭКРАНИЗАЦИЯ «ГОЛОДА»

Кинорежиссер Хеннинг Карлсен, который приобрел широкую известность благодаря своему фильму «Дилемма», рассказывающему о южно-африканской действительности, приступил к съемкам фильма, в основу которого положена повесть «Голод» норвежского писателя Кнута Гамсуна.

Над фильмом совместно работают кинематографисты Норвегии, Швеции и Дании. Съемки производятся в Норвегии. В главных ролях заняты шведские актеры Пер Оскарсон и Гуннель Линдблум. Сценарий фильма написан писателем Петером Себергом.

«Я стремился к тому,— заявил Петер Себерг корреспонденту газеты «Ланд ог фольк»,— чтобы сценарий был как можно ближе к тексту книги. Моей задачей было показать, как «безымянная» личность в нашем обществе испытывает жестокие лишения, терпит нужду; я стремился передать и духовные терзания героя...»

ИЗРАИЛЬ

«АРАБСКИЕ» НОВЕЛЛЫ АВИ-ДАВИДА

Газета «Кол Гаам» опубликовала письмо своего читателя, подписавшегося инициалами Г. Х., в котором он делится своими впечатлениями о вышедшем недавно сборнике рассказов И. Ави-Давида «Просто игра» (в этот сборник вошли рассказы писателя, первоначально опубликованные лет десять назад в литературном приложении «Кол Гаам»).

Режиссер Хеннинг Карлсен (в центре) обсуждает с актерами план работы над фильмом «Голод».
(Газета «Ланд ог фольк»)

Большинство рассказов Ави-Давида посвящено острой для Израиля проблеме взаимоотношений между евреями и арабами. Действие рассказов происходит в период резкого обострения арабско-израильских отношений, в период, когда шовинистический и милитаристский угар, разжигавшийся стоявшим у власти правительством Бен-Гуриона, достиг апогея. Тем не менее, как считает Г. Х., рассказы Ави-Давида не потеряли своей актуальности и теперь. «Именно сейчас,— пишет он,— когда все больше крепнут общественные силы, включающиеся в борьбу за ликвидацию произвола властей и за установление мира между Израилем и арабскими странами, следует прочесть эти рассказы, описывающие период ненастья, которое, как мы надеемся, больше не вернется».

По мнению Г. Х., в рассказах правдиво показаны гнет и произвол по отношению к арабскому населению, которые практикуются под предлогом «защиты государства». В отличие от произведений некоторых израильских писателей, где арабы изображаются пассивными страдальцами, герои «арабских» рассказов Ави-Давида — сильные, мужественные люди, с честью переносящие выпавшие на их долю испытания.

Лучшим в сборнике автор письма считает рассказ «Просто игра», повествующий о пагубных последствиях шовинистического воспитания, которое израильские дети получают в семье и в школе. В этом рассказе еврейские мальчики играют в «войну Израиля с арабами», и один из них, Гиди, убивает «араба» — своего товарища Йоселе.

Одна из работ мастеров школы кангара.

(Газета «Пэтриот»)

ИНДИЯ

МУЗЕЙ СПРАВЛЯЕТ НОВОСЕЛЬЕ

Значительное место в новой столице штата Пенджаб Чандигархе, выстроенной по проекту известного французского архитектора Корбюзье, занимает архитектурный ансамбль под общим названием «Культурный комплекс». Этот ансамбль, расположенный недалеко от центра — в зеленой Долине досуга, должен, по замыслу автора, стать не просто местом экспозиции национального искусства и культуры, но и своеобразным просветительным учреждением.

Центральную часть ансамбля составляет трехэтажное квадратное здание музея и художественной галереи штата. На одном его фланге уже выстроена Школа искусств, а на другом будет сооружен лекционный зал. К основному зданию примыкает помещение с реставрационными мастерскими и хранилищами. Архитектор предусмотрел на территории также площадь для дальнейшего строительства музеев естественной истории, народного творчества, детского и промышленного — все они войдут в комплекс.

Художественная коллекция штата Пенджаб, которая вскоре торжественно отпразднует свое новоселье, представляет, по мнению специалистов, огромную ценность для всей культуры Индии. Здесь собрано более трех тысяч оригинальных произведений национальных школ живописи, начиная с персидской, моголь-

ской, раджастанской и других и кончая современными направлениями. Весьма богато представлена наиболее популярная в Пенджабе школа кангара.

В фондах музея хранятся многочисленные старинные рукописи, иллюстрации к таким памятникам классической литературы, как Рамаяна, Махабхарата, Харивапша.

Около тысячи произведений буддийского искусства — скульптура, архитектурные орнаменты и различные лепные украшения — составляют, по утверждению корреспондента газеты «Таймс оф Индиа», уникальную и, пожалуй, самую крупную коллекцию такого рода в Индии. Бронзовые и мраморные изображения Будды и индуистских богов, храмовые знамена, а также различные предметы церковной утвари из глины, дерева, кости и камня рассказывают о развитии искусства в Западном Тибете и Непале.

ИРАК

ЗАПРЕТ НА СТИХИ АЛЬ-БАЯТИ

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», иракские власти наложили запрет на новую книгу стихов известного иракского поэта Абд аль-Ваххаба аль-Баяти «Огонь и слова», изданную недавно в Бейруте. Аль-Баяти, изгнанный из своей страны при Касеме, живет в настоящее время в Объединенной Арабской Республике.

ИСПАНИЯ

ИНТЕРВЬЮ ИСПАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ

— Я думаю, что могу назвать себя писателем-реалистом,— заявил в интервью корреспонденту еженедельника «Леттр франсез» известный испанский писатель Альфонсо Гроссо.— И всегда стараюсь, чтобы мой реализм был критическим, чтобы мое творчество вызывало тревогу у читателей.

Гроссо подчеркнул, что во всех своих произведениях он стремится показать противоречия испанского общества. Сюжет романа «Пропасть» воспроизводит жизнь крестьян-бедняков. Их наняли рыть ров, чтобы отделить курортное место, где отдыхают богачи, от нищей деревушки. Писатель отметил, что его особенно волнует социальная несправедливость — неравномерное распределение земель в стране: тысячи гектаров земли находятся в руках одного человека, а крестьяне голодают и в поисках работы эмигрируют в Германию и Францию.

— Я считаю, что для романа не существует ни рецептов, ни моды. Основа настоящего романа — человек, со всем тем грузом, который он несет на своих плечах и в своем сердце, со всеми страстями и комплексами, которые его обуревают. Техника же решающего значения не имеет...

На вопрос корреспондента, справедливы ли слухи об улучшении положения писателей в Испании и о смягчении цензуры, Гроссо ответил:

— Нет. Так называемая «либерализация» — не более чем поза, маска, существующая для внешнего мира. Испанская цензура осталась такой же свирепой и слепой. Пять моих книг запрещены цензурой. А в них нет ни порнографии, ни нападок на официальных лиц и государственные учреждения.

ИТАЛИЯ

«СВОБОДА И СОПРОТИВЛЕНИЕ»

В римском Колизее состоялся недавно необычный спектакль. Группа молодых актеров во главе с известной певицей и актрисой Лаурой Бретти и составителем программы Филиппо Кривелли создала интересный и своеобразный литературно-музыкальный спектакль, который они назвали «Свобода и Сопротивление». В нем используются произведения периода второй мировой войны и Сопротивления.

В программу представления вошли произведения Николы Вапцарова, Бертольта Брехта, Пабло Неруды, Итало Кальвино, Джорджо Бассани и Пьера Паоло Пазолини, а также подлинные письма участников Сопротивления разных стран Европы. Со сцены звучали народные песни, использовалась кинопроекция — показывали кадры из кинохроники периода второй мировой войны.

Многочисленные зрители, заполнившие древний Колизей, горячо приветствовали создателей постановки. «Спектаклю,— писал рецензент газеты «Паэзе-сера»,— сопутствует дух высокой гражданственности и патриотизма».

Этот спектакль был поставлен также в Коммунальном театре города Болонья.

Лаура Бретти.

(Газета «Паэзе-сера»)

НОВЫЙ РОМАН МОРАВИА

В издательстве Мондадори вышел XVI том собрания сочинений Альберто Моравиа, в который включен его новый роман «Внимание», с нетерпением ожидавшийся критикой и читателями. Однако, судя по рецензиям, роман не оправдал ожиданий, все рецензенты сходятся на том, что «Внимание» не принадлежит к числу лучших произведений маститого писателя — таких, как «Равнодушные», «Римские рассказы», «Чочара» или «Презрение».

Центральная фигура романа — журналист Франческо Мериги, пишущий роман о своей жизни. «Внимание» состоит из краткого пролога, в котором Мериги излагает события своей жизни, взгляды и намерения, и основной части — его подробного дневника, где реальные факты перемежаются с воображаемыми, с размышлениями и рассуждениями автора. Этот дневник должен послужить для Мериги основой его будущего романа. Сам Мериги предстает перед читателем со страниц своего дневника как личность в высшей степени антипатичная — это холодный, эгоистичный человек, предавший свои прежние прогрессивные убеждения ради работы в крупной правой газете, дающей ему возможность много путешествовать. Путешествия ему нужны не только как материал для бесконечных путевых очерков и корреспонденций, но и как возможность не видеться по нескольку лет с женой, которую он разлюбил. По возвращении к оседлой жизни Мериги, однако, никак не пытается изменить свои странные семейные отношения — продолжает жить вместе с женой, хотя узнает, что она содержит тайный дом свиданий, и он даже посещает это заведение под предлогом изучения материала для будущего романа. Не менее странный и двусмысленный характер носят отношения, устанавливающиеся между Мериги и его падчерицей, к которой он испытывает болезненное влечение.

Основная мысль романа — разоблачение царящей в буржуазном обществе неискренности, необходимость «внимания», вдумчивого отношения к людям и окружающей действительности. Однако заранее выработанная умозрительная схема снижает художественную ценность этого сложного произведения, во многом лишает его психологической достоверности. Как отмечают рецензенты, роман Моравиа — это как бы своего рода исследование на тему «кризис современного романа»...

«В защиту свободы Кубы» — так назвал этот плакат его автор, выдающийся художник Ренато Гуттузо. Плакат был выпущен к открытию в городе Сантьяго (Чили) конгресса борьбы против агрессивной политики США в Латинской Америке и Вьетнаме.

(Газета «Паэзе-сера»)

ПРЕМИИ 1965 ГОДА

В Италии присуждены основные ежегодные литературные премии. Главной премии — «Виареджо» 1965 года за художественное произведение удостоен роман «Хозяин» писателя Гоффредо Паризе. Премию «Виареджо» получила также книга известного специалиста по русской литературе и переводчика Анджело Мария Рипеллино «Грим и душа», посвященная советскому театру и его истории.

После напряженной борьбы между пятью «финалистами» литературная премия

«Стрега» присуждена роману «Всемирная машина» писателя Паоло Вольпони. В своем интервью журналу «Ринашита» Вольпони рассказал, что, работая над этой книгой, он стремился использовать новые средства художественного выражения, но вместе с тем избежать того, чтобы поиски в области формы стали самоцелью, как это нередко наблюдается в книгах писателей модернистов. Роман «Всемирная машина», по словам автора, содержит «научную критику общества» в марксистском понимании слова. «Я считаю,— сказал Вольпони,— что мой роман рассчитан на широкий круг читателей... В нем ставится проблема ухода населения из некоторых районов Центральной Италии, бегства отдельных лиц и целых групп в поисках заработка и более сносных условий жизни».

МАЛИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР СЕГОДНЯ

Современный театр Мали сформировался на базе традиционного городского театра на языке бамбара — «котеба», говорится в статье на эту тему, опубликованной в журнале «Презанс африкен». Этот традиционный театр существует и сегодня, и его отнюдь не следует противопоставлять современному театру, который во многом наследует «котеба». Однако современный малийский театр многое черпает и в европейском театральном искусстве и представляет собой своеобразное сочетание традиционного и современного театра.

Современный малийский театр начал складываться еще в колониальный период, когда возникли театральные коллективы учащихся школы У. Понти в районе Дакара. В этой школе на французском языке ставились пьесы, сюжетами которых служили африканские легенды, эпизоды из африканской истории. Однако в отличие от колониального периода исторические пьесы, исполняемые театральными коллективами Мали сегодня, по-иному трактуют африканскую историю, подчеркивая достоинство африканцев и их национальных героев — Самори, Тьеба, Эль Хадж Омара, их сопротивление французскому завоеванию. Широкое признание получил спектакль «Мали или Сундиата». Пьеса была поставлена в 1962 году театральной труппой города Кита. В том же году была осуществлена постановка пьесы Яя Кана «Мы оказали сопротивление завоевателям», в которой рассказывалось о боях войск Ахмаду Талла с французскими колонизаторами.

Автор статьи подчеркивает, что постановка исторических пьес позволяет современному театру Мали знакомить население с историческим и культурным наследием страны, которое полностью игнорировалось европейцами. Ставятся также политические пьесы, в которых зрители находят ответы на интересующие их вопросы.

Национальный театр показывает также одноактные сатирические пьесы на бытовые темы. Они играются на языке бамбара. Эти одноактные пьесы дают хорошее представление о современной жизни Мали в восприятии самих малийцев.

Современный театр Мали, пишет далее критик,— это в основном молодежные труппы, работающие под руководством местных секций партии Суданский союз. Большим стимулом в развитии театра являются соревнования театральных коллективов различных городов, проводимые ежегодно. Именно эти соревнования, по словам автора статьи, способствуют поднятию профессионального уровня театра.

ОАР

ПЕВЕЦ СВОБОДЫ

Недавно вышел новый сборник стихов «С близкого расстояния» ветерана египетской поэзии Махмуда Хасана Исмаила. Поэт начал свой творческий путь тридцать лет тому назад, выпустив диван «Песни хижины» — первый сборник стихов, целиком посвященный труженикам египетской земли — феллахам. С тех пор вышло несколько его сборников, которые составляют своего рода поэтическую историю Египта на протяжении последней четверти века.

В прежних сборниках М. Х. Исмаила, как отмечает критик Аль-Алим в журнале «Аль-Мусаввар», чаще всего встречались слова «рабство», «оковы», «цепи». Теперь же, как говорит сам поэт, его излюбленным словом стала «свобода», и он действительно воспевает свободу и революционные преобразования в жизни египетского народа.

ПОЛЬША

УСПЕХИ ПОЛЬСКОГО «ДОКУМЕНТА»

«То, что не удается мастерам художественной кинематографии, удалось документалистам — показать Польшу без прикрас и без черной краски, как живую, творческую, развивающуюся страну, решающую десятки сложных, трудных проблем»,— пишет кинокритик Анджей Охальский в журнале «Квартальник фильмовы».

По словам критика, польское документальное кино добилось значительных успехов на протяжении последних пяти лет. Именно пять лет назад появился фильм «Музыканты» Казимежа Карабаша — и с этого момента начался перелом в истории польского «документа». Карабаш принадлежит к тому направлению, представители которого выше всего ставят подлинность изображаемых явлений жизни.

«Шедевр Карабаша,— продолжает Охальский,— показал, какие огромные возможности таятся в тщательном наблюдении за самыми простыми, самыми обыкновенными человеческими действиями, показал,

что документальное кино совершенно не нуждается в приемах, взятых из художественного кино. Мы видим в «Музыкантах» репетицию любительского духового оркестра варшавских трамвайщиков: 10 минут эти усталые, немолодые люди посвящают музыке...»

Вслед за первым фильмом Карабаш создал фильмы «Люди в пути» — о нелегкой жизни цирковых артистов, «Узел» — о напряженной работе диспетчера узловой железнодорожной станции, «Первый шаг» — о занятиях учеников первого класса музыкальной школы. И всегда, по словам критика, верность жизненной правде приводит режиссера к неизменному успеху.

Проблемы, связанные с гигантскими стройками,— область, в которой с большим подъемом работает режиссер Ян Ломницкий. Им созданы фильмы, отмеченные печатью творческой индивидуальности автора — «Сталь», «Металлургический завод 59», «Рождение корабля».

А вот другая группа фильмов, поэтизирующих действительность. Шедевром этого жанра критик считает фильм безвременно погибшего Анджея Мунка «Прогулка по Старому городу», который был создан в 1959 г.

Говоря о польском документальном кино сегодня, нельзя не назвать имена Владислава Слесицкого, Тадеуша Яворского, Сергиуша Спрудина, а также работающих вместе Ежи Гоффмана и Эдварда Скужевского, продолжает Охальский. Тематика их кинопроизведений разнообразна, но их объединяет любовь к родной стране и стремление воссоздать ее будни на экране для нынешнего и последующих поколений.

ГДЕ ТЫ, СОВРЕМЕННЫЙ КОНРАД?

Недавно в Морском клубе крупного портового города Гдыни на представительном собрании писателей, инженеров, моряков, научных работников, офицеров военно-морского флота были подведены итоги опроса читателей, которые должны были выбрать лучшую книгу польского Двадцатилетия на морскую тематику. Наряду с произведениями художественной литературы, а также мемуарами и репортажами в этом конкурсе участвовали научные труды и научно-популярные книги. Лауреатом в области военно-мемуарной литературы стал Ежи Пертек, который, по всеобщему признанию, является выдающимся знатоком военной истории польского флота.

Среди лучших художественных произведений участники встречи называли повести о моряках Ежи Б. Рыхлинского и Станислава М. Салинского. Однако победителями конкурса в этом жанре стали непрофессиональные литераторы, офицеры флота — командор Борис Романовский и капитан Кароль О. Борхардт. Они — авторы беллетризованных очерков: первый — «Торпеда поражает цель», второй — «Есть, капитан».

Обозреватель еженедельника «Политика», который подготовил обширный отчет об этом событии, пишет далее, что профессиональных писателей и журналистов все чаще приглашают в творческие командировки на польские корабли, бороздящие моря и океаны на всех широтах. Это уже дало свои плоды: известны книги Владислава Махеека «Плыви, моя ладья...», Яна Юзефа Щепаньского «Путешествие в рай», Леха Бондковского «Веселье в тропиках» и другие. Однако, пишет далее обозреватель, польская «морская» литература все еще ждет своего Конрада, который создал бы незабываемые произведения о море. И такой писатель обязательно появится, заключает обозреватель.

РУМЫНИЯ

ПЬЕСА МОЛОДОГО АВТОРА

В Драматическом театре Бухареста поставлена пьеса молодого румынского дра-

Сцена из спектакля «Теперь он показался бы странным».
(Журнал «Флакэра»)

матурга Дорела Дориана «Теперь он показался бы странным». Сюжет пьесы построен на столкновении двух противоположных характеров. Инженер Николаэ Рошка (его роль исполняет артист Джордже Константин) — сильный, властный, чуждый всяким сентиментам человек, уверенный в своих силах и полный самообладания. Хориа Дрэган тоже инженер (эту роль прекрасно исполнил очень популярный в Румынии актер Ион Маринеску). Характер этого человека совершенно отличен от характера его товарища: он неуравновешен, тороплив, совершает опрометчивые поступки, часто бросается в борьбу в одиночку, но никогда не теряет веры в себя. Оба инженера сталкиваются в остром принципиальном споре, из которого извлекают полезные уроки.

Как отмечал рецензент журнала «Флакэра», пьеса написана острым, живым языком, герои ее — реальные и симпатичные люди.

США

ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРЬ ЧЕЛОВЕКА

В Голливуде снимается сенсационный научно-фантастический фильм по сценарию Льюиса Биксби и Отто Клемента, который носит название «Фантастическое путешествие».

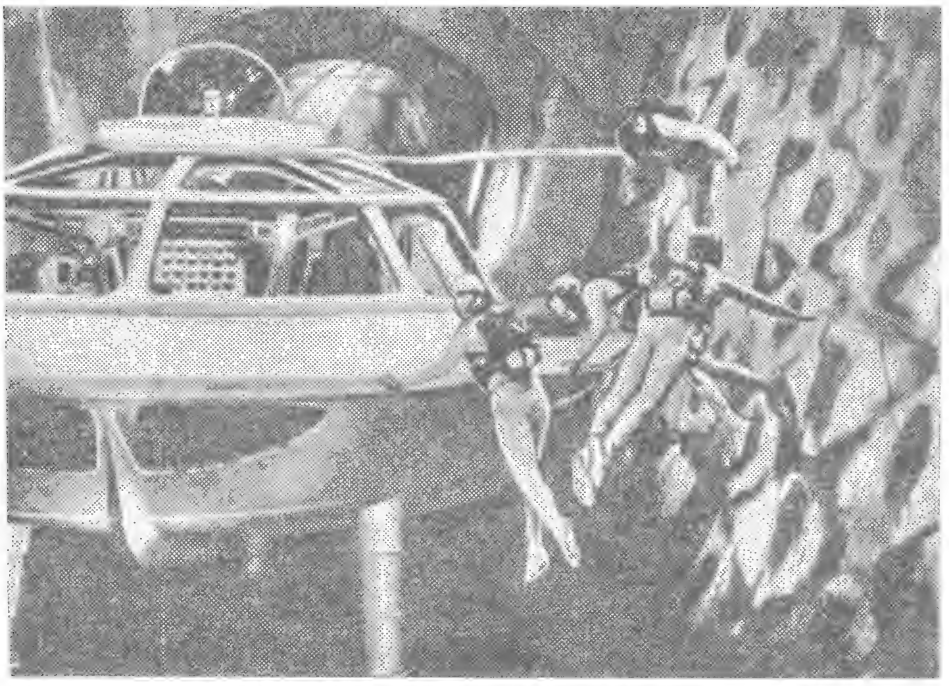
...Ученый - изобретатель Бенеш находит способ уменьшить людей и предметы до микроскопических размеров. С ним происходит несчастный случай, необходимо срочно оперировать его мозг, иначе ученый погибнет. И вот, для того чтобы произвести сложнейшую операцию, в тело ученого с помощью шприца вводят... целую экспедицию, уменьшенную до размеров микросуществ. Участники экспедиции — врачи и медсестра — должны, продвигаясь по сосудам в своеобразном снаряде типа подводной лодки, проникнуть в мозг и удалить осевший в нем сгусток крови. Один из участников экспедиции — тайный враг Бенеша. Его цель — вызвать смерть ученого. Таким образом, борьбе за жизнь ученого в фильме придан не только научно-фантастический, но и детективный характер. Эта интрига развивается в совершенно необычайных обстоятельствах. Микроскопическая подводная лодка низвергается «кровепадом», мчится по венам и артериям, выбрасывается в вихревые потоки, исторгающиеся из гигантского сердца, биение которого подобно громовым раскатам.

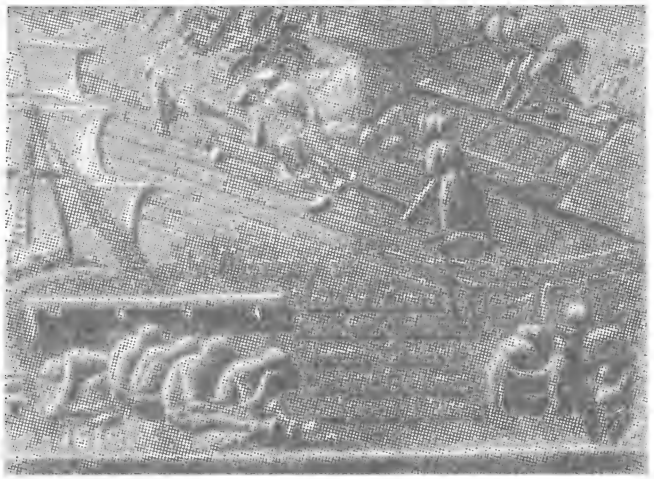
Фантастические декорации изготовлены по эскизам Сальвадора Дали. «Я хотел создать впечатление,— говорит он об этой своей работе, — что микросущества путешествуют по ошеломляющим внутренним джунглям. Зритель будет испытывать тревогу, ужас, будет потрясен до мозга костей. Представьте себе бьющееся сердце, которое напоминает чудовищного спрута...»

В съемочном павильоне

Кадр из кинофильма «Фантастическое путешествие».

(Еженедельник «Синемонд»)





Фрагмент барельефа работы Роберта Эймеса.

(Газета «Пиплз уорлд»)

построено гигантское легкое из каучука, синтетики и стекловолокна. Сооружен колоссальный глаз, одна слеза которого может затопить всю экспедицию. Реализация «Фантастического путешествия» потребовала фантастических расходов: бюджет фильма составляет шесть миллионов долларов. Одна только «микроскопическая» подводная лодка, которая весит 4 тонны, стоила 100 000 долларов.

Режиссер этого устрашающего романа — Ричард Флейшер. В главных ролях снимаются актеры Стефан Бойд, Артур Кеннеди и др. В женской роли — Рэчел Уэлч.

УНИКАЛЬНЫЙ БАРЕЛЬЕФ

Корреспондент газеты «Пиплз уорлд» сообщает о том, что в художественной галерее Лос-Анжелоса экспонируется уникальный барельеф работы Роберта Эймеса.

В путеводителе галереи об этом сказано следующее: «Монументальный барельеф, выполненный на красном дереве, отражает историю американских негров... Роберт Уитт Эймес работал над этим произведением в течение шести лет. Пожалуй, со времен Ренессанса... не было ничего подобного по размерам и по значимости темы — исторической борьбы негритянского народа, за полную свободу и равенство».

Как пишет корреспондент, размеры барельефа поистине колоссальны — приблизительно 3×3 метра. Автор его воссоздает историю американских негров от их пленения в Африке и продажи в рабство до сегодняшней решительной борьбы за человеческие права.

Роберт Эймес окончил факультет права университета в штате Южная Каролина. Резьбой по дереву он занимается с 1951 года. Его барельеф в ближайшее время будет экспонироваться и в других городах США.

СУДАН

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Свержение военной диктатуры и восстановление конституционного строя в Судане привели к значительному оживлению культурной деятельности в этой стране. Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Адиб», группа суданских поэтов и писателей создала организацию, которая получила название «Бюро арабской мысли». Бюро ставит своей задачей популяризацию арабской культуры среди суданцев, изучение памятников арабской литературы, работу по подъему суданской культуры и литературы до уровня культуры и литературы в других арабских странах. Председателем «Бюро арабской мысли» избран писатель Абуль-Касим Осман.

ТУНИС

«ХАМИДА»

Кинематография Туниса еще очень молода, однако тунисским кинематографистам уже удалось создать несколько удачных, по мнению кинокритиков разных стран, документальных и хроникальных фильмов. Что же касается постановки художественных фильмов, то до последнего времени тунисские студии ограничивались тем, что подыскивали для иностранных киностудий экзотические места для съемок и поставляли статистов для массовых сцен.

Недавно началась работа над художественным фильмом «Хамида», который снимается тунисской студией САТРЕК совместно со студией ДЕФА (ГДР). Время действия фильма — начало 50-х годов. Его герои — крестьянские дети. В роли главного героя — Хамиды — снимается 11-летний Амор Адуни. Детскому безмятежному миру Хамиды и его товарищей противостоят алчный землевладелец и его невестка, которые держат в руках всю деревню.

Крестьяне долго терпели издевательства помещика, и наконец чаша их страданий переполнилась. Батраки вышли из повиновения, старые, освященные веками порядки рухнули...

В этом фильме, по словам критика газеты «Берлинер цейтунг», показан процесс становления самосознания тунисских крестьян. Профессиональных актеров в фильме всего двое — Жан Деви и Кристина Лашар, в остальных ролях снимались люби-

тели. В ходе работы над фильмом идет подготовка кадров для молодой тунисской кинематографии.

ФРАНЦИЯ

«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Новый роман Пьера Дэкса «Несчастный случай» рассказывает о судьбах современной французской молодежи. По словам самого писателя, книга создавалась в стремительном темпе — в таком же темпе разворачиваются события в романе.

Молодой человек вернулся из Алжира, где шла кровопролитная война. В Париже он познакомился с девушкой и полюбил ее. Но несчастный случай оборвал жизнь любимой. Знакомство было таким коротким, что молодые люди не успели как следует узнать друг друга, не успели сказать друг другу самого главного...

Дэкс рассказал корреспонденту «Юманите», что мысль написать книгу о преждевременной смерти появилась у него не случайно. Он давно думал об этом. Конкретную форму эта идея обрела после того, как было получено известие о кончине его близкого друга и наставника Октава Рабате, а вслед за тем и Мориса Тореза, которого Дэкс знал с раннего детства...

По мнению Андре Вюрмсера, высказанному им в «Юманите», роман «Несчастный случай» совсем не похож на предыдущие романы Дэкса. В книге затронуты политические и социальные вопросы — война в Алжире, хаос современного буржуазного общества, порождающий несчастные человеческие судьбы. Повествование ведется в форме монолога главного действующего лица, студента, будущего литератора. Он размышляет, оценивает настоящее, вспоминает прошлое. Дэкс пользуется в романе разговорным языком современного молодого поколения.

ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ В АННЕСИ

На VI Международном фестивале мультипликационных фильмов в Аннеси была представлена 31 страна, там демонстрировалось более 100 фильмов. Фестиваль, по мнению кинокритиков, доказал, что традиционное представление об исключительно комическом характере мультипликационных фильмов ошибочно. «Лучшие фильмы, демонстрировавшиеся в Аннеси, вполне могли соперничать по серьезности темы, смелости замысла, оригинальности и художественности его воплощения с самыми известными и прославленными кинокартинами обычного кинематографа»,— заявляет обозреватель еженедельника «Леттр франсез».

Французские газеты восторженно приветствуют многогранность и высокое мастерство чешской мультипликационной школы.

Непревзойденным мастером назван Трнка, последние работы которого принесли ему славу лучшего мультипликатора мира.

Его фильм «Рука», по единодушному мнению обозревателей, заслужил высшую награду; фильму, однако, был присужден лишь «Специальный приз жюри». Трнка представил также фильм «Архангел Гавриил и синьора Гусыня» по Бокаччо (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 8, 1965).

«Приз критики» присужден Владимиру Лехки за его оригинальный фильм «Смешные птицы».

«Гран-при» фестиваля получил француз Жан-Франсуа Лагиони за фильм «Барышня и виолончелист». Как отмечает обозреватель «Леттр франсез», это легкий, поэтический, очень красочный фильм.

В будущем году Международный фестиваль мультипликационных фильмов намечено провести в Румынии.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

АНТИВОЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАДИСЛАВА ТЯЖКОГО

Словацкий прозаик Ладислав Тяжкий сравнительно недавно дебютировал в литературе: в 1962 году вышла его повесть «Дезертир». С тех пор, как отмечает обозреватель журнала «Пламен» Эмиль Хароус в статье о творчестве Тяжкого, писатель достиг больших успехов. Опубликован его большой роман «Аменмария», отдельной книгой выпущены его новеллы под названием «Дунайские могилы».

Высоко оценивая антивоенный роман «Аменмария», Эмиль Хароус пишет, что ныне Ладислав Тяжкий — один из ведущих словацких писателей.

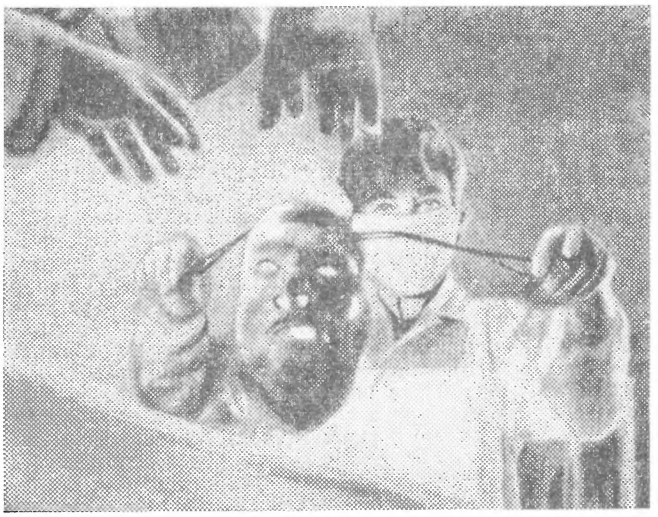
«ПОТЕРЯННОЕ ЛИЦО»

Таково название нового чехословацкого фильма, который ставится режиссером П. Хоблом по сценарию известного писателя-фантаста Йозефа Несвадбы. Главный герой этого фантастического фильма — доктор Бартош, который открыл способ полной трансплантации человеческого лица...

Сюжет этого приключенческого фильма развертывается в 30-е годы в Праге, рассказал корреспонденту двухнедельника «Кино» режиссер П. Хобл. Благодаря искусству доктора Бартоша, роль которого в фильме исполняет актер Властимил Бродский, три действующих лица изменяют свой облик, причем, как об этом можно догадаться, не всегда добровольно.

Одновременно фильм «Потерянное лицо» ставит глубокие, философские проблемы, продолжал режиссер. «Что определяет человека? Его лицо? Или среда, в которой он живет?» — таковы вопросы, на которые попытаются ответить авторы фильма.

Режиссер Хобл отказался более подробно рассказы-



Кадр из фильма «Потерянное лицо».

(Журнал «Кино»)

вать о сюжете — зрителям не следует все знать заранее...

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«РЕЙХ» В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

В Лондоне вышла книга под названием «Путешествие по южно-африканскому рейху». Ее автор — журналист Брайан Бантинг — длительное время имел возможность наблюдать результаты политики апартеида, практикуемой расистским правительством Фервурда.

Бантинг подробно рассказывает в своей книге о том, как применяется в Южной Африке принятый в 1963 году антидемократический закон о печати. На его основании, как уже сообщалось, правительство может запретить любую газету, книгу или журнал, прокат любого фильма или выставочную экспозицию. Более того, правительство подвергает преследованиям, арестам и пыткам художников, скульпторов, поэтов и писателей, чьи произведения идут вразрез с правительственной политикой.

Стремясь укрепить свои позиции в стране, правительство Фервурда, по словам Бантинга, пошло еще дальше: оно создало специальное «Учреждение по пропаганде среди южноафриканского населения», во главе которого стоит некий Фрэнсис Гунгенд, сотрудничавший с фашистами в 1942—1945 гг. В его распоряжении огромные средства, он обладает большими полномочиями. Нет необходимости разъяснять, какую «пропаганду» ведет это учреждение.

ЯПОНИЯ

АНТИМИЛИТАРИСТСКАЯ ПОВЕСТЬ

Новая повесть Сиро Хасэгавы «Передовой пост», по единодушному мнению участников очередного обсуждения, организованного в редакции литературного журнала «Гундзо»,— несомненная удача автора. Она стоит в одном ряду с некоторыми другими произведениями писателя, посвященными войне, отметил один из участников обсуждения, Киити Сасаки.

...Мирно, без всяких происшествий течет жизнь нескольких солдат передового поста. Но неожиданно спокойствие нарушается: один из солдат убегает. Немедленно об этом сообщается в штаб роты, находящийся в 250 километрах от поста. В роте спорят, как наказать беглеца, когда его поймают. Его действительно ловят, но все эти споры бессмысленны, так как командир отряда, который сначала выглядит даже гуманным, решает расправиться с солдатом по-своему: его закапывают живым в землю.

Бесчеловечность, атмосфера слепой муштры, бессмысленное, полуживотное существование, на которое обречен отряд, ярко показаны автором.

Хироси Нома и Кобо Абэ, также принимавшие участие в обсуждении повести Хасэгавы, согласились с высокой оценкой, данной Сасаки, и добавили, что это действительно чрезвычайно интересное антимилитаристское произведение.

Авторы этого номера

КАБА ЛУНСАЙНИ—KABA LONSANI— молодой гвинейский поэт и композитор.

Стихи, помещенные в номере, получены редакцией в рукописи.

■

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН — WOLFGANG KOEPPEN (род. в 1906 г.) — западногерманский писатель и журналист. Роман «Смерть в Риме» («Der Tod in Rom», 1954), публикуемый в этом номере,— первое произведение писателя, выходящее на русском языке. Перу Кёппена принадлежат еще несколько романов, среди них: «Несчастная любовь» («Eine Unglückliche Liebe», 1934), «Голуби в траве» («Tauben im Gras», 1951), «Теплица» («Das Treibhaus», 1953); две книги путевых заметок, эссе о Байроне, Шелли и другие произведения.

■

ЭЛЬВИО РОМЕРО — ELVIO ROMERO (род. в 1930 г.).

В 1961 году в нашей стране вышел сборник стихотворений парагвайского поэта Эльвио Ромеро, публиковались его стихи и в нашем журнале.

Поэт является автором нескольких сборников стихов, среди них: «Просыпается пламя» («Despiertan las fogatas», 1953), «От лица к сердцу» («De cara al corazon», 1961), «Партизанская гитара» («Esta guitarra dura», 1961), «Стихи» («Poemas», 1964) и другие.

Стихи, опубликованные в этом номере, взяты из «Поэтической антологии» («Antología poética», 1965).

■

АНДРЕ МОРУА — ANDRE MAUROIS (род. в 1885 г.).

Французский писатель, член Французской академии, Андре Моруа известен у нас в стране как мастер биографического романа, автор увлекательных книг о замечательных людях. В 30-е годы у нас вышли его книги: «Байрон», «Ариэль», «Карьера Дизраэли», недавно на русском языке появились «Жизнь Александра Флеминга» (1961) и «Три Дюма» (1962), опубликованы многие рассказы писателя, в 1963 году вышел сборник его рассказов «Фиалки по средам».

В этом номере мы публикуем размышления Моруа в связи с выходом во Франции нового романа Арагона «Гибель всерьез».

■

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ (род. в 1911 г.)— пакистанский поэт, общественный деятель, лауреат Международной премии «За укрепление мира между народами». Автор сборников стихов «Тоскливый узор» (1943), «Рука ветра» (1952), «Тюремные стихи» (1956) и др. Стихи Фаиза неоднократно публиковались в нашем журнале.

Публикуемые в этом номере письма Фаиза жене, написанные в тюрьме, воспроизводятся с разрешения автора.

■

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ — ERSKINE CALLDWELL (род. в 1903 г.).

Имя американского писателя Эрскина Колдуэлла хорошо знакомо советскому читателю. В СССР опубликован его роман «Табачная дорога» («Tobacco Road», 1932), многие рассказы. Два романа писателя были напечатаны нашим журналом: «Дженни» («Jenny by Nature», 1961) и «У себя дома» («Close to Home», 1962). Последний роман писателя — «Олень в нашем доме» («The Deer at Our House») — вышел в 1963 году.

Книга «В поисках Биско» («In Search of Bisco», 1965), главы из которой мы печатаем в этом номере,— заметки писателя о путешествии по южным штатам США.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

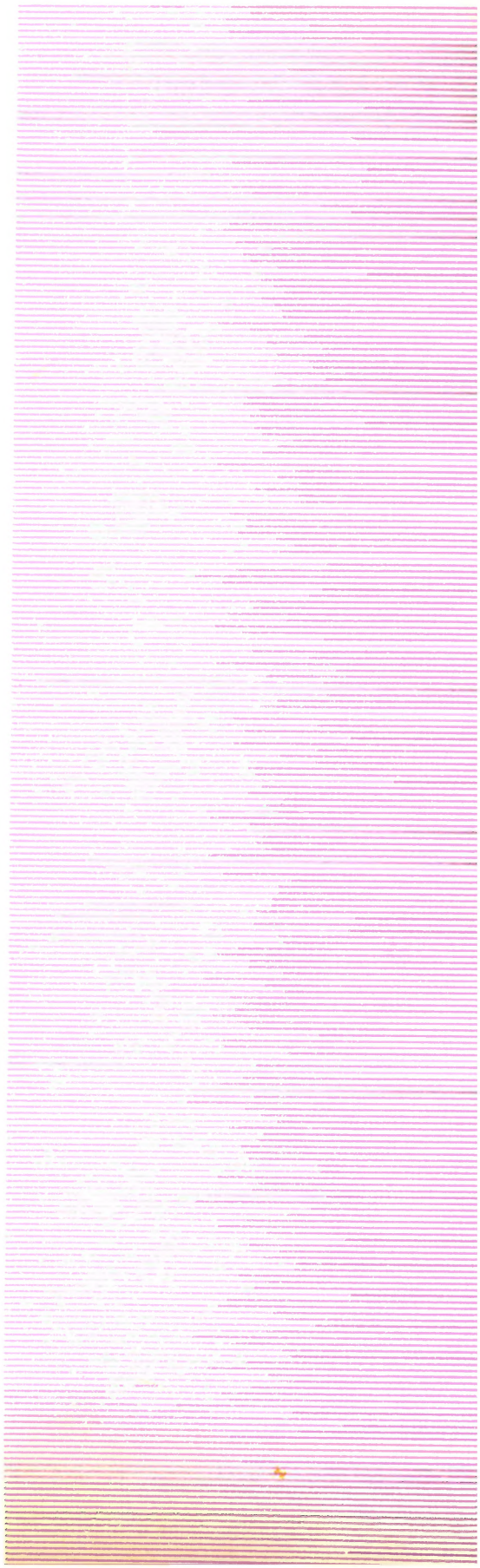
Художеств. редактор **В. Ф. Лактионов** Технический редактор **А. А. Агабеков**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 11463. Сдано в производство 13/VIII-65 г. Подписано к печати 12/X-65 г.
Бумага 70×108 1/16=10 бум. л.; печ. л. 27,4. Зак. 1898.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ИНДЕКС 70394



Цена 80 коп.